ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[1] 2005

РОМАН ТОМА РОББИНСА «ВИЛЛА «ИНКОГНИТО» / СТИХИ ГЕОРГИСА ПАВЛОПУЛОСА И ДЖО ГРИНА / РАССКАЗЫ ДЖОНА АПДАЙКА / «ТРИБУНА ПЕРЕВОДЧИКА»: «КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ» СОЛОМОНА АПТА / РАЗГОВОР НА «УЖАС ДНЯ» В РУБРИКЕ «ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ»

Основан в 1891 году

Редакция журнала
поздравляет нашего постоянного автора

Геннадия Киселева,

которому присуждена
Государственная премия
Министерства культуры Италии
за перевод
[2004–2005].

[1]
2005

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Том Роббинс *Вилла "Инкогнито"*. Роман. Перевод с английского В. Пророковой

133 Георгис Павлопулос *Стихи*. Перевод с греческого и вступление Ирины Ковалевой

142 Джон Апдайк *Рассказы*. Перевод с английского Ю. Жуковой

166 Джо Грин *Стихи*. Перевод с английского и вступление А. Нестерова

Документальная проза — 172 Абель Поссе *Страсти по Эвите*. Перевод с испанского Н. Беленькой

Возвращаясь к напечатанному — 237 *Разговор на "ужас дня"*. О презентации сентябрьского номера "ИЛ" за 2004 год, посвященного памяти жертв терроризма

Анкета "ИЛ" — 247 *В поисках утраченной поэзии*

Трибуна переводчика — 259 С. Апт *Классическая филология*

Статьи, эссе — 277 С. Зенкин *Учитель для умных*

Письма из-за рубежа — 280 Марина Фрёмке *Urbi et Orbi, или Ни к селу ни к городу*. Берлинский фестиваль поэзии — 2004

Среди книг — 283 Николай Мельников *Малая проза большого писателя*. Григорий Стариковский *Способ нарисовать Стивенса*

БиблиофИЛ — 288 *Издательские планы*
296 *У книжной витрины* с Константином Мильчиным

Курьер "ИЛ" — 298

Авторы номера — 302

© "Иностранная литература", 2005

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

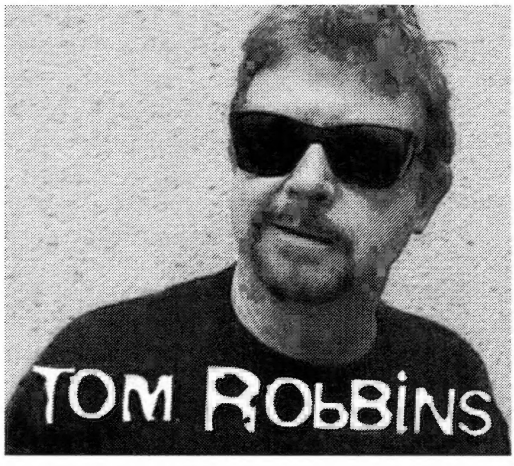
О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
И. И. Кузнецова
А. В. Нестеров
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Е. В. Тарасова
Л. Г. Харлап

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
Д. В. Затонский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации

Том Роббинс



Вилла "Инкогнито"

Роман

Перевод с английского В. Пророковой

Посвящается, естественно, Алексе.

Никогда не знаешь, с кем говоришь.

Бертольт Брехт *Трехгрошовая опера*

Часть I

* * *

ЕСТЬ версия, что Тануки свалился с небес, спланировав на собственной мошонке.

В этом нет ничего забавного — если принять во внимание удивительные размеры мошонки Тануки.

Ну, допустим, — и все равно это забавно, особенно если учесть, что по отношению к общей массе тела мошонка Тануки больше мошонок слонов, китов и Зеленого Великана. В те времена вместилище его яичек было, вполне возможно, даже более обширным, чем сейчас, что трудно себе представить, поскольку мошонка у него и так чуть не волочится по земле и малейшее увеличение объема привело бы к затруднениям при передвижении и даже к травмам. Не исключено, что Тануки обладал (и, быть может, обладает по сей день) способностью по желанию увеличивать или уменьшать размер мошонки.

© 2003 by Том Роббинс
© В. Пророкова. Перевод, 2005
Роман будет опубликован в издательстве АСТ.

Однако же, несмотря на вышеизложенное, мы вынуждены признать, что определить, какую роль в спуске Тануки сыграли размеры его органов как таковые, довольно трудно, и куда важнее выяснить, не как барсук использовал свой семенной мешок для спуска на землю, а откуда он спускался и зачем.

* * *

Тук-тук!

– Кто там?

– Тануки.

– Какой такой Тануки?

– Что за дурацкий вопрос! Тануки. Я Самый.

– Ах, вот оно что... И откуда же ты явился, Тануки, ты самый?

– Из Другого Мира.

– Из какого такого другого мира?

– Из того, что за этим, болван. Из Мира Зверей-Предков. – Его голос напоминал скрежет лопаты по гравию.

– Ну, тогда прошу прощения, достопочтенный зверь-предок. И как же ты здесь оказался?

– Спланировал сверху. Это, понятное дело, запрещено. Против всех правил. Только какого черта...

Крестьянин поискал глазами шелковый купол парашюта и стропы.

– Да не заморачивайся ты, – проскрипел Тануки.

– И зачем же ты здесь?

– Рисового вина хочу попить.

– Сакэ? Да неужели? Судя по твоей ухмылке, ты выпил достаточно. Что тебе еще нужно?

– Девчонки нужны. Молоденькие и хорошенькие.

Крестьянин так фыркнул, что смех аж носом пошел.

– И не надейся. С такой чудно́й тварью никакая девчонка не ляжет.

– Не тебе судить, старый дурак, – рявкнул Тануки и так пнул крестьянина под дых, что тот рухнул наземь, ловя ртом воздух. Барсук же, выпятив круглое, как у дедушки Санты, пузо, на задних лапах проковылял вразвалочку к колодцу, где дочь крестьянина набирала воду, и пульнул в нее зубастой наэлектризованной ухмылкой, которая у него была така́я жаркая, безумная и дикая, что от нее вполне могли бы полопаться зеркала в комнате смеха или лак на девичьих заколках.

* * *

То, что последовало сразу за этим, объясняет сущность натуры Тануки лишь вкратце и частично. А именно: хотя практически все употребляют применительно к нему слово "барсук" и оно почти что стало его фамилией, с научной точки зрения Тануки и не барсук вовсе. Любой зоолог с радостью вам объяснит, что тануки – это разновидность распространенной в Юго-Восточной Азии енотовидной собаки (Nyctereutes procyonoides), а также что острой мордочкой и окрасом он похож на енота, однако лишен знаменитого хвоста.

Поскольку тануки почти бесхвостые, а кроме того имеют привычку стоять столбиком на задних лапах, им зачастую приписывают антропоморфные черты. Заметив тануки на опушке леса, человек впечатлительный вполне может принять его за невысокого мужчину. Но, как нам скоро предстоит выяснить, есть и более веские причины, вследствие

которых Тануки, благодаря своим иномирным возможностям, близок к людям.

Однако, прежде чем отправиться дальше, мы обязаны учесть вероятность того, что внимательный читатель может заметить в нашем повествовании явные и, возможно, настораживающие несоответствия. Если это не заведомая небрежность автора, то почему он иногда пишет "Тануки" (имя собственное, единственное число, с прописной буквы), а в других случаях, порой даже в том же абзаце, пишет "тануки" (имя нарицательное, множественное число, со строчной буквы). Все очень просто. Сей барсуковидный зверь, словно Бог, един во многих ипостасях.

И такой и этакий. Одновременно. Словно Бог.

Как известно всем, кто знает хоть что-нибудь про Непознаваемое, "Бог" и "боги" — понятия взаимозаменяемые. В чем-то правы чудаки, признающие исключительно патриархального Иегову/Аллаха, когда утверждают, что Бог един и что "он" абсолютен и непреложен. Однако правы и наивные, доверчивые язычники, поклоняющиеся богам огня наравне с богами рек, почитающие богиню Луны, верящие в дух крокодила, а также в мелких божеств, обитающих, помимо прочего, в деревьях, облаках, пуговичках пейотля и неоновых трубках (особенно в мигающих белых и в зеленых).

Таким образом, если у читателя хватит ума не пытаться судить о Божественном Начале по человеческим меркам, если хватит сообразительности уразуметь, что он может (скорее, *должен*!) быть одновременно монотеистом и пантеистом, тогда он без труда признает парадоксальную сущность нашего маленького друга Тануки из рода тануки.

* * *

Поначалу девушка у колодца было согласилась на предложение Тануки возлечь с ним. Она ведь выросла в деревне, и совокупление животных было для нее таким же естественным, как пускающий побеги рис, как зреющая на ветке слива. Знала она и про скотоложство: и ее братья, и соседские парни порой были склонны к подобным забавам. О том же, что таким низким занятиям предаются и девицы, мы слышим реже, но не потому, что юные крестьянки не столь похотливы, как представители противоположного пола. Скорее, это объясняется свойствами девичьей натуры, которая куда чище, умереннее и тоньше, нежели грубое естество взрослеющих парней. Или же это всего-навсего вопрос техники: одно дело, когда обуреваемый гормонами парень лезет на овечку, девицу же, предлагающую себя барану, даже вообразить трудно. Такое упражнение потребует от девицы недюжинной изворотливости и, вероятно, обескуражит барана.

Однако Тануки был не обычным зверем. Он умел ходить на двух лапах, держал себя с нагловатой уверенностью и к тому же обладал обворожительной улыбкой. Он был так мил и убедителен, что девушка и сама не заметила, как начала развязывать кимоно. Увы: когда он принялся хвастаться, что пять минут назад спустился на землю из Иного Мира, она перепугалась, убежала в дом и заперла дверь.

— Я, кажется, видела демона, — сказала она матери, пытаясь объяснить, почему вернулась без воды и с раскрасневшимся лицом.

Отвергнутый Тануки стянул из колодца охлаждавшийся там кувшинчик сакэ и побрел в лес предаваться размышлениям. Посреди ночи, уже изрядно опьянев, он принялся, как это свойственно тануки, барабанить

по своему тугому пузу — *пла-бонга, пла-бонга,* — и эти звуки привлекли внимание кицунэ, то есть лиса.

— До чего ж ты глуп, — сказал Кицунэ, когда Тануки горестно поведал ему о своем поражении. — Только полные дураки говорят людям правду. Люди живут в плену иллюзий, которые сами себе создают. Религия, патриотизм, экономика, мода и все такое. Хочешь добиться расположения двуногих — научись выдумывать так же чистосердечно, как это делают они, и ври людям как тебе заблагорассудится — себе на пользу; но помни главное: никогда и ни при каких обстоятельствах не лги себе.

Хмельной барсук запомнил далеко не все мудрые советы лиса, но кое-что важное усвоил и на следующий день, подойдя в сумерках к девушке у колодца, применил другую тактику.

— О чудесный цветок сакуры, — проскрежетал он, — на самом деле я обычный лесной зверь, очарованный твоей красотой, и если я вчера чего наговорил, то причиной тому было горячейшее желание подержать твою нежную руку и приникнуть к твоей несравненной шее.

— Вот это да... — выдохнула девушка. В глазах ее читались и жалость, и гордость, и благоговейный трепет, а тонкие пальчики тем временем проворно развязывали пояс.

Позже, оставив изнуренную девицу на мягком мху, Тануки постучался в дом крестьянина.

— Десять тысяч извинений, уважаемый хозяин, — сказал он, низко поклонившись. — Помимо того, что я вчера позволил себе грубость в беседе с вами, я, увы, еще и приврал. Посмотрите на меня, почтеннейший. Посмотрите внимательно. Ясное дело, никакой я не Зверь-Предок. Сам знаю, что это чушь! Нет, я всего лишь бедный сиротка из леса, временно бедствующий и изнывающий от голода. Нынче ведь так мало лягушек и дикого лука, и моя прожорливая утроба будет навеки вам благодарна за любое...

Крестьянин, хоть и заподозрил недоброе, но выставил у двери кухни миску вареного риса. Тануки приступил к еде — брал понемножечку, жевал долго и медленно, и когда хозяину это надоело и он отвлекся на какое-то домашнее дело, барсук схватил бочонок сакэ ростом с самого себя и — перебирая коротенькими ножками и размахивая мошонкой — кинулся к опушке, всего на шаг впереди топора крестьянина.

В тот вечер Тануки повеселился от души, и сакэ веселилось вместе с ним. Он барабанил по своему набитому пузу — *пла-бонга, пла-бонга,* — и его ухмылка сияла ярче луны.

* * *

Тануки знал толк в домашнем сакэ. Он любил плясать в лунном свете, аккомпанируя себе на собственном животе, любил лакомиться жирными лягушками и ямсом и не меньше, а то и больше любил совращать молоденьких девушек. После первой победы над дочкой крестьянина последовала долгая череда совращений. Многие годы он одерживал победу за победой, всякий раз получая громадное наслаждение, несмотря на то что некоторые из девиц впоследствии производили на свет странного вида младенцев, которых родственники девушек, считая порождениями демонов, сбрасывали в пропасть или топили в ближайшем ручье.

Однако со временем Тануки наскучили незамысловатые простушки-селянки, и он стал захаживать в города, где женщины были утонченными и роскошными, одевались в шелка, декламировали стихи, подавали

сакэ заметно лучшего качества, да и пахло от них не деревенским потом, а пудрой и духами.

Забравшись во двор или сад или даже в сад во дворе, он подходил вразвалочку к даме — размахивая мошонкой, сверкая ослепительной улыбкой.

— Прошу меня извинить, — говорил он. — Я одинокий житель лиловых холмов, и в город меня привело исключительно сиянье вашей красоты, которой я со всей искренностью хотел бы...

Реакция зависела от возраста дамы. Совсем молоденькие — девушки пятнадцати, шестнадцати или семнадцати лет — визжали так, словно увидели вылупившегося из яйца годзиллу, и спешили, теряя по пути гета[1], укрыться в доме. Девушки старше двадцати швыряли в него гета, швыряли книги, флейты, чайники, светильники, чернильницы и камни и швыряли с такой сокрушительной силой, что ему самому приходилось поспешно искать укрытие. Если же объекту его намерений было тридцать или более, женщина смотрела на Тануки с равнодушным презрением, наставляла на него острый накрашенный ноготь и холодно сообщала:

— Мерзкая мартышка, ты своей вонью погубишь мои хризантемы! Ползи в свою смердящую нору, не то попробуешь мечей моих слуг.

С каждым новым отказом самоуверенность Тануки таяла, пока от нее не осталась лишь жалкая лужица. И, подобрав то, что хвостом свисало у него между ног, он и в самом деле убрался назад в горы — подальше от огней городов, городишек и деревень, дабы ничто не заглушало безмолвной песни звезд. Уныло подкрепившись древесными грибами, он высосал кувшин ворованного сакэ (самого непритязательного) и стал так же уныло приплясывать на ковре опавших листьев. Ближе к полуночи появился лис.

— Что за убогое зрелище! — упрекнул его Кицунэ. — Да я зубочисткой по пельменю и то бы громче колотил. Где гулкость, где напор? Где чувство ритма?

Тануки подавил острое желание огреть Кицунэ пустым кувшином и, забыв о гордости, перечислил весь скорбный список постигших его в городе поражений.

Кицунэ покачал рыжей головой.

— Не могу понять, — сказал он, — как это тебе удалось заслужить репутацию хитреца. Слушай меня, красавчик! Обмануть можно любого человека, но обманывать каждого нужно по-разному. Крючок, на который можно подцепить мужлана, образованный космополит либо выплюнет, либо не заметит. Если, конечно, на него не насажены деньги — роковая наживка, превращающая человека любого сословия в рыбу.

— Я слыхал, их можно обменять на сакэ, — вставил Тануки. — Полезная вещь.

— Это верно. Но если приходится воровать деньги, чтобы купить сакэ, не проще ли просто воровать вино и обойтись без посредника? Деньги! Пока их не изобрели, люди были почти такими же смекалистыми, как мы. Не то чтобы ты уж очень смекалистый. Эта твоя чушь пожалей-меня-зверушку-малую-пушистую-несчастную — жалкая самодеятельность. Годится для комнатных собачек и плюшевых мишек. Ты так до сих пор и не просек, как устроен человеческий разум. Я тебе вот что скажу: желаешь возлежать с женщиной на футоне, прими человеческое обличие.

— Но как же...

1. Национальная японская обувь. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

— Как же, как же! Зверь ты Предок или не Зверь-Предок?

И раздраженный Кицунэ, удостоверившись, что в этот вечер у барсука ни еды, ни выпивки, ни достойного веселья не намечается, растворился в тени.

Тануки улегся на сухую листву и попытался протрезветь настолько, чтобы уяснить смысл сказанного лисом. С неба посыпались редкие снежинки, они летели медленно-медленно, словно ожидая, когда Тануки — или *хоть кто-нибудь* — их заметит, словно зависая в воздухе, пока какой-нибудь недоумок не восхитится их красотой и не скажет наконец, что нет во всем мире двух одинаковых снежинок. С каких это пор, интересно, снежинки уверовали в собственную значимость?

* * *

Это был первый снегопад. Когда же в конце зимы, в середине марта выпал последний снег, на барсучьей полянке можно было увидеть фигуру, отбрасывавшую почти человекоподобную тень. Падая лишь чуть быстрее первой ноябрьской снежной ласточки, охорашиваясь на легком ветерке, хвастаясь театральным шепотом: "Regardez-moi[1]. Подобной мне никто еще не видел и не увидит впредь", самая последняя из снежинок (так до конца и оставшаяся в плену собственных иллюзий) приземлилась на веко, которое, судя по эпиканту, могло бы принадлежать хоть Тосиро Мифунэ[2]. Откуда ее бесцеремонно смахнули пальцем. Заметьте, не когтем, а пальцем.

Почти всю зиму Тануки потратил на то, чтобы добиться совершенства — насколько это было возможно. Его внеземные таланты позволяли изменять обличье, но это была тяжкая работа, а тяжкой работы тануки стараются избегать. Метаморфоза, пусть и временная, требует предельной концентрации (а не происходит, как в сказках, по мановению волшебной палочки), в то время как неумеренное потребление сакэ рассредоточивает внимание. Леность и пьянство явились причиной отдельных недоработок, которые при ближайшем рассмотрении были заметны в фигуре, сладко потягивающейся у входа в пещеру.

Тануки это мало беспокоило. Он все равно предпочитал быть барсуком, полагая (и не без оснований), что такое обличье мягче, но сильнее, проворнее, энергичнее, чем те, в которых обитают знаменитейшие из актеров, спортсменов или воинов. Возможно, он не постиг еще человеческого разума, однако успел понять, сколь ограничены биологические возможности человеческого тела. Его новым подружкам предстояло принять и отдельные островки шерсти, и чрезмерную остроту зубов, и звериную грацию, и яростную пахучесть.

* * *

Апрель. Весенняя земля зудела. Вся природа, пробуждаясь ото сна, почесывалась — лениво, с наслаждением, правда иногда и царапая себя до кости, до тех богатых кальцием конструкций, что притаились под свербящей кожей. Крохотные лягушки проворно выкарабкивались из болотной жижи. Крохотные бутоны, переливающиеся всеми цветами радуги, перли из ветвей. Да и сами деревья, накачавшись весенних соков, как Та-

1. Посмотрите на меня (*франц.*).
2. Тосиро Мифунэ (1920—1997) — японский киноактер.

нуки накачивался сакэ (впрочем, деревья держали себя с куда большим достоинством), впивались ветвями в голубизну неба.

Тысячи насекомых проверяли свои моторчики, готовясь к ежегодной гонке за нектаром и кровью. Вороны, на декабрьских сугробах выглядевшие слишком черными, теряли зловещую мрачность, и весенние цвета делали с ними то же самое, что сделает впоследствии "Техниколор" с Борисом Карлоффом[1]. Но их колючие голоса никаким золотым лучиком было не смягчить. Вороны устроили прослушивание на самую демоническую роль в воображаемом театре Кабуки, и их душераздирающее карканье заглушало и чириканье, и жужжание. Оно словно протрубило побудку — природа вскочила с кровати и собралась засучить рукава.

Тануки тоже встал, умылся, жмурясь на весеннем солнышке, обследовал свою кладовую и сложил кое-что в сине-белую бенто[2]. Весна умеет избавлять от сомнений. Фиалки в апреле не печалятся о скором конце карьеры. Сын мельника снова верит, что завоюет сердце принцессы. И трава, и старая дева сбрасывают ледяные доспехи. Вот и Тануки был настроен оптимистично.

В своем зверином теле он поднялся по цветущему склону, вскарабкался на скалу, где мелкой сыпью поблескивал лишайник, и остановился у подножия водопада. Там он принялся срезать бамбук и виноградные лозы — видно, решил соорудить плот. Увы, оказалось, что заготавливать жерди, а потом еще их и связывать — дело трудное, и, попотев часок, он оставил эту затею.

Тогда он забрался в реку, распластал мошонку по воде, и его тестикулы превратились в пару отличных понтонов. Затем он наклонился вперед и осторожненько опустил тело на это невообразимое плавсредство. *Банзай!* Он отдал себя на волю волн. И река, быстрая и полноводная из-за тающих снегов, понесла Тануки вниз по течению. Так и несла пятьдесят миль. До самого Киото.

* * *

Встретимся в Когнито, милая,
Не будет в Когнито секретов,
Поедем инкогнито, радость моя,
Пусть думает мир, что нас нету.

Инкогнито, замаскированный (до неузнаваемости) под человека Тануки первый день в Киото только и успевал уворачиваться от трамваев и рикш да втягивал голову в плечи, чтобы не стукнуться о бумажные фонарики со свечками и электрические лампочки. Киото переживал переходный период, семенил крохотными шажками от феодального мира к современному, и сопутствующие этому контрасты были, собственно говоря, весьма кстати для нашего странного гостя, поскольку Тануки, Зверь-Предок, жил вне времени. Но хоть он и запросто управлялся с анахронизмами, город все же не был средой его обитания. К несчастью для всех нас, цивилизация и дикая природа никогда не сольются воедино, и можно, конечно, вывести псевдобарсука из леса, но как извести лес в псевдобарсуке?

1. Борис Карлофф (1887–1969) — киноактер. Прославился, снявшись в черно-белых фильмах "Франкенштейн" (1931) и "Невеста Франкенштейна" (1935).
2. В Японии — небольшая коробка с дорожным набором еды.

Он осторожно исследовал город, принюхивался к лоткам с лапшой, глазел на гейш; звериная жадность, с которой он лакал сакэ и грыз мясо, наглость, с которой стучал себя по животу или ковырялся в зубах, когда следовало восхвалять императора или декламировать любимое хайку, неподвижность взгляда, устремленного на луну или на клин перелетных гусей, — посреди Киото все это выдавало в Тануки деревенщину.

Разумеется, ему были присущи вышеупомянутые обаяние и привлекательность, сохранившиеся и тогда, когда он превратился из зверя в человека. Находились и высокородные горожанки, которых его дремучие манеры возбуждали — грубость соблазняет утонченность. Но деревенские ухватки — одно дело, а клочья седой шерсти под коленями любовника — совсем другое; и благородные дамы, и куртизанки, увидев его обнаженным, со всех ног мчались назад к утонченности.

Но не все. Как внушали нам мудрецы, вкус — понятие необъяснимое, и, похоже, некоторые женщины благоволят к волосатым мужчинам, благоволят настолько, что их нимало не смущают пучки шерсти, произрастающие там и сям на теле возлюбленного. Ни у одной не закралось — или кое у кого закралось? — подозрение, что Тануки дикий зверь. А меховая поросль — что ж, прилагается к продукции.

Оставалась, впрочем, еще одна проблема. И это был уже coup de grâce[1]. Допустим, дама поддается его суровому очарованию, чрезмерная местами волосатость скорее разжигает, а не остужает страсть. Готовясь принять первый сладостный удар, она томно откидывается на шелковые подушки, и тут вдруг кверху взмывает хвост, куцый обрубок, который он по небрежности не удосужился трансформировать, а она в пылу желания до сих пор не замечала. Однако теперь в возбуждении и хвост выскакивает из укрытия и... начинает энергично *вилять*! (Не забывайте, тануки по происхождению все же собака.) Увы, этим обычно все и заканчивалось — кончиком хвоста. Будь coitus interruptus[2] отдельным государством, хвост Тануки стал бы его флагом.

Одна лишь госпожа Огумата, признанная красавица Киото, дозволила продолжить спектакль, когда на сцену выскочил хвост. Само собой, успех окрылил Тануки, и через несколько дней он, рассчитывая на повторение, вновь постучал в ее дверь, однако слуга сообщил, что "госпожа Огумата отбыла на длительный отдых на взморье".

* * *

Тануки опостылел Киото. Женщины были слишком разборчивы, воздух слишком грязен, на улицах слишком многолюдно и шумно, и вообще там было слишком много правил и установок. И цикад не слышно, и половины звезд не видно, и деревья повырублены — а все ради домов и лавок.

— Ну почему, — ворчал Тануки, — почему деревья рубят, а людей не трогают? Деревья куда полезнее, и весь мир — за исключением людей — это понимает.

Может, он и был прав. Деревья вырабатывают кислород, люди же его поглощают, отравляют и большей частью используют не по назначению. Деревья укрепляют почву, люди же ее постоянно разрушают. Деревья дают приют и защиту и зверю, и птице, люди же их уничтожают. Деревья регулируют температуру атмосферы, а люди угрожают жизни на

1. Губительный удар (*франц.*).
2. Прерванное сношение (*лат.*).

планете, поскольку эту регуляцию нарушают. В тени человека, даже корпулентного, отдохнуть нельзя; а у деревьев — вот что приятно — даже трудности роста проходят без нервных срывов. У кого, скажите, больше достоинства — у дерева или у типичного гомо сапиенс? И, наконец, пытался ли когда-нибудь клен или кипарис всучить вам ненужный товар?

Банально? И что с того? Суть в том, что нашему приятелю это все осточертело. В тот вечер, узнав о бегстве госпожи Огуматы, он удалился на окраину города, где в укромном уголке между сосновым леском и старой каменной оградой провел теперь уже десятиминутную процедуру превращения обратно в Nyctereutes procyonoides. Он не единожды проделывал это в Киото, но на сей раз особенно вовремя. Едва он завершил трансформацию, едва, заиграв упругими звериными мускулами и ощутив увесистую тяжесть тестикул, возрадовался, как услышал со стены негромкий свист, и нежный женский голосок воскликнул:

— Так вот оно что! Ты и в самом деле колдун из Иного Мира!

Тануки ощетинился. Какая-то бесстыжая человеческая особь шпионила за ним и наблюдала за трансформацией! Что за безобразие! Развернувшись к соглядатаю, он встал на задние лапы, оскалился и зашипел.

— В нашу последнюю встречу вы были куда дружелюбнее, Танукисан. — В нежном голоске слышалась насмешка.

Барсук вгляделся в фигурку, стоявшую в воротах.

— Я... я... мы что, знакомы? — пробормотал он.

— Еще бы! — Женщина шагнула к нему. — С тех пор, правда, прошло двенадцать лет, и, полагаю, за это время ты уже и счет потерял бедным девушкам.

Ей и в голову не могло прийти, что для таких, как Тануки, двенадцать человеческих лет — все равно что целый век. Или, допустим, четыре минуты. Она знала лишь, что ей теперь двадцать девять, на двенадцать лет больше, чем было, когда он уложил ее на мягкий мох у родительского колодца.

О да, то была Михо — крестьянская дочь, первая, которую он соблазнил, спустившись из Заоблачной Крепости на землю, куда был сослан по решению разгневанного совета божеств, на котором председательствовали порицавший барсука Бог Умеренности и пребывавшая в ярости Богиня Слипшейся Лапши. (Между прочим, если бы его покровители — Богиня Мелких Краж, Бог Икоты и Отрыжки и Бог Дуракаваляния — не помогли ему бежать, Тануки, возможно, отлучили бы от нашего мира навеки. Во всяком случае, так гласит легенда.)

Михо вновь ему представилась, а когда он подошел поближе, напомнила своему когдатошнему соблазнителю, как они с ним забавлялись у колодца. Рассказала, что в результате этих забав забеременела и родила чудесного ребеночка — во всех отношениях нормального, только появившегося на свет с полным набором зубов. И ушки у него были чуточку заостренными. И еще личико его человеку предвзятому напомнило бы рыльце. Ах да, еще мошонка была вдвое больше головы. Но в целом дитя получилось прекрасное. Милое и прекрасное. *Ее* дитя. Увы, ее мать прокляла ребенка, братья над ним потешались, а отец выбросил в овраг. В овраг, где кормились дикие кабаны.

— Невежественный кретин! — взвыл Тануки. — Мало я ему врезал! Впрочем, — добавил он, подумав, — сакэ у него сносное.

Опозоренная Михо бежала из деревни и отправилась в Киото.

— Я рассчитывала стать гейшей, — сказала она, — но в каждом доме гейш мама-сан, осмотрев меня и увидев растяжки, которые твое могучее дитя оставило на моем животе, отсылала меня прочь. Я голодала, мне негде было приклонить голову, и я едва не стала обычной уличной девкой, но монахи из здешнего храма, найдя меня спящей у этих самых ворот, взяли к себе.

— Монахи? — Тануки наконец разглядел в полумраке за оградой знакомый островерхий силуэт крыши храма. — Я и не знал, что монахи пускают к себе женщин.

— Так это же дзен-буддисты. Они в отличие от обычных буддистских монахов не боятся искушений. И их, в отличие от голубоглазых европейских дьяволов, что нынче шныряют по Киото, не пугают идеи, противоречащие их собственным. Дзен-буддисты *ничего* не боятся. — В голосе Михо слышалась гордость. — Но работу, — добавила она, — мне дают тяжелую, я и готовлю, и убираю. Встаю каждый день в четыре утра и редко когда ложусь раньше полуночи.

Тануки даже при тусклом свете заметил, какой у нее изможденный вид. Нос у Михо был кривоват, морщинистый подбородок слишком уж напоминал японскую хурму, поэтому классической красавицей ее назвать было трудно, однако шея была длинной и изящной, что так ценится ее соотечественниками, и в целом она радовала глаз. "*Была бы и посимпатичнее*, — подумал Тануки, — *если б эти монахи побаивались хотя бы перегружать людей работой*".

— Ты небось ненавидишь меня лютой ненавистью, — сказал он, переминаясь с ноги на ногу, словно готовясь пуститься наутек.

— Да что ты, — поспешно ответила она. — Нисколько. Когда б не ты, я бы не увидала Киото, его огней, уличных музыкантов, храмов, самураев и роскошных кимоно. Так бы и сидела в деревне, кормила бы кур и батрачила день и ночь не на славных монахов, а на дурачину-мужа. Ты сломал предполагаемый план моей жизни, и хотя неопределенность и перемены порой досаждают, без них жизнь — лишь спектакль кукольного театра.

— Ты рассуждаешь прямо как твои монахи, — проворчал Тануки.

Михо зарделась.

— Да, пожалуй, они оказали некоторое влияние на мою жизненную позицию. — Она замялась. — Послушай, Тануки-сан, я не хотела бы брать на себя лишнего... но я случайно повстречала в Киото пару девушек, которые также носили под сердцем твоих незаконнорожденных детей, и они говорят то же самое. Естественно, все мы чуть с ума не сошли от горя, когда наших чад уничтожили, и это наша неизбывная печаль, но все же мы благодарны тебе за то, что, воспользовавшись нашей неопытностью и доверчивостью, ты перевернул наши жизни, направил нас на новые пути, о которых мы прежде и помыслить не могли. И я беру на себя смелость сказать от нас всех: спасибо тебе, что ты нас погубил. — Михо смущенно улыбнулась и потупила очи.

Тануки, который несколько минут назад чуть не лопался от самодовольства — как избалованное дитя или тренер университетской баскетбольной команды, — впал в несвойственную ему задумчивость. Его мордочка с округлым вытянутым рыльцем, напоминавшая, должно быть, Михо велосипедное седло, приняла столь сосредоточенное, отрешенное выражение, какое приобрело бы "седло" под грузом увесистых ягодиц Будды.

Думал он о Кицунэ, о том, как лис вечно подшучивает над людьми, утверждая при этом, что его подлые проделки идут им исключительно

на пользу, поскольку в конце концов вынуждают проявлять гибкость и изобретательность, что способствует их усовершенствованию. Прежде Тануки был убежден, что лис просто актуализирует собственное поведение, причем без всякой на то надобности, поскольку по его, барсука, мнению удовольствие оправдывает все, а усовершенствование человеческой природы никогда его не заботило. Однако выходит, если Михо говорит правду, его собственные беспечные забавы невольно повлекли за собой положительные изменения в жизни нескольких женщин.

Тануки не мог решить, как к этому отнестись. Он испытывал *нечто*, однако чувство было слишком уж неожиданным и незнакомым — в анналах истории тануки такого прецедента не встречалось. Но он не успел в нем разобраться, поскольку его размышления прервала Михо.

— Мне пора идти убирать со стола после ужина, — сказала она. — Я рада, что наконец представилась возможность сказать тебе все это. И, Тануки-сан, я бы хотела при случае узнать, как получилось, что ты, обитатель лесов, рискнул отправиться в большой город. Заходи еще, я угощу тебя чаем.

— Сакэ, — выпалил Тануки, хотя имел ли он в виду то, что подался в город ради сакэ или же предпочел бы сакэ чаю, так и осталось навсегда неясным.

* * *

Тануки намеревался вернуться в места, где некогда плясал (точнее, колошматил себя по животу), располагавшиеся по большей части в предгорьях Хонсю; впрочем, известно, что он наведывался и в сельские районы Хоккайдо. *Однако добрался он только до отрогов к западу от Киото, где набрел на неглубокую заброшенную пещеру, куда и заполз.* Дабы погоревать.

Да-да, именно так. Странное новое ощущение, задевшее слабые струны в душе Тануки, было не чем иным, как горем. Чувство это, прежде незнакомое, раздражало его. Оно нисколько ему не нравилось, и он злился, что не запасся выпивкой, которая помогла бы от него избавиться. Однако вместо того чтобы навестить одну из близлежащих деревень на предмет кувшинчика-другого сакэ, он остался в пещере и попытался разобраться в себе.

В суровой черной книге, которую "европейские дьяволы" повсюду носят с собой, написано: "Господь прощает все, кроме уныния". Миссионеры упорно не желали обсуждать подобные утверждения с дзен-буддистами, которые вежливо пытались их оспорить. "Голубоглазые не могут достичь ни мудрости, ни покоя, — говорил один из наставников Михо, — поскольку их основное занятие — рукоплескать страданиям, выпавшим на долю заблудших душ", и разумеется, неграмотный и далекий от этого Тануки не был знаком с сей сентенцией. Но он обладал инстинктивным знанием (интуиция, которую, надо признаться, будил в нем порой Кицунэ) и чувствовал, что уныние разрушительно для того, кто им мается, и обременительно для окружающих; а если человек упорствует, боги рано или поздно потеряют терпение и подкинут человеку уже не повод, а настоящую причину для уныния.

Оплакивал ли Тануки личную утрату? Или болезненно реагировал на факты убиения младенцев вообще (между тем, эта практика весьма распространена в отдельных районах Азии)? И что было в этом от обычного любопытства: какие такие детки могли появиться в результате межвидового спаривания? Этого мы не узнаем никогда. Даже если это было

главным образом любопытство, не следует его осуждать, ибо любопытство, а в особенности интеллектуальная пытливость — это то, что отличает истинно живых от тех, кто лишь проживает жизнь. Во всяком случае, если речь идет о людях.

Что бы ни определяло печаль барсука, предавался он ей всего неделю. И одним ясным октябрьским утром приступил к действию. Расправив сухожилия, размяв мышцы, потрещав суставами и похрустев костями — от этой телесной какофонии все окрестные мышки, кролики и птички бросились врассыпную, — он вновь принял человеческий облик и отправился уже по главной дороге назад в Киото.

* * *

Встретимся в Когнито, милая,
И сразу выкрасим волосы наши.
Самое лучшее в Когнито —
Здесь никем становится каждый.

Тук-тук!

— Кто там?

Не успел Тануки ответить, как ворота приоткрылись, и показалось личико Михо. Она озадаченно уставилась на него.

— Прошу прощенья, господин, но это ворота для торговцев. — Очевидно, люди в богатых кимоно (его Тануки стянул с бельевой веревки у одного зажиточного дома) никогда не подходили к задним воротам монастыря. — Чем я могу...

— Да я это. Я Самый.

Голос у Тануки был, как будто ржавыми крышками от кастрюль скребли по сухому песку. Михо не могла сообразить, откуда ей знаком этот голос, и уж никак не могла соотнести его со щеголеватым, хоть и слегка потрепанным господином, стоявшим перед ней.

— Да я это, черт подери! Твой совратитель.

У Михо в голове замигала лампочка. А может, бумажный фонарик.

— Батюшки! Тануки-сан? Опять проделали фокус с превращением? — Почему-то, разговаривая с Тануки в человеческом обличии, она смущалась, как если бы настоятель, сидя в отхожем месте, читал ей сутры. Однако пригласила его зайти.

И настоятель, и монахи всем скопом отправились на рассвете в горы полюбоваться на палую листву, как делали каждый год. Тануки наверняка повстречал их на дороге. Михо и трех юных послушников оставили охранять монастырь; едва закончив утренние дзадзен[1], мальчишки, воспользовавшись свободой, укатили в город на представление театра Кабуки. Тануки с Михо оказались в монастыре одни.

Зная наклонности Тануки и догадываясь о чувствительности Михо, читатель может, в пределах допустимого, представить, что творилось там вечером и ночью. И вот что удивительно: Михо наотрез отказывалась от интимного общения с Тануки, отказывалась есть, пить, плясать и развлекаться, пока он не потянется, не похрустит, не потрещит и не превратится снова в барсука.

Тануки ее требование удивило, но и растрогало — насколько он вообще мог растрогаться.

1. В дзен-буддизме — медитация.

— Подлинный злодей всегда предпочтительнее поддельного героя, — объяснила Михо свой каприз.

Безусловно, странность ее предпочтений имела куда более сложную психологическую подоплеку, однако она не стала вдаваться в подробности.

Тануки же решил, что это очередная тупая сентенция из дзен-буддизма, однако счел ее комплиментом и окончательно убедился в том, что поступил мудро, выбрав из всех женщин именно ее для... для осуществления своей цели.

* * *

Пла-бонга, пла-бонга. Этот звук — громкий, энергичный и гулкий — разносился по всему монастырю и окрестностям. *Пла-бонга, пла-бонга.* На многие мили вокруг. То его лапы колотили по пузу, отбивая ритм, под который наша парочка кружилась по двору; то его здоровенный тугой живот бился о ее плоский, когда они... *Пла-бонга, пла-бонга.* В ней было пять футов три дюйма роста, он же был на добрых пару футов короче, однако как-то ухитрялся... *Пла-бонга, пла-бонга.* Жители соседних деревень мрачно переглядывались и говорили:

— Зима, видать, будет суровая. Тануки в город потянулись.

Монастырь сиял и светился издалека, но этого окрестные жители с барабанным боем никак не связывали. На футоне Михо, на каменном полу в умывальне, на татами перед алтарем, на низеньких столиках и на кипарисовом комоде поблескивали лужицы — и не только от пролитого сакэ.

Он заправил ей бак. И дозаправил. Осталось еще достаточно, чтобы полить несколько комнат со всей мебелью. Она внесла и свой вклад, а тут еще серебристый свет луны, брызги лучшего монастырского вина — и весь монастырь засверкал и, чего со стороны видно не было, стал скользким, как каток. Бесстрашные мыши, привлеченные дурманящими запахами, обещавшими богатую наживу, вылезли из норок и заскользили, как малолитражки по льду. Мошки и комары прилипали к стенам. Сверчок на полу потер лапки — и не смог их разнять.

Следующие два дня Михо скребла и мыла. К возвращению монахов от выплесков Тануки видимых следов не осталось, но при ходьбе Михо все еще пошатывало. А что до исчезнувшего сакэ и разбитых чаш, то за них пришлось держать ответ послушникам.

* * *

Тануки вернулся к монастырю лишь месяца через три.

Тук-тук.

— Кто там?

— Я. Я Самый.

— Уж не Тот ли это Самый, что свел меня с ума и бросил? — В тоне Михо не было упрека — она ведь ничего другого и не ожидала, — но присутствовала грусть. И когда она открыла ворота, он, заметив печаль на ее лице, спросил, в чем дело.

— Мне придется покинуть монастырь, — сказала она. — Покинуть мудрых монахов.

— Из-за сакэ?

— Из-за будущего ребенка. — Она погладила себя по еще не округлившемуся животу.

Тануки расплылся в улыбке. Нельзя сказать, что новость застала его врасплох. Семени, извергнутого им, достаточно было бы, чтобы заново заселить Атлантиду и половину Помпей. (Другой вопрос, какими именно особями.)

— Очень хорошо, — сказал он деловито. — Миссия выполнена. Я пришел забрать тебя. Ты станешь моей женой.

— Да как же... Не могу же я выйти за барсука... — пробормотала Михо.

— Я не барсук. И кто это сказал, что не можешь?

Она задумалась.

— Да, собственно, никто не сказал. — Она еще немного подумала. — Но я не могу жить в лесу, как дикий зверь.

— Прекрасно можешь.

— Да? — Она замялась. — С этой точки зрения я вопрос не рассматривала.

И через час, как только стемнело, странная парочка направилась в горы.

* * *

Дорога была слегка припорошена снегом. Порывы ветра то и дело вздымали кверху снежные облака, сливавшиеся с блеклой рисинкой луны в небе и с паром, подымавшимся от двух путников. Они для тепла держались за руки и брели по узкой крутой тропинке.

Так они прошли мили три или четыре, и тут путь им преградила троица *ронинов* – безработных вольнонаемных самураев, потрепанных выходцев из прошлого. Поначалу ронины решили, что Михо ведет за собой ребенка, и, хотя их плотоядные взоры не оставляли ни малейшего сомнения в их намерениях, в них заговорили остатки былого благородства, они уже хотели отпустить молодую мать с миром. Но, увы, как раз в этот миг из-за облака вышла луна.

— Вот те на! — воскликнул один из ронинов. — Это что ж у нас такое? Хорошенькая шлюшка прогуливает любимую зверушку. — Какую именно зверушку, он не сказал. Ему случалось слышать, как они барабанят, но видеть тануки он прежде не видел.

— Это не зверушка, — резко оборвала его Михо. — Это мой... — И тут она запнулась. Не смогла произнести этого слова, и, наверное, к лучшему.

Мужчины обступили ее, и Тануки воинственно зарычал. Один из разбойников вытащил из ножен ржавый щербатый меч, жаждавший скорее хорошей смазки, чем свежей крови, и попытался снести псевдобарсуку голову, но был выпивши и давно не практиковался. Тануки проворно увернулся и впился клыками подлецу в коленную чашечку. Крестообразные связки затрещали, мениск выскочил, латеральная связка разорвалась, разбойник уронил меч, с воем схватился за колено и, поскольку нога уже не выдерживала его веса, рухнул наземь.

Тануки ощерился на второго ронина, но третий зашел сзади и с такой силой вмазал по маленькой барсучьей заднице, что тот покатился кубарем и шмякнулся мордой в рисовую стерню. Двое злодеев с гиканьем и улюлюканьем набросились на Михо. Один стал стягивать штаны, а второй взялся за меч.

Когда-то давно, в деревне, Михо частенько билась с братом на деревянных мечах. Да и от тяжелой работы мускулатура окрепла. Поэтому неудивительно, что она схватила упавший меч и резким, точным ударом

отделила кулак негодяя от запястья. Отделила, правда, не до конца, и отсеченная кисть повисла на окровавленном сухожилии.

Лис, молча наблюдавший за стычкой из ближайших зарослей, пробурчал:

— Похоже, этот беспечный тануки нашел себе в пару самку человека. Поступок не самый мудрый, хорошо хоть выбрал храбрую.

Тут с рисовой стерни поднялся Тануки — весь мокрый, в грязи, льдышках и навозе. Он испустил грозный рык, забарабанил по животу, затряс своими огромными яичками. Из глаз полетели синие молнии. Кицунэ забавы ради поддержал его из зарослей громким лаем. Трое до смерти перепуганных и уже покалеченных ронинов похромали-поползли на обочину, освободив дорогу женщине и зверю, направлявшимся в свой будущий дом в горах.

Она, достав из узелка с чистой одеждой пояс оби, обтирала с Тануки грязь и дерьмо, он же — что было ему несвойственно — превозносил Михо за мастерство и смелость, а Кицунэ, так и не выйдя из укрытия, только хмыкал да качал рыжей лисьей головой.

— *Ах со дезу'ка?* — бормотал он. — И что ж из всего этого выйдет?

А затем вновь переключил внимание на жирного фазана, которого в тот зимний вечер послали ему боги.

* * *

Когда они добрались до леса к северу от озера Бива, где находилась любимая пещера Тануки, Михо хоть и не потеряла присутствия духа, но изнемогала от усталости. Пещера была просторной — Михо могла стоять в ней в полный рост, но так продрогла, устала и ослабла, что ноги ее не держали. Она со вздохом опустилась на провонявшую пóтом подстилку из сосновых веток, сухой листвы и мха. Тануки укрыл ее футоном, который она прихватила из монастыря, а сам пристроился рядышком и выдал такой сеанс любовной аэробики, что вскоре она уже исходила пóтом, как борец сумо на тренажере. После чего заснула и проспала двенадцать часов.

Когда спишь на чужой подушке, бывает, тебе снятся чужие сны. Если например, супружеская пара поменяется сторонами кровати, ему некоторое время будут сниться ее сны, а ей — его. На гостиничных постелях ничего подобного, разумеется, не случается — там люди надолго не задерживаются, и рожденные их сознанием образы не успевают впечататься в постель. Это связь с ложем или с тем, что под ним? Можно предположить, что мы притягиваем биты информации из нижнего мира, и они формируют наши сны — так на металле под воздействием молекул кислорода образуется ржавчина. В таком случае сны, возможно, есть форма окисления психики. Каждое утро промасленная тряпка действительности стирает все дочиста. Но рано или поздно, проржавев насквозь, мы теряем упругость, проводимость и четкость контуров; нас настигает слабоумие, мы лишаемся рассудка и угасаем. Этого удалось бы избежать, если бы тряпкой терли поэнергичнее. Поэтому-то буддистские монахи и призывают — как и прочие мистики: "Проснись! Проснись!"

Во всяком случае, Михо во время ее первого долгого сна в пещере Бива снилось то, что прежде не снилось никогда. Она и не ведала, что это были сны Зверя-Предка. Сны тех времен, когда звезды были, как капельки смолы, и олени порой их лизали. Когда грозовые тучи появлялись, если пукали омары. Когда зубовный скрежет и хруст костей соперничали с музыкой сфер. Когда каждая снежинка действительно была

неповторимой, и ее изображение вполне могло висеть в полицейском участке на стенде "Разыскиваются". Михо снились сны, от которых она краснела. И дрожала. И порой рычала. Во сне.

Тем не менее проснулась она отдохнувшей.

– Как ты думаешь, это правда, – спросила она, потянувшись и окончательно сбросив с себя пелену сна, – что пчелы изобрели арифметику, и это вывело богов из себя?

– Понятия не имею, о чем ты, – проворчал Тануки.

Водрузив на блюдо из коры горку сушеных ягод и сашими из форели, он подал ей завтрак в постель. После чего исчез на сорок восемь часов – отправился в набег на ближайшую деревню, дабы раздобыть мешок риса для нее и, вероятно, каплю-другую сакэ для себя, а Михо осталась хозяйничать в пещере. Началась их новая жизнь.

* * *

Для Михо пещера настолько же отличалась от буддистского монастыря, насколько монастырь отличался от деревни, где она выросла. Впрочем, она довольно легко приспособилась: ей было там уютно, комфортно и даже привычно. Оно и понятно, ибо помимо очевидных утробных ассоциаций, в ДНК каждого человека сохраняется достаточное количество собственно пещерной памяти. Не говоря уж о пещерном наследии.

Когда обезьяны слезли с деревьев и научились пользоваться острыми предметами, они вынуждены были перебраться в пещеры, где нашли защиту не только от хищников, но и от стихии, что оказалось актуально, поскольку они начали терять шерсть. Со временем они приноровились отображать на стенах пещер свои охотничьи фантазии, что поначалу было попыткой практической магии, а потом стало приносить странное и неожиданное удовольствие.

Шло время. Искусство сошло со стен и превратилось в ритуал. Ритуал стал религией. Религия породила науку. Наука привела к большому бизнесу. Бизнес же, если не сойдет с пути ненасытного потребления, приведет тех, кому удастся выжить, обратно в пещеры.

Остается только предполагать, был ли такой синопсис человеческой истории закодирован в генах Михо, и эта загадка под силу лишь умам, подобным тем, что собрались на вилле "Инкогнито". Одно можно сказать наверняка: Михо куда проще было приспособиться к жизни в пещере, чем к жизни с Тануки.

Право слово, ей не в чем было его винить. Ни одно из подобных ему созданий не прилагало столь искренних усилий, но, увы, семейная жизнь не была его призванием. Как ни трудно в это поверить, но Тануки в случаях, когда нужно было угадать потребности женщины или уловить перемену в ее настроении, становился еще беспомощнее среднего мужчины. Например, он заставлял ее таскать воду из ручья и собирать дрова (огонь ему был нужен не для тепла, ему просто нравилось все жареное), когда ей уже не следовало поднимать тяжести. Он никак не мог взять в толк, почему они не могут поочередно или вместе побарабанить всласть по ее округлившемуся животу. Несколько месяцев она приучала его не мочиться в местах, отведенных для приема пищи и сна. А в ночи полнолуния тануки со всей округи собирались у пещеры поплясать и побарабанить, и когда она, притомившись, отправлялась спать, то не могла с уверенностью сказать, кто приходил ее трахать – ее Тануки или пришлый тануки (или целая толпа тануки). На физиологическом уровне

это значения не имело, поскольку оргазмы сыпались с той же частотой и интенсивностью, но на эмоциональном...

Эти же эмоции руководили ею, когда она донимала Тануки просьбами устроить хоть какую-нибудь брачную церемонию. Называл же он ее своей *женой*. Он не то чтобы возражал против свадьбы, просто не знал, как это устроить. В конце концов он попросил совета у лиса. Кицунэ счел идею женитьбы тануки на женщине нелепой и бессмысленной, но именно поэтому она ему и понравилась. Это должно было по крайней мере вызвать гнев как людей, так и богов, и Кицунэ, известному борцу за улучшение человеческой природы, а к тому же главному посланцу богов на земле, было отлично известно, какие существенные преимущества и тайное удовольствие можно извлечь из нарушения табу.

Брачная церемония, предложенная лисом, оказалась синтоистским обрядом, знакомым Михо с детства. Он называется *сан сан ку до* — трижды три девять раз: присутствующие рассаживаются кружком, и синтоистский священник разливает теплое сакэ. Чаша с сакэ трижды проходит по кругу, и каждый, получивший ее, делает по три глотка за раз. Когда последний из участников церемонии делает девятый глоток — банзай! — священник объявляет пару мужем и женой. Кицунэ вызвался исполнить роль священника.

На таких условиях Тануки, надо ли говорить, охотно согласился стать женихом. Думается, излишне упоминать, что ни священник, ни жених не удовольствовались девятью глотками сакэ. Чаша не переставала ходить по кругу. Снова, снова и снова... В конце концов Михо решила, что она сочеталась браком не менее двенадцати раз, а что до барсука и лиса, то их союз получился столь неразрывным, что никакой суд, трудись он денно и нощно в течение года, не смог бы их развести.

* * *

Дитя явилось под дуновение летнего ветерка. Михо по-животному присела на корточки над бамбуковой циновкой и выродила его без особых мучений. Как она описывала это позже, у нее часа два тянуло низ живота, после чего из утробы вывалилось нечто вроде комка сливового джема. Стало скользко, мокро и щекотно. Словно головастик выскочил из соломинки для коктейля.

Родилась девочка, и она была само совершенство. Ну да, именно — само совершенство. У нее был материнский слегка кривоватый нос. Однако он никоим образом не напоминал рыльце. И уши ее не тянулись к Полярной звезде. Она была замечательно лысой — с головы до кончиков крошечных пальцев, десны ее были лишены и намека на зубы — как "гуманный" капкан, а о размере мошонки и вопроса не вставало. Собственно говоря, единственной внешней чертой, унаследованной ею от отца, была глуповатая, однако завораживающая усмешка, дразнящая улыбка тануки, одновременно радостная и свирепая, веселая и угрожающая.

Тануки был жестоко разочарован. Он потратил почти год, и *это* награда за его подвиги и жертвы? Обыкновенное двуногое отродье! Каких и так полным-полно.

Что ж, справедливо подмечено. Однако это дитя было *не совсем* обычным. Улыбка-то его. И при нужном освещении во взгляде девочки читалось что-то древнее и позабытое. Его пленило то, что она вечно пускала пузыри. То, как она писала где угодно и когда угодно — в точности как он. Как с бесстрашным простодушием цеплялась ручонкой за его лапу.

— Мы назовем ее Казу, — сообщил он Михо, проведя почти две недели в раздумьях.

Поскольку *казу* называли липкую сладковатую жижу, что скапливается на дне фляг с сакэ, Михо обрадовалась, посчитав выбранное имя знаком отцовского одобрения.

И действительно, шли месяцы, и Тануки любил дочь все больше и больше. Эта любовь была взаимной. Тануки приводил Казу в полный восторг, что вполне понятно. У нее единственной в мире отцом был плюшевый зверек. Играя друг с другом, они сами были похожи на игрушки.

Приятно было бы сообщить вам, что эта правдивая история движется к неминуемому и счастливому концу. Но — увы...

* * *

Когда голые обезьяны окончательно отбились от рук, богам опостылела земная жизнь. Они перенесли свою обитель в высшие сферы, и хотя их влияние на земле оставалось весьма существенным, с течением веков оно становилось все более скрытым и косвенным. К тому времени, о котором мы ведем рассказ, и в тех краях, где все это приключилось, они не слишком часто вмешивались в дела смертных, за исключением того, что касалось соприкосновения человека с миром природы. Именно поэтому, как Кицунэ и предсказывал, брак Тануки и Михо привел их в ярость. И лишь настойчивые просьбы Кицунэ (хитроумный, изворотливый лис был для Заоблачной Крепости бесценным посланником) уберегли супругов от божьей кары.

Почти два года Кицунэ удавалось скрывать от богов известие о том, что в результате запретного союза между Зверем-Предком и женщиной на свет появилось дитя. Однако как-то утром, когда лис лакал воду из ручья, его настиг солнечный луч, оглоушивший беднягу, а невидимая рука схватила за хвост и вознесла истошно вопящего лиса на сотни футов над землей. Он тотчас догадался, что кто-то насплетничал богам. Скорее всего кукушка. Все птицы болтливы, но кукушка — это особый случай. По-японски она называется *хототогису*, что значит, в зависимости от написания, либо "птица иного мира", либо "птица времени". Как в хайку, сочиненной Басё[1] по возвращении после долгого отсутствия в Киото:

> И вот снова я в Кио,
> Но я тоскую по Кио —
> О, птица времени...

Что есть более изысканное, пронзительное и точное выражение мысли "Домой вернуться невозможно". Но мы отвлеклись.

Дело в том, что кукушка со своими мрачными песнями залетает туда, куда прочим птицам не попасть. Впрочем, и это не имеет значения. Важно другое: *некто* принес богам на хвосте эту новость, что неминуемо должно было привести к печальным последствиям.

* * *

Боги, которые, как наши политические и военные лидеры, никогда особенно не переживали, если приходилось жертвовать невинными жизня-

1. Мацуо Басё (1644—1694) — японский поэт.

ми ради "высшего блага", наслали на западное побережье Хонсю могучий тайфун. Правда, в глубину острова он добрался, уже поистратив свою силу, и представлял минимальную угрозу для существ, укрывшихся в пещере. Казу из-за проливного дождя держали внутри, да в пещере кое-где покапывало, вот и все. Однако, едва тучи рассеялись, боги — они не привыкли отступать — вызвали мощное землетрясение. Жителей пещеры трясло, как аспирин в банке, но гора устояла, и хотя грязевые оползни уничтожили несколько деревенек у ее подножия, все, кто успел укрыться, выжили.

Не успела последняя тектоническая плита перевести дух и обустроиться на новом месте, а Кицунэ уже мчался к пещере. Он-то знал, что теперь начнется. Боги станут засылать демонов, вооруженных всякими демоническими штучками: лихорадками да рвотами, опухолями да горячками, травмами, комами, судорогами, ядовитыми укусами и так далее. И все это колдовство будет метить в Казу. Кицунэ прибавил ходу.

До пещеры оставалось с километр, когда он приметил голову Тануки, высовывавшуюся из дупла. Поначалу лис решил, что его приятеля пришибло землетрясением, но скоро сообразил, что барсук отсыпается после пьянки. От Тануки несло не только и не столько сакэ, сколько смесью вагинальных ароматов, причем, как определил острый нюхом лис, не только человеческих. (В горах встречались и барсучихи.) Мало того, он еще и кровью истекал, а раны заработал явно не при землетрясении: их нанесли крестьяне, с чьими женами и дочерьми он развлекался. Его короткие лапки отекли от чрезмерных плясок, а пузо он себе отбарабанил чуть ли не долыса.

— Уж прости, что я не стану рассыпаться в комплиментах твоему элегантному виду и изысканным манерам, — сказал Кицунэ. — Комплименты заслуженные, но сейчас не до них. Немедленно беги в пещеру: семью оттуда нужно уводить. — Тануки только зарычал и попытался повернуться на другой бок, но лис схватил его за уши. — Слушай меня, жалкий плут!

И объяснил быстро трезвеющему Тануки, как Заоблачная Крепость намерена изничтожить крошку Казу.

Первым порывом Тануки было желание дать отпор, но у него было маловато приемов, да они и не сгодились бы в борьбе с объединенными силами Заоблачной Крепости, и у него хватило-таки ума это сообразить. Кицунэ же множество раз удавалось перехитрить богов, но в данном случае он не намерен был рисковать.

— Выбора у тебя нет, — сообщил он. — Надо немедленно отправлять их подальше от этой страны.

Барсук тяжело задумался.

— Эта Михо, — сказал он не таким скрипучим, как обычно, голосом, — эта Михо замечательная жена. Насколько это возможно для женщины. Да, конечно, в последнее время она была ко мне не слишком добра...

— Непонятно только почему, — вставил лис, и кончик его языка так и светился ехидством.

— А Казу? Как же это, Казу, детка моя драгоценная! Что же с ней будет?

— Раньше надо было думать, — проворчал Кицунэ. — Привести дитя в этот мир, не позаботившись заранее о его безопасности и счастье, — само по себе преступление, и родителям, виновным в этом, надо удалять гениталии. — Он бы наговорил еще много чего, да заметил в круглых глазенках барсука самые натуральные слезы. Кицунэ положил лапу на плечо Тануки. Никогда прежде он не видел его в таком отчаянии. — Все будет хорошо. Пойдем-ка к ручью, тебе умыться надо. А потом, если хочешь, я провожу тебя домой.

— Ладно, — буркнул Тануки. — Спасибочки. — Но тут призадумался. — Мне сначала надо кое-что найти, — заявил он.

В зеленых глазах лиса мелькнул огонек подозрения.

— Да? И что ж такое тебе надо найти?

Он решил, что где-то в кустах припрятан кувшинчик сакэ.

— Семя хризантемы, — тихо сказал Тануки.

— Вот оно что, — понимающе кивнул Кицунэ. — Понятное дело. Семя хризантемы. Я тебе помогу. Пошли.

* * *

По лесу барсук с лисом мчались сломя голову, но ярдах в тридцати от пещеры остановились, перевели дух и огляделись. Смеркалось, кругом стояла тишина. Под сосенкой неподалеку от пещеры Казу играла с соломенной куколкой. У входа жарился на углях ямс к ужину. От этого запаха у Тануки слюнки потекли, и Кицунэ еле его удержал.

— Михо внутри, — сказал лис. — Очень хорошо. Я пойду поговорю с ней. Спасу твою голову от встречи с горшком.

— Вот спасибо. У меня голова и без того раскалывается.

Кицунэ скрылся в пещере, а Тануки подошел к Казу. Увидев его, она радостно заверещала.

— Папа! — Он нагнулся, и они обнялись. — Папа идет кушать? — спросила она. Она обожала смотреть, как отец с искренним пылом накидывается на еду.

При упоминании о еде Тануки невольно повернул голову к дымящемуся ямсу, и его ротовую полость вновь затопила слюна. Однако, продемонстрировав сдержанность, какой не предположили бы и знатоки тануки, он вновь обернулся к дочери.

— Не идет, — произнес он, едва ворочая в вязких потоках языком. — А вот *ты* открой рот. И пошире.

Девчушка сделала как было велено — она думала, ее угостят медовой сотой или сладкой ягодкой.

— Нет, не чтобы есть, — сказал отец. — Открой пошире. Немного пощиплет и перестанет. Не бойся! Тануки не боятся.

И с этими словами он вдавил семя хризантемы в нёбо Казу. Она поморщилась, на глазах выступили слезы, но она терпела, а он давил все сильнее и сильнее, и семя глубоко вошло в мягкую ткань нёба. Он залепил дырочку воском — пока не зарастет.

— Ты должна кое-что пообещать папе. Это очень, очень важно. Ты меня слушаешь?

— Да, — ответила она, слегка закашлявшись.

— Никогда-никогда, даже когда вырастешь, станешь взрослой дамой, как твоя мама, никогда не вынимай изо рта то, что я туда положил. Поняла? Обещаешь?

Казу едва исполнилось два с половиной года, но она была на редкость сообразительной. Она поняла, что от нее требуется. И пообещала. Наградой и утешением ей был кусок сладкой рисовой лепешки, которую Тануки прихватил для нее из мешка с ворованым добром, припрятанного на склоне горы. Он снова ее обнял.

— А теперь давай, беги в пещеру, посмотри, чем это мама с лисом занимаются?

Девочка скрылась в пещере, Тануки несколько мгновений смотрел ей вслед, а затем развернулся так стремительно, что мошонка запарусила, и исчез в лесу.

* * *

Всего несколько часов спустя, когда луна скрылась и ночь стала настолько черной, что даже пластический хирург Майкла Джексона не сумел бы ее хоть чуточку осветлить, Михо и Казу тихонько спускались с горы.

Михо по совету Кицунэ собиралась держать путь к морю.

— Может, сумеешь уговорить какого рыбака отвезти тебя до Койсю, — сказал лис. — Если придется, расплатись своим телом. В Койсю найдешь другую лодку, чтобы переправиться через пролив. Может, какую новомодную, как ее, моторизованную. Возможно, придется и там с кем переспать, но не спеши — вдруг твой костюмчик тебя выручит.

На Михо было мужское кимоно, оставшееся у Тануки со времен Киото. Кицунэ помог ей соорудить из сухого мха парик и накладную бороду. Казу сидела у нее на спине в закрытой плетеной корзине, из которой торчали ветки. Если не приглядываться — ни дать ни взять старик с хворостом идет.

Встретимся в Когнито, счастье мое,
Что ж, кто-то решит, что мы спятили,
А ты будешь блистать инкогнито —
С усами и в клоунском платье.

* * *

Надо признаться, перспектива нового приключения будоражила Михо. Всю жизнь ее разбирало любопытство. И именно любопытство толкало на немыслимые поступки, заставляло принимать романтические решения, вследствие которых она и попала в нынешнее затруднительное положение.

Отъезд был неизбежен, и от этого становилось легче. Еще до того, как она узнала, что вызвала гнев богов — вот уж ханжи! — Михо готовилась покинуть гору. Отлучки Тануки становились все продолжительнее, домой он возвращался либо пьяный, либо с похмелья, весь в грязи, провонявший блудом. Впрочем, чему тут было удивляться? Да и не он один во всем виноват. Она по собственной воле вышла замуж за тануки. А тануки... он тануки и есть. Однако для воспитания впечатлительной девочки обстановка была неподходящая. Тем более если учесть, что в жилах ребенка тоже течет кровь тануки.

Когда-то, когда Михо собирала вещи, намереваясь покинуть монастырь, настоятель зашел к ней попрощаться. Он посмотрел на нее пристально и сказал:

— Помни, оно есть оно, и ты есть оно, и ошибки быть не может.

Она не совсем поняла, что значат его слова. И вообще не была уверена, что они что-то значат. Может, это была очередная буддийская заумь, рассчитанная на то, чтобы обуздать вольный разум. Тем не менее эти слова действовали на нее умиротворяюще, придавали гибкость и силу, и она резво пробиралась между скалами и спускалась с крутых склонов, шепча их себе и наслаждаясь их звучанием.

— Оно есть оно.

Ты есть оно.

Ошибки быть не может.

На нёбе у Казу созрел нарыв. Помня о своем обещании, она его не трогала, даже языком. Но иногда повизгивала от боли. Михо, решив, что девочка капризничает, потому что хочет спать и устала сидеть в корзине, как могла, ее утешала. Старалась не трясти. Пела колыбельные.

Так и брели мать с дочерью сквозь тьму. Без отдыха. Без сожалений. Шли вперед и вперед, к тому, что их ожидало. Но разок Михо все-таки остановилась. Откуда-то сверху, с гор они с Казу – которая тут же перестала хныкать – услышали знакомый звук, слабое ритмичное эхо чьей-то безымянной, безудержной радости.

Пла-бонга. Пла-бонга. Пла-бонга.

Часть II

* * *

Она была из тех женщин, что находят очарование в смене времен года.

Сестра ее была и того хуже. Та находила сексапильными клоунов.

– Ну разве не прелестно, разве не восхитительно, – умилялась Бутси, – как потихонечку укорачиваются дни и воздух легонько целует тебя – но уже поцелуем осени.

Пру фыркала. Пру пожимала плечами. То, что сестра приписывала оскуляторные качества времени года, для которого характерны увядание и гниение, она считала хрестоматийным примером метафорических излишеств. Теперь, когда купальник больше не делал ее привлекательной, Пру было плевать, сколько длится лето. Конец анемичного сиэтлского лета – с поцелуем осени или без оного (стоял всего лишь август) – для Пру имел значение только потому, что возрастала вероятность скорого появления в городе одной, а то и двух цирковых трупп.

И в самом деле, не прошло и двух недель, как об этом было объявлено. Сестры по обыкновению вместе смотрели шестичасовые новости, и тут дали рекламу так называемого "Всем шоу шоу", которым, как сообщил закадровый голос, должна была открыться через десять дней Главная арена.

На экране замелькали звери, булавы, артисты в расшитых блестками костюмах, и все это под безудержный аккомпанемент духового оркестра. Камера замерла на обольстительной азиатской красотке в бриджах и черных замшевых ботфортах. Женщина, манерно поводя глазками, нарочито угрожающе щелкала хлыстом, а за ней полукругом стояли на желто-красных тумбах семеро забавных, мультяшного вида зверьков. Невысокие, с метр ростом зверьки с вытянутыми мордочками не сводили глазок-бусинок со своей повелительницы, готовые по первому ее приказу продемонстрировать свое искусство. Двое аж приплясывали на месте.

– Впервые на североамериканском континенте, – вещал за кадром шпрехшталмейстер, – уникальная, невиданная труппа, экзотический ансамбль редчайших животных: несравненные акробаты тануки из джунглей Юго-Восточной Азии, таинственные и загадочные существа, которых поймала, приручила и обучила презабавнейшим и захватывающим дух трюкам несравненная искательница приключений мадам Ко.

— Бог ты мой, — воскликнула Бутси. — Ну и миляги!

— Какие-то они туповатые, — сказала Пру.

По правде говоря, Пру почувствовала в танаках (она плохо расслышала название) странную притягательность, однако так расстроилась из-за того, что за тридцатисекундную рекламу только разок мелькнули красный нос, белые щеки, гофрированный воротник и широкие панталоны, что не расположена была ими восхищаться. Как только реклама закончилась, она в легком раздражении встала и направилась на кухню за стаканом томатного сока. Разумеется, на самом представлении в клоунах недостатка не будет, но все-таки...

— А что это у них между ног висело? — спросила Бутси, когда Пру вышла. — Уж не...

— Точно нет. Такого быть не может.

Пру решила, что сок из банки можно облагородить несколькими каплями лимонного сока. Она полезла в овощной ящик холодильника, и тут Бутси заорала из гостиной.

— Пру! Скорее! Беги сюда!

Бутси звала так настойчиво, что ее младшая сестра захлопнула дверцу холодильника и нехотя поспешила в гостиную. *Ну что еще*, подумала Пру. Томатный сок она с собой не прихватила.

— Погляди-ка на этого священника, — сказала Бутси, показывая на экран, где мужчину в рясе вели в наручниках по залу аэровокзала, какие бывают обычно в аэропортах тропических стран "третьего мира".

Пру не успела хорошенько вглядеться, как на экране возникла картонная коробка, наполненная полиэтиленовыми пакетиками с бежевым порошком. Так же внезапно камера вернулась к мужчине в наручниках, которого теперь запихивали в джип, похоже — американской военной полиции.

Сложив два и два, Пру сообразила, что французский католический священник, летевший из Бангкока в Лос-Анджелес через Манилу, был задержан в аэропорту Аганьи на Гуаме: оказалось, что под церковным облачением он был весь обвешан упаковками наркотиков.

— Он тебе Дерна не напоминает? — сказала Бутси. — Посмотри-ка! Разве не похож?

— М-да... Вроде да. Сходство есть. Только этот куда старше.

Бутси взглянула на Пру сочувственно и озабоченно: так она обычно смотрела на особо некомпетентных сотрудников почты, где работала. (В новостях уже показывали, как студенты возмущаются проектом системы противоракетной обороны США.)

— Старше? Старше Дерна? Это вряд ли. Дорогая моя, Дерн пропал уже...

— Да знаю я, знаю, — вздохнула Пру. — Дерн пропал двадцать семь лет назад.

— Двадцать восемь!

И сестры, застыв перед мерцающим экраном, впали в состояние то ли глубокой задумчивости, то ли ступора.

* * *

Приблизительно в то же время, плюс-минус несколько часов, хорошенькая двадцатилетняя девушка проснулась в Бангкоке в незнакомой постели. Ее псевдоним (она предпочитала считать это боевой кличкой) был "мисс Джинджер Свити". Ее настоящее имя к делу не относится.

На сортировочной станции в мозгу мисс Джинджер Свити пошла сцепка микроскопических вагончиков. Поезд, заскрипев, дернулся вперед. Сначала мисс Джинджер Свити вспомнила, что находится в "Зеленом пауке", уютном подпольном отельчике, ориентированном на клиентов, испытывающих отвращение к расплате по кредитной карточке, а также предъявлению удостоверений личности и приему незваных посетителей: это были люди отнюдь не из низших слоев общества, а просто осторожные.

Далее, по мере того как локомотив ее мозга набирал скорость, мисс Джинджер Свити вспомнила, что за мужчина, к которому она повернулась гладкой бронзовой спиной, лежит с ней рядом. Странный такой. Милый. Даже симпатичный. Но определенно необычный.

Уверял, что француз, но по-английски говорит как американец. Собственно, он говорил так, как должен был бы говорить Уильям Фолкнер. И зовут его Дики. *Dickey*![1] Нельзя сказать, что мисс Джинджер Свити объездила весь мир (она всего несколько лет назад покинула трущобы Чаньмея), но и невежественной сельской девчушкой ее тоже назвать было нельзя. Она была, как непременно сообщила бы вам, студенткой университета, изучала сравнительное литературоведение и, да, занималась проституцией в Патпонге, но исключительно для того, чтобы оплатить учебу. И мисс Джинджер Свити было отлично известно, что никакая французская мать не назовет сына Дики.

А еще — этот Дики до нее не дотронулся. (Она провела рукой между ног, чтобы в этом удостовериться.) Он был мужчина красивый, высокий, стройный, с моложавым лицом: несмотря на серебрившуюся в волосах седину, было в нем что-то мальчишеское, так, по ее мнению, мог выглядеть Том Сойер. И хотя мисс Джинджер Свити была рада отдохнуть во время работы, она не очень бы расстроилась, если бы он взял то, за что заплатил.

Но он ее не тронул. Во всяком случае, в общепринятом смысле. Что он сделал, так это ее обнюхал, однако — тут же напомнила она себе — в этом не было ничего грубого или патологического. Он оглядел ее с явным одобрением, а затем стал нюхать, как нюхает знаток вино; он обнюхал ее надушенную шею, соски, подмышки, наконец опустился до пупка. Однако южнее не продвинулся.

Мисс Джинджер Свити не без профессиональной гордости отметила, что это обонятельное исследование не оставило мужчину равнодушным. Когда он лег на спину, простыня, которой он был укрыт, настолько заметно вздыбилась, что мисс Джинджер Свити, глядя на этот бугор, не могла не вспомнить... Моби Дика. За два с лишним года работы в Патпонге ей изрядно надоела демонстрация мужской силы, однако по какой-то причине очертания этого скрытого от глаз фантома, с первозданной скромностью укрытого аллегорически белой тканью, пробудили *в ней самой* исследовательский инстинкт. Но когда она предприняла попытку обозначить свои притязания на интересующий ее объект, он оттолкнул ее руку.

Дики объяснил, что влюблен. У него есть невеста, которая сейчас в тысячах миль от Бангкока.

— Тогда ладно.

1. Мужской половой член (*англ., слэнг*).

Она улыбнулась, якобы оценив его благородство, но в ее тайском сознании это никак не укладывалось. Его подружка уехала далеко-далеко. Мисс Джинджер Свити тут, рядом. Есть возможность получить удовольствие. Так в чем проблема?

Тогда она напомнила себе, что Дики приехал в Патпонг не за удовольствиями. Обычно мужчины посещают бангкокский квартал развлечений (маленький Лас-Вегас без игорных домов и излишней мишуры) ради секс-шоу, баров с девочками, дискотек, выпивки, экстази, героина, тайского массажа и вольных ночных бабочек. А вот Дики, ее Дики, приехал сюда купить гитару.

Не то чтобы приобретение его не обрадовало. Он был в таком восторге от нового инструмента (дешевой тайской подделки под "Martin D-28"), что мисс Джинджер Свити подозревала, что он ее и снял только для того, чтобы было с кем разделить радость. Наверняка имелись и второстепенные причины, решила она: потаенное одиночество и, да, даже желание, как бы тщательно он его ни подавлял. Сами посудите. Приведя ее в свой номер в "Зеленом пауке", где царили ароматы тикового дерева и заплесневевшего шелка, он настроил гитару и исполнил для нее понравившуюся ей песню про реку, апельсины и девушку с точеным телом, и, хотя он вовсе не походил на Леонарда Коэна, получалось весьма недурно. Она вознаградила его аплодисментами, и он бы сыграл и спел весь свой репертуар, да только она скинула нижнее белье, а этого его музыкальная натура вынести не могла.

Мисс Джинджер Свити перевернулась на другой бок. Когда она целовала его перед сном, вид у Дики был грустный — как она предположила, он разрывался между желанием и желанием не желать, но теперь он сидел в кровати и улыбался во весь рот. Дики сверкал, как витрина ювелирного магазина. Наверное, он что-то для себя решил.

— Почему улыбаться? — спросила она. — Можно лопнуть от радость.

Когда оказалось, что его веселье не имеет никакого отношения к ней, она слегка обиделась, но и успокоилась.

— Ах, мисс Джинджер Куки, — сказал он, перепутав ее имя, но продолжая улыбаться, — что ж, ты узнаешь об этом первая. — Он откашлялся. — Понимаешь, сегодня ночью, а точнее под утро, я бросил школу, школу из кошмара.

Мисс Джинджер Свити не хватало ни знания английского, ни интеллекта, чтобы уразуметь это сообщение, и она была всерьез озадачена. Она попросила повторить это по-французски, но по-французски он говорил плохо, еще хуже, чем она, и ей ничего не оставалось, кроме как с любопытством поглядывать на него, почесывая длинным алым ногтем глаз.

— Видишь ли, — сказал симпатичный, но загадочный французский псевдо-Фолкнер, лежавший с ней в одной постели, — уже много лет, всю мою взрослую жизнь, меня мучил один и тот же сон, прямо скажем *кошмар*. В этом сне я всякий раз снова оказываюсь в школе. Иногда в колледже, но чаще — в школе. В этот день контрольная или важный экзамен, и я, войдя в класс, вдруг понимаю, что совершенно не готов, то есть вообще. Я не отвечу ни на один вопрос, и даже учебников не могу найти, чтобы хоть полистать напоследок. Иногда я даже нужный кабинет не могу отыскать. — Он стукнул себя по лбу, показывая затруднительность своего положения.

— Или же, — продолжал он, — я должен делать доклад перед всем классом. Я встаю, и тут вдруг до меня доходит, что мне нечего сказать. Или же

я потерял домашнее задание, а то и просто его не сделал, и все сдают тетради, а я нет. Улавливаешь? Варианты разные, но тема всегда одна — растерянность, волнение, страх, ощущение полной беспомощности.

Мисс Джинджер Свити кивнула. Ей нравилось обсуждать "темы".

— Не сосчитать, сколько сотен ночей отравил мне этот сон. Сколько раз я просыпался в поту, в панике, и потом весь день был испорчен. Но штука в том, что школу из кошмара закончить невозможно. Никогда! Ты обречен мучиться до самой смерти, и мучения, возможно, продлятся даже в аду.

Однако — *однако!* — сегодня ночью (или под утро) я ее бросил. Швырнул портфель на пол и ушел. И назад не собираюсь. Все, с кошмарной школой покончено раз и навсегда! Я знаю — я это чувствую, — этот жуткий сон мне больше никогда не приснится. Я эту школу бросил. — Его улыбка стала еще шире. — Ты и представить себе не можешь, как это раскрепощает, какой груз с меня свалился. Таким свободным в последний раз я себя чувствовал двадцать пять лет назад, когда принял решение остаться в... — Он умолк. Мощности в улыбке поубавилось, но она все равно сияла.

— Хорошо. Очень хорошо, Дики. — Она сложила ладошки в буддистском приветствии. — Люблю история с хороший конец. — Она взглянула на свои изящные часики. Если он захочет, можно по-быстрому успеть.

Увы, бывший школяр был целиком поглощен вновь обретенной свободой. Ну и пусть. Странный он все-таки. Она выскользнула из кровати, подхватила трусики (лифчик ее грудкам-пышечкам не требовался), взяла сумочку и отправилась в ванную совершать туалет.

Университет Махидол[1] находился в Накхонпатхоме — от Бангкока час на автобусе. В двенадцать семинар, на котором она собиралась ознакомить аудиторию со своей оригинальной теорией, согласно которой Рембо, французский поэт, не раз шокировавший общество, испытывал влияние Шекспира; а именно: весь его подход к поэзии основывается на монологе Бедного Тома из "Короля Лира", и нужно было время, чтобы подготовить доклад. Ей не хотелось оказаться в положении героя сна Дики. И не хотелось, чтобы ее мучили подобные сны. Мисс Джинджер Свити должна была учиться безукоризненно. Учение не только удовлетворяло ее внутреннюю потребность, это был пропуск на выход из Патпонга.

Время от времени она заставляла себя думать о кузине Суп (боевая кличка — мисс Пепси Плиз). Мисс Пепси Плиз когда-то была ослепительно хороша, как кинозвезда, но за семь лет в Патпонге... Когда мисс Джинджер Свити видела ее последний раз, лицо той напоминало мойку с грязной посудой — жирное, грубое, потасканное, измученное. Таких, как она, было много, а девушки, которым совсем не повезло, еще и СПИД подхватили. Крася губки, мисс Джинджер Свити снова напомнила себе, что у ее истории должен быть хороший конец.

Когда мочевой пузырь был опорожнен, глаза подведены, длинные черные волосы тщательно расчесаны, она вернулась в спальню. Дики сидел на краешке кровати и смотрел телевизор, смотрел напряженно и сосредоточенно. Улыбка от уха до уха бесследно исчезла, лицо приняло озабоченное и встревоженное выражение.

— Боже ж ты мой! — бормотал он. — Боже ж ты мой! Вот дерьмо-то.

1. Одно из самых известных учебных заведений Таиланда.

Поскольку в телевизоре говорили по-английски, она догадалась, что Дики включил Си-эн-эн. Наверное, где-то стихийное бедствие или террористический акт. Она чувствовала, что Дики — натура эмпатическая.

Но на экране она увидела католического священника в наручниках, а вокруг — полицейских. Мисс Джинджер Свити пожала плечами и вскинула свежеподведенные бровки.

Но Дики... Дики сидел как громом пораженный.

— Господи Иисусе, — твердил он. — Фоли сцапали. Сцапали... Дерн попался.

* * *

Приблизительно в то же время, плюс-минус несколько часов, когда мисс Джинджер Свити пыталась убедить изумленного преподавателя и нескольких равнодушных соучеников, что лепет Шекспира про броды, болота и пучины вдохновил Рембо на создание такого уникального произведения, как "Une saison en Enfer"[1], другая хорошенькая азиатская женщина тоже держала речь. Женщина эта была лет на десять старше мисс Джинджер Свити, она была величественнее, ярче, походила скорее на японку, нежели на тайку, и расхаживала в этот момент перед "Кау-пэлас"[2] в Сан-Франциско, ожидая такси в аэропорт.

— Шоу в Сан-Франциско еще три дня, так? Потом в Поркленд.

— В Портленд.

— Ну, в Портленд. Когда вы в Сиэтл, я вернуться. Назад в шоу, снова здорово.

— Не вернешься, Лиза, — покачала головой ее спутница. — Сама отлично знаешь, что не успеешь. И вообще, ты подписала контракт. У тебя обязательства перед цирком. Ты снялась во всех этих чертовых рекламах, а в них сколько тысяч вложено. Не можешь же ты всякий раз, когда петух в задницу клюет, вот так все бросать.

Спорила с Лизой Ко женщина-клоун по имени Бардо Боппи-Бип (не путать с Генеральным секретарем ООН, ни с бывшим, ни с нынешним). Сторонний наблюдатель не признал бы Бардо Боппи-Бип, поскольку она была не в цирковом костюме, а в джинсах, футболке "Харлей Дэвидсон", сапогах со стальными носками и в бейсболке, плотно сидевшей на абрикосового цвета волосах, коротких, как у десантников.

— Зачем петуху, зачем клевать? — возразила Лиза Ко, глядя в ту сторону, откуда должно было приехать такси. — Я сказать, *неотложное дело.*

— Сказать-то сказала. Но в чем срочность, так и не объяснила. И что получается: ты смотришь новости — про Лаос там не было ни слова, я проверяла, — и слетаешь с винта, всю ночь молчишь и психуешь, чуть не срываешь номер, а теперь вдруг мчишься куда-то в Азию, даже не поставив в известность дирекцию.

— Я писать записку. — Она нервно обернулась на "Кау-пэлас": хоть бы никто из цирковых не вышел, пока такси не подъехало. Туман с залива был недостаточно густым, чтобы ее укрыть.

— Очень благородно с твоей стороны! Очень продуманно. В суде это тебе непременно поможет. В этой стране девиз один: шоу продолжается! Лично я предполагаю, что твое "неотложное дело" как-то связано с парнем, за которого ты собираешься замуж. Если тебе так не терпится

1. "Лето в аду" (*франц.*).
2. Огромный комплекс, где проводятся спортивные состязания, а также цирковые представления, выступления балета на льду и т. д.

его увидеть, возьми и пришли ему билет, пусть прилетает сюда. Так будет лучше для всех.

Лиза замотала головой так, что вздрогнула каждая прядка иссиня-черных волос, а высокий шелковый воротник нефритово-зеленого платья пошел складками.

— Так нельзя. Не получится. — Она помолчала. — И я не знать, будем мы жениться, не будем.

Бардо Боппи-Бип задумалась. А потом сказала ласково, с улыбкой, в которой уязвимости было не меньше, чем иронии:

— Так может, теперь появится шанс у меня?

В ответ Лиза только буркнула что-то по-лаосски.

Желтое, как зуб курильщика в разнеженном рту утра, такси наконец приехало. Лиза, стоявшая опустив голову, вдруг подняла на Бардо Боппи-Бип умоляющий взгляд. В глазах ее блестели слезы.

— Ты о моих детках заботиться? Правда?

— Ну, разумеется.

— Прошу...

— Расслабься. Твои малыши так рвутся на сцену, что я и сама могла бы с ними выступать. А что, черт подери, может, я и заберу у тебя номер. Зимой покажу тануки в своем телешоу на кабельном.

— Нет-нет, прошу, не надо! Только беречь их. Помнишь, как?

— Ты мне все записала. Расслабься. И давай, дуй как можно скорее обратно. Я присмотрю за твоими зверушками и постараюсь сохранить тебе место в шоу.

— Спасибо.

Благодарность была искренней, но когда Бардо Боппи-Бип шагнула к ней, чтобы обнять на прощанье, Лиза уже открыла дверцу, поставила на сиденье сумку и уселась в машину. "До свидания!" она все-таки крикнула. Такси тронулось с места, унося к международному терминалу аэропорта Сан-Франциско "несравненную искательницу приключений мадам Ко", которая выглядела далеко не такой уверенной, как в рекламном ролике.

* * *

— До вечера, сестренка. — Держа в руке коробку для завтрака с нарисованным на крышке Винни Пухом, Бутси направилась к двери — она спешила на остановку автобуса, который вез ее до "Куин Энн", одного из сиэтлских отделений почтовой службы США. На пороге она остановилась. — Должна признаться, у меня до сих пор сердце заходится, как подумаю, до чего тот французский священник похож на Дерна.

— Забудь об этом. — Пру отхлебнула томатного сока. — Французский священник — это французский священник.

Бутси взялась за дверную ручку.

— Ты сегодня работу искать собираешься?

Пру — ее уволили из чертежниц, когда в "Боинге" начались сокращения, — смущенно улыбнулась.

— Ну... и да, и нет.

— Как это — и да, и нет?

— А вот так... — ответила Пру нерешительно. — Я тут слышала, что на Главную арену сегодня приезжает цирк, возможно, они будут нанимать на временную работу. Ну, понимаешь, пока шоу будет идти в Сиэтле. Так что я, наверное, попробую сначала там устроиться, а уж потом буду рассылать резюме.

— И что ты, скажи Христа ради, собираешься делать в цирке? Будешь у клоунов на подхвате? Или, может, будешь слонов мыть? Я думала, этим занимаются только двенадцатилетние мальчишки.

— А какого хрена все лучшее должно доставаться двенадцатилетним? Времена изменились.

— Это точно. Раз даже приличные дамы среднего возраста используют подобные выражения. — Бутси открыла дверь и выглянула наружу. — Облачно, — объявила она. — И довольно прохладно. Как было бы чудесно, если бы сегодня начала желтеть листва.

* * *

Не успела мисс Джинджер Свити, виновато сжимая в кулачке незаработанные, по ее мнению, чаевые, выйти из "Зеленого паука", а Дики уже накручивал диск старомодного черного телефона. Когда ему ответили, он заговорил по-лаосски, и на том конце провода его не поняли, хотя лаосский во многом схож с тайским. Решив, что это из-за его южного акцента, Дики перешел на напевный детский лепет, который в этой части света легко проходит как английский.

— Надо говорить Ксинг.

— А?

— Говорить Ксинг. Ксинг!

— Ксинг нету. — Голос принадлежал зрелой женщине — возможно, матери одного из напарников его знакомого.

— Где Ксинг?

— А?

— Где? Где Ксинг? Очень важно.

— Сегодня не знать.

— Когда? Когда дома?

— Не знать. Может, завтра.

Это его никак не могло удовлетворить. Горло Дики сжималось, как лапа панды вокруг земляного ореха. Он судорожно соображал, что делать, но тут мама-сан соизволила сообщить:

— Вечером Ксинг идти Патпонг.

О! Прекрасно! Дело пошло.

— Где? — спросил Дики, которому было известно, что Патпонг — не просто большой район, там три улицы носят название Патпонг, и от адресов поэтому столько же проку, сколько от именных табличек на мухах. Не дав своей собеседнице ответить, что она "не знать", Дики выстрелил следующим, возможно, столь же бесполезным вопросом: — Что он делать в Патпонг?

— Идти глядеть Элвисьют.

Дики едва не завопил от счастья. Радость бурлила в нем, как пузырьки в бокале шампанского. Элвисьют! Теперь остается только узнать, где сегодня вечером выступает самый знаменитый бангкокский имитатор Элвиса Пресли, и, если повезет, Дики сможет отправиться обратно в Лаос, чтобы сделать... чтобы сделать то, что сейчас еще можно сделать.

— *Кау ру нах*, — поблагодарил он женщину на своем фолкнерианском тайском. — Да поют будды в твоем соусе чили.

* * *

День шел медленнее, чем ползет по мочеточнику почечный камень размером с грецкий орех. Было по обыкновению сыро и душно, а кондици-

онер в отеле "Зеленый паук" работал в четверть силы. Дики сидел голый в плетеном кресле и пытался бренчать на гитаре, одним ухом прислушиваясь к телевизору. Си-эн-эн не сообщал никаких подробностей об аресте Дерна, зато Дики узнал, что по причине неожиданного тайфуна вчера были закрыты все аэропорты на Филиппинах, чем и объяснялось, отчего Дерн, который должен был делать пересадку в Маниле, оказался на Гуаме. По-видимому, самолет пролетел Манилу и сделал незапланированную посадку – на острове, который оставался под контролем американцев, что подразумевает параноидальную систему безопасности, гиперусердных таможенников и натасканных на наркотики собак. Что ж, Дерн сам подставился. И Стаблфилд тоже.

Гитара, которую Дики купил на одном из тех рынков, где можно купить "Ролекс" за двадцатку и туфли "Гуччи" за сороковник, неопытному человеку показалась бы настоящей щегольской "Martin D-28". Вплоть до инкрустации "в елочку", или, как ее иначе называют, "селедочный хребет".

– Селедочные хребты настоящие? – спросил Дики продавца.

Тот чуть не онемел от изумления, но тут же пришел в себя.

– Да-да! Очень настоящие! Самые лучшие! Первый сорт!

– Великолепно, – сказал Дики. – А это хребты девственных селедок?

Несколько мгновений несчастный продавец разрывался надвое: никак не мог понять, то ли у него не хватает знаний в области, необходимой для успешной торговли поддельными гитарами, то ли покупатель спятил. Но медлил он недолго.

– Да! Конечно! Лучшие хребты, лучшие селедки! Две... две... девственные. Первый сорт! Нет проблем!

Вспомнив эту беседу, Дики улыбнулся победной улыбкой мальчишки-южанина. И снова помрачнел. Он постучал по инкрустированной деке. Погладил гриф. Нежно перебрал струны. Наконец, поглядывая то и дело в телевизор, попытался наиграть мелодию Фила Окса, но дальше первого куплета не продвинулся. То же самое было с любимыми песнями Боба Дилана и Нила Янга. Он не мог вспомнить даже "Сюзанну" Коэна, которую только прошлой ночью так отлично исполнил для ночной бабочки свободного полета.

Но была в его репертуаре одна песня, текст которой никогда – вне зависимости от количества неприятностей – не стерся бы из памяти, и Дики играл ее снова и снова, пока тянулся этот нескончаемый день.

Встретившись в Когнито, милая,
Свое прошлое с собой не потащим.
А будущее нам напомнит:
Тайна главная – в настоящем.

Раз уж одни мы в Когнито,
Одежду мы быстренько скинем,
Но, хоть будем голы как соколы,
Никогда своих масок не снимем.

Золушка любила инкогнито,
Говорят, на балу побывала.
Всегда ровно полночь в Когнито
На черных часах в центре зала.

Нам с тобой суждено жить в подполье,
Лишь инкогнито нам по плечу.
Жди меня там, где ни солнца, ни поля,
А ксивы и травку я прихвачу.

Так приезжай скорее в Когнито,
Ты же знаешь, я буду рядом.
Из рая мы выскользнем в заднюю дверь,
И тайком погуляем по аду.

Инкогнито
Инкогнито
Там дни — как миражи.
Инкогнито
Инкогнито
Там правда краше лжи.

* * *

Когда социализм переходит некую грань, он превращается в тоталитаризм. Капитализм же, доведенный до крайности, напротив, становится анархией. Те, кто ставит под сомнение точность последнего наблюдения, никогда не ходили по улицам Бангкока.

По этой самой причине — капитализм вышел из-под контроля, вследствие чего воцарился хаос — Стаблфилд и отказывался летать в Бангкок (во всяком случае, так он это объяснял). Однако непрерывные конструкция, деконструкция и реконструкция, нескончаемая торговля, возрастающее загрязнение окружающей среды, отупляющий мозги шум и круглосуточная круговерть не останавливали Дерна, и время от времени он отваживался нанести туда визит; Дики же почему-то манил этот город, что было тем более странно, поскольку Бангкок — Большой Буйный Безобразник — коренным образом отличался от всего того, что он любил в Лаосе. Возможно, в этом крикливом и шумном городе его очаровывала причудливая смесь мягкой, ясноглазой буддистской доброжелательности и бесстыжей улыбчивой торговли сексом, однако и к тому, и к другому он лишь принюхивался (что могла бы подтвердить мисс Джинджер Свити).

Бангкок — город контрастов, это хуже чем клише, это банальность и пошлость, и не только потому, что это совершенно очевидно, но и потому, что в некотором смысле каждый большой город — город контрастов. Разве роду человеческому не свойственна противоречивость, разве мы не обитаем на дихотомической планете, болтающейся во Вселенной, которая, судя по всему, сама насквозь парадоксальна? Но следует, однако, заметить, что контрасты Бангкока слишком уж ярки и резки, так что за норму это принять трудно.

Бангкок — это и ультрасовременный джаггернаут[1] в стиле хай-тек, и вязкая азиатская истома; он, как ни один другой мегаполис, балансирует между острым и сладким, мягким и твердым, высоким и низким. Это шелковая циркулярная пила, лакированный отбойный молоток, разврат в поясе верности, оцифрованная молитва. Его бесчисленные часовни и храмы окутаны облаками выхлопных газов, его бесчисленные

1. Колесница, на которой во время праздничного шествия везут статую Кришны.

пороки и преступления озарены нежнейшими улыбками, и при всем при этом Бангкок умудряется с благородной грацией удерживать равновесие, и грация, хоть и заученная, не теряет естественности, а благородство реализуется сутенерами и шлюхами.

Ладно, хватит. Нет смысла талдычить вам про Бангкок и его парадоксы, про шумливое смешение святости и разнузданности. Для наших целей вполне достаточно сообщить, что приблизительно через полчаса после заката Дики Голдуайр, волнение и нетерпение которого дошли до предела, запер новую гитару в гостиничном номере и рискнул выйти на улицу – в вышеупомянутые суету и неразбериху.

Воздух, знойный и плотный, словно растопырил толстые красные пальцы, пальцы пекаря, месившие прохожих будто тесто. Такую погоду Бутси Фоли вряд ли назвала бы "очаровательной", хотя – как знать.

Улицы по обыкновению кишели людьми. Их было почти что поровну: бизнесменов в полотняных костюмах, девиц в микроскопических юбочках и монахов в оранжевых балахонах. К ним примешивалась толика белых мужчин в брюках цвета хаки и белых рубашках – такова униформа иностранцев из местных. Дики был одет точно так же, для того чтобы не выделяться, однако стоило ему оказаться около "Сафари" или какого другого бара, облюбованного его бывшими соотечественниками, он спешил перейти на другую сторону улицы – боялся, хоть это и было маловероятно, что его узнают.

(Кто живет по наитию?
Тот, кто в Когнито едет.
На завтрак он жрет интуицию,
На обед паранойю цедит.)

Самый быстрый и эффективный способ передвигаться по Бангкоку – водное такси, но поскольку от "Зеленого паука" до реки почти столько же, сколько до Патпонга, Дики выбрал *тук-тук*. Прошло сорок минут, прежде чем трехколесная штуковина доставила его к северной границе района. Дороги Патпонга уже много лет были закрыты для колесного транспорта, поэтому ему предстояло продолжить путь пешком, что оказалось даже кстати, поскольку он понятия не имел, в каком из многочисленных клубов выступает Элвисьют.

По периметру Патпонг патрулировали вольные проститутки – те немногие, которые не работали в барах и не батрачили на сутенеров (и посему их постоянно донимали, а то и угрожали физической расправой те, кто хотел бы ими владеть или распоряжаться). Дики поискал глазами мисс Джинджер Свити и, не увидев ее, расстроился и обрадовался.

Но... стоило ему пройти несколько шагов, и он столкнулся с Профессором.

* * *

Профессором называл его Дики. Больше никто, хотя могли бы: от этого старичка исходила столь густая аура академизма, что при виде его кто угодно вспомнил бы про школьные кошмары.

Это был тщедушный человечек с всклокоченными седыми патлами, в круглых железных очочках, в мешковатом синем костюме, тут и там присыпанном пеплом, с буро-коричневым галстуком в подтеках от соуса чили, в коричневых башмаках, о которые, судя по всему, точил зубы целый выводок юных ротвейлеров, и лицо его всегда хранило выражение

величественной серьезности, но впечатление портил блуждающий и отрешенный взгляд. Его легко было вообразить профессором физики в университете Махидол.

Уже лет двенадцать Дики раза два-три в год заявлялся в Бангкок, и всякий раз, стоило ему оказаться в Патпонге, как через минуту-другую откуда ни возьмись возникал Профессор. Шаркая изжеванными полуботинками, он подходил к Дики, как подходил к каждому одинокому мужчине (и к европейским парам, если это были туристы), дружелюбно приветствовал его и задавал один и тот же вопрос — вежливо и уважительно, как осведомлялся бы у уважаемого коллеги, не желает ли он выступить на конференции по двузарядным субатомным частицам:

— Мистер, хотеть смотреть, как девушка трахаться с обезьяна?

* * *

Обычно Дики столь же уважительно отвергал это предложение.

— Благодарю вас, но меня не интересуют подобные мероприятия, даже если это были бы Чита и Джейн[1]. Кинг Конг и Фэй Рей[2] составили бы куда более завлекательную пару — ввиду проблем, вызванных несоответствием их размеров, хотя, строго говоря, ни Чита, ни Кинг Конг, разумеется, обезьянами не являются. — Обычно Дики нес что-нибудь в этом духе, вознаграждал Профессора несколькими батами и шел своей дорогой, ругая себя за то, что выступил совершенно в стиле Стаблфилда. Сегодня же он остановился и вместо ответа задал вопрос:

— Вы не знаете, где Элвисьют?

— Элвисьют?

— Ну да, Элвисьют. Где он сегодня выступает?

Профессор так глубокомысленно почесал в затылке, словно обдумывал проблему активного взаимодействия, в ходе которого пары нуклонов обмениваются электрическими зарядами.

— Сегодня, — выговорил он медленно и осторожно, — Элвисьют, по-моему, играть в "Шей-рей-бом".

— Где-где?

— В "Шей-рей-бом".

— В "Шератоне"?

— В "Шей-рей-бом".

— Понятно, в "Шератоне". Вы имеете в виду "Ройал оркид шератон". — *Тьфу ты, черт!* — ругнулся себе под нос Дики. "Шератон" находился в квартале роскошных отелей, на берегу реки, и до него было больше мили — по духоте и пыли.

Но Профессор раздраженно помотал седенькой головой — словно злился на особо тупого студента.

— Нет! Не "Рора Оркид Шератон". Элвисьют играть в "Ше-ра-бум". В Патпонге. "Ше-ра-бум клаб".

Тут уж почесал в затылке Дики. И вдруг что-то щелкнуло.

— А-а-а... Вы имеете в виду "Черри бомб"? Клуб "Черри бомб"?

Улыбнувшись и дыхнув на Дика дешевой тайской жидкостью для ополаскивания рта, Профессор согласно кивнул.

— Да-да. "Ше-ра-бум". Нет проблем. О'кей! — Он величественно кивнул, сложил по-буддистски руки, а затем принял комок тайских банкнот и тут же переключился на поиски нового мистера.

1. Джейн — подруга Тарзана, Чита — его любимая обезьяна.
2. Фэй Рей — актриса, исполнявшая главную женскую роль в фильме "Кинг Конг" (1933).

Обойдя стороной "Сафари" и "Кингз корнер" (последний стал приютом для тех американцев, которые считали его лучшим в мире, за исключением разве что Ватикана, клубом транссексуалов), Дики пробился сквозь густую толпу зевак и шлюх к "Черри бомб". У входа он остановился и прислушался, надеясь уловить знакомые нотки "Love Me Tender" или "Hound Dog"[1]. Однако оттуда не доносилось ни звука, да и свет не горел. В "Черри бомб" было тихо и темно. Может, не заплатили, кому следовало. Или какие-нибудь австралийцы, устроив потасовку, разнесли клуб в куски. Как бы там ни было, но "Черри бомб" не работал.

* * *

Поводов психовать не было. Зачем? Ведь Ксинг отправился в Патпонг затем, чтобы послушать Элвисьюта. А значит, сегодня Элвисьют выступает именно в Патпонге, а не на Силом-роуд в каком-нибудь отеле у реки, не в "Нана-Плаза", не в "Сой-Ковбой", и не где-то еще. Можно было рассуждать и так, но что, если Ксинг намеревался застать Элвисьюта именно в "Черри бомб", и понятия не имел, что клуб закрыт? Да, конечно, у Ксинга есть знакомые в Бангкоке, но живет-то он в далекой деревушке у границы с Лаосом. Откуда ему знать такие подробности?

Дики принялся тщательно прочесывать улицу, заглядывая в каждый бар, где можно устроить живой концерт. Поскольку в секс-клубах музыка только на дисках, их он пропускал, впрочем, как обычно, задержался на миг у самого знаменитого в Патпонге плаката, того самого, где было написано:

ПИПКА ИГРАЕТ В ПИНГ-ПОНГ
ПИПКА КУРИТ СИГАРЕТУ
ПИПКА ЕСТ ПАЛОЧКАМИ
ПИПКА ОТКРЫВАЕТ ПИВО
ПИПКА ПИШЕТ ПИСЬМО

Если цель рекламного объявления — привлечь максимальный интерес, то это — самое удачное в истории жанра. Возбуждались даже те из прохожих, кто скорее бросился бы вниз головой с лестницы, нежели посетил шоу с генитальными трюками. Женщин оно шокировало, удивляло, интриговало, возможно, втайне и вдохновляло. Мужчинам щекотало нервы, приводило в восторг, возможно даже пробуждало подсознательную зависть к вагине. И благоговеющие, и возмущающиеся — никто не мог пройти мимо; более того, в отличие от девяноста пяти процентов рекламы на Мэдисон-авеню, эта была *правдивой*: если вы решались заглянуть внутрь (что Дики делал раз или два до того, как влюбился), то могли лицезреть все, что было обещано, и даже более того.

Однако Дики был недоволен, что текст объявления не менялся по меньшей мере лет десять. Нет, он не ждал от этого секс-шоу номеров с живыми лягушками, от которых в "Нана-Плаза" все как с ума посходили, однако, принимая во внимание то, какая технофилия охватила Таиланд, он вполне представлял себе новую строку в рекламе:

ПИПКА ВХОДИТ В ИНТЕРНЕТ

1. "Люби меня нежно", "Гончий пес" — хиты Элвиса Пресли. Далее упоминаются "Голубое Рождество" и "Голубые Гавайи".

* * *

Представьте себе город, где идут почти параллельно три улицы с одним и тем же названием. Такой город существует, и хотя можно предположить, что столь схожие улицы должны находиться в Паго-Паго или Валла-Валла (точнее сказать, Паго-Паго-Паго или Валла-Валла-Валла), это не так. Логику, которой эта странная избыточность бросает вызов, объяснить невозможно, но нельзя не восхититься муниципалитетом, так беззастенчиво пренебрегшим правилами городского планирования. Старые доиндустриальные города с их естественно переплетающимися лабиринтами улочек пусть и смущают прагматический ум, но тешут свободу духа, однако немногие из них, а может, даже ни один не достиг такой степени свободы.

Стаблфилд, узнав про трио параллельных улиц, сказал:

— Весьма забавно! Меня всегда утомляла городская планировка. Это насилие над природой, оковы для фантазии и клетка для души. Возможно, Бангкок все-таки стоит посетить.

Однако Марс Стаблфилд так и не посетил Бангкок. Там теперь находился Дики Голдуайр — прочесывал обе стороны самой оживленной из трех улицы, обозначенной на некоторых картах города как "Патпонг I". Впрочем, безрезультатно. Дики уже казалось, что искать Элвисьюта в Патпонге — все равно что искать контактные линзы Ионы во чреве кита. Еще Дики чувствовал слабость и головокружение — и тут он вспомнил, что с утра съел только печеное яблоко с заварным кремом и пакетик чипсов.

На Патпонг III имелся ресторанчик, славившийся янг-кунгом[1], и хотя по части еды Дики было далеко до Тануки (да и до Стаблфилда), при мысли об этом блюде (в горах Лаоса морепродуктов не достать) у него потекли слюнки.

Патпонг III был улицей потише, скорее переулком, хотя и здесь открыли несколько гей-клубов. В ресторанчике, как с некоторой тревогой отметил Дики, появилась эстрада для караоке, но в данный момент она была пуста, да и креветки оказались по-прежнему хороши. Дики запил их парой пинт пива, а после ужина заказал двойной виски. Он решил (разумеется, ошибочно), что алкоголь успокоит нервы.

Нынешняя ситуация не представлялась такой уж сложной. Нужно было отыскать Элвисьюта, чтобы отловить Ксинга. С Ксингом нужно было связаться, чтобы тот нелегально переправил Дики в Лаос. В Лаос нужно было вернуться, чтобы поскорее добраться до виллы "Инкогнито" и сообщить Стаблфилду об аресте Дерна Фоли, а также собраться с мыслями, собрать вещи и двигаться дальше.

Дики, уставившись в стакан, должно быть, слишком глубоко задумался, поскольку, когда с ним заговорила хозяйка ресторана, вздрогнул от неожиданности. Обычно внутренний радар предупреждал его о ее приближении, но волнение в сочетании с выпивкой помешали отследить сигнал.

— Чего такого? Виски плохо?

— А? Что? Нет, виски хорошо. Виски *саба ди.* Виски *санук. Кау ру нах.*

Хозяйка захихикала.

— Ты очень хорошо говорить тайски, — соврала она. — Первый сорт. Но акцент — Лаос.

1. Янг-кунг — острый суп с креветками.

Дики побледнел. По спине пробежал холодок. Он состроил невинную мину (для аристократического отпрыска из Каролины нет ничего проще) и пожал плечами.

– Спасибо, – сказал он по-английски. – Хватит тайского.

– Ты – нет счастья, – укорила его женщина. Несмотря на полноту и далеко не юный возраст, на ней было обтягивающее голубое платье, а губы и ногти выкрашены в пронзительно-алый цвет. – Почему нет счастья? Девочку хочешь?

– Девочку? Нет. Моя есть счастья. Не хотеть девочку. У моя есть девочка.

– Где? – Она с нарочитым вниманием оглядела зал. – Где твоя девочка? Твоя девочка сейчас работать? Ловить другой парень?

Дики снова побледнел. Он попытался расправить плечи. Голова кружилась еще сильнее.

– Моя девочка далеко, – сказал он слабым голосом. Она действительно уехала работать, хоть и не в качестве "девочки". Однако – кто ж ее знает – вполне могла быть в постели с другим.

– Ох! Девочка далеко. Тебе надо девочка сейчас. У моя есть хорошая девочка. Первый сорт. Она делать *санук*. Делать счастье.

– Моя не искать девочка, – упорствовал Дики. – Моя искать Элвисьют.

– Элвисьют?

Дики печально кивнул.

– Моя хотеть искать Элвисьют. Хотеть видеть сегодня.

– Нет проблем, – усмехнулась женщина. – Элвисьют мой друг. Моя звонить Элвисьют, он приходить сюда. Нет проблем.

– Да-да, хорошо, – пробормотал Дики, глядя вслед торопливо удаляющейся хозяйке. *Нет проблем. У этих тайцев всегда "нет проблем". У лаосцев то же самое. Обманывают ли они тебя, чествуют ли, спасают ли – всегда нет проблем.* Маи пен рай. *Нет проблем. Это что, буддизм, что ли, делает их настолько счастливее и расслабленнее западных людей? Посреди бангкокского хаоса и суеты они только улыбаются и говорят "нет проблем". Был бы Жан-Поль Сартр тайцем, экзистенциализм превратился бы в комедию положений. Боже ж ты мой!*

За соседним столиком две пары отмечали день рождения. Они были пьянее Дики и в куда более праздничном настроении, поэтому, как только он допил свой стакан и позвал официанта, чтобы расплатиться, они прислали ему на столик еще одну порцию. И радостно уставились на него. Ну, что поделаешь. Он выдавил из себя счастливую улыбку южанина, отсалютовал им стаканом и сделал глоток.

К выпивке он был непривычен. В Лаосе пил редко. Настроение, правда, было хреновое, однако про свои ограниченные возможности он не забывал. Можно, конечно, действовать по первоначальному плану, подождать еще три дня и отправиться к Ксингу в деревню на автобусе, как и было договорено. Или утром поехать автобусом до границы, рассчитывая на то, что Ксинг появится там раньше. Или можно... Нет, это уж слишком. У него, разумеется, имелся поддельный французский паспорт – такой же, как у Дерна (хотя он им никогда не пользовался), но денег долететь до Вьентьяна не было. Он рассчитывал на деньги, которые Дерн должен был привезти из Манилы, имевшиеся же в наличии стремительно заканчивались. После сегодняшнего ужина хорошо если хватит заплатить за отель, а уж о возвращении в Лаос самолетом и думать нечего.

Пока между тем следовало допить виски. А потом, когда в голове все завертелось, оставалось только подойти, шатаясь, к эстраде, схватить микрофон и, не дожидаясь аккомпанемента, затянуть "Blue Christmas".

Его пение мало напоминало манеру Элвиса Пресли. Да и Дики Голдуайра, признаться, тоже. Он стонал так, как стонала бы банка дешевого собачьего корма, будь у банки дешевого собачьего корма голос. Его пение было таким фальшивым, безголосым и мерзким, что у него самого уши закладывало. Вообще-то он был неплохим исполнителем-любителем, и сейчас сам поражался тому, как убого у него получается. Посетители вежливо слушали, отмечавшие день рождения подбадривающе улыбались, а Дики изо всех сил пытался сохранять серьезность. В горле у него пузырился смех, и скоро он почувствовал себя бутылкой шампанского, которую трясут уже минут пять. Если бы пробка, застрявшая в горле Дики, вылетела, взрывом вырвавшегося из него хохота вышибло бы все стекла.

И тут он услышал, как кто-то крикнул низким голосом, голосом американца-южанина:

— Си ю лэйтер, алигейтер![1]

Дики приставил руку к глазам и, продолжая петь, покосился на дверь: посмотреть, какого соотечественника его жуткое исполнение "Blue Christmas" гонит прочь из заведения; при этом он молился об одном — чтобы это не оказался кто-то, кто может его узнать. Как оказалось, реплика последовала не от уходящего, а от входящего. А именно от монаха в желтой рясе со странным шелковым тюрбаном на голове.

Новоприбывший театральным жестом сорвал с головы тюрбан, явив взорам длинные бакенбарды и высокий черный кок напомаженных волос. Одним движением он скинул и рясу, под которой оказался обтягивающий комбинезон, белоснежный и сверкающий, как замороженное молоко. (Монашеские сандалии, правда, оказались выкрашенными серебряной краской.) Шепот в зале усилился, когда в дверь вошел мальчик и протянул ему гитару — на улице он делал вид, что гитара его.

Раскрывший свое инкогнито Элвисьют вспрыгнул на эстраду, отпихнул Дики костлявым локтем (за исключением кока и бакенбардов тощий маленький таец напоминал покойную мать Терезу не меньше, чем покойного мистера Пресли) и вновь проорал по-видимому коронное приветствие:

— Си ю лэйтер, алигейтер!

Когда Дики поплелся к своему столику, Элвисьют уже мурлыкал "Blue Christmas" — подхватил с того места, на котором остановился Дики. Было совершенно очевидно, что поет он заученные слова, вряд ли хоть что-нибудь понимая (для него, так же как для буддистов из публики, Рождество было еще одной странной американской забавой — вроде стрельбы из пистолета, стрижки газонов и психоанализа, к которым тайцы проявляли минимум любопытства), однако пел он так безукоризненно, так совершенно, так точно, что закрой глаза — и поверишь, будто Король Мемфиса, как и его соперник, Царь Иудейский, восстал из мертвых.

Смех, который Дики с таким трудом сдерживал, перестал рваться наружу. Был ли он огорчен? До некоторой степени. И смущен тоже. Но это еще полбеды. Он заметил на ремне гитары Элвисьюта пейджер — наверное, чтобы его могли вызывать на следующую площадку.

1. "See you later, alligator" ("До встречи, аллигатор") — начальная строфа песни Роберта Гуидри (он же Бобби Чарльз). Американцы часто говорят это на прощанье.

Этот паренек, подумал Дики, *выступает небось за вечер в десяти местах. В двадцати, черт возьми!* Как средство обнаружения Ксинга Элвисьют был не полезнее карманного дорожного атласа Венесуэлы.

Не успел Дики осознать это, как до него дошло, что, поскольку именно он потребовал выступления Элвисьюта, ресторан, вероятно, вставит оплату этой услуги в счет Дики. А это могло оказаться и сто долларов (или их эквивалента), не считая чаевых. Плюс ужин и выпивка. Если он станет ерепениться, хозяйка вызовет полицию, а это *никак* невозможно. И он решил смыться.

Дождавшись, когда хозяйка и официант отвернутся, он, пошатываясь, встал — будто бы в туалет. Элвисьют уже перешел к "Blue Hawaii", и Дики машинально покачивался в такт музыке. Оказавшись у входной двери, он выскочил на улицу. Ба-бах! Увы, он налетел прямо на нового посетителя.

Несколько мгновений они не могли разойтись. Дики пытался высвободиться, но мужчина вцепился ему в рубашку. Дики, в обычном состоянии человек уравновешенный, так стремился вырваться и убежать, что уже собрался дать противнику тумака. Но тут впервые взглянул в ухмыляющееся лицо мужчины.

Это был человек, который проводил его через границу. Это был Ксинг.

* * *

Тук-тук!

— Кто там?

— Это я. Я ключ потеряла. Открывай скорее, очень сикать хочется.

Пру открыла дверь.

— Сикать? — фыркнула она. — Так говорят только дошкольницы.

— Да какая разница! — сказала Бутси и прошмыгнула мимо сестры в туалет, где пробыла непривычно долго.

Тук-тук!

— Кто там?

— А кто, по-твоему, может стучаться в дверь нашего туалета? Эдгар Алан По? Чего ты там застряла?

— У меня понос. Что-то не то съела за ланчем.

— Слушай, мне нужно тебе кое-что сказать. Я получила работу.

— Какую работу? — спросила Бутси через дверь.

— В цирке. Мне позвонили утром. Платят немного, и это всего на несколько дней, но, думаю, там здорово!

— Вот и отлично! Может, достанешь мне пропуск. Я бы с удовольствием посмотрела на тех очаровательных зверюшек, таких забавных, с длинными мордочками. Как их, катуни?

— Нет, кажется, тазуки. — Пру помолчала. — И вот еще что. Заходил какой-то человек. Судя по всему, из каких-то органов. Сказал, что нам нужно ехать в Сан-Франциско. Немедленно. По-моему, это по поводу Дерна.

По ту сторону двери стояла тишина. Наконец раздался знакомый звук — воды, которую словно душил ревнивый возлюбленный. Шум старомодного сливного бачка.

* * *

Тук-тук!

— Кто там?

— Это я.

— Прошу прощения?

— Стаб, *я* это. Дики.

— А, это ты, Голдуайр. Так быстро вырвался из непостижимого нексуса нирваны, из буйного борделя Будды?

— *Пришлось* вырваться. На то была причина.

— Лан, отвори дверь мсье Голдуайру. Можешь войти, Дики, но веди себя тихо. Не мешай нам.

Дверь была тяжелая, из какого-то твердого красноватого дерева, и на ней были вырезаны мифические герои и вереница пахидермов — память о тех временах, когда Лаос назывался Страной миллиона слонов. Дверь на огромных латунных петлях открылась медленно, изящно, почти величественно и несмотря на вес плавно поплыла, будто тучная дама почтенного возраста, не забывшая школьных уроков танцев.

Дики, вошедший с яркого света, в темной, похожей на пещеру гостиной чуть не ослеп.

— Дело серьезное, Стаб, — сказал он во тьму. — И срочное.

— Угомонись, Голдуайр! — Дики не видел безмятежной и мудрой, но в то же время чуточку насмешливой улыбки Стаблфилда, но знал, что она присутствует. — Тебе отлично известно, что у нас здесь, в мышиной норке под кладовкой с опиумом нет ничего срочного. Я уже заканчиваю лекцию. Отправляйся в кабинет, я вскорости приду.

Знал бы ты, чего мне стоило сюда добраться, подумал Дики. Позвольте перечислить основные моменты его испытаний.

1. Ксинг уговорил его вернуться за столик, где он выпил еще виски и в конце концов действительно заплатил внушительную сумму за выступление Элвисьюта.

2. Едучи на заднем сидении мотоцикла Ксинга в "Зеленый паук", он приметил на углу мисс Джинджер Свити и заставил Ксинга притормозить. Девушка показалась ему такой трогательной, такой скромной и беззащитной, что он спьяну отдал ей всю свою оставшуюся скудную наличность, умоляя отправиться домой и выспаться. Мисс Джинджер Свити бросилась его обнимать и чуть не повалила мотоцикл. "О'кей, Дики. Я идти спать. Нет проблем. Спасибо, милый. Ты тоже спать, о'кей? В кошмарную школу не ходи!" Он глядел ей вслед, пока она не скрылась из виду.

3. Рано утром без гроша в кармане он с максимально беспечным видом пересек вестибюль; вещи он засунул в чехол от гитары, а с рюкзаком пришлось расстаться. Он отлично понимал, что, сбежав, не заплатив по счету, в "Зеленом пауке" он уже останавливаться не сможет.

4. Следующие четырнадцать часов (такое похмелье вполне можно посоветовать инквизиции в качестве изощренной пытки) он провел на "ямахе" Ксинга, вследствие чего растряс все внутренности и отбил задницу — эту пытку церковь, заново истолковав шестую заповедь, тоже вполне может взять на вооружение.

5. В деревне Ксинга он пытался поспать хоть несколько часиков, пока не зашла луна, в сарае с буйволицей и ее детенышем.

6. Когда разъяренный контрабандист отказался перевести его через границу в кредит, пришлось отдать Ксингу вожделенную новую гитару.

7. Дики, лежащего на дне лодки под одеялом, от которого несло как от стада буйволов, перевезли через Меконг и высадили, мокрого и вонючего, там, где, как его заверили, пограничников нет.

8. Два часа, до смерти боясь наступить на кобру, он пробирался по болотам к тому месту, где припрятал свой мотороллер.

9. Миль через тридцать кончился бензин, и еще пять миль он толкал мотороллер до заправочной станции, а в сельских районах Лаоса заправочная станция представляет собой деревянный стол, за которым сидит женщина с пятком пластиковых бутылок, наполненных низкооктановым бензином. В обмен на две кварты топлива Дики отдал женщине кожаный ремень, пустой бумажник и колледжный перстень и продолжил свой путь.

10. Последние четыре мили до Фань-Нань-Нань (или La Vallée du Cirque[1]) пришлось идти пешком, поскольку тропа была слишком крутой и колдобистой даже для мотороллера. Добравшись наконец до прелестного селения в горах, он даже не зашел домой помыться, поесть или переодеться, а немедленно отправился на виллу "Инкогнито", до которой было всего несколько сотен ярдов, однако, по мнению Дики, это был самый мучительный отрезок пути от Бангкока.

* * *

Когда цирки Юго-Восточной Азии из-за наступившего сезона дождей вынуждены были прекратить представления, многие артисты со знаменитыми или необычными номерами — например, мадам Ко и ее танукиакробаты — подписали контракты с европейскими или американскими цирками, но некоторые циркачи, в основном ветераны, вернулись кто отдохнуть, кто порепетировать номер, в Фань-Нань-Нань: там, в горах, и суше, и прохладнее. Один из таких ветеранов — воздушная гимнастка — и согласилась переправить Дики в деревянной люльке по тонкому тросу, соединявшему Фань-Нань-Нань с виллой "Инкогнито".

Дики Голдуайр был во многих отношениях парень бесшабашный. На боевых вылетах он — что бы ни происходило — сохранял ледяное спокойствие. Когда бомбили его собственную базу, он обычно последним отправлялся в укрытие и в бункер спускался с песней на устах. Так-то так, но деревянная люлька — это отдельная история.

Трос, по которому катился сей примитивный агрегат, был не толще детской ручонки. Натянут он был так туго, как только возможно, но на ветру все-таки раскачивался. Висел между двумя деревянными настилами над зияющей пропастью, над ущельем столь глубоким, что дна его из-за тучи брызг, поднимавшейся от бежавшего по нему горного потока, видно не было. Говорили, что ущелье кишит кобрами, что там обитает парочка тигров, но тому, кто поимел бы несчастье свалиться с каната вниз, было бы уже не до живой природы. Один внезапный порыв ветра, один неверный шаг воздушного гимнаста, и пассажиру в последние секунды жизни довелось бы узнать, что это такое — свободное падение без парашюта.

Странно вот что: Дики мечтал испытать такое чувство. Это не имело ничего общего с желанием умереть: в его организме отсутствовал ген самоубийства. Скорее, казалось, само ощущение, внутреннее напряжение, от которого у Дики подбиралась мошонка, сводило горло, закаты-

1. Долина цирка (*франц.*).

вались глаза, пробуждало желание нырнуть в разверзшуюся под ним пустоту. И в конечном счете он больше всего боялся — нет, не упасть, он боялся жгучего *желания* упасть.

Когда в Фань-Нань-Нане не было циркачей, когда не было канатоходцев, управлявших весело раскрашенной деревянной люлькой, через ущелье перебирались либо на руках, как командос (Дики проделал это только однажды), либо ждали, когда Дерн заведет свой старенький советский вертолет. Из двух причин (трех, если считать его невесту), по которым Дики редко посещал виллу "Инкогнито", главной был страх перед бездной.

Но в этот день выбора у него не было. Он не мог послать курьера, поскольку важность, а также деликатность ситуации требовали немедленной беседы со Стаблфилдом, причем личной. Положение вполне могло оказаться отчаянным. Поэтому он забрался в крохотную красно-желтую люльку, крепко зажмурился — как шестилетний мальчонка, впервые попавший на фильм ужасов, — и позволил переправить себя по висевшему в воздухе стальному тросу. Воздушная гимнастка ступала короткими, точно просчитанными шажками, ни разу не пошатнулась, ни разу не сбилась с ритма и наконец доставила еле дышащего, но живого пассажира на другую сторону бездны, и он, с наслаждением пробежавшись по твердой земле, предстал на пороге виллы.

Предстал в довольно жалком виде. Грязный, вонючий, небритый, голодный, невыспавшийся Дики выглядел хуже Тануки под конец истории с сакэ. Стаблфилд не обратил на это внимания — отчасти из-за слабого освещения, отчасти потому, что курящиеся благовония забивали тяжелый дух, но главным образом потому, что был поглощен обучением своих слуг и сожительниц.

* * *

— Итак, — сказал Стаблфилд, — перед тем, как нас прервали, я употребил термин "душа", который непонятен ни тем из вас, кто исповедует буддизм, ни тем, кто воспитан в духе анимизма. Это вполне нормально, поскольку на Западе он тоже крайне мало кому понятен.

Аудитория внимала ему с восхищением. Она состояла из шести сожительниц (четырех Стаблфилда и двух Дерна), человек десяти слуг и двух или трех деревенских старейшин. Они сидели, прихлебывая чай, на роскошных восточных коврах, раритетных и дорогих, местами уложенных в два, а то и в три слоя. За долгие годы Стаблфилд обучил большинство своих "студентов" английскому, именно английскому, а не азиатскому напевному лепету без времен и окончаний. Возможно, многого из сказанного они и не понимали, но слушали внимательно, как и Дики, стоявший в дверях кабинета. Дики всегда нравились обстоятельные лекции Стаблфилда, и если бы не канат да кое-какие дела, он посещал бы их регулярно.

— Что мы имеем в виду, говоря о душе?

Вопрос, разумеется, был риторический, но Стаблфилд выдержал паузу, словно ожидая ответа от повара или назначенной на сегодняшнюю ночь возлюбленной. Ставни в комнате были закрыты — дабы не мешали ни солнце, ни нелепая смесь бытовых шумов и дребезжащей цирковой музыки, которую периодически доносил ветер с другой стороны ущелья. Когда глаза Дики привыкли к полумраку, ему показалось, что тело Стаблфилда, и без того массивное, со времени их последней встречи стало еще внушительнее.

Некоторое время назад фигура Стаблфилда стала выходить за свойственные человеку пределы. Его туловище раздалось до такой степени, что те, кто восторгается Буддой в его привычном облике, при виде Стаблфилда, должно быть, испытывали благоговение, а анимисты из горных племен наверняка видели в его густой окладистой бороде и волосах (в массе своей все еще каштановых), спускавшихся ниже плеч, образ бога — или *огра* — горы. Впечатление, безусловно, усиливал крадущийся тигр, вытатуированный у него на груди. Он носил без рубашки европейский костюм из блестящего лилового шелка. За исключением тату грудь у него была голая, равно как и ноги, ногти на которых одна из девушек покрасила игривым алым лаком. С лаком, подумал Дики, толстые пальцы Стаблфилда стали походить на носовые отсеки лилипутской космической станции.

— Так что же мы имеем в виду, говоря о душе? Вопреки уверениям попкультуры, душа — это не разжиревшая певичка из ночного клуба, так и не оправившаяся от несчастной любви в Детройте. Душа не красуется на вывеске в парикмахерской Мемфиса, не жарит на ужин лососину, не держит в комоде тридцать восемь пар шикарного белья. Трудные времена и убогая жизнь закаляют душу, спору нет, но радость — вот те дрожжи, на которых она подымается. С другой стороны, — продолжал Стаблфилд, — душа — это никак не бледный пар, идущий от ведра с сухим льдом метафизики. Несмотря на все эктоплазмические ассоциации, она упорно спорит со всеми, кто представляет ее шквалом священных кишечных ве́тров или же свечением болотных газов, исходящих из недр личности.

Душа – это даже не суперприз, за который борются Господь с Сатаной, когда нашу плоть уже гложут черви. Вот почему, когда мы задумываемся — а рано или поздно это предстоит каждому из нас — о том, что именно следует делать с душой, не стоит обращаться к религии: это способ хоть и привычный, но ошибочный. Религия — всего лишь сделка, заключая которую люди нервические обменивают душу на временный и абсолютно иллюзорный психологический комфорт; давно известная схема "отдать, чтобы сохранить". Все религии убеждают нас, что душа — бесценное фамильное сокровище, и в обмен за наше бездумное повиновение обещают сохранить его для нас в своих подземельях или хотя бы застраховать на случай пожара и кражи. Но они ошибаются.

Стаблфилд расхаживал взад-вперед, широко, размашисто, как тигр на татуировке, но лицо его оставалось совершенно спокойным.

— Если желаете визуализировать душу, представьте ее... — Он в задумчивости замер. — Представьте ее в виде поезда. Длинный унылый товарняк тащится вечно дождливым утром от поколения к поколению; вагоны забиты вздохами и смехом, вместо безбилетных бродяг ангелы, а машинистом — дама пик, а она дамочка отчаянная. Ту-ту-у! — гудит свисток прозрения. — Слушатели, обрадовавшись звуковым эффектам, захихикали. — Пункт назначения — "Обитель Бога", а остановки — "Большой взрыв", оргазм и та дырка в заборе за амбаром, в которую лазает рыжий лис. Поезд — одновременно и местный, и экспресс, но он не перевозит оружия и уж точно не ходит по расписанию.

Возможно, учеников его слова и озадачили, но они этого ничем не выдали. Все же Стаблфилд сказал:

— Если я чересчур затейливо выразился, прошу меня извинить. Давайте, друзья, взглянем на это иначе: душа, возможно, есть не что иное, как первовибрация биосферы, уловленная и усиленная сенсориумом че-

ловека. Считайте ее клочковатым облаком не поддающейся определению энергии, вырабатывающейся при взаимодействии человеческих чувств и разума с природой в целом.

Вы, наверное, спрашиваете себя: "Чем же в таком случае душа отличается от духа?" — продолжал Стаблфилд, хотя и был абсолютно уверен, что этим вопросом никто не задается. — Так вот, душа темнее, плотнее, солонее на вкус, грубее по текстуре и скорее матер-, чем патерналистична: душа связана с Матерью-Землей, тогда как дух — с Отцом-Небом. Естественно, матери с отцами склонны к совокуплению, и в момент слияния бывает трудно отличить душу от духа. Вообще-то, если дух — вентиляционная и осветительная системы дома сознания, если дух — электричество, дающее дому свет, то душа — чадящий камин, закопченная духовка, пыльный винный погреб, скрип половиц в ночи.

Это звучит довольно банально, но, думая о душе, следует представлять себе нечто истинно подлинное и глубокое. Все поверхностное — не душевно. Все искусственное, подражательное или же излишне рафинированное — также не душевно. Дерево куда крепче связано с душой, нежели пластмасса, хотя, как это ни парадоксально, благодаря взаимодействию с человеком старинный деревянный стол или стул могут порой быть куда душевнее живого дерева.

На этом месте читатель вполне может ехидно подумать: "Да-да, конечно, а лучшая итальянская мебель вышла из семени Пиноккио". Что ж, вполне справедливое замечание. Вполне справедливое. На основании приведенных нами высказываний Стаблфилда можно сделать вывод, что он был 1) эрудитом; 2) мастером слова; 3) вольнодумцем, и мог разливаться соловьем по всем трем направлениям. Данное выступление, например, длилось довольно долго, пока вдруг он не перестал расхаживать по комнате и не подвел итог следующим образом:

— В конце, друзья, предлагаю вам представить себе некий анекдот, длинный анекдот, который рассказывают постоянно, причем так туманно и путанно, что полностью понять его невозможно. Жизнь — это и есть тот анекдот, друзья мои. А душа — его соль.

Стаблфилд с минуту, не меньше, разглядывал собственные ноги, сравнивая алость ногтей с насыщенной красной гаммой ковра. Но не чтобы усилить впечатление. Он размышлял. В комнате стояла такая тишина, что, казалось, было слышно, как тлеют ароматические палочки. Наконец он оторвал бороду от груди и сказал:

— Давайте не будем высекать на скрижалях последнюю сентенцию, ладно? Это может быть и высокая мудрость, а может — и полная чушь. Грань порой слишком тонка. Как-нибудь я проверю это на Лизе Ко и сообщу вам ее мнение.

Дики, стоявший в дверях кабинета, побледнел.

* * *

Бесконечные корешки книг по стенам кабинета Стаблфилда рекламировали себя не хуже того щита в Патпонге.

БИОГРАФИЯ КУРИТ СИГАРЕТУ
ПОЭЗИЯ ЕСТ ПАЛОЧКАМИ
ФИЛОСОФИЯ ИГРАЕТ В ПИНГ-ПОНГ

и так далее.

— До чего у меня славные ученики, — заметил Стаблфилд, закрыв за собой дверь. — Смеются, услыхав свисток моего паровоза, хотя ни один из них паровоза в глаза не видел. Бог ты мой, Голдуайр, что у тебя за вид? Бангкок тебя что, разжевал и выплюнул? Твое обычное мальчишеское очарование сильно пообтрепалось. — Заметив, что Дики разглядывал библиотеку, он сказал: — А помнишь, когда мы только познакомились, ты взял у меня почитать "Улисса", решив, что это биография генерала Гранта?

— Было такое. Зато теперь благодаря тебе я знаю, кто похоронен в могиле Гранта. Джеймс Джойс.

Стаблфилд усмехнулся.

— Я очень рассчитываю, что Фоли привезет мне новые книги, желательно пригодные для чтения, а не дешевки-однодневки. Не это занудство про раковых больных и честных адвокатов...

— Дерн не привезет тебе *ничего*, Стаб. Его замели.

— Что?

— Поймали на Гуаме. Самолет там сделал вынужденную посадку. Я видел его по Си-эн-эн. В наручниках. Весь твой товар конфисковали. Это было дня три или четыре назад. — В голосе Дики слышались чугунный гул отчаяния и стеклянное дребезжание истерики.

Стаблфилд присвистнул, и это никак не напоминало свисток паровоза.

— Твою, боже, мать! — воскликнул он вполголоса. И, оправившись от шока, добавил: — Фоли, разумеется, не расколется, но рано или поздно личность его они установят. Если уже не установили.

— А это значит...

— Это значит, что игра становится очень и очень интересной.

— Только не надо этому так радоваться.

В болотисто-зеленых глазах его собеседника действительно блеснула задорная искорка.

— Для Фоли это, само собой, дрянной вариант. Но, возможно, то, что было нужно всем нам. Слишком долго мы шагали по проторенной дорожке.

— Но мне моя дорожка нравится. Особенно если принять во внимание имеющуюся альтернативу. Что нам, черт возьми, делать, а, Стаб? Что? Действовать-то надо быстро. Мы в заднице. Я без гроша. Я...

— Полегче, Голдуайр. Без истерики. Возьми себя в руки. Решение принимать, безусловно, придется. Но сначала давай взглянем на картину в целом. Рассмотрим ситуацию в перспективе. — Он положил здоровенную, размером с хороший бифштекс ладонь на трясущееся плечо Дики. — Давай... давай-ка вспомним слова твоей подруги.

При упоминании подруги Дики опять побледнел. Он все время упорно думал о том, увидит ли ее снова. И это, честно говоря, заботило его больше всего. (Разумеется, он не мог знать, что Лиза Ко, проторчав из-за социалистической бюрократии и проблем с паспортом два дня во Вьентьяне, в настоящий момент направляется в Фань-Нань-Нань и прибудет туда еще до захода солнца.)

— Какие слова? — спросил он, уставившись на Стаблфилда.

— Да ты прекрасно знаешь, какие. — У Стаблфилда было полно своих забот, и он потихоньку начал раздражаться. — Семейный девиз Лизы.

Дики закрыл глаза. И тут же все вспомнил.

Оно есть оно.
Ты есть оно.
Ошибки быть не может.

До конца не веря, но и не отрицая полностью, что эта литания может принести спасение, Дики повторил все слова, потому что в них была Лиза, а тем временем на дне ущелья у виллы "Инкогнито", под поющим на ветру цирковым канатом, там, где туман настолько густ, что ложится невесомым мехом на веки, парочка тануки, избежавшая ловушек мадам Ко, бешено облаивала тигра, которому вздумалось ими пообедать.

Часть III

* * *

Если ты не доедешь до Когнито,
Это будет страшный облом.
Но если вправду не можешь инкогнито,
Что ж, в Абсентии стрелку забьем.

Сан-Франциско. Город у залива. Бутси нашла туман очаровательным.

Заключенного им показали не сразу. Сестер Фоли привезли в неприметное государственное учреждение где-то в центре города, доставили бесшумным лифтом на седьмой этаж и почти час допрашивали в кабинетике без окон, вроде тех, от которых у Кафки шел мороз по коже.

Допрашивающих было двое: офицер военной разведки, высокий афроамериканец, у которого на именном значке было написано "Полковник Пэтт Томас", и штатский — очкарик в твидовом костюме, представившийся как Мэйфлауэр Кэбот Фицджеральд. Он, судя по имени и облику, представлял Центральное разведывательное управление. Любезность красавца полковника Томаса граничила с кокетством, угрюмый же Фицджеральд держался высокомерно, всем своим видом показывал, что посвящен в тайны, о которых простым смертным и знать не следует, и голос у него был монотонный и гулкий, словно шел из глубин силосной башни.

На допросе им не угрожали, обвинений не предъявляли, но расспрашивали дотошно. Все время, пока Бутси и Пру пытались вспомнить подробности про брата, которого боготворили, но уже лет тридцать не видели, они сидели напротив полуметровых зернистых снимков (явно увеличенных), вывешенных в ряд на уныло-зеленой стене — там, где обычно располагается окно. Фотографий было всего три — поясные портреты трех молодых людей в летной форме и фуражках. Под каждым были указаны звание, имя, дата рождения и место жительства.

СЛЕВА: майор Марс Альберт Стаблфилд, 30 лет, Миллард, Небраска.

У майора Стаблфилда лицо было круглое, почти пухлое, и жизнерадостное, но мягкость облика была мнимой, что выдавали глаза, умные и пронзительные, как трассирующие пули, а также изогнутые уголки рта, которые придавали задумчивой улыбке ироничный и слегка насмешливый оттенок. При взгляде на него на ум приходил молодой Орсон Уэллс.

ЦЕНТР: капитан Дерн В. Фоли, 25 лет, Сиэтл, Вашингтон.

По шее и даже по лбу можно было догадаться, что капитан Фоли — человек дюжий, не слишком высокий, однако исключительно мускулистый; у таких обычно щетинистые усы и толстые ногти. Сломанный нос, довольно вялый рот — в его лице присутствовали одновременно и грубость, и эфемерность, как в мотыльке, сколоченном из неструганых досок. Лицо, казалось, говорило: "Я не мог явиться духом, поэтому пришел в телесной оболочке". То же самое отстраненное выражение сестры подмечали порой на снимках из семейного альбома. Что их тревожило.

СПРАВА: первый лейтенант Дики Ли Голдуайр, 23 года, Маунт-Эри, Северная Каролина.

Этот, судя по всему, был стройный красавчик, миляга, любимец маленького провинциального городка, душа пикников в загородном клубе, в недавнем прошлом — король встреч выпускников, однако не из тех, кто задирает по этой причине нос. Легко было представить, как он колесит на резвом спортивном автомобильчике вокруг женского общежития в каролинском университете, как щелкает пальцами в такт мелодии Синатры, как беспечно наслаждается жизнью, но втайне мучается, что никак не помогает тем, кому меньше повезло. Его природная аристократичность разительно отличалась от, скажем, высокомерной заносчивости Мэйфлауэра Фицджеральда, наверняка учившегося в каком-нибудь заведении "Лиги плюща"[1]. Пру сочла лейтенанта Голдуайра на этом старом снимке довольно привлекательным, а на взгляд Бутси он был очарователен, как, ну, скажем, первый весенний дрозд.

Когда следователи убедились в том, что Бутси и Пру действительно родственницы капитана Дерна Фоли и готовы признать, по крайней мере, в настоящий момент, что не имели с ним контактов с тех самых пор, как он и двое остальных членов экипажа (которых дамы, как они утверждали, никогда не видели) были сбиты зимой 1973 года над лаосско-вьетнамской границей, они повели женщин по длинному серому коридору, в конце которого была комната с прозрачным с одной стороны стеклом во всю стену. За стеклом сидел на койке человек и читал Гидеонову Библию[2]. Сестер изумило, что мужчина в камере лыс, как очищенная картофелина, что вообще-то не должно было их удивить, поскольку его и без того высокий лоб полез еще выше, к затылку, уже в старших классах школы.

Мэйфлауэр Фицджеральд прервал молчание сестер нетерпеливым:

— Ну?

Они продолжали молчать.

— Ну? — повторил он, глядя на них поверх очков. — Это ваш брат или нет?

В глазах Бутси уже давно поблескивали слезинки, а тут уж она разревелась всерьез. Полковник Томас и его штатский коллега понимающе кивнули друг другу — они были готовы принять рыдания Бутси за утвердительный ответ. Пру же сохраняла полнейшую невозмутимость. По правде говоря, Мэйфлауэр Фицджеральд раздражал ее все больше и больше.

1. "Лига плюща" ("Ivy League") — группа самых престижных частных колледжей и университетов США.
2. Распространяется бесплатно миссионерским обществом "Гидеоновы братья".

— Хм-мм, — якобы замялась Пру. — Хм-мм... Должна признать, чем-то он действительно напоминает Дерна. Но... я не до конца уверена. Вроде похож на Дерна, но в то же время вроде как еще на кого-то... А, вот оно! Он же вылитый Бозо. Знаете клоуна Бозо? У него, конечно, нет ни накладного носа, ни завлекательных оранжевых кудрей.

И Пру невинно улыбнулась — мол, помогла, чем смогла. Цэрэушник едва не дымился от злости. Полковник Томас изо всех сил пытался держаться с прежней сердечностью. Даже Бутси окинула сестру презрительным взором.

* * *

На следующий день произошло воссоединение семьи. В некотором смысле. О каком воссоединении можно говорить, если родственников разделяет трехдюймовое ударопрочное стекло, сквозь толщу которого их голоса могут пробиться только с помощью внутреннего телефона? Какие уж тут объятия с поцелуями! К тому же тепло встречи охлаждалось присутствием полковника Томаса и сотрудника оперотдела Фицджеральда, сидевших здесь же на узенькой деревянной скамеечке.

— Дерн, Дерн, Дерн! — твердила Бутси.

Она повторяла его имя снова и снова, будто застрявшую в гортани мантру. В ее голосе слышались удивление и недоверие, печаль и восторг.

— Где ж тебя носило? — спросила Пру.

Фоли сказал в телефон:

— По Юго-Восточной Азии, сестренка. Стоял на страже демократии.

— Дерн, Дерн, Дерн...

— Дерн, да эта чертова война уже четверть века как закончилась.

— Не для всех. У меня пошла сверхсрочная.

— Дерн, Дерн...

— У меня было спецзадание, сестренка. Сверхсекретное и т. д. — Он прижал мясистый палец к губам.

— Никакого сраного секрета тут нет, дорогой братец. Мы видели тебя по телевизору. Полюбовались на твое "спецзадание".

— Да будет тебе! Уж ты-то знаешь, что не следует верить всему, что показывают по телевизору.

— Ой, Дерн, Дерн... Мне плевать, что ты натворил. Мне нет до этого дела. Дерн, Дерн...

— Бутси, заткнись! — Пру выхватила трубку из руки сестры.

— Знаешь, Пру, а я помню то время, когда ты свято верила, что Хауди-Дуди[1] — настоящий мальчик.

Пру не смогла сдержать улыбки. Бутси снова запричитала.

— Мы думали, ты погиб, — сказала Пру.

— О вы, маловеры! Теперь понятно, почему вы не писали.

— Ой-ой-ой-ой-ой...

— Все... Все решили, что ты убит.

Дерн Фоли покачал лысой головой.

— Как некогда было сказано: "Мертвы лишь выжившие". А сами-то вы как, девчонки? Боже, до чего же я рад вас видеть! Вы нисколечко не изменились. У меня есть племянники или племянницы? Детей нет? А пудели есть? Попугаи? Белые мыши?

— Ой-ой-ой-ой-ой...

1. Кукла-мальчишка, герой популярного в 50-е годы детского телешоу.

– Бутси, заткнись!

И далее в том же духе. Полковник Томас и сотрудник оперотдела Фицджеральд переглянулись – оба пришли к выводу, что некоторые винтики в семействе Фоли срочно необходимо подтянуть.

* * *

– Если ты принимаешь приглашение на войну, значит, рассчитываешь, что тебя там подстрелят.

Стаблфилд видел это именно так. Для Стаблфилда это было элементарно.

– Когда идешь на войну, подписываешь контракт, и в нем есть пункт, где говорится: "Я согласен на то, что в меня будут стрелять". И написано отнюдь не мелким шрифтом. В самом начале сказано: "Учитывая, что будут вестись бои с противником, нижеподписавшийся признает за противником право пускать пули, бомбы, гранаты, торпеды, ракеты, артиллерийские снаряды в его многострадальную задницу". Противопехотные мины, мины-ловушки и штыковые атаки перечислены в отдельном параграфе.

Итак, что же происходит, когда в тебя стреляют? Или в тебя попадают, или тебе повезло. Или убивают, или ранят, или пронесло, и в таком случае ты или отправляешься домой, или в тебя снова стреляют, но позже. Могут, конечно, и в плен взять. А бывает, в пылу боя никто и не заметит, что с тобой приключилось. Ты становишься без вести пропавшим. И можешь оставаться таковым долгое время. Бывает – навсегда.

Нечего говорить, твоей супруге, родителям, сестрам, братьям и так далее тяжко жить, не зная, что случилось с любимым человеком, а если они смирились с твоей смертью – мучительно думать, что твои останки валяются бог знает где. Но это ненамного страшнее прочих последствий вооруженного конфликта. Здесь нет ничего личного, ничего дикого, несправедливого, жестокого или порочного. Это всего лишь специфика безумной игры под названием "война", перспектива, которую следует учесть до того, как подпишешь контракт или примешь приглашение. Ни жизни, ни победы никто не гарантирует. Я никак не могу взять в толк, чего это общественность вечно подымает шум вокруг пропавших без вести.

Само собой, точка зрения Стаблфилда популярностью не пользовалась. В ней, возможно, присутствовала логика, и Стаблфилд имел на нее моральное право – поскольку и сам был пропавшим без вести, – но разделяли ее немногие.

Даже летом 2001 года на бамперах автомобилей встречались наклейки с призывом "Верните домой без вести пропавших!". Конгресс все еще осаждали родственники без вести пропавших и активисты-пацифисты, в Интернете копились биты информации – шум вокруг пропавших без вести не утихал, хватало и душераздирающих рыданий, и шовинистической истерии типа "не опозорим отечества". К августу 2001 года 1966 американцев, воевавших во Вьетнаме, все еще числились пропавшими без вести, и вопрос стоял по-прежнему остро, хотя с 1992-го, когда была создана Совместная комиссия по делам военнопленных и пропавших без вести, были прочесаны все места боевых действий в Юго-Восточной Азии. Отряды военных судмедэкспертов и штатских археологов искали кости, зубы, личные знаки, школьные кольца, обрывки писем и так далее, и хотя там уже как следует порылись предприимчи-

вые местные жители, иногда удавалось наткнуться на человеческие останки или личные вещи. В конце концов вопли убитых горем родственников и профессиональных патриотов слегка поутихли.

И вдруг из небытия, как черт из табакерки, выскочил капитан Дерн В. Фоли, путешествовавший инкогнито, с партией наркотиков на кругленькую сумму. Бах-тарарах! И на аккуратно сложенном флаге появилась складочка — складочка, которую полковнику Пэтту Томасу и Мэйфлауэру Кэботу Фицджеральду было поручено разгладить.

С одной стороны, появление Дерна Фоли могло пробудить в родственниках новые — и, вне всякого сомнения, напрасные — надежды на то, что милые их сердцу, но давно пропавшие близкие живы. (Порой ползли слухи, что американских военнопленных видели где-нибудь в исправительно-трудовых лагерях на территориях от Ханоя до Москвы.) С другой же стороны, арест капитана Фоли бросал тень на всех, кто имел к Фоли отношение; он, как гриф-стервятник, застил солнце и коршуну, и горлице. Гриф оказался настолько мерзким, а его помет — настолько зловонным, что вопрос о его возможном уничтожении обсуждался всеми, кому платят за обсуждение подобных вопросов.

Но грифы редко летают в одиночку. А еще грифы так же, как певчие птички-невелички, откладывают яйца. Где же сообщники Дерна Фоли? Откуда он получал товар? Как долго этим занимался? Куда подевались остальные члены экипажа с того сбитого В-52? В чем еще Фоли мог быть замешан, что он знает такого, что могло бы замарать царственное гнездо американского орла?

Фоли отказывался отвечать на эти вопросы. Фоли отказывался отвечать буквально на все вопросы, которые ему задавали. Единственный значимый ответ, который он дал, только еще больше все осложнил.

— Никак в толк не возьму, — раздраженно воскликнул полковник Томас. — Война закончилась, вы были абсолютно здоровы, в плену вас не держали, так что же побудило вас остаться в этой сраной дыре? Наркотики? Легкая добыча? Коммунистический режим? Или еще что?

Дерн посмотрел полковнику в глаза, вяло улыбнулся своей обычной, чуть отрешенной улыбкой, которая и на улыбку-то не походила, и сказал:

— А что, если я просто одной сраной дыре предпочел другую?

Вот так так! Хорошенькое дельце! Не дай бог репортеры пронюхают. Пропавший без вести предпочел остаться "пропавшим". Американский герой, отвергший Америку. И не отрицающий, что, возможно, есть и другие такие же. Запахло жареным — наверное, омлетом из яиц того же вонючего грифа.

Неудивительно, что при подобных обстоятельствах сестрам Фоли наказали никому о появлении Дерна не рассказывать и повторили это неоднократно, с различными интонациями. Что же касается общественности — а общественность уже успела забыть о случившемся, — то ей сообщили, что наркокурьер, арестованный на Гуаме, оказался именно тем, кем и назвался, а именно — французским миссионером отцом Арно Городишем. В обозримом будущем любую информацию, свидетельствующую об обратном, предполагалось решительно опровергать, а с ее источниками не менее решительно разбираться. Но кто, кроме Бутси и Пру, мог предоставить подобную информацию? Друзей у Дерна всегда было немного, оба его родителя утонули, катаясь на яхте, вскоре после того, как он поступил в военно-воздушные силы.

Через два дня сестры садились в самолет "Аляска эрлайнс" до Сиэтла в состоянии, близком к шоковому. Потрясение от того, что Дерн жив (были и такие, кто полагал, что сестры Фоли так никогда и не вышли замуж по причине глубокой привязанности к исчезнувшему брату), усугублялось ситуацией, в которой он оказался, и вполне конкретными угрозами правительственных органов.

Бутси, хотя и твердила, что все закончится хорошо, находилась в таком состоянии, что стюардессе пришлось самой застегнуть на ней ремень безопасности, а ведь Бутси выросла в семье авиаторов! Пру, смущенная поведением сестры и подозревавшая, что за ними наблюдает очередной подручный Фицджеральда, погрузилась в "Сан-Франциско кроникл", прикрывшись газетным полотнищем, как маской. "Чернила — кровь языка, — говорил Стаблфилд, объясняя, почему предпочитает экрану печатное слово. — Бумага — его плоть". Пру сделала себе лицо-газету. Насупленные брови были как кроссворды, моргающие глаза — результаты бейсбольных матчей. В нее можно было хоть рыбу заворачивать.

Где-то в середине "Кроникл", близ рта маски, она наткнулась на коротенькую заметку о том, как поезд, в котором ехал цирк, сошел с рельсов в горах Орегона где-то между Сан-Франциско и Портлендом. Серьезно никто не пострадал, но пропало несколько животных.

* * *

Самым разумным было уничтожить капитана Фоли. И полковник Томас, и сотрудник оперотдела Фицджеральд знали, как организовать ему "сердечный приступ" в камере. Администрация к прекращению дела до суда отнеслась бы спокойно.

Разумеется, можно было просто изобразить Фоли промарксистски настроенным дезертиром и добиться, чтобы его приговорили к смертной казни или пожизненному заключению. Однако в таком случае суда было не миновать, а кто знает, что бы он наговорил на заседаниях или же — в случае закрытого слушания — другим обитателям тюрьмы, или же репортерам, назначенным освещать его казнь. Аналогичные проблемы возникли бы, если бы против него выдвинули обвинения за контрабанду наркотиков, чем он, собственно, и занимался. Впрочем, особого значения то, что может сказать Фоли, не имело. И публика, и официальная пресса вряд ли приняли бы всерьез лживые заявления наркодилера-дезертира-предателя.

Однако за какую банку с вареньем ни возьмись, в каждой барахтались, потирая лапки и шевеля крылышками, мухи в лице майора Марса Альберта Стаблфилда и первого лейтенанта Дики Ли Голдуайра. И по совокупности причин нельзя было принимать никакие серьезные меры по отношению к Фоли до тех пор, пока не установлены местопребывание, нынешнее состояние и степень соучастия этих двух пропавших без вести.

Расставаясь, полковник Томас и сотрудник оперотдела Фицджеральд (обычно называемый Мэйфлауэром) договорились приложить максимум усилий для того, чтобы уничтожение произошло как можно быстрее.

— Да, кстати, — сказал Мэйфлауэр, когда они покидали здание, — детям вашей сестры вчера в цирке понравилось?

— Даже очень. Они были в полном восторге. Одно плохо — клоун напился и завалил номер со зверями.

По узким губам Мэйфлауэра скользнула понимающая улыбка. Наклонившись к полковнику, он шепнул, сверкнув слишком уж безукоризненными зубами:

— Никакой это был не клоун. Это была лесбуха.

* * *

Тук-тук!

— Кто там?

Ответа не последовало. Деревня ужинала, и Дики слышал только шелест бамбуковой рощи в полумраке.

Тук-тук!

— *Саббайи дзи? Саббайи дзи?* Кто там?

И снова нет ответа. Дики разумно предположил, что, если даже Фоли и сдал их, властей пока ждать рано. И тем не менее насторожился. Дики стоял на коврике посреди своей хижины совершенно голый — он только что помылся и постирал одежду в ручье. До того как раздался стук, он искал чистые шорты — обычное его одеяние в Фань-Нань-Нане.

Затаив дыхание, он уставился на шаткую плетеную дверь, та приоткрылась, и чья-то рука швырнула к его ногам небольшой цилиндрический предмет. Дики инстинктивно пригнулся, думая, где бы укрыться, но хотя его хижина считалась по фань-нань-наньским меркам просторной, в ней не было ни тяжелой мебели, за которой можно спрятаться, ни алькова, защитившего бы от взрыва.

От взрыва? Да. Дики был абсолютно уверен, что к нему катится граната, поэтому перед глазами успела промелькнуть вся его жизнь. Прошмыгнула учительница шестого класса, требовавшая несделанных заданий по математике (на тысячную долю секунды он вернулся-таки в школу из кошмара), промчался раскрасневшийся отец в кабриолете — из тех, которыми торговали в фирме Голдуайра, пронеслась на гольфкарте мама, проскользнула старшая сестра, сверкнувшая, чем не раз его смущала, голой грудью; богатые дедушка с бабушкой, алкоголик-гитарист, учивший его играть, кучка соучеников из Университета Северной Каролины, психованный командир эскадрильи — длинная череда эпизодических персонажей из сцен, которые, по мнению (обоснованному или нет) Дики Голдуайра, определили его, Дики, жизнь. И только он успел удивиться, почему из всех возможных мест и способов, какими могла бы закончиться эта жизнь, почему именно в лаосской хижине, почему его, голого, на пятьдесят втором году жизни, почему разорвет на куски граната...

Но взрыва не последовало. "Граната", перестав крутиться, оказалась подозрительно похожей на стеклянную банку со знакомой сине-желтой этикеткой. И это не было кадром из прошлого. Как не было и видением, выплывшим из недр психики, чтобы напомнить, что он профукал свою жизнь, как, отказываясь просыпаться вовремя, профукивают ее многие. Не было это галлюцинацией, порожденной глубинным стыдом либо гордыней, равно как и не было бомбой.

А было это... была это... банка майонеза. Майонеза высшего качества (известного к востоку от Миссисипи как майонез "Хеллманс"). И пока он разинув рот разглядывал банку, дверь открылась чуточку шире и кто-то метнул в него упаковку хлеба "Вандер-бред", угодившую прямо в пенис.

* * *

Дики приготовил сэндвичи. Понятное дело, не сразу. Сначала они обнялись. Затем обсудили арест Дерна (Лиза Ко удивилась, что он об этом уже знает; на самом деле она в глубине души расстроилась, что ему все известно, — ведь она примчалась с другого края света, бросила цирк, оставила своих тануки под присмотром женщины с неустойчивой психикой именно для того, чтобы самой сообщить ему новости.) Они поговорили о том, как этот арест может отразиться на Дики, на них двоих и на Стаблфилде. Затем она тоже обнажилась, и они занялись любовью.

Любовью они занимались так стремительно, словно это была гонка за лидером, и оба достигли оргазма быстрее, чем Дэниэл Бун[1] освежевал бы плюшевого мишку. Дики распирало еще с ночи воздержания, проведенной с мисс Джинджер Свити (по правде говоря, во время длительного оргазма он пару раз мисс Джинджер Свити вспомнил), а Лиза Ко за три месяца занималась сексом лишь однажды — с Бардо Боппи-Бип, и хотя то ощущение было новым, волнующим и крайне приятным, оно было совсем иным. (Лиза сочла, что секс с женщиной не считается нарушением клятвы супружеской верности, а вот Бардо Боппи-Бип, кажется, приняла это за нечто большее.)

К тому времени стемнело окончательно, и сэндвичи Дики делал при свечах. Когда-то он признался Лизе Ко, что больше всего тоскует по американскому майонезу и резаному хлебу. И вот она привезла ему именно их, а это навело его на мысль, что она любит его больше, чем ему порой кажется.

Все жители Каролины с ума сходят по майонезу, майонез для них — амброзия, пища их древних богов. Майонез успокаивает, побуждает гласные еще более плавно скользить по медлительным гортаням, ублажает тяготеющие к жирненькому вкусовые пупырышки, возносит к высям, куда свиному жиру не подняться. Желтый, как летнее солнышко, нежный, как юные чресла, гладкий, как тирада баптистского проповедника, якобы незаметный, как платочек фокусника, майонез укутает лист салата, нарезанную соломкой капусту, ломтики холодной картошки мантией скромного величия, изменит их обыденную сущность, вернет им живость и привлекательность, наделит способностью усладить если не сердце, то хотя бы пищевод. Жареные устрицы, вчерашний ростбиф, арахисовое масло — мало найдется пищи, что не засверкает новыми гранями при встрече с этим соблазнителем, с этим фатоватым шарлатаном, с этим алхимиком в банке.

Извечная тайна майонеза, над которой наверняка, кроме Дики Голдуайра, ломали голову многие, заключается в том, почему яичный желток, растительное масло, уксус (озлобленный братец вина), соль, сахар (основной источник энергии радости на земле), лимонный сок и, естественно, щепотка старой доброй динатриевой соли EDTA сочетаются так, что из них получается столь универсальная, сытная и — да что там говорить — царственная приправа, отчего горчица, кетчуп и иже с ними должны либо склонить перед ней голову (хотя майонез при цене два бакса за банку нос не задирает), либо с позором покинуть сцену. Кто, как не французы, мог изобрести это гастрономическое чудо? Майонез — дар Франции бестолковому нёбу Нового Света, благо в котором сочетаются древнее инстинктивное стремление человечества к рыхлому теплу чистого жира с современ-

1. Дэниэл Бун (1734—1820) — участник борьбы за освоение Дикого Запада, охотник, строитель и т. д.

ной романтической страстью к сложным вкусам: майонез может показаться недостаточно острым и даже прозаичным, но под сливочно-кремовым флером скрывается характер бурный и неуемный. Забудьте про холестерин — от майонеза исходит то сияние, которое для нас, сирот Вселенной, с тех самых пор, как мы упали со звезд, ассоциируется с благополучием.

Ладно, может, это и слишком сильно сказано, однако даже хулители майонеза не могут не признать его блеска. И никогда и нигде не блестит он так ярко, как просто намазанный на кусок хлеба.

"Вандер-бред" Дики любил больше всего. Лиза Ко вскрыла упаковку, красные, синие и желтые горошины на которой, напомнив о цирке, пробудили в ней чувство вины, и бережно вынула ломтики хлеба. Ножом, напоминавшим скорее штык, нежели кухонную утварь, Дики аккуратно покрыл каждый слоем шелковистой массы, от корочки до корочки, следя за тем, чтобы не осталось ни одного, пусть крохотного, пятнышка. Дики, видите ли, тонко чувствовал красоту правильно сделанного сэндвича. Те, кто оставляет на хлебе сухие прогалины, кто ленится намазать майонез ровно, от края до края, люди пустые и никчемные, поденщики, а не истинные художники, и они недостойны называться "творцами сэндвичей".

Что касается начинки, то с этим возникли проблемы. Обычные ингредиенты — консервированный тунец, сыр, пастрами, помидоры и т. д. в фань-нань-наньской кладовой Дики отсутствовали. В порядке эксперимента он сделал сэндвич с вареным рисом, добавив в него для вкуса перец чили, чеснок и *маак каук* (кислый фрукт, напоминающий оливки), и хотя получилось приятнее, чем можно предположить — благодаря, ясное дело, майонезу, — однако оставляло желать лучшего. Сэндвич с *наам-пак-каат* (перебродившая паста из латука), мятой и *нанг квай хаэнг* (сушеная буйволиная шкура) оказался еще менее удовлетворительным.

В конце концов — Лиза Ко только удивленно покачала головой — Дики удовлетворился простыми сэндвичами с майонезом, такими же, какие он делал себе мальчишкой, когда мать уезжала играть в гольф, отец тусовался в стрелковом клубе или на автостоянке, а у кухарки был выходной. Мм-ммммм! Даже после нескольких дней путешествия "Вандер-бред" не потерял вязкости, а майонез по всем вышеупомянутым причинам оправдал усилия, потраченные матерью-природой на то, чтобы внедрить в эпителий языка овальную гроздь сенсорных клеток. Мм-мм-ммм!

Сэндвичами он вскоре насытился, однако ностальгия, видно, не проходила, поскольку он продолжал брать ломтики хлеба — складывал их, скручивал, мял и делал из них фигурки, как в детстве. Дики лепил маленьких зверушек. Точнее, домашних животных. Создал свинью, козу, гуся. Ему и в голову не приходило, что Лиза Ко мается чувством вины по отношению к цирку, поэтому он вылепил слона и жирафа. Лиза, то ли мучавшаяся виной, то ли нет, пришла в восторг. Она никогда не видела ничего подобного, даже среди бабушкиных оригами. Впрочем, когда Дики попытался сделать для нее тануки — у него возникли трудности как с пузом, так и с мошонкой, — она решила, что лимит восторгов исчерпан.

И она поцеловала его — достаточно крепко, чтобы привлечь его внимание. Затем подошла к кровати и легла. Согнула колени и раздвинула ноги. Глянцево-черные волосы на лобке раздвинулись, как занавес в театре, открыв строенные декорации — немного сюрреалистические и розовые, как классический рассвет. Таинственные, мерцающие, дышащие, складчатые, они ждали выхода на сцену актера, который раскрыл бы их подлинный смысл.

Дики, который уже с успехом пробовался на эту роль, не заставил себя ждать, причем появился не из-за кулис, а со стороны рампы, и никакой Лоуренс Оливье или, скажем, Джеймс Дин никогда не играл с такой отдачей. Да и Лиза Ко отдавала не меньше, чем получала. На сей раз они занимались любовью неспешно, раздумчиво, тщательно, впрочем, не без отдельных внезапных всплесков. Длилось это почти два часа, а когда они наконец разъединились и перевели дух, то оказалось, что они в буквальном смысле плавают в луже пота и прочих телесных жидкостей.

Послевкусие от сэндвичей с майонезом смешалось во рту Дики с соками Лизы Ко. Он смахнул с трехдневной щетины крошку, вытащил застрявший между зубами волосок и — невзирая на неопределенность собственного будущего — заснул счастливым человеком.

Проснувшись на рассвете, он увидел, что Лиза уже встала, оделась и душится за маленькими, хорошенькими, но слегка заостренными ушками. Он и не спрашивая знал, что через минуту-другую она отправится искать канатоходца, чтобы переправиться на виллу "Инкогнито". И хотя в этом не было ничего удивительного, собственное сердце показалось Дики железным пианино с колючей проволокой вместо струн и скорпионами вместо клавиш.

* * *

Те, кто его знал, могли бы спросить: в какую именно сторону текла мутная река его ревности? По направлению к Стаблфилду или к мадам Ко? Ибо суть в том, что этого мужчину он любил почти так же, как эту женщину. Стаблфилда он полюбил почти сразу, едва с ним познакомился.

Встреча произошла в комнате отдыха офицеров на американской авиабазе, находившейся на самом южном острове Японии. По-видимому, настал момент вернуться немного назад — для того, чтобы бросить взгляд на калейдоскоп событий, которые привели Дики на авиабазу и настроили его таким образом, что майор Марс Альберт Стаблфилд произвел на него столь сильное впечатление. Лучше назвать это именно калейдоскопом, поскольку между событиями редко возникает линейная связь, как обычно полагают те, кто учит нас "истории", хотя в данном случае след взять довольно легко.

Как-то раз в начале осени Дики, второкурсник Университета Северной Каролины, играл на студенческом пикнике на гитаре и пел народные песни. Он не то чтобы развлекал аудиторию, нет, просто сидел у костра, перебирал струны и тихонько мурлыкал себе под нос; впрочем, человек пять-шесть подсели к нему и даже подпевали. В какой-то момент, а именно после исполнения "On Top of Old Smoky"[1], девушка, которой он прежде никогда не видел, вышла из тени и взяла его за руку.

— Знаешь, старичок, слишком ты хорош для этих ученых крысят. Я отведу тебя туда, где тебя оценят по-настоящему. Давай-давай, пошли, — сказала она в ответ на его робкие возражения. — Считай, что это приказ.

В кафе "Носорог" в центре города аудитория оказалась хоть и поспокойнее, но немногим внимательнее, чем голосистые гуляки из "Пи Каппа Фи"[2], однако тот робкий дебют на сцене "Носорога" оказался поворотным моментом в жизни Дики.

1. Американская народная песня "На вершине Смоки".
2. "Пи Каппа Фи" — студенческое братство, основанное в 1907 г.

Девушку звали Шарлин, и хотя она со своей копной курчавых волос, военными ботинками и жутко накрашенными глазами была не столь привлекательна, как девицы из группы поддержки, с которыми он встречался в Маунт-Эри, или соученицы, привлекавшие его внимание в кампусе, в ней были, что ли... *вольтаж*, отвага, тайна, а их и близко не чувствовалось в тех, других. Вдобавок в отношении секса Шарлин была и куда щедрее, и куда опытнее, чем все его знакомые девушки, и еще до наступления рассвета он понял, что прежде пребывал в состоянии, равносильном девственности. Само собой, он давно уже держал вертел на огне, но до встречи с Шарлин, как выяснилось, жарил на нем только пирожки.

Если вагина Шарлин была в тот год, выражаясь метафорически, майонезом его жизни, то ветчина, помидоры и собственно хлеб имели природу более интеллектуальную. В школе Дики без труда получал хорошие оценки, но даже отличные оценки отнюдь не свидетельствуют о том, что ученик хоть что-то соображает. Скажи вы Дики до поступления в университет, что Гражданская война не была войной за отмену рабства, что Америку открыл не Колумб, что Иисус Христос никогда не был христианином, что слово "уникальный" не является синонимом слова "необычный" или что обманутый всеми и каждым изобретатель Никола Тесла считается отцом не только электромеханики, но и электроники и на фоне его изобретений все творения Томаса Эдисона кажутся поделками сельского самоучки, — поделись вы с ним даже этой обрывочной информацией, он, подобно большинству других обитателей Маунт-Эри, как "образованных", так и нет, счел бы это бредом сумасшедшего. А теперь он сидел в кафе (он стал выступать в "Носороге" почти ежедневно, несмотря на то что все, включая его самого, считали его исполнение песен Боба Дилана немногим лучше того, что мог бы выдать хорошо выдрессированный мексиканский попугай), сидел и слушал, как Шарлин с друзьями трепятся про экзистенциализм, про террористические заговоры, про юнгианскую теорию НЛО, про тибетскую "Книгу мертвых", про пацифизм Ганди и про троичный архетип Матери-Богини в искусстве. Слушал внимательно, но суть улавливал с трудом.

Более того, поскольку ему не хотелось сидеть вот так, дубина дубиной, поскольку по каким-то мистическим причинам он мечтал, чтобы университетские фрики принимали его за равного, поскольку жаждал произвести впечатление на Шарлин и поскольку многое из новой для него информации пробудило в нем искренний интерес, он стал пропадать в библиотеке — изучал всевозможные эзотерические концепции. Ему удавалось получать нормальные оценки по основной специальности — автомобилестроению (это была папочкина идея), но душа его витала в иных сферах. С куда большим наслаждением читал он Бакминстера Фуллера[1], нехрестоматийные исследования по Гражданской войне и биографии Теслы и Будды. Горизонты его видения мира расползались, как горячий сыр по пицце.

В "Носороге" к нему всегда относились неплохо. Девушкам он нравился потому, что был симпатичен, воспитан и немного наивен (материнский инстинкт не чужд даже представительницам богемы). Мужчинам нравился потому, что разрешал гонять на своем "фиате-спайдере" и

1. Бакминстер Фуллер (1895–1983) — американский дизайнер, математик, философ. Выступал с теорией "тотального дизайна" — изменения жизни средствами рациональной технологии.

давал взаймы на марихуану. Музыкальные таланты, хоть и ограниченные, придавали ему толику загадочности, а туманные намеки Шарлин на размеры его мужского достоинства впечатляли как женщин, так и мужчин. Теперь, когда Дики мог время от времени принимать посильное участие в застольных беседах, он достиг цели — стал своим среди всем чужих. Однако опасения, что его бурно развивающаяся личность скоро выйдет за рамки, рассеялись, когда в первый же теплый апрельский день — весна перла из мягкой каролинской земли, как козлиные гены из кукурузного початка, — Шарлин смылась в Беркли со странствующим торговцем кислотой по прозвищу Цыган, забрав с собой павлиньи перья, карты Таро, романы Колетт и оставив разве что пропахший пачулями и вагиной вакуум — даже запиской его не удостоила.

Сердце Дики не то чтобы было разбито — оно было выжато досуха. Он чувствовал себя комнатным цветком в заброшенном доме. Семь месяцев он кувыркался в водах жизни — и вот гидронасос пришлось заложить, поскольку стало нечем платить за воду.

На дне канавы еще бил родничок, оставались еще неисследованные области человеческой мысли, но нырять уже было никак невозможно. "Тренер" его бросил, интерес к обыденной жизни был утерян, и он остался с миром один на один, взведенный как курок и выжатый до капли. Опасаясь, что в таком состоянии недолго и засохнуть окончательно, и будучи по натуре человеком слишком жизнерадостным, чтобы впадать в депрессию надолго, он заставил себя действовать. Сдав выпускные экзамены, Дики, невзирая на сопротивление родителей, записался в ВВС.

— Тебя погонят во Вьетнам! — вопили они.

— Очень на это надеюсь, — бурчал Дики и не кривил душой, хотя и сам до конца не понимал почему — особенно после всех антивоенных тирад, выслушанных им в "Носороге".

Предаваясь самоанализу, он вспоминал последнюю ночь с Шарлин. Они лежали на ее узеньком матраце, спальник, служивший одеялом, был отброшен в сторону — так быстрее остывали разгоряченные бурным коитусом тела. Дики все рассуждал о том, что в законах, которым подчиняется Вселенная, главное не материя, а замысел или о чем-то в этом роде, вычитанном у Бакминстера Фуллера, и только собрался построить собственную теорию, как вдруг заметил странный свет в глазах Шарлин.

Много лет спустя он будет порой замечать тот же свет в глазах Лизы Ко и всякий раз будет удивляться тому, что этот свет сочится из древних и исключительно *женских* недр. Это было едва различимое сияние, исполненное, хотите верьте, хотите нет (пусть циники глумятся, сколько им вздумается), сакрального смысла; однако ни Папа Римский, ни просветленный гуру, равно как и актер, исполняющий роль папы или гуру, никогда не смогли бы его изобразить. Так, наверное, может смотреть лисица на своих лисят, но это, как и лактация, вне мужской компетенции. Коли на то пошло, и в женщинах такой свет встречается нечасто, и Дики мог только догадываться о его древнем и загадочном происхождении, хотя мира Зверей-Предков его воображение скорее всего не постигло бы.

Как бы там ни было, но он подметил какое-то новое выражение глаз Шарлин, когда она той ночью повернулась к нему и, прервав его тираду, сказала:

— Ты, главное, старичок, помни, что головная кость соединяется с костью сердца.

— Что-что?

— Понимаешь, старичок, когда я с тобой познакомилась, ты на самом деле жил в согласии с чувствами. Это-то, наверное, меня и завело. Ты жил сердцем. А теперь собрал вещички и переехал в голову. — Она приподнялась, опершись на локоть. — А должно быть, старичок, и то, и то. Пускай ты самый что ни на есть чувствительный или умный-заумный и образованный — надо быть и тем, и этим сразу, а если между умом и сердцем нету связи, если они не делают общее дело, тогда, старичок, получается, что ты прыгаешь по жизни на одной ноге. Сам ты можешь думать, что идешь нормально или даже бежишь, а оказывается, всего-навсего прыгаешь. Ты — попрыгунчик. А связь эту нужно поддерживать.

Шарлин зевнула, чмокнула его в щеку, снова зевнула и заснула.

Когда он, летя в Техас на курсы боевой подготовки, вспомнил это, то решил, что записку она ему все-таки оставила.

И еще решил, что Вьетнам не худшее место, где можно попробовать наладить связь между головой и сердцем.

* * *

Тук-тук!

— Кто там?

— Старший инспектор Ведомства Судьбы и Перемен.

— Ты и вправду Старший инспектор Ведомства Судьбы и Перемен?

— Дурачок ты, что ли? Нету такого ведомства. Я — Оголтелый Лототрон Слепого Случая. Если ты углядишь в моих хаотичных метаниях систему — что ж, твое право, но если тебе вздумается принимать на основе своих выкладок важные решения — будь готов к сюрпризам.

Не важно, как и по каким законам предопределяется судьба, кто автор нашей книги жизни — божественный промысел, случай или сила воли, — однако очевидно, что одно ведет, пусть и окольным путем, к другому; а в истории Дики Голдуайра колеса будущего крутились все быстрее.

Бабушка Дики была из старинного семейства табачных плантаторов, она субсидировала избирательные кампании нескольких каролинских конгрессменов, поэтому стоило ей пустить в ход свои связи, и его тут же приняли в военное училище. Дики не помышлял о карьере офицера, ему это и в голову не приходило, но, как человек, привыкший к привилегиям, он принял такой поворот судьбы как должное. Из училища он вышел вторым лейтенантом, и его направили в школу штурманов.

— Ну и ладно. Хорошо, когда можно добраться до цели по ровной дорожке, — рассудил он, хотя и подозревал, что Бакминстер Фуллер вряд ли бы с ним согласился.

Школу он закончил в числе лучших, в награду за что был послан на войну.

Во Вьетнаме он пробыл меньше полугода. Отсутствие логики в военной среде — дело обычное, и его назначили в наземную диспетчерскую службу, где он, как и многие другие жертвы кадровой политики Пентагона, был вынужден прозябать, не используя своего потенциала полностью. К тому времени, когда он привык к духоте и вони, к шуму и грохоту, к зудящей от укусов коже, к тому времени, когда смирился с тем, что теперь ему придется слушать беседы либо о косоглазых и неминуемой гибели, либо о машинах, бейсболе и подружках (реальных или вымышленных), кто-то где-то наконец проснулся и бодрствовал настолько долго, что успел послать его в Японию, в эскадрилью B-52. С тех пор Вьетнам ему предстояло видеть только сверху, из кабины самолета.

Он доложил о своем прибытии командиру эскадрильи, и дневальный проводил его в казарму. Дневальный же показал, где офицерский клуб и комната отдыха. Для выпивки было еще рано, поэтому он заглянул в комнату отдыха, где два довольно неопрятного вида типа в жеваных гавайских рубашках громко спорили о том, что хуже — показное потребление или показной отказ от потребления. Они явно раздражали игроков в покер и одинокого капитана, пытавшегося написать письмо домой, но их это нисколько не заботило. Дики почему-то потянуло именно к этой парочке.

Оба были мужчины крупные, но один высокий, с тонкими чертами, продолговатыми глазами и копной не по уставу длинных волос, а его собеседник — низкорослый и коренастый, с угрюмым, грубо вылепленным лицом и руками мясника. Волосы его так стремительно неслись к затылку, словно лоб покрикивал на них как бывалый кучер: "Эй, залетные!" Когда Дики добрался до кожаного кресла рядом с их диваном, они уже перешли к обсуждению тонкостей. А именно: пытались определить различие между 1) нуворишской склонностью к показухе, 2) компенсаторной жадностью человека, терпевшего лишения в детстве, и 3) крайними случаями потлача[1] у индейцев, когда потребление выходит за пределы обычной жадности и становится спортом и замещением войны.

Не отвлекаясь ни на секунду от беседы, высокий протянул Дики пиво (видно, для выпивки было не так уж и рано) и потребовал, чтобы оппонент объяснил, чем отличается истинный аскет от того, что он назвал нарочно не потребляющим бедняком-снобом. Фоли (а это был именно он), заговорив уверенно, сбился, когда Стаблфилд (разумеется, он) перебил его вопросом о том, к какой категории можно причислить Христа. Был ли Иисус просветленной личностью, понимавшей сущность *майи* (то есть иллюзорной природы материального мира), и противником обретения счастья посредством обогащения или же всего лишь унылым и бесполым мазохистом, протокоммунистом с оливковой ветвью в одном месте.

Вот здесь писавший письмо капитан побагровел.

— Довольно! — взревел он, шваркнув ручку на стол. — Я больше не намерен слушать ваши кощунственные рассуждения о Господе моем. — "About my Lord" — так это звучало по-английски.

Стаблфилд миролюбиво улыбнулся.

— Прошу прощения, Сьюард, — сказал он. — Извини. Я и не знал, что ты британец.

— Что ты несешь? Никакой я не британец, и тебе это отлично известно.

Капитан Сьюард кипел от ярости. Игроки в покер побросали карты.

— Но как же, Сьюард... — Голос Стаблфилда был нежнее детского шампуня. — Разве ты не сказал минуту назад, что у тебя есть лорд? Я полагал, что лорд — это титулованный дворянин, наделенный по законам наследного права властью. Следовательно, если ты признаёшь, что у тебя есть лорд...

— Попробуй как-нибудь на досуге почитать Библию!

— Библию читал я, — вступил в разговор Дерн Фоли. Его голос был холоден и монотонен. — Читал по-английски, по-гречески и на иврите. — Все присутствующие за исключением новичка знали, что так оно и есть. — Майор Стаблфилд прав. Слова lord в библейские времена не суще-

1. Потлач — ритуальное празднество с приношением даров.

ствовало. Этот английский политический термин был введен в Писание шовинистически настроенными переводчиками, нанятыми королем Иаковом. — Он помолчал. — Вот что интересно: слово lord произошло от древнеанглийского hlaford, состоящего из двух слов — hlaf, хлеб, и weard, хранитель. То есть "хранитель хлеба". Что, по-видимому, указывает, как для людей был важен хлеб — пища, а не платежное средство.

Дики закрыл глаза и представил себе упаковку в синие, красные и желтые горошины, а рядом — банку майонеза.

— Вот, значит, как, — сказал Стаблфилд. — Выходит, ты обвиняешь меня в оскорблении хранителя твоего хлеба. Видишь ли, Сьюард, я и не подозревал, что хранитель хлеба в твоем...

— Да заткнись ты! — рявкнул Сьюард. — Осточертели твои разглагольствования! Мы обсуждаем проблему эквивалентности выражений. Как еще могли английские переводчики назвать...

— Они редко употребляли слово Lord по отношению к Иисусу, — уточнил Фоли. — Это началось позднее, уже после Библии короля Иакова, где Lord относится в основном к Иегове. Что касается тебя, Сьюард, ты мог бы называть Иисуса своим главнокомандующим, правомерно опустив тем самым олуха из Белого дома, но на самом-то деле Иисус был странствующим раввином.

— Согласен, — подхватил Стаблфилд. — Он был бездомный еврей-пацифист. Скажи-ка, Сьюард, знай ты это, позволил бы ты своей сестре выйти за Иисуса замуж? А дочери? А тебе бы хотелось иметь такого соседа? Чтобы к нему с утра до ночи шастали блудницы, мытари и грешники, чтобы он сидел и ждал, когда же твоя жена придет и омоет его грязные пацифистские ножонки?

Этого Сьюард снести никак не мог. Он схватил свои бумажки и рванул к двери. Двое картежников вскочили и бросились за ним, а другие двое с трудом сдерживали смех.

— Да не сходи ты с ума, — кинул ему вслед Стаблфилд. Вполне сочувственно.

— Я не схожу с ума, — развернулся к нему Сьюард. — Но счеты с тобой сведу.

— Счеты, говоришь? Так я ж на них не считаю. — С этими словами он встал (томик джойсовского "Улисса" полетел на пол) и, заведя руки за буйную голову, пустился в пляс. Такого причудливого танца Дики в жизни не видел. Стаблфилд то скакал, как обезьяна, у которой хвост попал в камнедробилку, то бился, истекая слюной, в судорогах, лишь изредка выдавая одно-другое неспешное и грациозное па, и вся эта какофония движений строго подчинялась ритму "Бич бойз", едва слышно игравших в углу.

Фоли, который, хотя бы с виду, казался и сдержаннее майора, и замкнутее, медленно встал и присоединился к танцу, неуклюже копируя пируэты Стаблфилда — как медведь, повторяющий движения поводыря.

Сьюард, хлопнув дверью, удалился. Картежники, даже те двое, которых оскорбила непочтительность Стаблфилда, покачали головами и разразились хохотом. А Дики влюбился.

* * *

Считается, что в окрестностях Сиэтла лето наступает пятого июля. Наблюдение это, разумеется, научно не подкрепленное, но не лишенное оснований. Июнь в Сиэтле обычно холодный и дождливый, а День независимости знаменателен отмененными барбекю и насквозь промокши-

ми петардами. Однако — что интересно, необъяснимо и даже непатриотично — частенько на следующий день внезапно выходит солнышко и еще пару месяцев мотается по небу, как одинокая девушка, случайно перебравшая на вечеринке пунша.

Впрочем, и в этом мотании по небу нет постоянства. Бывает, даже заведя уже мотор, северо-восточное лето движется с перебоями — как будто пробирается в пробке по центру города. Случаются в августе дни, когда в воздухе уже чувствуется "дыхание осени", и миллионы голов ныряют в горловины свитеров, а шорты убираются до следующего лета. И вдруг, несколько дней спустя, бледный аэростат солнца сверкнет, как космический "коктейль Молотова", и только и слышен синкопированный ритм откидываемых крыш кабриолетов.

Вот, например, и в нынешнем году восторги, которыми Бутси приветствовала осень, оказались преждевременными. В тот день на излете августа солнце определенно решило прервать затяжной отпуск и вернуться в строй. Бутси пришла с работы поздно (в почтовом отделении устроили профсоюзное собрание) и едва пропихнула свое лоснящееся, задыхающееся тело в дверь — будто приволокла статую Свободы в плутониевом чемоданчике. На самом деле она принесла только сумочку, коробку для завтраков с портретом Винни Пуха и свернутую трубочкой газету.

— Фф-уу! — выдохнула она, обмахиваясь газетой.

Она стояла в дверях, ждала, наверное, что Пру спросит: "Ну как, тебе достаточно жарко?" Этот вопрос Бутси, к ее вящему удовольствию, задавали в тот день раз тридцать. Но Пру только сказала:

— Привет, сестренка, — и продолжила просмотр уже подходившего к концу выпуска шестичасовых новостей.

Бутси уселась к сестре на диван и радостно заявила:

— Денек-то жаркий! — В ответ не последовало ни согласия, ни возражения, и ей пришлось продолжить беседу самой. — Какие новости?

— Если ты имеешь в виду наших друзей из Фриско, то новостей нет. Полагаю, Дерн рассказал федералам не больше, чем нам. И пока не вскроются новые подробности... — Пру пожала плечами. — Кто его знает, может, он защищает интересы международной наркомафии... а может, просто Дерн в своем репертуаре.

Бутси молча, медленно, рассеянно расстегнула две пуговки на влажной блузке. Обмахнулась последний раз газетой и развернула ее.

— Ладно... — как будто сказала она, хотя это был скорее вздох, чем слово. — Я тут прочла кое-что в автобусе. Может, это тебя заинтересует?

Пру и в самом деле заинтересовала статья, на которую указала Бутси. В ней описывались последствия железнодорожной катастрофы у Грантс-Пасс, штат Орегон, — там с рельсов сошел поезд, где ехал цирк. Нескольких обезьян и льва поймали без особых усилий, но все до единого редкие зверьки тануки сбежали в горы и исчезли.

* * *

Фань-нань-наньское ущелье — бездна, занавешенная туманом, головокружительный провал, рваная рана в крыле ветра, пещера, где тигры прячут павлиньи кости и где витают тени древних слонов. Одинокий трос над пропастью — как ниточка слюны, протянувшаяся между бранящимися богами. Две женщины (одна в люльке) покачиваются у самого обрыва — словно муравьи, ползущие по соломинке к горшку с медом.

Лизу Ко в отличие от ее жениха прогулка по проволоке всегда возбуждала. Она же как-никак выросла циркачкой и, хотя сама не была воздушной гимнасткой, давно водила дружбу с теми, кто, как и Карл Валленда[1], считал: "Жизнь, она на проволоке, все прочее – лишь ожидание". Вниз она не смотрела, даже Валленда бы не смотрел, да и незачем это. Высота, бездна, ревнивые волны земного притяжения, дерзость самого поступка – всем этим был напоен утренний эфир, и в Лизе било ключом ощущение безрассудной свободы, которое неведомо ни чайке, ни соколу, защищенным инстинктом и крыльями.

Посреди пути какая-то пичужка – не чайка и не сокол, – пролетая мимо, выдернула из головы Лизы Ко длинный черный волос. У Лизы хватило ума промолчать, а завизжала она, только добравшись до бамбуковой площадки на той стороне. Гимнастка же, аккуратно закрепив опустевшую люльку, воздержалась даже от упоминания о том, что, как ей показалось, волосок в клюве кукушки превратился в сияющую нить.

* * *

Лан (или то был Кхап?) впустил ее на виллу "Инкогнито" и проводил в кабинет Стаблфилда. Тот сидел голый по пояс, выставив напоказ блистательного тигра, в одних брюках от Армани, потягивал шампанское "Луи Родерер" и читал Бодлера. Увидев Лизу, он сделал вид, что закашлялся, чтобы скрыть, что у него перехватило дыхание, и опустил глаза – чтобы не выдать удивления.

– Бонжур, маэстро, – сказала Лиза Ко. И не было ни майонезной гранаты, ни пикирующего хлеба. – Ваша маленькая ученица вернулась.

– Все как раз наоборот, радость моя. Это я – твой ученик. Тем единственным, чему научил тебя я, мы с тобой заниматься больше не можем, потому что ты – без пяти минут замужняя женщина.

Она расхохоталась.

– Ты неисправим! И притворная скромность тебе не к лицу. Равно как и дурные манеры. Твоя статуя говорит с тобой, Пигмалион, так подойди же и поцелуй ей руку.

Стаблфилд тяжело поднялся.

– Боже мой, что же такое творится? Почему это ты так быстро вернулась? Могу предположить, что пуритане-американцы депортировали тебя за то, что ты пробуждаешь в гражданах похоть. Хорошо еще, эти мужланы не умеют читать твои мысли. – Он наклонился, чтобы поцеловать ей руку, но тут же притянул Лизу к себе. Она почти не сопротивлялась. – Неужели до них дошло, что ты способна совратить с пути истинного весь их американский народ?

– Нет. И хватит мне льстить. Если кто из нас совратитель, так это ты. Мои затасканные мыслишки и последнего тупицу не совратят.

Они еще немного поспорили, кто кого радикальнее и кто на кого повлиял. Если бы читатель имел возможность послушать их беседу, он бы тут же заметил, что спорящая со Стаблфилдом женщина говорит совсем иначе, чем та, которая общалась с Бардо Боппи-Бип. Была ли это та самая мадам Ко? О да! Даже если то было внезапное помутнение разума или преднамеренная хитрость (для обеспечения инкогнито), но, наподобие китайской прачки из позапрошлого века, Лиза Ко разговаривала в Америке исключительно и только с некоторыми иностранцами. В Ла-

1. Карл Валленда (1905–1978) – американский циркач немецкого происхождения.

осе ее ломаный английский чудесным образом исправлялся, речь становилась плавной и практически безукоризненной — так ее научил говорить Стаблфилд, прежде чем научил... науке сладострастия. (По зрелом размышлении хочется заметить, что вряд ли один человек может научить другого постельному искусству. Можно разве что *разбудить* в партнере или партнерше прежде дремавшую предрасположенность к этой дисциплине. Предрасположенность есть не у всякого. У юной Лизы она, безусловно, имелась. Это было врожденное качество — так копится сок в созревающем манго. К счастью, у нее были и другие дарования, что помешало либидо определить ее жизнь.)

Итак, собеседники вели искусный и изысканный спор, стоя в полушаге от объятья. Ни он не уступал, ни она, и в конце концов Лиза сказала:

— Я ведь совсем ненадолго. Мне нужно возвращаться в цирк. Я уехала самовольно, чтобы предупредить вас с Дики об аресте Дерна. Но, оказывается, вы давно в курсе.

— Не так уж и давно. Я узнал об этом вчера. Наш малыш Голдуайр не на шутку встревожен.

— А ты нет?

Он пожал могучими плечами. И тигр пожал.

— Оно есть оно. Ошибки быть не может.

— Вот гад, а! — воскликнула она, но улыбки сдержать не смогла. — И что ты собираешься делать?

— Может, отправлюсь на курорт в Европу. Куда-нибудь на воды. Сделаю пластическую операцию. Изменю пол. Займусь ремонтом телевизоров. У меня есть фальшивый паспорт и счет в гонконгском банке. В крайнем случае можно распродать по дешевке вот это — на карманные расходы. — Он махнул рукой в сторону ковров, мебели в колониальном стиле, тайских и бирманских деревянных Будд, порнографических нецке (*шунга*) и полок с редкими книгами.

— Да, ценностей у тебя немало. Но и торговцам до них не добраться, и тебе их не вывезти. Вывозить все эти редкости поштучно — как их сюда доставляли — не получится.

— Может, и не получится, но только американское правительство шевелится не быстрее страдающей запором черепахи, да и информацию им легче выудить из той же черепахи, чем из таких, как Дерн Фоли. А сами они вряд ли доберутся до La Vallée du Cirque. И я очень сомневаюсь, что кому-нибудь из здешних придет в голову нас выдать.

— Зря ты так уверен. А если объявят розыск? Пообещают вознаграждение? Насколько мне известно, в Фу-Луанге на месте катастрофы, уже несколько месяцев работает американская исследовательская экспедиция. А это всего в пятидесяти километрах отсюда.

— Ага, знаю. Слишком уж близко, что мешает комфорту. Впрочем, комфорт — это форма паралича. От него тупеешь. Я не желаю тратить золотые годы жизни в треклятом коконе. Я давно уже собирался отсюда смотаться, хочу дать себе волю, распустить подпруги. — Он взглянул на нее в упор. — Разумеется, я рассчитывал взять с собой тебя. Но это было давно.

Их разделяло каких-то несколько сантиметров, но напряжение было столь высоко, что даже нейтрино бы здесь не проскользнул. Ее губы сами собой потянулись к его, а его — к ее, эпителии на миг соприкоснулись, и они отпрянули друг от друга.

— Всё, хватит, — сказал он. Сделал глубокий вдох. И опустил руки.

— Хватит, — согласилась она. Глаза ее увлажнились, трусики тоже, но в этом она ни за что бы не призналась.

— Давай я налью тебе шипучки, детка. Интересно послушать, какое у тебя впечатление от Америки. Полагаю, моя старушка родина по-прежнему красит губы демократией и пудрится истинной верой, но никакой макияж не скроет ее подлинного лица, вернее, бессовестной и наглой рожи жадной лавочницы. Это-то и есть настоящая Америка во всей истинной сути ее бытия. — Стаблфилд шагнул к бронзовому ведерку, где стояло во льду шампанское. Но вдруг остановился и медленно, чуть ли не смущенно повернулся к Лизе. — Прости, пожалуйста, — сказал он. — Но я просто должен проверить.

И огромным большим пальцем, огрубевшим от бесчисленного множества страниц, им перелистанных, он раздвинул ее губы. Лиза Ко приоткрыла рот и пропустила палец дальше. Он нежно дотронулся до ее нёба. Оно было теплым на ощупь, скользким и влажным. Он нашел то, что искал. Оно было маленьким, размером с дробинку. Он слегка надавил пальцем, и по ее телу пробежала быстрая струйка наэлектризованного тепла.

— Всё на месте, — сообщил он и убрал руку.

— Да, — сказала она и улыбнулась, и было в ее голосе нечто, что его поразило.

* * *

У полковника Пэтта Томаса на железном сером столе, напоминавшем вывернутый наизнанку мусорный контейнер, лежали, кроме множества всего прочего, две бумажные папки. Одну из них он протянул Мэйфлауэру Кэботу Фицджеральду, который как раз зашел в кабинет. Вид у того был довольно понурый.

— Не хочу грузить вас лишними подробностями, Мэйфлауэр, — заявил полковник, разжав зубы и выпустив из них сигару, — но вот спецификация на восьмую модель B-52, на которой летал экипаж Фоли. Да что это с вами? Может, я зря вас кормил вчера барбекю? — Полковник Томас, родившийся и выросший в Луизиане, с сомнением относился к гастрономической выносливости отдельных белых людей, когда тех угощали настоящей едой.

Мэйфлауэр поморщился. Ему явно претило обсуждать личные проблемы с коллегой из военного ведомства. Быть может, эта сдержанность была обусловлена службой в ЦРУ или же классовыми и расовыми различиями.

— Мне... немного не по себе, — пробурчал он. — Сегодня утром я проходил обследование. Поэтому и задержался.

— Какое такое обследование?

— Э-ээ... Гм-мм... Ультразвук.

— Да? И что он показал?

Штатский снова поморщился.

— Так, пустяки... — Он не собирался продолжать, но полковник буравил его взглядом, и ему пришлось добавить: — Три камня в желчном пузыре.

— Вы их, главное, на гору не закатывайте, — посоветовал Томас. Отсылку к Сизифу сотрудник Лэнгли уловил (он учился и в Йейле, и в Принстоне), но радости не выказал. Томас, поняв, что дело глухо, выпустил кольцо дыма и открыл первую папку. — В спецификации нет ничего, что могло бы прояснить ситуацию. Одно непонятно: почему в день

катастрофы на борту самолета Фоли было только три члена экипажа. На B-52 должно быть пять человек.

— Позвольте вам напомнить, что дело было в 1973 году. Война подходила к концу. Домой отсылали людей больше, чем присылали новых. Эскадрилья Фоли была недоукомплектована. Это, конечно, не соответствует нормам, но опытный экипаж из трех человек вполне мог управлять самолетом, если только...

— Если бы только не случилось чего-то непредвиденного. А оно возьми и случись. В этой эскадрилье все экипажи были недоукомплектованы?

— Нет, только этот. Тогдашний командир эскадрильи сейчас в доме для престарелых в Висконсине, но слабоумием пока не страдает. Он утверждает, что Фоли, Стаблфилд и Голдуайр *сами* вызвались лететь неполным составом. Однако тот самый Сьюард, которого мы допрашивали в Вирджинии, рассказывает все иначе. Он утверждает, что командир эскадрильи послал их троих потому, что с ними никто не хотел летать. Они считались *интеллектуалами.* — Мэйфлауэр произнес это слово с таким видом, будто ел малину и вдруг ему на зуб попал червяк.

— Это в каком смысле?

— Да в том, что они постоянно вели *интеллектуальные* беседы. Обсуждали всякий бред, до которого нормальному здравомыслящему человеку нет и не может быть дела. Они всем действовали на нервы. Люди мечтали выиграть войну и вернуться домой к родным и близким, а эти снобы всё носились с какими-то упадническими европейскими идеями... Сьюард одно время был у них стрелком. Он человек порядочный и богобоязненный. Так вот, Стаблфилд постоянно над ним издевался. Задавал вопросики вроде "Что именно делал Иисус последние две тысячи лет?" Или спрашивал: "Сьюард, а в раю есть отхожие места? Проложены ли под мостовыми, вымощенными золотом, канализационные трубы?"

Мэйфлауэр произнес это с нескрываемым презрением. А Томас сказал:

— М-да... Вопрос интересный. Я никогда об этом не задумывался. Неужели и в раю придется снимать штаны и...

— Достаточно! — Мэйфлауэр заскрипел мелкими и твердыми зубками. Если бы курил он, сигара разломилась бы пополам и боролась бы, галлюцинируя о Гаване, за последние мгновения жизни.

— Полагаю, — продолжал рассуждать Томас, — в раю люди едят. Так что, даже если это только молоко и мед, — поверить не могу, что *наши* согласятся целую вечность сидеть на такой ерунде, — их ведь тоже нужно переваривать. Выходит...

— Полковник, прошу вас, давайте не будем тратить время попусту. — Мэйфлауэр прикусил тонкую губу. И задумался о том, не обратиться ли к начальнику военно-воздушной разведки с просьбой заменить Томаса.

— Всё-всё-всё! Итак, нам известно, что майор Стаблфилд позволял себе святотатственные высказывания...

— Надо говорить "святотатственные".

— Чушь какая! Это же от слова "тать".

— Корень "тать", но при наличии суффикса произношение корня меняется. Можете справиться в словаре.

— Да пошел ваш словарь...

— Ну хорошо, полковник. Как хотите, так и произносите. Давайте-ка продолжим.

Неудивительно, что у этакой язвы камни в желчном пузыре, — подумал Томас, а вслух сказал:

— Итак, мы установили, что Стаблфилд был богохульником. А как же наш герой Фоли? Он-то учился на священника епископальной церкви, да и сейчас, пока мы с вами тут беседуем, сидит в коридоре и листает Библию, словно это меню, и он никак не может выбрать, что заказать — жареную курочку или молоко с медом. А как насчет лейтенанта Голдуайра? И вот еще что важно: повлияло ли псевдоинтеллектуальное отношение этих умников к христианству на их политические взгляды? Может, они были если не красными, то, скажем, "розовыми"? Может, они вообще предатели?

Мэйфлауэр насупился.

— Нет. И в то же время — да. — Он помолчал. — Понимаете, даже Сьюард, который их презирал, признает, что летчики они были опытные, знающие и храбрые. Фоли и Стаблфилда должны были отправить домой еще за несколько месяцев до катастрофы, но поскольку новые силы на базу присылали редко и помалу, они добровольно согласились продлить срок службы. И летали на опасные задания, хотя давно уже могли преспокойно сидеть дома. — Он снова помолчал. — С другой стороны, командир эскадрильи отмечал, что они постоянно нарушали дисциплину, а Сьюард вспоминает, что они вечно отпускали язвительные шуточки по поводу американского правительства и военной доктрины. Свидетельствует ли это об их прокоммунистических настроениях? Совершенно необязательно. Еще раз напоминаю, шел 1973 год.

Мужчины, сидевшие за столом друг напротив друга (у Мэйфлауэра старенький захламленный стол Томаса вызывал отвращение — он привык к своему массивному и безукоризненно прибранному столу красного дерева в Лэнгли), скрестили взгляды. Полковник понял, что имеет в виду Мэйфлауэр, а тот понял, что он понял. К 1973 году только кучка безнадежно тупых вояк, кучка энтузиастов вроде капитана Сьюарда и та легковерная, послушная и малодушная часть гражданского населения, которая готова проглотить сколь угодно дикую официальную ложь, только эти наивные люди видели в войне с Вьетнамом хоть что-то кроме постыдного образчика политического позерства, приведшего к катастрофическим последствиям.

Минуты две оба молчали. Томас пускал клубы дыма — пока не таяли, они походили на сжатые кулаки рассерженных снеговиков. В тщательно протертых очках Мэйфлауэра отражался серебристый орел с его правого погона. Наконец полковник произнес:

— По-моему, это классический случай: опытные офицеры сомневались в целесообразности приказов начальства, однако послушно им подчинялись.

— Или же все было совсем иначе, — возразил Мэйфлауэр. — Сьюард рассказал, что на последнем задании самолет Фоли над Желтым морем отстал от отряда и скрылся в облаке. Появился только минут через десять. У Сьюарда есть основания подозревать, что экипаж тайком сбросил бомбы в море.

— Ясно, — кивнул Томас. — Это чтобы не бомбить Тропу Хо Ши Мина, что зачастую приводило к случайным жертвам.

— Это правда. Порой страдали лаосские и вьетнамские приграничные деревни.

— Что ж тут поделаешь, дружище, война есть война.

— Вот именно, — кивнул Мэйфлауэр. Он терпеть не мог, когда его называли "дружище", но что можно ожидать от человека, пытавшегося накормить его так называемым "зеленым гарниром"? — Похоже, экипаж Стаблфилда не скрывал, что стремится избежать случайных жертв. Они даже заявляли, что не хотят, чтобы от их бомб гибли дикие звери.

— Они что, еще и вегетарианцами были?

— Впрочем, зверей к тому времени почти не осталось. С 1966-го по 1971 год Тропу бомбили без передыху, однако вьетнамцам как-то удавалось переправлять по ней войска, припасы, технику. С семьдесят первого, как вам известно, бомбили только от случая к случаю. Так что, возможно, десяток обезьян и бамбуковых крыс выжили-таки, — фыркнул он.

— Или же тануки, — добавил Томас.

— Простите? — не понял Мэйфлауэр.

— Тануки. Это такие забавные зверушки, мы их в цирке видели. Они обитают в Юго-Восточной Азии. Да, кстати, дружище, эта Биппи-Боппи, или как ее там, она что, пьяная была? Я поначалу подумал, так и надо.

Мэйфлауэра аж передернуло, но не от боли в желчном пузыре. Жена с одиннадцатилетним сынишкой приехали из Вашингтона его навестить и заставили пойти с ними в цирк. Мэйфлауэр терпеть не мог цирк и терпеть не мог, когда его заставляли.

— Я видел по телевизору, — сказал Томас, — что поезд сошел с рельсов, и эти чертовы тануки разбежались. То ли в Орегоне, то ли...

— Это пусть у гринписовцев голова болит. — Голос Мэйфлауэра был по-прежнему монотонным, но в нем послышались злорадные нотки. — Итак, на последнем вылете Стаблфилд, командир экипажа, вел самолет, Фоли был вторым пилотом, а заодно оператором бомбометания, Голдуайр — радистом и штурманом. Зенитки открыли огонь, но B-52 летает на такой высоте, что они ему не страшны. Однако то ли ракета, то ли еще что протаранило самолет Фоли. Сьюард видел, как машина потеряла высоту, но тут ее закрыли облака, и, удалось ли экипажу катапультироваться, он не разглядел. Всех троих объявили пропавшими без вести.

Томас затушил сигару.

— И с тех пор о них ни слуху ни духу, пока почти тридцать лет спустя на Гуаме не появляется святой отец с героином. Скажите, а вам не приходило в голову, что Сьюард сам мог их сбить?

— Что за чушь?

— Там, во Вьетнаме, частенько гибли вроде бы случайно.

— Сьюард — ревностный христианин...

— То же самое можно было сказать про инквизиторов.

— ...и истинный патриот. Одно дело — пристрелить ненавистного офицера, но тут-то речь шла о государственной собственности стоимостью в шестьдесят четыре миллиона долларов.

— А сейчас и того больше. Я никогда не мог взять в толк, чего эти штуковины так охренительно дороги. Да за шестьдесят четыре лимона можно купить весь мой городок с рыбным хозяйством в придачу, и еще останется на подержанный "кадиллак" и выходные в Вегасе. Я, Мэйфлауэр, на "пятьдесят вторых" летал. На что только идет этакая уйма денег?

Мэйфлауэр Кэбот Фицджеральд скорее всего догадывался, на что идет этакая уйма денег, однако не имел ни малейшего намерения делиться своими соображениями. Поэтому он молча встал, поправил лиловый галстук-бабочку и взял со стола полковника вторую папку.

— Это материалы не секретные, поэтому, если вы не возражаете, я их возьму с собой. У меня сегодня ранний ланч с коллегой из Вашингтона. Извините, что не могу пригласить вас.

— Ерунда какая. Ну что ж, увидимся на допросе в три. Bon appétit[1]. Только жареными ребрышками не увлекайтесь

Мэйфлауэр, запиравший замок дипломата, замер. Сквозь стиснутые зубы прорвался сдавленный смешок.

— Об этом можете не беспокоиться.

Едва напарник покинул кабинет, Томас схватил сотовый, позвонил одному из своих людей и велел установить за Мэйфлауэром слежку и после ланча глаз с него не спускать. Конкретных причин для этого не было. Так, чтобы не зазнавался.

* * *

Если Кто канул — так без вести,
Неведомо, где Его носит.
Его авто мерещилось в Когнито.
Думаешь, Он нас подбросит?

Тануки, как Иисус, он здесь и в то же время не здесь. Он всегда с нами, но его отсутствие ощутимо. Наступит ли тот счастливый день, когда он вернется к нам? Нет. Он возвращается постоянно — и постоянно нас покидает. Это повторяется снова и снова. С каждым нашим вдохом и выдохом. Таков ритм Двух Миров.

Nyctereutes procyonoides как вид возник там, где теперь находится Япония. А может, и нет. Есть вероятность, что несколько тысяч лет тому назад этот вид пришел на острова Японии из Восточного Китая. Некоторые считают, что он появился в Сибири. Одно не оставляет сомнений: история Тануки, его легенда, его слава зародились в Японии. Именно в Японию он возвращается и именно Японию покидает. Благодаря Богу Приютов и Убежищ о его странствиях известно еще меньше, чем о странствиях Христа.

Строго говоря, полковник Пэтт Томас, сообщив, что родина тануки — Юго-Восточная Азия, ошибался. (Эту информацию Томас почерпнул из цирковой программки.) Однако это не повод для придирок, поскольку тануки больше века обитали в горах Таиланда, Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. Как и когда они туда пришли, неизвестно. Известно лишь, что во второй половине двадцатого века N. procyonoides проник и в Среднюю Азию, в бывшие республики СССР, был также замечен далеко на западе — в России и Финляндии. Раза два поступали известия, что тануки видели во Французских Альпах!

В наше время, когда многие виды диких животных вследствие беспардонного поведения человека находятся на грани исчезновения, тануки... если не множатся, то по крайней мере распространяются шире и шире. Мы сейчас не будем обсуждать, о чем это свидетельствует, если вообще свидетельствует. Впрочем, если читатель не торопится, пусть попробует увидеть мысленным взором тануки во Франции.

Итак, представьте себе псевдобарсуков в сосновом бору где-нибудь в предгорьях Альп. Или же вообразите небольшую колонию тануки, укрывающуюся в Булонском лесу в Париже. Представьте себе, что Он Самый

1. Приятного аппетита (*франц.*).

носится, как обожаемые парижанами дворняжки, на четырех лапах по бульвару Сен-Жермен, шныряет, прячась в тени, таскает в уличных кафе жареную картошку со столиков или даже осмеливается заскочить в "Ле Дё Маго" – чтобы выхватить из рук какой-нибудь литературной знаменитости вроде Жана Эшеноза[1] только что откупоренную бутылку "Эритаж дю Рон", а потом опустошает ее где-нибудь под розовым кустом в Люксембургском саду. О нет, нет!

Право слово, представить себе тануки в такой обстановке никак невозможно. Это вещи несовместные. Можно вообразить голову бродяги, усыпанную снегом или даже увенчанную терновым венком, что же касается цилиндра или, скажем, берета – тут уж дело другое. Собственно говоря, Его Самого вообще трудно представить. Если размышляешь о Тануки слишком долго, мыслительные извилины становятся скользкими, как лягушачья шкурка, перо в руке застывает сталактитом, экран приобретает цвет зеленой совиной мочи, а клавиатура обзаводится сальными усами. Когнитивный аппарат трещит от аудиопомех, и внутреннее ухо ловит далекий, но настойчивый звук: ты догадываешься, что это барабанный бой, который прежде, до того как его приручили и впрягли в ярмо, издавало сердце; так стучит неприкрытая страсть, так бьется пульс некоей упоительной, дикой радости, имени которой нет. *Пла-бонга пла-бонга пла-бонга.*

* * *

Пока Дики Голдуайр жевал, меряя шагами хижину, сэндвичи с майонезом, Марс Стаблфилд и Лиза Ко возлежали, потягивая шампанское, на парчовых подушках в большом доме по ту сторону ущелья. И беседовали об Америке.

Азиатская женщина объясняла, как могла, про хип-хоп и Гарри Поттера, про подтасовку результатов выборов и "плимут-круизеры", пирсинг, реалити-шоу, Бритни Спирс, ожирение у детей и про нечто, называемое "политкорректностью", а когда осветила новейшие моды, причуды и увлечения, вкратце обрисовала положение в стране.

– У твоей страны вроде бы есть все и в то же время нет ничего. Просто в голове не укладывается! В огромном, прекрасном, могучем и неслыханно изобильном краю живут одни из самых несчастных людей на земле. Вообще-то говоря, в дополнение к этим богатствам они еще благородны, энергичны и – за исключением правящего класса, который, как и всякий правящий класс, изъеден пороками, – довольно порядочны. Но они страдают от хронической депрессии и неудовлетворенности. От хро-ни-чес-кой. Ты слыхал про прозак?

Стаблфилд кивнул. Благодаря отчетам бывавших в Бангкоке Дерна и Дики, он имел представление о том, в каких несметных количествах его соотечественники поглощают антидепрессанты. Это служило хоть и слабым, но все же оправданием собственной фармакологической деятельности. (Чисто случайно, опять же из отчетов приятелей-авантюристов, до него доходила кое-какая информация о модах, поп-идолах и так далее. Он был бы информирован куда лучше, если бы давным-давно не ввел на вилле "Инкогнито" запрет на радиоприемники, спутниковые антенны, компьютеры и телефоны. Здесь стоял собственный электрогенератор, но вырабатываемая им энергия шла в основном на прослушивание джаза

1. Жан Эшеноз (р. 1946) – французский писатель, лауреат Гонкуровской премии.

на старенькой вертушке и, разумеется, на холодильник. Теплого шампанского не любит никто, не любили его и в La Vallée du Cirque).

– В Декларации независимости, – сказал Стаблфилд, – мы определили себя как народ, стремящийся к счастью. Что само по себе свидетельствует о врожденном чувстве неудовлетворенности. Совершенно незачем стремиться к тому, что и так имеешь.

– Даже трогательно, – сказала Лиза, – до чего же американцы гордятся собой, как они брызжут подростковой бравадой при том, что на самом деле ужасно в себе не уверены.

– Самомнение и неуверенность в собственных силах обычно идут рука об руку. Это две стороны одной медали. Но ты все это прекрасно знаешь. И всегда знала. – Стаблфилд подлил ей шампанского. – А теперь расскажи, дорогая, – сказал он будто бы в шутку, – скольких из моих несчастных собратьев тебе удалось вывести из ступора?

Она только усмехнулась, чего он и ждал. Махнула свободной рукой.

– Не говори ерунды. Это не моя сфера. Мы с тануки просто ездим из города в город со своим номером. Гип-гип, хо-хо, пла-бонга, пла-бонга. Людям это нравится, но никто после представления не мчится домой и не спускает прозак в унитаз.

Он этого и не ждал. Однако никак не мог избавиться от ощущения, даже от подозрения, что за цирковым номером мадам Ко (как и за большинством поступков Лизы) скрывается некое поучение, что это – едва различимая, но вполне физическая манифестация тайного философского знания. Мало что свидетельствовало в пользу этого ощущения, разве что не раз слышанные им от Лизы странные высказывания в духе дзен, усвоенные ею от матери, а мать очевидным образом, хоть и непонятно как, на нее повлияла. Было ясно, что наличие у Лизы во рту сомнительного свойства имплантата, наследовавшегося из поколения в поколение – а он для нее очень много значил, правда, она не объясняла почему, – еще больше усиливало ее загадочность. Но не станет же цивилизованный человек воображать бог знает что, основываясь на шишке во рту.

Стаблфилд отлично осознавал, что обоснованно ли, нет ли, но он всегда испытывал перед Лизой некоторый трепет, а любая попытка облечь этот трепет в слова приводила обоих в замешательство: Стаблфилда – поскольку его это интеллектуально уязвляло, а Лизу – поскольку... впрочем, возможно, она просто кокетничала. Как бы то ни было, сейчас он не имел ни малейшего желания развивать эту тему. Он хотел воспринимать Лизу как есть; такая и такая. Возможно, она такой и была на самом деле.

– Это всего лишь шоу, – сказала она, словно прочитав его мысли. – И мне пора возвращаться на это шоу.

– Уже? О! Слышала? Это содрогнулось от горя мое израненное сердце.

– Ты просто отрыгнул! – Она погрозила ему пальцем и рассмеялась. – Если я доберусь сегодня до Вьентьяна, завтра смогу улететь. А что же будет с тобой и с Дики? Я ведь собиралась вернуться в Лаос только в конце октября...

– Ах, да! К свадьбе. Что ж, я как шафер буду хотя бы иметь право поцеловать невесту.

Несколько мгновений они смотрели друг на друга, и по этому взгляду любой – а не только детектив или психиатр – сразу бы понял, что на теле будущей супруги не осталось ни сантиметра, который он сотни раз не обцеловал. Щеки ее вспыхнули, но она продолжила:

— Теперь все эти планы висят на волоске. Рано или поздно тебя все равно начнут искать. По-моему, ты относишься к этому слишком легкомысленно, а зря. Ты ведь в серьезной опасности.

— Позор тем, кто вне опасности.

— Я оставлю тебе номер своего сотового. Позвони, когда (или если) пустишься в бега. Боюсь, Дики и бежать-то некуда. Вряд ли он сможет и дальше торговать рубинами, а денег за последнюю партию он от Дерна так и не дождался. Он...

— Да не волнуйся ты. Я о нем позабочусь. Лично я считаю, что американское правительство — самая простая из проблем Голдуайра.

Лиза, разглаживавшая смятое платье, резко вскинула голову.

— Что ты хочешь этим сказать?

Стаблфилд ничего не ответил, лицо его оставалось непроницаемым, но они оба отлично понимали, что он имеет в виду "имплантат".

* * *

Папка, что прежде лежала на столе полковника Томаса, та, вторая папка, теперь покоилась на покрытом льняной скатертью столике в одном весьма консервативном ресторане Сан-Франциско, знаменитом крабовыми салатами по-луизиански и квасным хлебом — от него-то сотрудник оперотдела Мэйфлауэр Кэбот Фицджеральд осторожно отщипывал по кусочку, видимо, в надежде, что его камни зарастут мхом.

В папке лежали фэбээровские досье на трех пропавших без вести офицеров, чей В-52 (прозванный однополчанами "Мозговым центром" и "Умником") в 1973 году рухнул где-то по западную сторону лаосско-вьетнамской границы. Досье на эту троицу были собраны подробные, но для наших целей (какими бы они ни были) нам будет достаточно нескольких характерных фактов.

ДЕРН В. ФОЛИ

Закончил среднюю школу имени Рузвельта, где проявил себя незаурядным спортсменом.

Мечтал стать защитником в команде Вашингтонского университета, однако зачислен туда не был, после чего отверг все стипендии, которые предлагали ему университеты поменьше. Заявил, что обиделся, и учиться отказался.

Работу выбирал низкооплачиваемую ("Пицца хэвен", "Автокафе Дика"). Летать его научил отец, инженер из "Боинга". Получил диплом летчика. Баловался наркотиками.

По совету матери поступил в богословскую семинарию, намеревался стать доктором богословия.

На третьем году учебы был арестован за нелегальную торговлю психотропными препаратами. При обыске у него были обнаружены два килограмма марихуаны, пятьдесят доз ЛСД.

Принимая во внимание отсутствие судимостей и успехи в учебе (отличник, президент Латинского клуба семинарии), судья был согласен снять обвинения при условии, что обвиняемый поступит на военную службу.

Поступил в ВВС. Был принят на курсы пилотов. Получил звание. Был послан на базу в Азию. Не раз отличался в бою, но дважды получал взыскания за неподчинение приказам.

Интересы: библейская история, мертвые языки, авиация, измененные состояния сознания.

МАРС АЛЬБЕРТ СТАБЛФИЛД

Сын профессора астрономии в Университете Небраски.

В раннем возрасте был направлен в школу для одаренных детей в Линкольне.

В шестнадцать лет был зачислен в Чикагский университет. Через три года закончил его, получив степени по антропологии и философии.

Учился в Сорбонне (Париж) и в Тринити-колледже (Дублин). Специализация — исследование народных сказок. Шлялся по Европе. От него забеременела дочь бельгийского дипломата. Шесть месяцев работал официантом в "Виллидж вэнгарде", Гринич-Виллидж (Нью-Йорк).

Преподавал в колледжах Иллинойса и Небраски. В обоих заведениях получал выговоры за неприемлемое поведение (странно одевался, разглагольствовал на заседаниях кафедры, был замечен во фривольном общении со студентками). Публиковал статьи по вопросу влияния традиционной культуры Азии на современную западную философию.

Женился на Лизе Заборски, своей бывшей студентке и участнице конкурса "Мисс Небраска".

Поступил в ВВС, судя по всему, руководствуясь внезапным импульсом. Был принят на курсы пилотов. Получил звание. Был послан на базу в Азию. Не раз отличался в бою, но дважды получал взыскания за неподчинение приказам и поведение, недостойное офицера.

Умеет вывернуться из трудной ситуации при помощи красноречия.

Интересы: искусство, литература, джаз, гносеология, еда, вино, женщины.

ДИКИ ЛИ ГОЛДУАЙР

О нем у нас уже имеется достаточно сведений.

* * *

На помосте по ту сторону ущелья в Фань-Нань-Нане мадам Пхом вывалила мадам Ко из люльки, как куль с рисом. Лиза завизжала, схватила ее за руку и потянула к себе. Когда из-за угла вышел Дики с букетиком полевых цветов, две циркачки катались по траве и хихикали как школьницы.

Дики, рискуя встретиться со смертоносными бамбуковыми гадюками и здоровенными, в фут длиной, многоножками, нарвал цветов в горах за деревней. *Милый Дики,* — подумала Лиза Ко. — *Такой романтичный, такой нежный.* — И, заметив в букете несколько диких хризантем, мысленно прибавила: — *И такой бестолковый.* Он хоть и бывал у нее во рту не меньше, чем Стаблфилд, но то ли не замечал, то ли не догадывался спросить, короче, ему и в голову не приходило, что все его сердечные планы могут расстроиться из-за полипа у нее на нёбе. И она снова задалась мучавшим ее вопросом: что более жестоко — бросить его или выйти за него замуж?

Как бы то ни было, но ошибки быть не может. И ей пора было собираться во Вьентьян. Он помог ей встать, и она поцеловала его, заметив, впрочем, что он, унюхав запах Стаблфилдова шампанского, вздрогнул. Она поцеловала и мадам Пхом, и они с Диком пошли в хижину. Там Лиза собирала вещи, и они обсуждали будущее, взвешивали перспективы

на предельно неточных весах, где арбуз вполне мог бы уравновесить зубную щетку, а, скажем, свадебный колокол — семя хризантемы.

— Если меня все-таки посадят, ты будешь меня навещать?

— Скорее всего, нет, — сказала она. Ей не хотелось его обманывать. Но и расстраивать не хотелось, поэтому она добавила: — Но я велю своему менеджеру посылать тебе хлеб и майонез.

* * *

После 1971 года провьетнамски настроенные власти Лаоса, опасаясь вторжения американцев, стали перемещать военнопленных подальше от вьетнамской границы, на западную сторону шедшего вдоль границы Аннамского хребта. В один из таких отрядов попал и экипаж "Умника". Продвигались медленно, поскольку местность была опасная, в джунглях притаилось полным-полно невзорвавшихся бомб, к тому же капитан Фоли сильно хромал — он, когда приземлялся на парашюте, потянул ногу.

Солдаты, сопровождавшие пленных, начинали терять терпение. Нужно было возвращаться на границу, а путь был неблизкий. Через несколько дней им пришло в голову сдавать по несколько пленных в близлежащие деревни, под надзор местных полицейских. А в лагерь их пусть уж потом доставят.

Стаблфилд, Фоли и Голдуайр оказались в небольшой деревенской тюрьме за сто с лишним километров от зоны, которую бомбили американцы. Крестьяне, испытывавшие легкую симпатию к левым силам "Патет-Лао"[1] и легкое презрение к правому правительству Национального союза, пришедшему к власти в 1960 году в результате сфальсифицированных ЦРУ выборов, политикой мало интересовались. Они выращивали рис и овощи, ловили рыбу, воспитывали детей, отмечали праздники и исповедовали буддизм простейшего толка. И очень скоро привыкли к трем чудаковатым американцам — для них это были всего лишь три лишних рта. Охраняли их весьма условно.

Однажды пасмурной апрельской ночью, когда Дерн окончательно оправился, экипаж "Умника" бежал из убогого узилища. Решив, что на равнинах их скорее обнаружат, они двинулись в леса. Целую неделю они спали днем, а шли ночью, часто петляя, понемногу поднимаясь все выше. Приходилось постоянно быть начеку, и вполне реальные змеи пугали их не меньше, чем непонятные тени и звуки. Вот будто заурчал планирующий скорый обед тигр... А вот послышалась барабанная дробь: *пла-бонга, пла-бонга* — словно адский призрак радостно готовился забить гвозди в крышки их гробов. Луна светилась, как радиоактивный ожог, деревья тревожно шелестели.

В Фань-Нань-Нань они попали совершенно случайно, но этот случай оказался для них счастливым. Небо, высвободившееся из жестких рамок леса, обрушило на них всю свою звездность, и место им понравилось сразу, они доверились ему, доверились настолько, что на рассвете — грязные, голодные, усталые, — вымученно улыбаясь и всячески демонстрируя дружелюбие, ввалились в деревню. Изумленные крестьяне посадили их под замок, но с самого начала отнеслись к ним дружелюбно. Интуиция не подвела Стаблфилда: Фань-Нань-Нань была странной деревней. А через пару лет ей предстояло стать еще более странной. Фань-Нань-Нань и вилла "Инкогнито" были созданы друг для друга.

1. "Патет-Лао" — национально-освободительное движение, возникшее в Лаосе в 1950-е гг.

* * *

Тук-тук!

Кто там?

Джеймс Миченер[1].

Врешь! Никакой ты не Джеймс Миченер.

Твоя правда. Да и ты, читатель, тоже не очень похож на тех, кто читает Миченера. Однако, с твоего позволения, мы позволим себе небольшое отступление в его духе — исключительно для того, чтобы по возможности кратко осветить предысторию вопроса.

Нет никаких причин грузить читателя результатами геологических исследований. Тем, кого интересуют географические подробности, рекомендуем обратиться к атласу. Что до истории, отметим, что королевство Лао возникло, сварившись в разноплеменном азиатском котле, в 1353 году, после чего его на протяжении веков захватывали то одни соседи, то другие, затем пришли французы, следом — японцы, пока в 1975 году оно окончательно не пало под натиском коммунистов. Впрочем, не ждите про Лаос рассказа в том духе, в каком Миченер описывает Гавайи, Польшу, Техас и прочие места, — углубленный исторический очерк нам кажется излишним. О том, что это страна преимущественно аграрная, малонаселенная, с самобытной духовностью, вкратце уже упоминалось. На составе населения остановимся подробнее, поскольку это оказало определенное влияние на Фань-Нань-Нань.

Интересно не столько то, что здесь можно выделить четыре культурные группы, но то, что — помимо этнических различий, как то: язык, одежда, религия, обычаи и происхождение — эти группы классифицируются в зависимости от того, на какой высоте над уровнем моря они обитают.

В Лаосе схема вертикального позиционирования этнических групп перевернута с ног на голову. К примеру, группа, называемая лаолум — она долгие века занимала в обществе верховное положение, — обитает на низинных землях. Лаолум живут практически на уровне моря, они сажают рис в долине Меконга и ее притоков и управляют государством из столицы, Вьентьяна. В эту группу входит бывшая аристократия и то, что осталось от среднего класса. Их религия — буддизм Теравады.

Повыше обитают лаотай, и само название вносит путаницу, поскольку наследственные связи между лаосцами и тайцами весьма условны. Лаотай выращивают как "плавающий" рис, так и суходольный (горный), они исповедуют культ духов — анимизм, а также примитивную разновидность буддизма. Тюрьма, где временно содержались наши трое американских пленных (чуть временнее, чем предполагали их захватчики), находилась в лаотайской деревне у подножия гор.

Если мы продолжим путь вверх, к горным долинам, то познакомимся с лаотенг — это люди бедные, все анимисты, потомки рабов и слуг аристократов. Лаотенг выращивают сухой рис, хлопок и табак, орудия труда у них деревянные и бамбуковые. Селятся они вблизи горных ручьев в хижинах с земляным полом и верят, что в теле человека обитает от тридцати до ста тридцати духов (в какой степени численность духов определяется ожирением или истощением, осталось невыясненным).

Наконец, высоко в горах, чьи вершины укутаны облаками, обитают племена, известные под общим названием лаосунг (горные лао). Среди этих племен — лису, мьен и, главным образом, хмонг. Они пришли в Ла-

1. Джеймс Миченер (1907—1997) — американский писатель, автор эпических романов.

ос из Бирмы, Китая и Тибета сравнительно недавно — предположительно в конце девятнадцатого века. Несмотря на то что в высокогорных районах условия для сельского хозяйства куда хуже, племена лаосунг (в особенности хмонг) живут куда лучше лаотенг, у которых пахотных земель намного больше. Почему? Да потому, что хмонг выращивают одну-единственную товарную культуру — опийный мак.

(В часе пути вверх от Фань-Нань-Наня есть деревенька хмонг, с агрономами которой Стаблфилд и Фоли впоследствии наладили взаимовыгодные отношения. Но этого мы коснемся позже.)

Итак, отступление а-ля Миченер закончено, и, если нарколепсия не смежила наши веки, если рассказы о лао-то и лао-сё не ввели нас в коматозное состояние, мы можем вернуться к нашему повествованию, констатировав, что Фань-Нань-Нань была деревней лаотенг. И вьентьянское правительство, и жители близлежащих деревень сочтут этот вывод правомочным. Но все мы ошибаемся.

Настал момент рассказать любопытствующим одну историю, так, пустяшный анекдот, однако густо, как пончик сахарной пудрой, присыпанный романтикой.

Где-то на рубеже двадцатого века, году, скажем, в 1899-м или 1900-м, когда Фань-Нань-Нань была крохотным лаотенгским поселением, нескольких юношей призвали на службу в королевскую армию. Лаотенг славились преданностью и трудолюбием, поэтому новобранцев послали не на поля сражений, а в гарнизон неподалеку от Вьентьяна, дабы употребить их склонность к физическому труду на пользу королевскому двору.

На празднике Пии-Май-Лао в честь Нового года один из солдат познакомился с девушкой из зажиточного села близ столицы. Во время шествия слонов они скромно держались за руки, а когда взошла луна, вместе ликовали и обливали друг друга водой, как того требует обычай. К концу трехдневного празднества наладился безмолвный и необъяснимый химический диалог между мужскими и женскими гормонами, и они влюбились друг в друга по уши.

Родители девушки, хоть и предпочли бы видеть супругом дочери человека из лаолум, не стали препятствовать союзу. Солдат был учтив и хорош собой, он был силен и честен, а поскольку дочь упорствовала в своем выборе, то они дали согласие на брак. Как только срок службы солдата закончился, в доме девушки сыграли свадьбу.

Но новобрачный крепко тосковал по чистому горному воздуху родины, тосковал по диким зверям, по водопадам и скалам (а также по обитавшим там духам), а более всего он тосковал по родным и близким. Ему осточертело бить москитов, он не умел выращивать "плавающий" рис, и вонь с полей была ему омерзительна. Когда он объявил, что увозит молодую жену в горы, ее родители сильно опечалились. Видите ли, когда они утверждали, что у них необыкновенная дочь, это было не просто родительское бахвальство. Она была хорошенькая (почти такая же, как мисс Джинджер Свити), держалась с достоинством (не меньшим, чем у Лизы Ко), а еще лучше всех в деревне пела, танцевала и вышивала, и, самое главное, никто ни разу не слыхал, чтобы она пускала ветры. Ее отец, мать, сестры и братья и представить не могли разлуки с ней, поэтому примерно через месяц после отъезда молодых они продали своего буйвола, собрали вещички и отправились за ней следом в Фань-Нань-Нань.

Еще через несколько месяцев все родственники юной супруги, даже самые дальние, решили, что без этой талантливейшей и милейшей де-

вушки, не говоря уж о ее добропорядочной и добросердечной семье, жизнь потеряла смысл, и поэтому также отправились в горы, в Фань-Нань-Нань. С их отъездом в селении образовалась невосполнимая пустота. "Они были лучшими из нас, — вздыхали крестьяне. — А девушка-то — она же лучше всех пела, танцевала, вышивала. И никто ни разу не слыхал, чтобы она пускала ветры". Полтора года спустя все они побросали свои жилища в плодородной долине и отправились далеко в горы, в деревушку, зажатую между горным потоком и бездонной пропастью.

И в Фань-Нань-Нане яблоку стало негде упасть. Построили несколько новых хижин, да места было в обрез — по причине естественных преград. В доме на одну семью ютилось по три, а то и по четыре. На склонах гор невозможно было вырастить достаточно для полного удовлетворения потребностей риса, и инфраструктура деревни трещала по швам.

Наконец один из старейшин лаотенг додумался спросить одного из старейшин лаолум, что стало с домами и полями в долине. "Они пустуют, — ответил старец. — Мы побросали все, что не могли унести на себе". Мысль о прекрасных жилищах и плодородных полях поразила воображение лаотенг. А когда они сообразили, что заброшенное селение находится в непосредственной близости от Вьентьяна с его богатствами, перспективами и развлечениями, соблазн стал слишком велик. И однажды на рассвете новые, лаолумские, жители Фань-Нань-Наня проснулись и увидели, что все семьи лаотенг (за исключением одной, смешанной) идут, унося на себе скарб, по тропе вниз с горы.

Две деревни поменялись местами. Как в игре "Пятый угол".

Чистый горный воздух тешил чувствительные ноздри бывшего солдата. Его слух ласкали знакомый шум водопада, пронзительные крики птиц, хриплое покашливание леопардов, посвист летучих мышей пяти десятков видов. В супружеской постели молодая жена, позабыв о благочестивых манерах, сама визжала и стонала, да так, что глиняные горшки на полках тряслись и дребезжали. Жизнь была прекрасна. Однако в сердце юноши саднила незаживающая рана. Он чувствовал себя одиноким и неудовлетворенным.

Когда он объявил жене, что уходит к своим (жившим теперь в ее прежнем селении), она нисколько не удивилась. Как не удивимся и мы, узнав, что она поддержала его, заявив, что пойдет вместе с ним. "Нет, — ответил он. — Нельзя. Если ты пойдешь со мной, твоя семья обезумеет от горя и тут же отправится на старое место, чтобы быть с тобою рядом. За ними последуют и прочие родственники, а вскоре и все остальные, и Фань-Нань-Нань опустеет. У нас снова начнется невозможная жизнь, в тесноте и толчее, и тогда мои односельчане вынуждены будут вернуться назад, за ними последую и я, и все пойдет по кругу. Это безумие надо прекратить. Ты должна остаться здесь. Я тебя люблю. Прощай!"

Она долго смотрела ему вслед, а потом — она носила под сердцем ребенка — отправилась с гордо поднятой головой к краю ущелья. В те времена не было никакого каната, не было большого дома по ту сторону ущелья, ничего не было, только зияла бездна — как будто планета, утомленная неторопливым ходом эволюции, зевнула со скуки. Молодая женщина с болью и грустью взглянула на тропу, по которой ушел ее муж, и бросилась вниз.

Крестьяне, собиравшие хворост, с ужасом (впоследствии сменившимся благоговением) взирали на это. Все они потом твердили одно: посреди полета в пропасть тело девушки вдруг прекратило падение и, изме-

нив направление, снова взмыло вверх, почти до края ущелья. А затем, так же внезапно, перестало набирать высоту и понеслось в глубь бездны.

Некоторые считали, что ее подняло могучим порывом ветра. Другие верили, что любовь лаолумской девушки к лаотенгскому парню оказалась сильнее земного притяжения. Но была и еще парочка наблюдателей, настроенных не столь сентиментально, которые утверждали, что перед тем, как она взлетела, слышали оглушительный звук, из чего сделали вывод, что девушка, всю жизнь сдерживавшая себя, наконец пукнула, и сила давления подкинула ее на триста футов вверх.

Что бы это ни было — даже если это было всего-навсего банальное самоубийство, а левитация оказалась миражом, — но с тех пор Фань-Нань-Нань стала лаолумской деревней, притворившейся лаотенгской деревней. Во время переписи ее отметили как лаотенгскую, и в налоговых реестрах она значилась лаотенгской. Крестьяне одевались и разговаривали, как лаотенг. Свои буддистские алтари они скрывали за закрытыми дверями и хотя бы формально, но поклонялись богам, обитавшим в деревьях, и духам (от тридцати до ста тридцати), которые предположительно ведали духовной жизнью различных частей тела. Через два или три поколения они и внешне стали напоминать лаотенг. Однако это был лишь маскарад, уловка, на которую они пошли от горя и стыда, а впоследствии, возможно, она их самих стала забавлять.

Как бы то ни было, вероятно, не будет голословным охарактеризовать жителей Фань-Нань-Наня как племя самозванцев, а их обиталище как селение под маской, деревню-инкогнито.

* * *

Если фань-нань-наньский мухлеж с самоидентификацией и повлиял на решение экипажа "Умника" остаться по окончании войны в Лаосе, если летчики и знали о мошенничестве, об этом они, когда наконец признались друг другу в желании здесь задержаться, не упоминали.

К осени 1973 года во Вьетнаме почти не осталось американских войск. Несмотря на серию соглашений о прекращении огня, конфликт между Севером и Югом продолжал бушевать, и Югу, который поддерживали США, доставалось куда больше. Наконец в апреле 1975 года Сайгон был повержен, США поспешно эвакуировали оттуда своих граждан — как военных, так и штатских, — и Юг сдался. Могущественная сверхдержава отправилась домой, поджав красно-бело-синий хвост, и самая ненужная из всех ненужных войн закончилась. Известия о капитуляции достигли Фань-Нань-Наня через неделю с лишним.

К тому моменту Фоли, Стаблфилд и Голдуайр прожили в горной деревушке уже два года. Формально они считались пленными, однако их передвижений по большей части никто не ограничивал, и они помогали крестьянам сеять и собирать урожай, делили со своими стражами пищу, рисовую водку и изредка трубочку с опиумом, вели беседы со старейшинами, учили английскому даже тех, кто об этом не просил, участвовали в охоте на птиц и в праздниках, а также регулярно вступали в половую связь с согласными на это девушками и женщинами. Те, кто захватил американцев в плен, давно потеряли их след, а у фаньнянек, как окрестил Стаблфилд деревенских, не было никаких причин докладывать о них властям.

Когда из Сайгона пришла весть о мире, в Фань-Нань-Нане устроили праздник с водкой, коноплей и плотскими утехами. Местные жители вместе с американцами гуляли всю ночь напролет. Кто что отмечал, так

и не выяснили. В начале вечера Стаблфилд, который благодаря своим габаритам, интеллекту и красноречию стал в общине личностью заметной, чтобы не сказать исключительной, выступил с длинной речью, сути которой впоследствии не мог вспомнить ни он, ни кто другой. Как бы то ни было, мэр деревеньки воспользовался случаем и официально даровал пленникам свободу; само собой подразумевалось, что они воспользуются ею без промедления.

На следующий день ни одному из иностранцев и в голову не пришло собираться в путь. Дики решил, что Дерн со Стабом мучаются диким похмельем, они подумали то же самое про него и друг про друга. Все трое были правы: они страдали от обезвоживания и гастро-неврологического срыва. Но прошел второй день, за ним третий, и ни один из троицы, будучи уже в полном здравии, не начал собирать вещи. Все трое были вроде бы ужасно заняты — шатались по деревне, занимались какими-то ненужными делами, жарились на солнышке и избегали смотреть в глаза соотечественникам.

На четвертый день Стаблфилд как старший по званию и командир экипажа назначил общее собрание. Они отправились, ища уединения, к ущелью, к тому самому месту, где несколько десятилетий назад молодая жена, гонимая душевной болью (и, возможно, скоплением газов в кишечнике) кинулась в объятья небытия. Все, кто знал друзей, отмечал их тягу к жарким спорам, но на сей раз они проявили несвойственную им сдержанность. Долгое время они болтали о пустяках и любовались облаками. Первый шаг сделал Дерн Фоли, считавшийся интровертом.

— С некоторых пор, — сказал Дерн, нервно ерзая на камне, — меня мучает страстное желание вскрыть наконец жемчуженосную раковину Азии. Ну, вы понимаете... Выяснить, есть ли там внутри что-нибудь, кроме смертного комочка слизи. Что такое восточная мудрость, о которой мы столько слышали: очередная более эзотеричная, но столь же бесплодная попытка объяснить необъяснимое, взвалить все на Бога Тумана и Зеркал или же есть в ней начало начал, начало действенное, начало глубинное, начало... окончательное?

Возьмем, например, так называемый анимизм, который здесь исповедуют не столько фаньяньки, сколько все остальные. Можем ли мы просто списать его как примитивное суеверие? Только ли люди имеют душу, или это нарциссизм, шовинизм и самообольщение? Разве нельзя хотя бы вон в том тиковом дереве или в ущелье увидеть столько же божественного, сколько в антропоморфном седовласом боженьке воскресных школ? Допускаем ли мы, что сакральная сущность может присутствовать не только *на*, но и *в* кресте?

В последнее время мне все интереснее размышлять о многообразии божеств, о духах и демонах, о неорганическом разуме и нечеловеческих душах и так далее... Даже не знаю... Я только начал ощущать связь со всем этим, постиг самую малость, и уехать сейчас — непозволительная глупость... Вы понимаете, о чем я? Здесь немереное поле для свободного исследования. А то опять набегут эти пропагандисты-монотеисты и снова возьмутся превращать живую, роскошную, фонтанирующую энергией феерию в сольный концерт захудалого тенора.

Фоли уставился на траву под ногами, словно и впрямь наблюдал за разумной активностью стеблей и листьев. И тогда заговорил Дики.

— Что ж, Дерн, — сказал он радостно, — если ты хочешь кантоваться здесь и продолжить исследования, я с удовольствием задержусь с тобой

вместе. Я, конечно, соскучился по Северной Каролине, но как только вернусь, мне придется доучиваться в университете, а потом пахать в отцовской фирме. Так что, честно признаться, я туда особо не спешу. – Дики обернулся на деревню. Нервно улыбнулся. Пожал плечами. – Здесь очень неплохо живется.

Дики и Дерн взглянули на Стаблфилда. Настала его очередь, а от человека, который частенько говорил так, словно его мозг – чемпион по родео, а язык – дикий мустанг, они ждали бурного потока красноречия. К их удивлению, Стаблфилд только покачал огромной головой и что-то пробурчал себе под нос. Обоим послышалось нечто вроде "созревшие на ветке помидоры".

– Что-что? – переспросил Дики, который тут же представил себе "Вандер-бред" и банку майонеза. Неужели Стаблфилд тоже о чем-то подобном мечтает?

– Созревшие на ветке помидоры, – повторил тот уже отчетливее. – Такие таблички можно увидеть во всех продуктовых отделах всех супермаркетов Америки. В том числе и зимой, когда все ветки укутаны снегом. Но даже в июле и в августе помидоры из банки спелыми не назовешь. Они всегда розовые, жесткие и безвкусные. Они не просто не созревают на ветках, они вообще не созревают. Но никто ведь не возмущается. Никто не орет: "Да вы что, издеваетесь? Эти ваши хреновые помидоры собирают *зелеными*!" И никто не рвет меню, где написано "свежие деревенские яйца", хотя все, даже самые тупые и бестолковые, знают, что в этом ресторане яйца неделями хранятся в кладовке, что они ни с какой "деревней" и рядом не лежали. Страна, где процветает столь беспардонное надувательство, способна на все – она даже может выдвинуть на Нобелевскую премию мира Генри Киссинджера. – Он вздохнул, и вздох был тяжелым и хриплым. – Те, кто позволяет себя обманывать, порочны не меньше тех, кто обманывает. М-да... Моя жена, когда я давал ложную клятву верности, была виновна не меньше моего. Как сообщница.

Дики с Дерном не знали, что на это сказать, но у них создалось впечатление, что майор не намерен пулей лететь в Небраску. Заметив их смущение, Стаблфилд усмехнулся и махнул рукой в сторону строения во французском колониальном стиле, чья крыша виднелась на противоположной стороне ущелья.

– Перед тем как вернуться в страну поддельных яиц и вечнозеленых помидоров, я хотел бы повнимательнее осмотреть вон то пустующее здание. Если, конечно, найду способ сделать это, не сломав себе шею и не став дармовым звеном в пищевой цепочке местной фауны.

На протяжении нескольких недель, последовавших за этой расплывчатой, но тем не менее логически стройной беседой, когда летчики продолжали с удовольствием пользоваться гостеприимством фаньнаньнаньцев и преследовать свои неясные цели, "Патет-Лао" при поддержке Ханоя прибрала к рукам бóльшую часть Лаоса. 23 августа Народно-революционная партия Лаоса (спекулянты от марксизма без зазрения совести используют эпитет "народный", когда для него не больше оснований, чем для выражений "свежее деревенское" и "созревшие на ветке") объявила себя правящей партией новосозданной Народно-демократической республики Лаос. Был взят курс на "ускоренный социализм", и среди прочих реформ началась повсеместная борьба с буддизмом.

Можно было предположить, что новое коммунистическое правительство сочтет своим долгом сдать американских летчиков в Красный

Крест для отправки на родину, но сторонники жесткой линии так упивались победой и местью, что если бы наши "умники" попались им или сами бы сдались, то их, как лиц без документов, вполне могли бы, приняв за шпионов, расстрелять. Естественно, если бы они действовали хитро и осторожно, то при удачном стечении обстоятельств им бы удалось пробраться через Меконг в Таиланд, где — ура-ура-ура! — американские агенты в течение нескольких дней подвергали бы их дотошным допросам, после чего выставили бы напоказ всей Америке — как героев войны, о которой все предпочитали не вспоминать.

— Если бы нам решили повесить медали в Розовом саду, — сказал както Стаблфилд, — можно было бы изловчиться, кинуться на президента и откусить ему уши. — Но эту идею они так и не осуществили.

Больше никаких собраний не проводилось. Собственно говоря, с тех пор они ни единого раза не заводили разговора о том, стоит ли возвращаться домой. Люди сентиментальные могут сказать, что они *нашли свой дом*, но все было не так просто. Циники могут презирать их за то, что они якобы наслаждались романтикой изгнания, но все было не так просто. Дверь в неизведанное всегда слегка приоткрыта: многие проходят мимо, едва удостоив ее взглядом, некоторые заглядывают внутрь, но войти не решаются, а есть и такие, кто, влекомые любопытством, скукой, бунтарским духом или же обстоятельствами, отваживаются туда зайти и бродят так долго, что пути назад отыскать уже не могут.

К октябрю семьдесят пятого время для разговоров о возвращении домой — о блестящем будущем, о зрелых желаниях, о крепких узах, — судя по всему, прошло окончательно. Дерн и Стаблфилд уже завели в Фань-Нань-Нане свой бизнес. Дики разжился пригоршней рубинов и убогонькой гитарой. А в деревню приехал цирк.

* * *

Во Вьентьяне Лиза Ко поселилась в "Новотеле" — самой дорогой гостинице столицы и единственной, откуда был шанс без лишних проблем дозвониться за границу. Даже не смыв с себя дорожную пыль, она позвонила в Тампу, штат Флорида, продюсеру Эйбу Альтману. Именно Эйб "открыл" в Сингапуре годом раньше красавицу дрессировщицу, работавшую с необычными зверьками, и стал ее американским менеджером.

— Аррё! Моя мадам Ко.

— Мадам Ко! — воскликнул Эйб. — Где же вы? Все о вас беспокоятся.

— Моя Вьентьян. Лаос. Завтра быть Америка.

— У вас все хорошо? Как семья?

— Все хорошо. Не беспокоиться. Я быть завтра. Шоу в Поркланд?

— Да-да. В Портленде. Но завтра они переезжают в Сиэтл.

— Моя ехать Сиэтл.

— Хорошо. — Эйб замялся. — Только... только ваших зверушек там не будет.

— Что?!! Что вы сказать?

— Черт... Вы, наверное, ничего не знаете. Ваши... эти... натуки...

— Тануки! — выкрикнула она.

— Тануки... Они исчезли. Все до единого. Поезд сошел с рельсов между Фриско и Портлендом. За ними, как я понял, должна была присматривать эта клоуниха, Бардо Боппи-Бип...

— Что она сделать? — сурово спросила Лиза.

— Как я слышал, она напилась и плохо закрыла клетку, а когда поезд сошел с рельсов, дверца распахнулась и они убежали. Они помчались в горы, и поймать их не смогли. Всё перепробовали. Даже нанимали профессиональных следопытов. Они отправились на поиски с собаками, но те два тануки, которых удалось хотя бы засечь, так вот, эти тануки завели собак то ли в реку, то ли в пруд, взгромоздились на них и обеих утопили. Взяли и утопили.

Лиза, представив это, не могла сдержать улыбку. Но тут же снова посерьезнела.

— Их... их не найти?

— Нет. Все уже отчаялись. Одна надежда, что вы вернетесь и возьмете дело в свои руки. Только там леса, густые леса. А тануки, полагаю, разбежались кто куда. Следопыты слышали, как с гор доносились какие-то странные звуки.

Лиза не смогла сдержать стон.

— Я быть завтра, — сказала она чуть слышно.

— Хорошо, милочка. Но я должен вам сказать, что, даже если вы отыщете своих зверушек, на нынешний год ваш контракт закончен. Что будет дальше, посмотрим. Популярность у вас есть. А эта треклятая клоуниха — она доработает сезон, а потом пусть возвращается в телешоу для извращенцев. В цирке ей не место. Ну что ж, всего доброго, мадам Ко. Удачного полета.

Лиза повесила трубку и долго еще сидела на кровати. Потом налила горячую ванну и нырнула в нее по самые грудки — маленькие, но безукоризненные. Волосы она собрала в пучок, но, когда погрузилась в воду, они все равно намокли.

А за окном, на улице, ветер играл, как на поющих пилах, на листьях пальм. Где-то внизу устроили политический митинг цикады, рассылая морзянкой на все четыре стороны свой единственный лозунг "Живи-живи-живи-живи!". Телесного цвета луна, "зрелая", как любой "созревший на ветке помидор", купалась в озере собственного света. Лиза, откинувшись назад, наблюдала за тем, как она медленно плывет — томная, нагая, бесстыжая. Редкие звезды были словно расширенные зрачки вуайеристов, подглядывающих через дырки в иссиня-черном занавесе за обеими — и плавающей, и купающейся. Поскольку час был поздний, жаровни, днем вонявшие на весь город, успели остыть, и в окно ванной струился воздух, напоенный запахом гельземиума, сандалового дерева, красного жасмина и воспоминаний о дневном дожде.

Звуки, ароматы и цвета природы успокаивали Лизу куда лучше горячей ванны. Она отдавалась им, и ей казалось, что она — дитя дикой природы. Вытираясь после ванны полотенцем, она, сама того не замечая, издавала тихие животные звуки. И движения ее были плавными, как взмахи хвоста.

Обсохнув, Лиза накинула белое полотенце на телевизор. Из сумки она достала кусок шелка — остатки старинного кимоно — и положила его на полотенце. Слева поставила бумажную статуэтку — не Будды, но чего-то в этом роде, — а справа положила кольцо с рубином, которое сделал ей Дики в ознаменование брачных намерений. Она поискала чего-нибудь, что могло дополнить композицию, подумала, что лучше всего подошла бы свежая хризантема — она перекликалась бы с той, что вышита на шелке, но во Вьентьяне климат тропический, тут хризантем не бывает. Нако-

нец Лиза остановила свой выбор на черных замшевых сапогах — их она, изображая крутую девчонку, надевала на цирковые выступления.

— А кто я есть в этой жизни? Циркачка и есть. — И, улыбнувшись, добавила: — Как и все.

Она поставила сапог на шелковый лоскут. И, как была, обнаженная, опустилась на колени перед импровизированным алтарем.

Поначалу слова находились с трудом.

— Мама... — И, после долгой паузы: — Мама, мне нужна твоя помощь. Бабушка Казу, я и тебя призываю. Помогите, прошу вас. Прабабушка Михо, ты сделала нас такими, ты дала нам цель, ты дала нам знание, если это можно считать знанием. Ты связала нас с тем, что находится за пределами обычного, и хотя моя земная связь с тобой ограничивается этим лоскутком кимоно, я чувствую себя вправе обратиться к тебе, я прошу тебя: освети мой путь. Мама, бабушка, прабабушка, умоляю, придите ко мне нынче ночью. Дверь моего сна будет открыта для вас. Я оставлю чай на этом дурацком алтаре или, если хотите, сакэ. Я ваша дочь, младшая в роду. Вы нужны мне. Очень нужны. Прошу вас, придите.

* * *

Явились ли ей во сне Михо, или Казу, или О-Ко? Может, да, а может, и нет. Она и сама этого не уяснила. В пять часов заговорило включенное заранее радио (у нее был утренний рейс), и пробуждение было столь внезапным и резким (шли новости, и президент США нес что-то невразумительное), что, если Лиза и хранила в себе какой-то сон или воспоминание о сне, они тут же рассыпались в прах. За смеженными веками какая-то тень — на подушке вроде бы отпечатался след эманации, но Лиза, как ни пыталась, вспомнить ничего не смогла.

Тук-тук!

— Кто там?

Ответа не последовало. Да и был ли стук?

Но тут Лиза машинально дотронулась кончиком языка до нёба — и ее как молнией пронзило. Она судорожно вздохнула. Села в постели.

Та штука увеличилась вдвое. Даже больше, чем вдвое. И продолжала расти. Она набухла. И пульсировала. Стала твердой и в то же время упругой. Горячей на ощупь. Влажной. Кому-нибудь на ум могла бы прийти простата Лоуренса Аравийского. Ягодка радиоактивного крыжовника. Клитор Фриды Калло. Или что-то другое. Нарыв или прыщ. Однако в его пульсации не было ничего патологического. Это были не судороги боли, а судороги нарождающейся жизни. Так бьется пульс судьбы.

— Это происходит, — прошептала Лиза Ко. — Неужели правда? Началось... Это происходит *со мной*.

Часть IV

* * *

Истинно верующий человек может верить в политическую систему, в религиозную доктрину или же в какое-нибудь общественное движение, сочетающее в себе элементы и того, и другого, но истинно верующий не может истинно верить в жизнь.

Истинно верующий может поклоняться Иегове, Аллаху, Брахме, сверхъестественным существам, которые якобы *сотворили* все живое; истинно верующий может рабски следовать догме, разработанной — теоретически, — чтобы *улучшить* жизнь, однако до само́й жизни — до ее удовольствий, чудес, наслаждений — ему и дела нет.

Музыка, шахматы, вино, карты, мода, танцы, медитация, воздушные змеи, духи́, марихуана, флирт, футбол, чизбургеры, красота в разнообразных проявлениях, любое признание гениальности или совершенства отдельной личности — в наше время все это сурово осуждалось или даже запрещалось то одним истинно верующим, то другим. Поэтому нечего удивляться, что лаосские коммунисты, захватившие в 1975 году власть, закрыли Национальный цирк во Вьентьяне. Такое легкомысленное развлечение, как цирк, отвлекало от серьезного дела — социалистической реформы.

Сразу же после закрытия директор цирка (исполнявший также обязанности инспектора манежа) собрал всю труппу.

— Отважные юные комиссары в пылу патриотического рвения не учли того, что здание построено на советские деньги, по образцу знаменитого Московского цирка. Из европейских примеров мы знаем, что коммунисты никогда не считали цирки идеологически враждебными. Рано или поздно наши отважные юные комиссары осознают свою ошибку, и Национальный цирк Лаоса будет возрожден. Но пока что наши отважные юные комиссары малость рассвирепели, им срочно необходимо сажать и расстреливать, вот они и хватают кого ни попадя. Поэтому нам лучше уйти в подполье.

Тут заговорили все разом, но инспектор манежа потребовал тишины.

— Поскольку настанет день, когда наше мастерство будет признано не только не представляющим угрозы для революции, но и полезным для народа, нам нельзя его терять. И лучше держаться вместе — так будет проще тренироваться и репетировать.

Инспектор манежа знал подходящее место. Он родился в Фань-Нань-Нане, где и прожил до четырнадцати лет, после чего родители (бывшие, естественно, скрытыми лаолум) отправили его к другу семьи во Вьентьян — получать образование. И под его руководством циркачи поодиночке, парами или небольшими группами перебрались в далекую деревушку на краю ущелья и стали подпольным цирком. Отсюда — т-сс! — и пошло название La Vallée du Cirque.

Национальный цирк Лаоса, испытавший на себе французское и русское влияние, отличался от китайских и японских, где были в основном акробаты, гимнасты и жонглеры, большим разнообразием. Но номеров с животными было маловато, так что, поскольку слонов национализировали и отправили на лесозаготовки, в Фань-Нань-Нань перебрались без особого труда — туда следовало доставить только костюмы и оборудование. Среди поселившихся в деревне циркачей была и четырехлетняя Ко Ко.

По причине нежного возраста Ко Ко работала один-единственный номер: она восседала в ковбойском костюме между рогами оленя, которого дрессировщик гонял кругами по арене. Олень, несмотря на то что бифштексы из него получились отвратительные, был съеден голодными революционерами и до Фань-Нань-Наня не добрался. Маленькую Ко Ко отнесли туда ее приемные родители. Ее биологическая мать, воздушная гимнастка по имени О-Ко, бросила малютку, когда той был год.

Пожалуй, "бросила" – сильно сказано. О-Ко кормила дочку чуть ли не до дня отъезда и вне всякого сомнения ее обожала. А затем умышленно оставила ее на попечение самой добросердечной пары в труппе. (О-Ко переспала со множеством циркачей, но ни одного из них нельзя было с уверенностью назвать отцом ребенка.) Она написала полное любви и грусти письмо, где рассказывала, как ухаживать за ребенком, но никак не объяснила, почему она, О-Ко, решила вот так взять и уйти однажды ночью в лес. Навсегда. Кое-кто считал, что виной всему ее японское происхождение. И большинство с готовностью поверили, что рано или поздно все объяснится: О-Ко оставила еще одно письмо, запечатанное, которое Ко Ко должна была вскрыть в день первой менструации.

И вот еще что. У малютки Ко Ко была шишка на нёбе. О-Ко строго-настрого наказала, чтобы ее ни при каких условиях не вскрывали, не давили на нее и не лечили. "Не трогайте ее, – писала мать-беглянка. – Поверьте, все будет хорошо. Настанет день, и моя дочь сама все поймет".

* * *

Пока циркачи-изгнанники обживались в Фань-Нань-Нане, наши "пропавшие без вести" размышляли, как бы им половчее остаться пропавшими, если, конечно, их целью было остаться пропавшими, но по прошествии времени стало ясно, что хотя бы на подсознательном уровне так оно и было. Дабы разобраться в анимизме окончательно, Дерн, так в душе и оставшийся религиозным философом, отправился высоко в горы, в самое крупное поселение хмонг. Стаблфилд, который маялся без книг и не знал, чем заняться, и Дики, который хоть и привык к деревенской жизни, как диктофон к пленке, но всегда жаждал новых ощущений, составили ему компанию. То, что они в тот день обнаружили, глубже затянуло их в новую жизнь.

В сравнительно миролюбивом Лаосе представители племени хмонг считаются агрессивными и воинственными по природе. Когда ЦРУ стало подбирать бойцов сопротивления, которые защитили бы правое королевское правительство от повстанцев-леваков, хмонг оказались идеальными кандидатами. Американские шпионы тайком их вооружили, обучили, подкупили, обманули и отправили воевать и умирать за "национальные интересы" Америки. Их усилия не увенчались успехом, и красные победили. В конце 1975 года хмонг тысячами пробирались в Таиланд – кто искал убежища там, кто просил бесплатный билет до Калифорнии. Несмотря на то что большинство хмонг никогда не служили на США, клеймо стояло на всех, и причиной массового исхода была боязнь массовых же репрессий. Те из хмонг, кто остался в Лаосе, были вынуждены затаиться, и поэтому торговлю опиумом (а 1975 год выдался на редкость урожайным на мак) пришлось приостановить.

Когда наши американские летчики, прикинувшиеся представителями комиссии ООН по работе с беженцами, увидели амбар, доверху заваленный маковой соломой, их посетили романтические, но опасные мысли.

После того как они выкурили с местным населением несколько трубок, мысли забили крыльями. (О-оо! Опиум называют "дымом рая", хотя, строго говоря, опиум выделяет не дым, а химические пары; при нагревании он не горит, а плавится.) Когда же хозяева отвели их в самый конец селения, где прятали под кучами сена целый и невредимый вертолет, мысли воспарили и стали выделывать безумные пируэты.

Вертолет был советской сборки и некогда принадлежал элитным частям "Патет-Лао". Однажды, а было это еще в 1972 году, у него внезапно закончилось горючее (лаосцы халатно обращаются с техникой), и он совершил вынужденную посадку на холме за селением. Хмонг, не тратя времени попусту, перебили всех, кто оказался на борту. А затем водрузили вертолет на полозья и несколько недель, кряхтя и пыхтя, тащили его на веревках к маковому полю вождя, где он с тех пор и находился. Зрачки Дерна Фоли, и без того расширенные, выглядели так, словно их показывали через телескоп.

Заключили сделку. Дерн переехал к хмонг. И сумел-таки оживить железную птичку. Раздобыли горючее. Дерн с вождем и двумя деревенскими красотками отправился в город развеяться. Событие отпраздновали на славу. Вскоре спекулянты из долины наладили регулярные поставки горючего. Вертолет загружали буханками ароматной розовато-палевой "пищи богов".

— Теперь ты настоящий лорд, Фоли, — объявил Стаблфилд, когда приятель сел за штурвал. — Хранитель хлебов.

Когда вертолет отправился в Таиланд, лишь в душе Дики Голдуайра шевельнулся червячок дурного предчувствия.

* * *

В бунгало сестер Фоли в День труда произошла смена ролей. У Бутси в понедельник был выходной — почту закрывали на праздники, а Пру, столько времени просидевшая без работы, устроилась в цирк: шоу, только что прибывшее в Сиэтл, должно было начаться в среду и идти неделю.

— В Дне труда есть... есть что-то мужественное... — сказала Бутси. — И это так славно.

Пру, которая в этот момент залезала в мешковатые полиэстровые брюки, замерла и презрительно фыркнула.

— Ты мне лучше вот что объясни, — потребовала она. — Если День труда — праздник работяг, праздник, как их там, честных тружеников, то почему его так странно отмечают: сидят дома и валяют дурака? Если уж труд такое благородное дело, то как раз в этот день надо пахать в два раза дольше.

Сестра глядела на нее с изумлением, но Пру продолжала:

— По-моему, если люди прославляют труд тем, что не работают, значит, они прославляют безделье. И вообще предпочли бы изо дня в день не трудиться, а веселиться.

— Пру, если ты не можешь обеспечить себя...

— Да я совсем о другом! — Пру застегнула испуганно взвизгнувшую молнию. — Это все равно что в Валентинов день всех ненавидеть, а дорогим-любимым посылать открытки с оскорблениями. Неужели не понятно? Налей-ка мне стаканчик томатного сока. Спасибо. Я жду сегодняшний рабочий день с нетерпением. Но, как правило, трудящиеся ненавидят труд. Поэтому-то столько сердечных приступов случается именно с утра в понедельник. О, кстати, наверное, поэтому День труда и назначили на понедельник.

Бутси даже не нашлась, что возразить. Выждав пару минут, она сказала:

— Ну, тогда сегодня мы вряд ли дождемся новостей из Сан-Франциско.

— Уж это точно! — Пру допила сок. — Знаешь, сестренка, — сказала она уже с порога, — я вот что думаю: надо бы найти Дерну адвоката. Ка-

кого-нибудь знаменитого. Здесь ведь вопрос не только в наркотиках — федералы явно не хотят лишнего шума, а ушлый адвокат может согласиться взять дело — это ж ему лучшая реклама.

— Упаси боже! — заволновалась Бутси. — Полковнику Томасу и фэбээровцам такое не понравится.

— А нам на них плевать. Может, так мы вынудим федералов относиться к Дерну по-честному, а если над ними будет кружить звезда вроде Джонни Кокрана[1], они побоятся выкручивать нам с тобой руки. Ладно, это мы еще обмозгуем. — Она напоследок посмотрелась в зеркало и торжественно провозгласила: — Леди и джентльмены, мальчишки и девчонки! Хей-хо! Пруденс Виктория Фоли отправляется на службу в цирк, черт его подери!

* * *

Лиза Ко в нефритово-зеленом чонсаме бродила в задумчивости по широким улицам Вьентьяна, что-то бормотала себе под нос, легонько щупала языком предмет — *явление* — на нёбе и порой, остановившись в тени сандалового дерева (в здешних развалюхах-часовнях дзена и в помине не было), молилась о помощи. Она оказалась в трудном положении, и ей нужен был совет поконкретнее, чем фамильное "оно есть оно".

Билет в Штаты Лиза сдала. За эти дни она несколько раз собиралась купить новый, но, пока набирала номер авиакомпании, успевала передумать.

Да, конечно, она рвалась в Орегон — на поиски сбежавших зверьков, однако, молясь, постоянно слышала (во всяком случае, так ей казалось) далекий, но настойчивый голос, упорно ее отговаривавший. Чей это был голос? Вроде бы мужской, так что он вряд ли принадлежал Михо, Казу или матери. Не было в нем и сочувственных интонаций будды. Голос был хитрый, лукавый, елейный; не то чтобы жуликоватый или лживый, но в нем слышалось что-то лисье.

— Тануки в полном порядке, лапочка, — журчал ей в ухо голос. — Вы отлично позабавились вместе, вдохнули аромат цирка. А теперь дай им снова стать настоящими зверями, пусть они позабавятся без обручей, без будоражущего шквала аплодисментов. Пусть делают в Новом Свете что пожелают, пусть наслаждаются свободой. Это было нужно и Тануки. Возможно, и Америке нужно то же самое.

И Лиза постепенно начинала верить, что голос прав. Она приучала себя к тому, что в ее жизни больше не будет цирка. Ей было нелегко отпускать тануки. Эти глупые барсуки стали ее приемными детьми. Но теперь это уже не имело значения. Ведь у нее должно было родиться собственное дитя.

* * *

Делаешь ставки инкогнито —
Рискуешь в конец проиграться.
На тринадцать поставишь дом родной,
Но в костях потолок — двенадцать.

Несколько лет Дерн возил, иногда в сопровождении Стаблфилда, буханки опиума-сырца на ту сторону гор, на базу таиландских контрабан-

1. Джонни Кокран — адвокат, прославившийся защитой О-Джей Симпсона, обвинявшегося в убийстве жены.

дистов. Доходы трое без вести пропавших делили между собой (в ту пору Дики, пусть и нехотя, но тоже в этом участвовал). Доходы были скромными, даже когда Стаблфилд потребовал и со временем добился от тайцев повышения ставок. Друзья скоро поняли, что сырой опиум как таковой — дерьмо с огромным количеством естественных примесей, как то: другие растения, смола, грязь, а хмонг еще норовят добавить туда для веса толченого аспирина, патоки, табачных листьев и еще много чего. В таком виде опиум годится разве что для сельской местности, поэтому его надо очищать и готовить смесь под названием *чанду*.

— Мы с вами полные кретины! Добываем руду, а деньги-то делают торговцы скобяными товарами, — заявил Стаблфилд. — Переходим на изготовление чанду.

К тому времени — спасибо вертолету — американцы заняли большой дом по ту сторону ущелья, где, делая ремонт, заодно оборудовали небольшую лабораторию, в которой удаляли из сырья примеси и перерабатывали его в более ценный продукт. Теперь они сами скупали у крестьян опиум и перепродавали в Таиланд. Денег стало больше, и они выкупили у крестьян вертолет. (На нем сохранилась эмблема "Патет-Лао", поэтому, даже когда его засекали наземные службы, проблем не возникало. И, кстати, окрестили они его "Умник-2".)

Опиум, как любому кретину известно, отличается от героина, как фигурное катание — от русской рулетки. Однако по причинам, которые заставляют усомниться в умственной и эмоциональной стабильности современного человека, безмятежных курильщиков опиума на нашей планете почти не осталось, зато куча недоумков подсела на героиновую иглу. Вот и получается, что, хотя чанду куда выгоднее опиума-сырца, большие деньги делаются на большой дури.

— Мы — жалкие торговцы скобяными товарами, — сказал Стаблфилд, — а настоящие-то деньги делают металлурги. Нет-нет, героин мы производить не будем, но, если не решимся на следующий шаг, будем прозябать, как хмонг.

Следующим шагом было превращение чанду в порошок, от которого до морфина один шаг, а от морфина еще шажок до героина. Стаблфилд с Фоли на этот шаг решились, а Дики — сердце его было виноградинкой, попавшей в копыто сатира, — съехал из виллы "Инкогнито" и, поскольку иного способа не было, выбирался оттуда на руках по уже натянутому над ущельем тросу. Он разодрал в кровь ладони, пальцы как судорогой свело, голова кружилась, руки чуть не вывернулись из суставов, а когда он наконец перебрался на другую сторону, его еще и вырвало — как горгулью в готический фонтан.

* * *

Стаблфилд не пытался остановить Дики, но был недоволен его уходом. Жизнерадостный каролинский паренек приятно отличался от угрюмого и порой злобного Дерна, а по мере того как Дики набирался знаний и уверенности в себе, его участие в разнообразных ученых диспутах на вилле становилось все осмысленнее. Впрочем, разговор, состоявшийся перед самым исходом Дики, был не столь бурным, сколь напряженным.

— То, чем вы собираетесь заниматься, настоящее преступление.

— Голдуайр, да все, что мы делаем на протяжении лет, можно назвать преступлением. Мы — дезертиры. И наше присутствие здесь — уже преступление.

— Ну хорошо, скажем, что это аморально.

— С точки зрения семантики, "аморально" — более подходящее слово. Но с точки зрения этики, это ханжеское преувеличение и предвзятое суждение.

— Ни то и ни другое. Вы, черт подери, собираетесь распространять морфин!

Стаблфилд устало покачал головой.

— Ах, Голдуайр, твоя пылкая риторика — наследие предков-баптистов. Мы ничего не распространяем. Потребности так велики, что та малая толика, которую можем предоставить мы, не удовлетворит и тысячной доли спроса. Более того, мы, строго говоря, не занимаемся изготовлением морфина. Да, конечно, это сути не меняет, но, допустим, мы станем торговать морфином. Морфин ведь можно использовать и во благо человека.

— Он назван по имени греческого бога сна Морфея, — последовал комментарий Дерна Фоли.

— Фоли совершенно прав. Сколько несчастных, сраженных тяжким недугом, могут получить несколько благословенных часов сна благодаря...

— Кончай, Стаб! Сам же знаешь, что филиппинцы сделают из твоего... из твоего "не совсем морфина" героин!

Стаблфилд нарочито громко прищелкнул языком.

— Охолони, Голдуайр! Сколько страсти ты вкладываешь в столь простое слово! Чего ты истеришь? — Он снова зацокал языком — так близорукая курица стучит клювом по омлету. — Героин! Химический демон! Кристаллы Сатаны! Наркотик, вызывающий такое же привыкание, как никотин, и почти столь же опасный...

— Никотин, — раздумчиво вставил Фоли. — Назван в честь Жака Нико, французского божества, покровителя рака легких. — В богах он разбирался отменно.

— Это софистика! — возмутился Дики. — Их нельзя сравнивать.

— Пожалуй, нельзя, — согласился Стаблфилд. — Если б мы поставляли филиппинцам не опиаты, а никотин, я бы испытывал те же нравственные муки, что и ты. Конечно, от смертоносного тезки мсье Нико в медицинском смысле проку мало. Тогда как преступный эликсир, наш аморальный тоник... Нет, уж лучше я умолкну, не то изойду альтруизмом. Ведь нас прежде всего интересует выгода. Сколько еще бабок потребуется, чтобы вернуть этому старому дому былую роскошь...

Стаблфилд защищался изо всех сил, но это нельзя списать исключительно на попытку, — как говорят психологи, — рационализировать собственное поведение. Мы не можем не отметить, что героин — одно из самых эффективных обезболивающих, известных современной медицине. Он обладает уникальной способностью облегчать боль, с которой не может справиться даже морфий. А ведь сколько жертв рака мучаются от неослабной, изматывающей боли! Многие десятилетия милосердные американские врачи умоляли разрешить им вводить героин смертельно больным, однако политики пресекали все их попытки, твердя о привыкании к наркотикам. Правда, эти мудрецы так и не объяснили, чем опасно привыкание для тех, кому все равно остается жить месяц-другой. Некоторых конгрессменов беспокоило, что героин, если его разрешить, будут воровать из больниц и продавать на сторону или же им начнет баловаться медперсонал (такова непоколебимая уверенность Вашингтона в неотразимом воздействии этого белого порошка на человека); другие

же опасались, что это послужит дурным примером детям, однако логику такого объяснения обычный ум понять не в состоянии.

Кто его знает, какими именно причинами руководствуются политики? Возможно, на них оказывает давление мафия, заинтересованная в том, чтобы наркотики оставались под запретом и соответственно не падали в цене. Или же на них наседают религиозные фанатики, в "христианских" душах которых не осталось ни капли сострадания, одни только суеверия. Как бы то ни было, но тысячи смертельно больных людей вынуждены проводить последние дни в нечеловеческих муках, хотя протяни руку к шприцу — и им будет даровано облегчение, возвращено достоинство и предоставлено право осмысленно попрощаться с близкими.

Итак, в конце семидесятых некая лаборатория на окраине Манилы стала производить из приобретаемого нелегальным путем сырья героин для медицинских целей и снабжать им одну подпольную клинику на Филиппинах и две в Индии. В этих клиниках, точнее в хосписах, умирающим пациентам делали для облегчения их страданий инъекции, и многие из тех, кому было суждено умереть в жутких муках, умирали с улыбками на устах. К 2001 году в Азии, Латинской Америке и на островах Полинезии действовало уже тринадцать подпольных клиник.

Манильская лаборатория была главным поставщиком азиатских хосписов. Как-то раз сотрудник этой лаборатории, биохимик, занимающийся закупкой сырья, прибыл на базу в Таиланде именно в тот момент, когда туда прилетел и "Умник-2" с грузом чанду. Стаблфилд и Дерн завели с филиппинцем беседу (он хорошо говорил по-английски, тогда как вокабуляр тайских контрабандистов был крайне примитивен) и узнали про его миссию. Через час, благодаря бескрайней широте личности Стаблфилда и отменному качеству фань-нань-наньского чанду они заключили сделку.

Как упоминалось выше, Дики Голдуайр выступал против. Его мучила совесть даже по поводу опия-сырца и чанду, а тут уж он окончательно уперся.

— Вы же не можете быть на сто процентов уверены, — заявил он своим товарищам, — что ни миллиграмма этого героина не окажется в каком-нибудь притоне или в венах рок-звезды.

Дерн поднял глаза от бутылки пива "Лао", которую рассматривал так пристально, словно уже вошел в телепатический контакт с тигром на этикетке. Он в конце концов поддался очарованию анимизма.

— Ты стал выражаться, как то самое правительство, от которого сбежал, — сказал он.

Стаблфилд изъяснялся куда поэтичнее.

— Да, — согласился он, — белая река макового сока извилиста, у нее множество притоков, и лишь малая их толика течет по поверхности. Мы не можем быть абсолютно уверены, что некая часть нашего вклада не выйдет из предназначенного ей русла. Нам остается только верить и надеяться.

— Вот именно. Надеяться, что ни один отчаявшийся мальчонка не сдохнет от передоза, употребив товар, поставленный вами.

— А сколько лихих парней гибнет — и будет гибнуть — на машинах, которыми торгует твой отец? Во зло может быть употреблено что угодно. Более того, все, даже юные и бедные, должны нести ответственность за свои поступки. Социальная система, отрицающая это, способствует атрофии интеллекта и стагнации духа.

Предыдущей ночью Дики опять посещал школу кошмаров, где сполна намучился от несделанных заданий и заваленных экзаменов, а эта беседа только усугубила его состояние. Он чувствовал, что в словах Стаблфилда присутствует здравый смысл, но его было недостаточно, чтобы совесть Голдуайра умолкла. Поэтому он собрал свои пожитки, в том числе и дрянную украинскую гитару, на которой впоследствии сочинит "Встретимся в Когнито", и аккуратно сложил их в углу, чтобы Дерн при случае перевез все на вертолете в деревню. Потом пожал руку Дерну, покряхтел в медвежьих объятьях Стаблфилда и отправился к наводящему ужас тросу над пропастью.

Не успел он дойти до двери, а его приятели уже возобновили спор о том, почему героин настолько популярен, хотя, как подсказывает здравый смысл, употребление таких наркотиков ведет к саморазрушению. Стаблфилд настаивал, что, пока существуют методы, позволяющие человеку разлагать собственное эго и убивать время — не проводить его, не тратить попусту, а *аннигилировать*, — люди будут стремиться к этому, невзирая на риск. Экстаз от существования исключительно в настоящем, которого большинство достигает посредством оргазма, мистики получают через медитацию, шаманы испытывают, входя в психоделический транс, а истинные художники ловят, с головой погружаясь в творчество, есть, утверждал Стаблфилд, суть трансцендентности, высвобожденное состояние предельной простоты, к которому невольно стремится каждый. Трансцендентность — это в буквальном смысле рай на земле, и любой наркотик, обеспечивающий билет в рай, будет рано или поздно употреблен, даже если в конце поездки путешественника ждет ад.

Дерн, цитируя буддийские тексты и Книгу Бытия, возражал, что дорогу в рай земной нам перегораживают не время и эго, а страх и желание. В представлении человека о времени одно плохо, считал Дерн, — оно всегда нацелено на летальность исхода, а также на вечно неопределенное будущее и тем самым усугубляет его страх смерти и неведомого. Отхлебнув пива, лысеющий летчик заявил, что эго, освобожденное от невротического груза жадности и честолюбия, становится благом, а не препоной. Если бы мы только могли отбросить страхи и желания, наши угомонившиеся эго помогли бы нам удержаться в своем перманентном, портативном Эдеме. Наркоман, подсевший на героин, никуда не рвется, ни к чему не стремится, ни за что не цепляется, и именно ради этого наивысшего спокойствия, ради того, чтобы избежать мерзостей нашего общества, а заодно и личной ответственности, засаживает в вену иглу. Так сказал Дерн.

Дики был вынужден слушать этот диалог, пока собирал вещи, но, попрощавшись и направляясь к двери, он пробормотал:

— Интересно, который из этих богов — Бог Собачьей Чуши?

Конечно же, это вырвалось у него помимо воли: будь все как обычно, он и сам бы принял участие в диспуте; кроме того, он и не подозревал, что товарищи его услышат. Но, увы, всегда бдительный Стаблфилд крикнул ему вслед:

— Да все, Голдуайр, все до единого. Собачьей Чушью не ведает никто конкретно, иначе бы они передрались за это право. Боги терпят человеков исключительно за талант нести собачью чушь. Все остальные наши качества наводят на них скуку.

"А как же любовь? — хотел было крикнуть напоследок Дики. — Человек ведь наделен способностью любить". Но дверь за ним уже захлопнулась.

* * *

Несколько лет наши без вести пропавшие предприниматели отправляли товар из Северного Таиланда на Филиппины через специального курьера. Курьера порекомендовали в лаборатории, и на него вроде можно было положиться: он возвращался вовремя, с заранее оговоренным количеством наличности в заранее оговоренной валюте — таиландских батах, лаосских кипах и долларах США. А где-то в середине восьмидесятых Дерн Фоли сам стал ездить в Манилу раза два-три в год. Сначала он съездил пару раз в Бангкок и из второй поездки привез себе и своим сообщникам фальшивые французские паспорта. Еще он раздобыл сутану католического священника и, когда ее надел, впервые с раннего детства расплылся в широченной улыбке.

— А я-то уж думал, что помру от старости прежде, чем увижу, как ты улыбаешься, — сказал Стаблфилд.

Каждый раз, посещая Манилу, Дерн как мог проверял, действительно ли героин, получаемый из сырья с виллы "Инкогнито", поступает исключительно в хосписы, а не попадает в розничную торговлю. После третьей инспекционной поездки они со Стаблфилдом "в достаточной степени убедились", что выполняют гуманитарную миссию. Стаблфилд был настолько в этом убежден, что разгуливал по вилле, облачившись в халат одной из сожительниц и обмотав голову посудным полотенцем, — изображал мать Терезу. (Немалую роль в этом играло и шампанское, изрядные количества которого привозил в Фань-Нань-Нань Дерн.)

Дики радовали отчеты Дерна, да и с друзьями-дезертирами он по-прежнему поддерживал теплые отношения, однако его подозрения никак не могли рассеяться настолько, чтобы он с чистой совестью вновь вошел в дело. Он в своей хижине наслаждался деревенской жизнью, особенно когда циркачи уезжали в город. Кроме того, он наладил собственный скромный бизнес.

Одна из жительниц селения хмонг воспылала чувствами к Дики. Это была вдова средних лет, которая, в придачу к потере мужа, лишилась почти всех зубов. Она была обделена резцами и клыками в той же мере, в какой предмет ее воздыханий был, по слухам, наделен первичными половыми признаками исключительных размеров. Кое-кто утверждал, что однажды она увидела его купающимся в ручье и, потрясенная его приапическими достоинствами, влюбилась без памяти, однако этой версии, которую породили, по-видимому, шуточки Стаблфилда, доверять не стоит. Как бы то ни было, но Дики хоть и стоял на позициях эгалитаризма, взаимностью вдове не отвечал и вежливо отвергал ее притязания. Тем не менее в один прекрасный день потерявшая от страсти голову дама преподнесла ему пригоршню мелких необработанных рубинов.

Отказываться от подарка было невежливо, и Дики принял его. Использовав в качестве абразива песок, он, как сумел, отчистил камушки и послал с Дерном в Таиланд, где барыги заплатили за них намного меньше, чем они стоили. Пятьдесят процентов выручки Дики отдал своей поклоннице, что только подхлестнуло ее рвение. Вдохновленная вдова выкапывала камни где могла — в высохших руслах рек, горных ручьях, оврагах. Дело у нее шло не то чтобы быстро, но труды не пропадали даром.

Большинство найденных рубинов были обычного желто-красного окраса, однако раз в три-четыре года вдове удавалось отыскивать темно-

красные с синим отливом, так называемую "голубиную кровь". Такие рубины обычно сберегали для деревенских старейшин, но Дики уговорил женщину продавать их ему. Ходили слухи, будто согласилась она лишь потому, что в таких случаях Дики позволял сделать ему минет, каковой, ввиду отсутствия зубов, ей, возможно, неплохо удавался — впрочем, мы обязаны предупредить читателя, что и это, скорее всего, апокриф.

Со временем Дики приобрел ручной станок для шлифовки камней, в связи с чем его рубины приобрели окончательно товарный вид. И совсем уж хорошую прибыль стал получать, когда начал через Дерна (он же отец Городиш) посылать камни в Манилу. Голдуайр стал бы не менее зажиточным, чем обитатели виллы "Инкогнито", если бы не делился своими доходами с бедными жителями Фань-Нань-Наня. Благодаря долговязому американцу это была единственная в горах Лаоса деревня, не нуждавшаяся в медикаментах и школьных принадлежностях. Об этом, разумеется, не распространялись — кто знает, как бы к этому отнеслись вьентьянские бюрократы?

* * *

Если речь зайдет о рубинах, кто-то вообразит зловещий багровый камень, торчащий из пупка языческого идола, или же пронзительные лучи, рвущиеся из глаз богато украшенного дракона; можно вспомнить и о камне, благодаря которому на карте мира появилась Бирма (кто бы мог подумать, что нечистая на руку соседка Лаоса, дабы скрыть позор, сменит имя на Мьянму: Мьянма — это инкогнито Бирмы); истинные же ценители представят себе капли голубиной крови. Но никому в голову не придет алюминий, хотя рубин — это окись алюминия, возбужденная похотливым хромом; как никому не придет в голову, что на рынке рубины ценятся куда выше алмазов, а ведь так оно и есть. Будь его камни покрупнее и повыше качеством и получай он за них справедливую цену, Дики стал бы богатым человеком. Впрочем, для Голдуайра, управляющегося без агентства по продаже "фордов", заработки были неплохие.

Однако и с выручкой от рубинов контраст между хижиной Дики и виллой "Инкогнито" с годами только увеличивался.

Огромный дом в колониальном стиле был построен в качестве летнего пристанища неким чиновником, приближенным к королевской фамилии. Году в пятидесятом, когда началось строительство, туда вела узкая дорога за ущельем, и по ней вполне проходил буйвол с телегой. Но лет через десять в горах случился обвал, дорогу завалило, и дом стал в буквальном смысле недосягаем. Несколько отважных мародеров все-таки пробрались туда и вынесли все ценное, после чего там никто не появлялся. Дом постепенно разрушался.

Впрочем, процесс шел не так уж и быстро. Благодаря сухому горному воздуху и фундамент, и несущие конструкции отлично сохранились. А внутри Стаблфилду и Фоли нужно было прежде всего изгнать бамбуковых крыс и перебить пауков со змеями. Дерну — по-видимому, вследствие увлечения анимизмом — эта бойня была не по душе, но его помощники из лао, будучи тайными буддистами, убивали налево и направо. Как только живности в доме не осталось, Дерн с лучшими местными плотниками взялся восстанавливать панели из тика и полы красного дерева. Стаблфилд наблюдал за происходящим, восседая в огромном кожаном кресле — первом из многочисленных предметов роскоши, доставленных на виллу.

Была ли это вилла? Пожалуй, да, даже по европейским стандартам. Едва выйдя из вертолета, Стаблфилд окрестил дом виллой "Инкогнито". Однако тут же сам себя поправил.

— Villa, — сказал он, — существительное женского рода, тогда как прилагательное incognito стоит в мужском, да еще в косвенном падеже. Прошу прощения за ошибку в согласовании.

На помощь ему прискакал мастерски управлявший резвым жеребцом латыни Дерн. Если бы Стаблфилд изъяснялся на одном из романских языков, это можно было бы счесть лингвистическим фо-па[1], но поскольку оба эти слова, и villa и incognito, вошли в английский, где прилагательные по родам не изменяются, Дерн объявил название с точки зрения грамматики безупречным. На том и порешили.

В девяностые вилла, несмотря на ее изолированность от мира, представляла собой живущий культурной жизнью улей. Стаблфилд проводил долгие часы за книгами, а Дерн не выпускал из рук инструментов (дряхлеющий вертолет постоянно нуждался в починке), их же многочисленные сожительницы только и делали, что болтали, хихикали или издавали эротические стоны; слуги выбивали ковры и стирали пыль с бутылок шампанского, ящиков с сигарами и произведений искусства; в кухне же вечно стоял дым коромыслом: куркуму, финики, мелиссу, кокосовую стружку и листья кориандра толкли в ступках, а лук шалот, перец чили, имбирь, мяту, манго и чеснок шинковали и резали. На вилле "Инкогнито" умели поесть. И потрахаться умели. Равно как и потренировать мозги. За исключением времени, уходившего на изготовление морфина, который был основным источником дохода, жизнь двух американцев протекала не хуже, чем некогда у властелинов "Страны миллиона слонов".

Но это отнюдь не значит, что Стаблфилд и Дерн никак не помогали соседям. Они не только нанимали в деревне поваров, слуг и плотников, не только отбирали некоторое количество местных красавиц себе в гражданские жены — бывало, они делали пожертвования в деревенскую казну, хотя и не столь значительные, как менее обеспеченный Дики. Но самым существенным был вклад в область образования. Стаблфилд научил больше половины крестьян бегло говорить по-английски, напомнил им полузабытый французский, прочел вводный курс по истории, астрономии, географии, квантовой физике и литературе, а также более подробный — по философии (в основном, собственной), привив многим из них вкус к знаниям, а также к той собачьей чуши, которая — предположительно — так забавляет богов.

Именно в качестве учителя он и начал общаться с Лизой Ко.

* * *

Несмотря на то что с появлением труппы Национального цирка Лаоса в Фань-Нань-Нане воцарилась почти богемная суета, четырехлетняя девочка сразу привлекла к себе внимание. Ко Ко выделялась даже среди акробатов, жонглеров и клоунов. Несмотря на чуточку заостренные ушки и кривоватый нос, она была на удивление хорошенькой, хоть и на японский манер, что вызывало у лао (скажем прямо, особой красотой не отличавшихся) зависть. Она держалась с достоинством, однако напоминала не наследную принцессу — в ней не было ни высокомерия, ни заносчивости, — а какого-то редкого зверька, не привыкшего к людским

1. Неверный шаг, промах (faux-pas; *франц.*).

выходкам. Ее отличали животная сдержанность и настороженная грация. Было в ней и нечто загадочное, и отсутствующий взгляд черных блестящих глазок выдавал связь с таинственными стихиями, которой она сама не понимала.

С другой стороны, Ко Ко была уравновешенной и умной не по годам, хотя и непонятно было, почему она производит такое впечатление. Она редко говорила, но как только ее окончательно принимали за сообразительного зверька, вдруг разражалась таким милым и глупым смехом, что остальные против воли хохотали с ней вместе. Дики был очарован ею с первого дня. А Стаблфилд впервые обратил на нее внимание в тот день, когда через ущелье протянули трос.

Из всех поселившихся в Фань-Нань-Нане циркачей хуже всего приспосабливались к новой жизни воздушные гимнасты. Директор цирка, он же инспектор манежа, отлично понимал, что эти сорвиголовы чахнут без риска и грома аплодисментов, что им необходима особая атмосфера, иначе они сбегут в Бангкок или вернутся во Вьентьян, поэтому он решил натянуть над ущельем трос: пусть те, кто осмелится, по нему пройдут.

— Карл Валленда не колебался бы ни секунды, — сказал инспектор манежа. — Филипп Пети[1] ходил бы тут каждое утро до завтрака, а по пятницам — по два раза.

Неделю гимнасты мучались сомнениями, каждый день бегали к ущелью и в конце концов заявили, что такого в Юго-Восточной Азии еще никто не делал, а они как раз рождены для подобного подвига.

Гимнасты сколотили деревянный помост у края ущелья, в центре его установили стойку, к которой присоединили на железных зажимах восьмижильный металлический трос в пеньковой оплетке. На конце троса сделали петлю, к петле прикрепили сверхпрочный тандер, трос зацепили за вертолет и доставили свободный конец на противоположную сторону. А там соорудили такой же помост, при помощи тандера и колесного блока трос натянули и закрепили на стойке. Устойчивость обеспечивали треножники с оттяжками, установленные на крутых склонах ущелья. Оттяжек было маловато — на большее количество не хватило места, поэтому трос в середине провисал, что усложняло задачу, а заодно и подстегивало канатоходцев, у которых от возбуждения сжимались сфинктеры и учащался пульс.

Посмотреть на первый проход через ущелье собрались все циркачи и местные жители. Честь осуществить его выпала семидесятилетнему патриарху канатоходцев папаше Пхому. Когда старик Пхом в небесно-голубом трико и расшитом звездами шелковом жакете залез на помост, помолился четырем ветрам и осторожно поставил ногу в голубой тапочке на трос, уже начинало темнеть. Несколько минут он простоял так, выставив одну ногу, словно настраивая тело на мелодию каната. Затем взял шест, без которого столь значительные расстояния не преодолевают, выгнул спину и мелкими шажками пошел вперед. Крестьяне зааплодировали. Циркачи немедленно на них зашикали.

На полпути, там, где трос провисал, папаша Пхом остановился, осторожно развернулся и низко поклонился зрителям. И тут Ко Ко заплакала. Она была очень взволнована, и, поскольку больше никто не попытался ее успокоить, на руки девочку взял Стаблфилд. Когда он совал ей

1. Французский каскадер, в 1974 г. прошел по канату, натянутому между двумя небоскребами Всемирного торгового центра.

в рот леденец, толпа испуганно ахнула. Папаша Пхом закачался. Кое-кто решил, что он нарочно пугает зрителей, но канатоходцы сразу поняли, что дело плохо.

Что это было? Порыв ветра? Сердечный приступ? Летучая мышь, пронесшаяся над самым ухом? Или же молодая женщина, что погибла в этой бездне, позвала его к себе? Этого никто никогда не узнает. Зрители в ужасе увидели, что у старика подкосились колени, с каната соскользнула одна нога, потом другая, и он, так и не выпустив из рук шест (как и положено профессионалу), рухнул в пропасть. Он летел вниз, его шелковый жакет надулся, как парус, а он летел и летел, пока не исчез в тумане, поднявшемся, дабы поглотить его, но папаша Пхом летел все дальше – должно быть, пока не придавил своим телом томившийся в одиночестве призрак молодой жены.

В ту ночь траура говорили о многом, но два высказывания заслуживают того, чтобы их повторили.

– Он умер, как жил, – заметила его сестра, – делая то, что давало ему силы жить. О большем и мечтать нельзя.

А когда из-за гор показалось непривычно бледное, словно смущенное своей обычной жизнерадостностью солнце, кто-то сказал:

– Канатоходцу, который не пройдет этот путь сегодня, уже не быть канатоходцем.

Не успела высохнуть роса на лепестках диких хризантем, как канатоходцы в своих лучших цирковых костюмах вышли на помост.

Из уважения к папаше Пхому членов его труппы пропустили вперед. Чести был удостоен старший сын Пхома. На нем был старый отцовский жакет с обтрепанными манжетами и потускневшими звездами. Он взял шест, уверенно выставил ногу и стоял, пока ступня не запомнила каждую ноту, каждый оттенок ритма беззвучной песни каната. Он вознес молитвы всем четырем ветрам, отдельно помолился Богу Внезапных Порывов и, как по льду, заскользил по тросу. Такая у него была манера, и, похоже, она себя оправдала.

Когда циркач подошел к середине, где трос провисал, Стаблфилд внимательно посмотрел на Ко Ко. Та стояла спокойно, смотрела сосредоточенно. Когда сын папаши Пхома добрался до помоста на той стороне, она одобрительно кивнула. А Стаблфилд и все остальные с облегчением вздохнули.

Настала очередь матери. Старая мадам Пхом, столь внезапно овдовевшая, оглядела красными от слез глазами трос. И засеменила коротенькими шажками, как гейша, несущая чай. Но на том самом месте, где ее супруг развернулся и поклонился публике, она сделала то же самое, опустившись вдобавок на одно колено. Зрители, не в силах сдержать эмоции, разразились аплодисментами. И к тросу ринулись остальные канатоходцы, желая продемонстрировать свое умение пройти по тонкой нити, отделявшей их от головокружительной бездны.

Как только мадам перебралась на ту сторону, за ней последовали прочие Пхомы – братья, сестры, племянники и племянницы, кузены и кузины. Семилетняя внучка папаши Пхома, подружка Лизы Ко, обидевшись, что ее на канат не пустили, рыдала и топала ногами. Затем над ущельем прошли все пятеро членов семейства Ану (родственников среди них было только двое). За ними последовало обученное в Париже трио под названием "Желтые летающие дьяволы". Они шли гуськом, держась друг за друга. Наконец, настал черед Большого Кая. Кай (по-ла-

осски это значит "курица") был в гриме, островерхой шляпе и широченных клетчатых штанах. Его вполне могла бы полюбить Пру Фоли, тем более что посреди дороги он остановился, спустил штаны и порадовал зрителей видом засиявшей в лучах солнца задницы.

* * *

С тех пор, если не было дождя, редко выдавался день, когда по тросу никто не проходил. Стаблфилд не только любовался мастерством циркачей — это стало еще одним, доступным не каждому способом добраться до виллы. "Умник-2" дряхлел, да и топливо следовало экономить для деловых поездок в Таиланд. Теперь же в случае необходимости можно было использовать в качестве средства сообщения и трос. Так уж получилось, что первым американцем, которого перевезли в люльке через пропасть, стал Дерн Фоли, прирожденный авиатор, человек, обожавший высоту. Чтобы обеспечить устойчивость и дать возможность канатоходцу идти без шеста, к люльке прицепили противовесы, но все же это было рискованное предприятие, и организм Дерна успел всласть подпитаться адреналином.

Опасения наших пропавших без вести героев, что слух о ходящих по проволоке циркачах привлечет огромное количество зевак, скоро рассеялись. Циркачи сами были в бегах, поэтому они наняли парочку самых крепких фань-нань-наньских мужиков, чтобы те охраняли тропу, ведшую к деревне, и любопытствующим ход туда был закрыт. А поскольку хмонг по известным причинам тоже предпочитали уединение, угрозы с гор также ожидать не приходилось. Такое положение дел устраивало всех.

Нет во Вселенной ничего более устойчивого, более предсказуемого, чем скорость, с которой уран превращается в свинец. И очень хорошо. Если бы космические часы шли со скоростью, с какой новизна превращается в обыденность, возможно, никому бы не удавалось вовремя попасть на прием к зубному. Однако рано или поздно восторженное "ого-го" сменяется скупым "угу", так что нечего удивляться, что не прошло и года, как хождение по проволоке над пропастью стало делом обычным, и фаньняньки перестали обращать на это внимание. Более того, поскольку циркачи могли тренироваться на канате, натянутом между деревьями в метре от земли, причин совершать подвиги, испытывать судьбу и рисковать жизнью не было. Однако кое-кто продолжал этим заниматься.

Конечно, как справедливо заметил Стаблфилд, ходить по проволоке в общем-то было незачем. Вот почему это занятие неизменно вызывало его восхищение.

— Ты только посмотри на него, — говорил Стаблфилд, указывая Дерну на силуэт, который, казалось, плясал над разверзшейся пропастью. — Он кормит ангелов.

Американцы — один из которых весь день латал брезент, которым накрывали вертолет, а второй читал Оскара Уайльда — пили на веранде шампанское.

— Ты только глянь, — продолжал Стаблфилд, любуясь одинокой фигуркой, которая, подпрыгнув, вновь приземлилась на невидимый канат. — Вот тебе пример осознанного безумия. Это предельная сосредоточенность, сочетающаяся с запредельной непринужденностью, видимо, для того, чтобы призраки смерти столкнулись на некоем перекрестке с восторгами жизни. А искры, что летят при таком столкнове-

нии, — будто крохотные осколки Бога. Если тебе удастся удержать их в сознании дольше пяти секунд, ты поймешь все, что когда-нибудь было или будет.

— По-моему, ты преувеличиваешь, — лениво протянул Дерн. Его толстые мозолистые пальцы облепили бокал, как кучка варваров изысканную статую. — Тебя потянуло на гиперболы, Стаб. Но я не могу не признать, что в этих кретинах на проволоке есть нечто дзенское, нечто прекрасное, выходящее за рамки обыденных представлений о красоте.

— Да-да, ты прав. Но, Фоли, дружище, не красота как таковая превращает хождение по проволоке в искусство или же дзен. В каждом безумном кульбите, в каждом отточенном движении — отчаянный риск. Это еще опаснее, чем красота настоящей корриды, той, которая была до того, как матадоры превратились в законченных трусов и стали сами себе подыгрывать. Над обыденностью можно подняться лишь в том случае, когда на карту поставлено нечто важное, то, что куда значимее денег или репутации. Главная ценность хождения по проволоке в том, что тут нет практического смысла. И польза его в том, что столько усилий, отваги, умения направлено на нечто совершенно бесполезное. Поэтому хождение по проволоке может приподнять нас над обыденностью и унести в дальние дали.

Дерн отхлебнул шампанского и поморщился. Честно говоря, он предпочел бы пиво. Дерн думал о том, что Стаблфилд может не беспокоиться — он богам никогда не наскучит. Дерн, лично исследовавший анимизм, пришел к выводу, что такие понятия, как "дальние дали" и "мир по ту сторону этого мира", нельзя считать полной собачьей чушью, даже если они сформированы столь цветисто. Он сделал еще один глоток, также не доставивший ему удовольствия, и сказал:

— Да, канатоходцы редко попадают на обложки "Пипл" или "Форчун", но, держу пари, эти психи занимаются своим делом не только по эстетическим и метафизическим причинам. А огни рампы? А шквал аплодисментов? Ты работаешь номер, а зрители сидят разинув рты, а потом еще хлопают потными ладонями и представляют себе, как, вернувшись домой, расскажут, что в цирке один маньяк ходил на волосок от смерти, и все для того, чтобы потрафить публике. Так-то вот. Как ни крути, это все шоу-бизнес. И все сводится к одному — к удовлетворению личных амбиций.

— Однако надо учитывать, — сказал его необъятный друг, — что артисту суждено кануть в пустоту. Но, с другой стороны, взгляни еще раз на этого одинокого гения, кувыркающегося в эфире. Сейчас-то ради кого он рискует? Он ведь не на арене. И зрителей нету. За исключением нас с тобой, птичек и девчушки у помоста.

Дерн прищурился.

— Да, старичок, зрение у тебя поострее моего.

По правде говоря, Стаблфилд девчушки не видел. Но знал наверняка, что она там. Она всегда была там. Там или у клеток с тануки.

* * *

Тук-тук.

— Кто там?

— Лиза Ко.

— А мы думали, тебя зовут Ко Ко.

— Это мое прежнее имя. При рождении меня назвали Ко Ко. Но когда мне исполнилось шестнадцать и Стаблфилд перестал быть для меня только учителем английского, он сказал, что не сможет заниматься со мной любовью, называя меня моим детским именем. И стал называть меня *Лизой*. Оно ко мне и прилепилось.

— Но ведь Лизой звали... его *жену*.

— Странно, правда? Или, как это говорится, *прикольно*. Впрочем, Стаб никогда не строил из себя нормального. Когда мы занимались любовью, он...

— Это давай оставим. Расскажи-ка лучше, почему ты увлеклась барсуками.

— Это вы про тануки? Они не совсем барсуки, это разновидность дикой собаки, хотя на собак они совсем не похожи — ни видом, ни поведением. Понимаете, когда папаша Пхом упал в пропасть, в ущелье за его телом спустился поисковый отряд. Судя по всему, папаша Пхом рухнул на самку тануки и раздавил ее. Рядом с телами обнаружили двух ее детенышей. Их поймали и принесли в деревню.

— Хотели приручить?

— Ха-ха-ха. Да нет, думаю, их собирались откормить и съесть. Лао не питают к животным нежных чувств.

Короче, зверьков посадили в клетку. Клетка была маленькая, тесная. Стояла около дома инспектора манежа. Многие делали вид, что вообще их не замечают, и правильно делали. Тануки притворялись такими лапочками, такими миленькими и симпатичненькими, но стоило подойти поближе, они с шипением кидались на тебя и запросто могли укусить. Но зверьки так умело скрывали свою злобность, что Стаблфилд окрестил их Никсоном и Киссинджером.

— Подходящие прозвища. Однако тебе они нравились.

— Да, очень. Может, потому что я тоже была маленькая. И тоже сирота. Я носила им жареные бананы и рисовые лепешки. У тануки отличный аппетит, и они обожают жареное. В конце концов мне удалось их приручить. Они лизали мне руки, спали у меня на коленях. И повсюду за мной ходили. И я обучила их нескольким трюкам.

— У вас, значит, тяга друг к другу возникла сразу. А до этого ты видела тануки?

— Кажется, нет. Но я откуда-то их помнила.

— Да? Знаешь, у нас создалось впечатление, что в тебе... в тебе течет кровь тануки. И ты...

— Что вы такое несете? В жизни ничего подобного не слыхала! Полная чушь! Да кто в наше время верит... Впрочем, если принять во внимание, что сейчас быстрее всего развиваются две религии: та, в которой верят в араба, летавшего по небу на коне, и та, где подросток повстречал в лесу ангела по имени Морони[1], который поведал ему о книге, записанной на золотых плитах, что ж, приходится признать, что и в двадцать первом веке миллионы людей верят в сказки и даже готовы отдать за них жизнь. Это настолько абсурдно, что даже вызывает умиление. Но гены тануки в человеке? Спуститесь на землю!

— Ну что ж, постараемся. Да, кстати, ты упомянула про золотые плиты. Это, конечно, не наше дело, но твоя мать оставила тебе конверт, ко-

1. Этот ангел явился в 1823 году основателю секты мормонов Джозефу Смиту.

торый ты вскрыла, когда достигла половой зрелости. Там ничего не было о тануки?

— Ни слова. Ха-ха-ха. Извините, что я смеюсь, но вы взяли ложный след.

— Позволь все-таки спросить, что же было в том конверте?

— Это было обычное письмо матери дочке. Всякие ласковые слова. И совет, который, как я поняла, дал некогда один буддистский монах. Этот совет, кстати, очень мне пригодился. А еще рассказ про историю семьи. Про то, как моя прабабушка эмигрировала из Японии, а бабушка Казу добралась до Лаоса. И еще мать сообщала о моем "имплантате". О том, что и когда от него ждать.

— Ага! Вот тебе и пример древней магии в двадцать первом веке! Так что же насчет семени хризантемы у тебя на нёбе?

— Надеюсь, вы понимаете, что это метафора. Никакой тут нет древней магии. И семени хризантемы нет. Мама просто так причудливо описала, что происходило с тремя поколениями женщин нашего рода. Речь идет о наследственном заболевании. Нет, точнее сказать, не о заболевании, а о состоянии здоровья. Которое, впрочем, вызывает определенные последствия.

— Ты как себя чувствуешь? С тобой ничего не случится? Ты у врача была?

— Мама настоятельно советовала мне не обращаться к врачам. И ничего со мной не случится. Все будет в полном порядке.

— Ошибки быть не может?

— Ха-ха-ха. Можно на это и так посмотреть. Ну, мне пора. Рада была с вами поболтать. Если вы что-то для себя прояснили, значит, я не зря к вам постучалась. *Сайонара.*

— *Сайонара,* мадам Ко. До встречи.

* * *

Злобным взглядом Мэйфлауэра Кэбота Фицджеральда можно было запросто побрить кактус. Взгляд появился в кабинете полковника Пэтта Томаса первым, а за ним уж последовали бордовый галстук-бабочка, короткая стрижка и плечи в твидовом пиджаке. Полковник сидел к двери спиной, но, услышав, как она открылась, поспешно обернулся. Мэйфлауэр успел заметить, что у него девятка, валет и дама. Все трефы. Двое его подчиненных, сержант с лейтенантом, сидели с идиотским видом напротив.

— Покер в такую рань? — удивился Мэйфлауэр, хотя, поднаторев на секретной службе во благо родины, наверняка успел проанализировать и клубы застоявшегося сигарного дыма, и переполненные пепельницы и прийти к выводу, что игра шла всю ночь. Он уставился на полковника Томаса, мучительно старавшегося не покраснеть, и взгляд его из злобного стал презрительным.

— Будьте добры, отпустите своих подчиненных, — произнес он голосом, который на впечатлительного котенка подействовал бы как глистогонное. — У нас важное дело, и мне время дорого.

А жизнь тебе дорога? — мрачно подумал полковник Томас, с тоской глядя на поставленные на кон деньги. Они бы достались ему, а теперь нужно было разделить их поровну между тремя игроками. Когда дверь за сержантом с лейтенантом закрылась, он сказал:

— Хорошо, что вы пришли так рано, Мэйфлауэр. У меня есть кое-какие новости.

Мэйфлауэр, собиравшийся стряхнуть со стула пепел, замер.

— Он заговорил?

— Хрен-то! Все праздники провел за чтением любимой книги. Он...

— Тогда ваши новости могут подождать, — перебил его сотрудник оперотдела. — У меня через час самолет, и...

— Вы куда-то летите?

— Если у человека через час самолет, обычно это значит, что он куда-то летит. Да, я возвращаюсь в Вашингтон. Некая сотрудница Госдепа уверяет, что раскопала информацию о готовящемся теракте во Всемирном торговом центре и/или Белом доме. Подробности совершенно бредовые. И случится это якобы в ближайший понедельник или вторник. Скорее всего, полная чушь. Если бы готовился теракт такого масштаба, в Лэнгли об этом наверняка бы знали. Да эти дикари разве что машину могут взорвать. Тем не менее, — вздохнул он, — директор хочет, чтобы я был в пределах досягаемости — на случай, если какой-нибудь обдолбанный Абдул действительно что-то задумал и администрации потребуется...

— Завинтить гайки. — Томас, который некогда и сам подумывал принять ислам, отметил неполиткорректность выражений коллеги, но виду не подал.

— ...публичное заявление разведслужб. Это пустая трата времени, но, думаю, я отлучусь дней на десять, не больше. А вам я оставляю отчет о сестрах Фоли. — Мэйфлауэр извлек из дипломата папку.

— И что же задумали эти милые дамы? Вы приставили к ним "хвост"? Поставили телефон на прослушку?

Мэйфлауэр поморщился, и полковник подумал, не пошли ли у него камни.

— В наше время подобные термины неуместны, — заявил он. — Мы действительно пристально следили за поведением этих женщин. Одна кретинка устроилась — кто бы мог подумать? — на временную работу в цирк. А с другой, с психопаткой...

— Вы, наверное, имеете в виду милейшую Бутси?

— ...проблемы. Она решила пойти законным путем. Надеется привлечь к делу братца какого-нибудь видного адвоката. Дела, конечно, никакого нет, однако...

— ...оно может и образоваться. Если сестричка расшевелит общественность и поднимет шум. Черт бы ее побрал!

— Джонни Кокран на ее звонки не отвечает. Но рано или поздно она отыщет того, кто...

— ...накинется на эту историю, как бродяга на сэндвич с ветчиной. Нам нужно... — как бы поуместнее выразиться — вмешаться.

Сотрудник оперотдела кивнул.

— Не выходя, разумеется, за рамки. Постарайтесь ее переубедить. Если понадобится, припугните. А Фоли нужно куда-нибудь перевести. Будто его и не было. Будто он и не существует. Он же пропал без вести, предположительно — погиб. У сестер от горя мозги поехали. Et cetera[1]. Надеюсь, вы с этим справитесь.

Полковник Томас расплылся в такой широкой улыбке, что Мэйфлауэр ошарашенно от него отпрянул.

1. И так далее (*лат.*).

— Расслабьтесь, дружище. Беспокоиться не о чем. Старина Пэтт вас опередил.

— Что вы хотите этим сказать? — прохрипел Мэйфлаэур, отшатнувшись еще дальше.

Полковник неторопливо снял обертку с сигары местного производства.

— Кажется, я говорил вам, что послал одеяние нашего святого отца на экспертизу. Проверить состав пыли в швах. Следы органических веществ. Et cetera, как вы выразились. Так вот, из лаборатории пришли результаты. Похоже, отец Городиш месил пыль на высокогорных плато Аннамских гор. Вьетнам или Лаос, скорее всего последнее, поскольку именно там пропали без вести он и его дружки-интеллектуалы. Так что я отправляюсь туда, посмотрю, как там и что. Лечу послезавтра, в пятницу. И Фоли с собой забираю.

Дежурным блюдом было недоверие, и Мэйфлауэр позволил себе еще одну порцию.

— Кто это санкционировал? — строго спросил он.

Пэтт чиркнул спичкой, зажег сигару и, прежде чем ответить, позволил себе со вкусом затянуться.

— Объединенный комитет начальников штабов, — сказал он наконец.

— Вы действовали через мою голову! — Щеки Мэйфлауэра пылали так, что от них вполне можно было прикурить не одну сигару.

— Ну что вы! Я доложил о результатах своему генералу, а уж он действовал через вашу голову. Вся эта субординация, от нее одна морока, правда? — Ему с трудом, но удалось придать лицу деловое выражение. — Да, кстати, говорят, в Бангкоке есть один агент, он когда-то работал на вас. — Пэтт назвал имя, Мэйфлауэра аж передернуло. — Есть предположение, что он держит руку на пульсе, знает, кто в регионе занимается наркотой.

— Вполне вероятно, что он и их знает, — сказал Мэйфлауэр. — Но этому отморозку нельзя доверять. Он родную бабушку продаст.

Как и ты, подумал полковник. *Впрочем, ты еще и доставку на себя возьмешь.*

— Мы не собираемся его ни во что посвящать. Но вдруг он подскажет, где искать. Да и Фоли, может, вспомнит в родных местах песенки, что напрочь позабыл здесь. В любом случае его отъезд из Америки будет большим облегчением для всех заинтересованных лиц. В Аннамских горах нет ни телевидения, ни Американского союза защиты гражданских свобод, ни любимых сестричек, и Джонни Кокран не будет хвост распушать. Летим мы на военном самолете, Фоли, если надо, вкатим успокоительное, и сержант Кентербери с лейтенантом Дженксом, эти два мерзких картежника, с которыми вы только что столкнулись, глаз с него не будут спускать. Так или иначе, но Фоли мы постараемся там и оставить. Здесь он нам нужен как дырка в голове.

— Это-то ладно, но как же насчет обвинения в контрабанде наркотиков?

— Засуньте это обвинение себе в задницу, Мэйфлауэр. Какая к черту контрабанда? Речь идет о национальной безопасности. Вряд ли в вашей конторе станут подымать шум из-за пары пакетиков героина. Если я ошибаюсь, можете меня поправить.

Мэйфлауэр молча разглядывал потолок, делая вид, что его нисколько не раздражают желтые пятна и подтеки. Затем он резко вскинул руку, взглянул на свой "ролекс" и поспешно вскочил. Запирая дипломат, он сказал:

— В целом, возможно, все и к лучшему. Ясно одно — нам вообще не надо было везти его сюда. И сестер не стоило впутывать. Иногда, полковник, спящую собаку лучше не будить. Если парни с самолета Фоли живут где-нибудь там инкогнито... Ладно, проблемы будем решать по мере поступления. — Он снова бросил взгляд на часы. — Я опаздываю.

— Подвезти?

Белый человек взглянул на черного так, будто тот выступил с непристойным предложением.

— Меня ждет водитель, — сообщил он, вскинув голову. А затем схватил с захламленного стола листок бумаги и, не поинтересовавшись, нужная это бумага или нет, нацарапал на ней несколько цифр.

— Это мой прямой номер. Минуя секретаря. Запомните, а записку уничтожьте. Держите меня в курсе. Сообщайте о каждом шаге. О каждом! — Дабы подчеркнуть важность своих слов, он еще пару секунд побуравил Томаса взглядом и удалился.

Полковник Томас отдал честь его гордой спине.

— Так точно, сэр, — буркнул он и выпустил струю дыма в коридор.

Вечером по дороге домой полковник свернул в пользующийся дурной славой район Мишн, где заглянул в гей-бар, завсегдатаями которого были настоящие отбросы общества. Стоило ему войти, и привычный гул тут же стих, все взгляды устремились на него. Однако то ли потому, что он был в форме, то ли благодаря внушительному виду, росту и цвету кожи, ни одного замечания в его адрес не последовало. Он невозмутимо направился к туалету, зашел туда и, достав из кармана маркер, написал крупными буквами следующее:

ЖЕЛАЕТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫХ УТЕХ? ЗВОНИТЕ

Далее следовал секретный телефон Мэйфлауэра Кэбота Фицджеральда.

* * *

Приблизительно двадцать четыре часа спустя, в четверг, Бутси Фоли, сойдя с автобуса, разглядывала клен в соседнем дворе — искала признаки сезонных изменений окраски. И тут к ней подошел бородатый мужчина в костюме и очках.

— Мисс Фоли, позвольте проводить вас домой.

Бутси зарделась и пробормотала:

— Да что вы... Не надо...

— Я настаиваю.

— А я... я... — она огляделась по сторонам. — Я вызову полицию!

В недрах густой бороды мелькнула улыбка.

— Давайте без глупостей.

— Я закричу!

— И поставите себя в идиотское положение...

— Ой-ей-ей...

— Я просто провожу вас. Полковник Томас просил меня побеседовать с вами. Вы очень нравитесь полковнику Томасу.

Бутси воодушевилась, но зарделась еще гуще.

— Полковнику Томасу? Мне и самой так показалось.

— М-да... Разумеется, Томас — не настоящее имя...

— Неужели?

— ...но он очень хороший человек и хочет, чтобы вы знали, что происходит.

Тут уж Бутси кивнула и позволила себя проводить. А незнакомец немедленно сменил обходительный тон на почти приказной.

— Слушайте меня внимательно. Повторять я не буду. Вы меня хорошо слышите? Отлично. Ваш брат больше не в тюрьме.

— А где же?

— Не перебивайте! Несколько дней назад ему удалось бежать с помощью сатанистов. У нас есть все основания считать, что его спрятали в особняке "Плейбоя" в Лос-Анджелесе. "Плейбой" настолько влиятельная корпорация, что никакой судья нам не подпишет ордер на обыск. Тем более — хотите, мисс Фоли, верьте, хотите нет — многие лос-анджелесские судьи сами сатанисты. Поэтому в обозримом будущем придется оставить все как есть. Можете не волноваться, ваш брат будет в полной безопасности и сам не сможет никому причинить зла. Молитесь только, чтобы ничего не изменилось, потому что, если нам удастся его поймать, он как дезертир будет приговорен к смертной казни. Никому, кроме сестры, об этом не рассказывайте. Если будете распускать язык, сами навлечете на себя беду. Запомните все, что я сказал. До единого слова. Ну, разговор закончен! Считайте, вам повезло, мэм. Прощайте!

Дойдя до арендованной машины, которую он оставил в квартале от остановки, лейтенант Дженкс снял фальшивую бороду и очки и расхохотался.

— Пусть теперь попробует втюхать эту байку Джонни Кокрану, — сказал он вслух.

* * *

Мадам Ко разобрала импровизированный алтарь. Сапог отправился в чемодан, за ним последовал лоскут от старого кимоно с вышитой хризантемой. Бумажную фигурку она сначала долго рассматривала, а затем спрятала в сумочку. Скорее всего, бабушка Казу хотела изобразить именно тануки, но сообщать об этом всем любопытствующим было совершенно незачем. *Нам, людям,* подумала она, *тайны нужны не меньше, чем правда.*

Она расплатилась за номер и оставила чемодан в камере хранения. И отправилась по направлению к Хонг-Каньясину — так здесь назывался Национальный цирк. День был душный, и шла она медленно. Припухлость на нёбе выросла до размеров помидорчика черри (разумеется, созревшего на ветке), и было немного больно глотать. Живот тоже припух и увеличивался с каждым днем. О-Ко не предупредила ее, что беременность может развиваться так быстро.

Хонг-Каньясин находился на северной окраине Вьентьяна, километрах в двух от центра города. По дороге Лиза купила финиковое мороженое, с наслаждением прижала сладкий ледяной брикет к имплантату и попробовала представить, каково было бы сейчас сделать минет Дики. Или Стаблфилду. Это, конечно, помогло бы меньше мороженого, зато они бы здорово удивились. Впрочем, Стаблфилд никогда ничему не удивлялся. *Пока что,* сказала она себе и вдруг, забыв про ноющее нёбо, рассмеялась, хотя ничего смешного в этом не было.

Когда перед ней предстало здание цирка, сердце застучало, как мотор на лодке. Она бы и Меконг перешла, не замочив ног. Она вспомнила о своей цирковой жизни и задалась вот каким вопросом: неужели и другие люди, разглядывая траекторию прожитой жизни, удивляются, какой сложный и замысловатый путь они прошли? Иногда постулата "оно есть оно" недостаточно — холод есть, а вкуса не хватает.

* * *

Инспектор манежа был прав. Не прошло и четырех лет, как лаосские марксисты, уничтожив, засадив за решетку или отправив в ссылку всех реальных и воображаемых врагов (и устав, быть может, от собственной бурной бюрократической деятельности), угомонились и решили снова открыть Национальный цирк. Инспектор манежа и ведущие артисты тут же вышли из подполья, и никто им никаких вопросов не задавал. Но связь с Фань-Нань-Нанем установилась крепкая, деревня стала для циркачей вторым домом, вроде "зимних квартир" американских цирков во Флориде. Туда уезжали по окончании сезона, там придумывали и репетировали номера, там поселялись те, кто заболел, постарел или просто растолстел и уже не влезал в трико.

Приемные родители Ко Ко жили в деревне постоянно — присматривали за оставляемым там реквизитом и репетиционными помещениями. Так что девочка росла в двух мирах — знала и традиционный уклад Фань-Нань-Наня, и жизнь циркачей в La Vallée du Cirque, напрямую связанную с другой, чарующей и яркой реальностью. А узелок на нёбе связывал ее с совсем уж экзотической реальностью — с миром, скрывающимся за нашим, но об этом она, пока не повзрослела, и не догадывалась, да и то, что узнала, прочитав послание матери, ей было трудно понять до конца.

В письме о тануки прямо не говорилось, и если Ко Ко и ощущала связь между этими неугомонными зверьками и странной природой семейного наследия, то лишь на подсознательном уровне. (Впрочем, мы можем лишь предполагать, насколько, собственно, была важна эта связь.) Тем не менее в пять лет девочка уже проявила недюжинные способности: ей удалось приручить барсуков и обучить их простейшим трюкам. Возможно, причиной этому была не родственная близость, а то, что она сразу учла неуемный аппетит зверьков и поняла, что их прожорливость (равно как и обаятельную неуемность) можно использовать ко взаимной выгоде.

Однако мысль о том, что обожаемые ею игры с тануки могут стать ее профессией, пришла Ко Ко в голову, когда ей было лет двенадцать-тринадцать. К тому времени у нее было уже шесть тануки, и Дики Голдуайр помогал ей — ставил вместе с ней в горах ловушки. Дики одобрял ее занятия — находил это забавным, а еще его умиляло, как она радуется, возясь со своими подопечными. Инспектор манежа со временем понял, что можно сделать цирковой номер с тануки, и, когда Ко Ко исполнилось шестнадцать, стал уговаривать ее заняться этим всерьез. И она занялась, но, когда номер был отработан как следует и его можно было везти во Вьентьян, в Хонг-Каньясин, ей уже было почти двадцать.

А тем временем ее саму кое-чему обучали. Поначалу Стаблфилд выделял девочку, потому что она оказалась способной к языкам. Из всех его учеников, старых и малых, Ко Ко была самой одаренной. Она так

легко усваивала и литературный английский, и разговорный, словно ей в лобную долю вживили лингвистический чип. Бывший профессор восхищался способностями и рвением Ко Ко, да и ее милая и одновременно загадочная манера поведения не оставляла его равнодушным. А когда она прошла через алые врата зрелости и усвоила знание, переданное ей матерью, понял, что и она на него влияет.

Как-то раз у нее вспыхнули от свечки волосы, кожа на голове обгорела, и целый месяц она походила на обуглившуюся губку для мытья посуды. Многие девушки, даже деревенские, старались бы укрыться от посторонних глаз и не показываться бы на люди, пока не сошли струпья, но Ко Ко ходила по Фань-Нань-Наню, даже не прикрыв голову шляпой или платком, а тем, кто из вежливости делал вид, будто ничего не замечает, указывала на свою голову и отпускала шуточки вроде "Я была последней обезьянкой, сбежавшей из горящего леса". Был и такой случай: один из тануки в возбуждении цапнул ее за запястье, а она укусила его в ответ, причем до крови. Но тут же обработала и перевязала его ранку, а потом уж занялась своей.

Ко Ко бесстрашно отвергала условности — с простодушной прямотой нарушала общепринятую логику, отчего Стаблфилд восхищался ею, как восхищался отважными канатоходцами. Она взрослела, а в нем пробуждались уже иные чувства, и он всячески старался не выпускать их наружу. У него хватало ума понимать, что ему нечего и надеяться выиграть эту битву. Ко Ко, должно быть, и сама это интуитивно чувствовала.

Стаблфилд утверждал, что над хижиной, которую рядом с загоном для тануки помог построить для нее Дики Голдуайр, витала почти видимая судьбоносная аура. Особенно густой аура была в тот день, когда туда заглянул Стаблфилд, дабы отругать Ко Ко за то, что утром она одна отправилась в ущелье ставить ловушки. Она возилась с одним из своих подопечных — успокаивала зверька, массируя его грандиозные гонады. Обычно появление Стаблфилда где бы то ни было сопровождалось нескончаемым потоком слов, но когда он увидел шестнадцатилетнюю девушку в дешевой европейской юбчонке и блузке, самозабвенно поглаживающую необъятную мошонку, он чуть не лишился дара речи. И смог лишь мотнуть головой в сторону пропасти и буркнуть:

— Там же и тигры есть.

Она улыбнулась.

— Я не боюсь тигров.

И они уставились друг на друга, лишь изредка бросая взгляды на здоровенные яички. Наконец он, указав на свою татуировку (он был в белой спортивной куртке на голое тело), сказал тихо и почти скорбно:

— А вот его ты лучше бойся.

Ко Ко чмокнула угомонившегося тануки в нос и отправила в загон. А затем медленно пошла на Стаблфилда, расстегивая по дороге блузку. Ее маленькие бледные груди походили на фары детской педальной машины, и он, нервно моргая, молча смотрел на них. Блузка полетела на пол, упругие грудки вскинулись, как сорвавшиеся с поводка щенята, и не успел Стаблфилд опомниться, как она прижалась ими к его голой груди.

— А я и этого тигра не боюсь, — прошептала она.

Если бы они не трахнулись там и тогда, пришлось бы так серьезно пересмотреть законы природы, что Ньютон бы перевернулся в гробу, а НАСА было бы вынуждено закрыть все космические программы.

* * *

Несколько лет бородатый без вести пропавший обучал восхитительную японско-лаосскую девушку всему, что знал о сексе, а он ведь мог заново переписать "Камасутру" от корки до корки, и еще осталась бы пара рецептов для тихуанской поваренной книги. Эти уроки, если можно называть сии интерактивные занятия "уроками", девушка усваивала столь же легко и быстро, как и английский.

Ее клитор, пробудившийся от младенческой дремы, проявлял беспокойное любопытство. Стаблфилд, естественно, не стал препятствовать ее желанию пообщаться с некоторыми из деревенских юношей поближе. У него и самого был за плечами немалый опыт, не говоря уж о наложницах на вилле и распутных мыслях в голове. Однако, когда она призналась, что ее тянет переспать с другим ее давнишним благодетелем, Дики Голдуайром, хозяин виллы "Инкогнито" встревожился. И не потому, опровергнем мы циников, что он часто принимал душ в компании Голдуайра, знал, каким роскошным достоинством обладает его младший товарищ и видел в этом угрозу; и не потому, опровергнем мы романтиков, что, услышав ее признание, он и сам был вынужден признать, что эта девушка стала ему дороже всех его принципов. Нет, истинная причина была в том, что Стаблфилд знал, какое у Дики сердце.

Нужно заметить, что Лизе — так теперь ее называли все, кто не называл ее мадам Ко, — было уже двадцать три, и она, проработав в Хонг-Каньясине три года, вернулась домой. (Она уже завоевала популярность в Лаосе, но стала ездить со своими тануки по всей Азии только еще через два года.) Итак, сезон закончился, и однажды в сумерках, когда муссонные тучи нависли над фань-нань-наньскими хребтами, как огромные боксерские перчатки, она скользнула в постель Дики, и они занимались любовью практически без перерыва, пока совсем иной петушок не пропел зарю. Лиза проснулась около полудня — на репетицию она безнадежно опоздала — и, открыв глаза, увидела на лице Дики смущенную улыбку.

— Я, наверное, слишком долго воздерживался, — сказал он.

— У меня там, наверное, теперь мозоли, — простонала она, но на жалобу это было не очень похоже.

Весь следующий год, приезжая домой, она раздвигала ноги (всякий раз с одинаковым пылом) перед обоими американцами, хотя женщина и вполовину не столь чувствительная, как Лиза, могла бы догадаться, что — по разным, впрочем, причинам — такое положение дел не устраивает ни того, ни другого. Однажды она решила попросить совета у третьего американца, но Дерна ее заботы не волновали. Он хотел беседовать с ней об анимизме. Ему было важно узнать, верит ли она в существование границы между материей и духом, где исчезает разница между тем и другим, и если да, то есть ли животные, растения и предметы, которые стремятся обитать именно на границе, отделяющей мир физический от мира метафизического. Лиза довольно-таки искренне заявила, что ничего об этом не знает, и тут же начала соблазнять и его, чтобы проверить, отвлечет это Дерна или нет (отвлекло); проверить, каково это будет (ничего особенного); проверить, изменит ли это сложившееся положение вещей (не изменило). Она просто раз и навсегда усвоила, что, хотя секс без любви может возбуждать и приносить удовольствие, секс без души — все равно что салат без заправки, чан с силосом, корм для козлов и коров.

Однако положению дел суждено было измениться, и на следующий год Стаблфилд сам его изменил. Он пригласил Лизу на виллу, накормил

ужином, напоил вином и усадил на свои огромные колени. А потом оглушил ее сообщением, что отдает ее Дики.

– Какой бы частью тебя я ни имел чести владеть – а я тщу себя надеждой, что эта часть достаточно велика, – без обид, без сожалений и без каких-либо условий передаю это право Голдуайру. Попрошу воздержаться от возражений. И обсуждений. Это мой дар вам обоим, благо, которого вы оба заслуживаете. – Он безмятежно улыбнулся и смахнул со щеки слезинку.

Лиза смотрела на него долго и пристально, но не заметила в его лице ни намека на злобу, обиду, отторжение, насмешку, неискренность, жалость к самому себе или напускное благородство. Как не было и намека на свойственную старине Стаблфилду извращенность.

– Не ищи мотивов, – успокоил он ее. – Я есть оно. Оно есть оно. Пусть все останется между нами, не будем грузить этим ни в чем не повинного Голдуайра, и если тебя все-таки потянет на размышления, думай об этом, как... как о тени дикой утки, летящей задом наперед.

Любой мужчина, имеющий некоторое представление о женском уме, знает, что, если любовник обычной женщины скажет ей, что "отдает" ее своему сопернику, она рассвирепеет и немедленно покинет его, но в то же время будет так страстно его желать, что не успокоится, пока не найдет способ доказать ему, как он жестоко ошибся, и, если он при расставании позволит себе употребить столь поэтическое выражение, как "тень дикой утки, летящей задом наперед", ее желание вернуть его только усилится.

Все это так, но мадам Ко не была обычной женщиной. Она довольно быстро поняла, что именно в словах Стаблфилда продиктовано его заботой о Дики, поэтому не стала ни расспрашивать его, ни возражать. С того вечера она стала возлюбленной одного лишь Дики, отвечала на его любовь так, как могла, однако никогда, даже приняв впоследствии предложение вступить в брак, не забывала, что настанет время, когда проявится ее наследственное "состояние", а это неминуемо его ранит, и им придется расстаться.

* * *

В Национальном цирке Лаоса сезон 2001 года должен был открыться не раньше ноября, когда наконец уйдут, выпотрошив свое нутро, муссонные тучи. Однако в первую неделю сентября уже начали ремонт зала, циркачи проверяли реквизит, ставили свет и монтировали аппаратуру. На манеже уже кипела работа, и, стоя у бортика, Лиза наблюдала за тем, как суетятся маляры, электрики, портнихи, униформисты, и в животе у нее что-то екнуло, причем не из-за зреющего в нем плода.

И тут она поймала на себе взгляд инспектора манежа. Ему было уже под семьдесят, и он подумывал уйти на покой и окончательно поселиться в Фань-Нань-Нане. Инспектор поспешил к ней, сказал, как больно ему было узнать, что она потеряла своих чудесных зверьков, но он надеется, что она наберет новых и через годик-другой вернется на мировую арену.

– У тебя был уникальный номер, – признался он. – Как он воздействовáл на публику! Другого такого нет и быть не может.

Лиза поблагодарила его и, похлопав себя по чуть округлившемуся животику, сообщила, что скоро у нее будет занятие поважнее и она присоединится к старику в Фань-Нань-Нане. Инспектора это известие особенно потрясло, потому что он вспомнил, как объявила о своей бере-

менности ее мать, вспомнил, как О-Ко вот так же заикалась, чего прежде с ней не бывало, а еще вспомнил, как после родов О-Ко переменилась, хотя речь и восстановилась, как потом ушла и пропала, словно исчезла с лица земли.

Инспектор манежа промолчал — то ли из вежливости, то ли от изумления. Он просто обнял мадам Ко за плечи, пожелал ей всяческой удачи и, извинившись, пошел проверять, как идут работы. Лиза снова обошла цирк, села в первом ряду — напротив того места, где когда-то вместе со своими чудесными партнерами развлекала публику.

Инспектор манежа сказал, что номер мадам Ко не только развлекал, он воздействовал на зрителей, однако, поскольку не подтвердил свое мнение примерами, трудно понять, что, собственно, он имел в виду. Трюки, которые исполняли тануки, не были такими уж уникальными или зрелищными. Зверьки ходили колесом, кувыркались, играли в волейбол, прыгали сквозь обручи (в финале — огненные), а также ловко удерживали на носу мячики и прочие предметы. Так что их способность "воздействовать", как выразился инспектор манежа, не имела никакого отношения ни к их репертуару, ни к свойствам, каковые обычно приписываются набитым тестостероном шарикам, болтавшимся у самцов тануки между задними лапами. Да, действительно, при виде столь огромных мошонок одна часть публики хихикала, другая с удивлением и отвращением перешептывалась; в нескольких американских городах строгие блюстители нравственности возмущались наличием у зверьков столь явно выраженных половых признаков и требовали, чтобы бедняг либо кастрировали, либо исключили из труппы. Но, поскольку читатель вряд ли видел живых самцов тануки, нужно подчеркнуть, что их обширные семенные мешки хоть и отличались нестандартными размерами, но им было далеко до легендарной мошонки Тануки. Вы только представьте себе, как *он* бы выступил на утреннем представлении.

Итак, причиной успеха номера мадам Ко было не умение, а внешний вид ее подопечных, не трюки, а парадоксальное и несокрушимое достоинство, с которым эти пухлые зверьки, такие неуклюжие и неповоротливые, их проделывали, а также удовольствие, которое они явно получали. Когда дикие тануки якобы ни с того ни с сего (тут их дрессировщица обычно притворно возмущалась) пускались в лихой пляс, громко притоптывая да еще стуча по пузу в ритме *пла-бонга, пла-бонга, пла-бон-бонга-аа* одновременно и неуемно-взрывном, и элегичном, как фуги Баха, это было иллюстрацией (объемной, да еще и высвеченной огнями рампы) того, что, должно быть, имел в виду Альфред Норт Уайтхед[1], когда написал, что понятие "жизнь" подразумевает наличие чистой радости.

Возможно, воздействие на публику заключалось в том, что тануки мадам Ко пробуждали в мышцах зрителей кинетическую память о безмятежной свободе детства, когда тело творит что хочет, скачет, прыгает, падает в свое удовольствие, ничего не стесняясь, не задумываясь и не сдерживаясь.

Или же, вызывая более зрелые воспоминания, например о том, как напиваешься вусмерть на дружеской пирушке, безумные зверьки дарили возможность вновь пережить эти упоительные моменты свободы, в то же время поддерживая в зрителе иллюзию его цивилизованности и рес-

1. Альфред Норт Уайтхед (1861–1947) — английский математик и философ, знаменит прежде всего работами по математической логике и философии науки.

пектабельности, гарантирующих прочность его брака, стабильное положение в обществе, хорошую работу.

Или же на сугубо подсознательном уровне любители цирка видели в ужимках тануки — ужимках глупых и одновременно обидных, смелых и лихих — аналогию своего собственного безнадежного кувыркания в запутанной и изменчивой Вселенной, где любой беспечный танец танцуется под нависающей тенью смерти. Возможно, это их вдохновляло, и они хотя бы в этот вечер пытались вслед за тануки испытать "чистую радость", а это ведь дар, на который гомо сапиенс должен иметь право по рождению.

А может, все было не так. Может, все эти толкования слишком уж ориентированы на высшие силы, может, все это и есть та собачья чушь, благодаря которой, как считают некоторые, у богов осталась хоть капля интереса к дискредитировавшему себя роду человеческому.

Лиза же сидела перед пустым манежем не потому, что анализировала прошлое, нет, она, скорее, предавалась ностальгии. Сидела Лиза не шелохнувшись, уставившись в одну точку, и кто знает, сколько бы это продлилось, если бы кто-то не чмокнул ее, тепло и по-дружески, в шею.

* * *

Едва правительственный "Лирджет" поднялся в воздух с аэродрома Хикем-филд на Гавайях, с левой руки Дерна Фоли сняли наручник, а правая оказалась прикованной к стальному кольцу на стенке кабины. Сержант Кентербери сидел от Дерна через проход и не спускал с него глаз. Сержант Кентербери, говоривший на четырех азиатских языках и освоивший несколько военных специальностей, не уступал Дерну в силе и был на четыре дюйма выше. Хотя бы на этот счет полковник Пэтт Томас не волновался.

Ни разу за долгую карьеру не приходилось Томасу выполнять задание со столь неопределенными целями. Главным, разумеется, было выяснить, живы ли другие члены экипажа самолета B-52, известного под названием "Умник", находятся ли в Юго-Восточной Азии, и если да, то в какой степени они и, возможно, другие пропавшие без вести вовлечены в контрабанду наркотиков. Но если он — при минимуме зацепок, ограниченном числе помощников и при наличии отказывающегося сотрудничать подозреваемого — каким-то чудом это выяснит, тогда что? В федеральное ведомство, занимающееся наркотиками, обращаться было нельзя, поскольку тут же всплывал вопрос о дезертирах. Хватит с Америки и одного пропавшего без вести, ныне преступника, хватит и одного героя-предателя. Еще двое только усугубят и без того неприятное положение.

Ну ладно, предположим, он не сумеет отыскать следов Голдуайра и Стаблфилда (что вполне вероятно), не сумеет выяснить, откуда Фоли брал наркотики. И тогда что? Что прикажете делать с этим сукиным сыном, с этим свихнувшимся любителем Библии? Сдать таиландским или лаосским властям — пусть сгноят его в какой-нибудь крысиной норе, но только так, чтобы иностранные журналисты об этом не пронюхали? Нет уж, ставку на счастливый конец такого кино он делать не будет. *Я могу его убить*, подумал Томас. Но поскольку за двадцать пять лет службы полковник Томас никогда никого не отправлял на тот свет — во всяком случае лично, — решиться на это было трудновато. *Или его кто еще убьет. Пусть-ка Мэйфлауэр поручит это кому-нибудь из своих душегубов. Или прикажу Кентербери. Грязное дело, но альтернатива какова: тащить этого ублюдка об-*

ратно в Штаты, пресекать утечку информации, врать сестричкам и всю волынку начинать по новой. Нет уж, хрен вам!

Полковник — скорее всего, потому что измаялся от собственных мыслей — отстегнул пристяжной ремень, отправился в хвост самолета и сел на место сержанта Кентербери, а его послал на свое. Дерн читал Библию. Томас рассматривал его в упор, и тот наконец поднял на него глаза.

— Чем занят, приятель? — спросил Томас. — Ищешь себе отмазки?

К удивлению полковника, его пленник улыбнулся. И стукнул по Библии кулаком.

— Если бы я верил, что их тут можно найти, я был бы счастливым человеком... Да здесь можно найти оправдание практически любому поступку. Куда ни глянь — везде двусмысленности и противоречия.

— Да ну? — Томас воодушевился — он впервые услышал от молчальника Фоли три связные фразы. — И где же, например?

— Вот, пожалуйста: в одном месте нас призывают к мести — око за око, зуб за зуб. А в другом Иисус учит подставлять вторую щеку и любить врагов. Эти два места, естественно, легко привести в соответствие. Если и альтруистическая любовь и злостное членовредительство считаются одинаково добродетельными, что выберет настоящий мужчина?

— Понятно, куда ты клонишь. Но, знаешь, среди наркоторговцев редко встретишь религиозных философов. И это ведь тоже противоречие, а, Фоли? — Дерн ничего не ответил, и полковник разведки продолжил: — Значит, ищешь там Бога?

Пленник усмехнулся.

— *Здесь?* — И, помолчав, добавил: — Наверное, отпечатки пальцев Господа можно найти в любой книге, даже в этой сборной солянке из мифов, генеалогии, истории, поэзии, сексуальных фантазий, политики и инвентарных ведомостей, которую называют Библией, но... — Дерн показал на иллюминатор, — ...в холмах, над которыми мы летим, куда больше божественного. Если бы я решил *поохотиться* на Господа, то отправился бы в какое-нибудь такое место.

Хороший знак! — подумал Томас. — *Может, удастся разговорить парнишку?* — Но беседа его и без того заинтересовала.

— Ты, наверное, из этих, из гринписовцев?

— Из каких? — переспросил Дерн.

— Черт, я и забыл, что в твое время их не было. Гринписовцы... Ну, они защищают экологию — болота всякие, рыбок, треклятых пятнистых сов. Для них это важнее прогресса. Важнее экономики. Важнее национальной безопасности. Для этих типов дикая вонючая природа с жучками-паучками дороже родной мамы. Они с любым деревцем готовы обниматься.

Томас думал, что Фоли спросит, какой цели служит экономика, ради которой люди должны жить в уродливой, отравленной среде, — он уже сталкивался с подобными аргументами и не очень-то знал, как их опровергать, — однако бывший летчик просто пожал плечами и сказал:

— В деревьях есть много всякого. Я встречал и такие, с которыми вполне бы обнялся — как с женщиной.

Ответ был неожиданным, но Пэтт тут же нашелся.

— Кстати, о женщинах... У тебя там есть жена?

— Где это там?

Тьфу ты! Но Томас решил не сдаваться.

— В Лаосе.

— Поймать меня хотите, полковник?

Ну, черт тебя подери!

— Просто интересуюсь, есть ли у тебя баба.

Второй раз за день губы Дерна расплылись в подобие улыбки.

— Законной супруги нет, — признался он. — А вы, полковник, женаты?

— Я? Я-то женат.

— Я во Фриско ни разу не видел вашей жены поблизости от наших апартаментов. Вы ей не разрешаете ходить к вам на работу?

Это кто ж кого взялся расспрашивать? Томас, повинуясь непреодолимому желанию, которое выше всяких протоколов, решился ответить:

— Она сейчас в Луизиане. За моей сестрой ухаживает.

— Ваша сестра больна?

— Рак поджелудочной. — Эти два слова чиркнули ему по нёбу, словно у него тоже там был имплантат.

— Какой кошмар! Мучается, наверное, бедняжка.

— Ужасно, — вздохнул полковник. — И никакая дрянь, которой ее пичкают, не помогает.

Впервые за все время Дерн посмотрел полковнику в глаза. Глаза были темные, как пивные бутылки, и влажные, как барная стойка.

— Говорят, такую боль может облегчить только героин.

— Я об этом слышал. Но героина от них не дождешься. Это запрещено.

— В Штатах запрещено.

— В других странах тоже.

— Верно. Но есть в мире клиники, где этим лечат.

— Что за клиники? — насупился Томас. Сомнение и подозрительность подавили нотки живой заинтересованности в его голосе.

— Клиники, где лечат больных. Отличные клиники, с профессиональными медиками. Сам я, правда, в них не бывал, только помогал... — Дерн запнулся, и полковник это заметил. — Говорят, там относятся к больным с состраданием. Всюду свежие цветы, играет приятная музыка, желающие могут получить духовные наставления. Пациента не доводят до состояния ступора, вводят наркотиков ровно столько, сколько нужно, чтобы облегчить фазу перехода. Сделать процесс умирания приятным и безболезненным — насколько это возможно.

Томас долго молчал. Это Дерна устраивало. Он и так сказал слишком много. И он снова вернулся к Библии — к фразе о полевых лилиях, которые не пытаются жонглировать булочками или лезть вверх по корпоративной лестнице. Прошло минут десять, не меньше, прежде чем Томас спросил вполголоса:

— А ты мне можешь сказать, где находятся лучшие клиники?

— Я не справочное бюро, — фыркнул Дерн.

— Но ты знаешь?

— Может, и знаю. Надо подумать.

— О чем именно?

Дерн захлопнул Библию, откинул лоснящуюся лысую голову назад и закрыл глаза. И после долгой паузы заявил:

— Даже и не помышляйте.

— Нельзя запретить себе...

— Все можно! — отрезал Дерн. — Я не могу вам доверять. Я знаю, какую вы дали клятву. Я как-то раз и сам ее дал. Вы поклялись отстаивать и защищать любые ошибочные, неправомочные, своекорыстные, хитро-

умные, гнусные и безнравственные толкования Конституции, которые шайка жадных и лживых дельцов использует... Всё, забудем об этом. Вы поклялись исполнять свой долг, Томас, а для таких, как вы, долг важнее мучений ни в чем не повинных людей; и даже ваша совесть, если она у вас осталась, вам не помеха. Рано или поздно страх и честолюбие перекроют узкий канал, открывшийся в вашем сознании; вы услышите глас долга, услышите зов Пентагона, услышите, как вас призывают сила и слава, власть и закон, а также сам Янки-Дудл. Вы... Слушайте, вы хоть и черный и для боевого офицера вполне вменяемый парень, но все равно вы винтик в огромной машине патриархального прогресса, и птицы у вас на погонах хищные. И вам, полковник, все равно придется плясать под дудку тех, кто вас нанял, так что да будут боги, в том числе и боги деревьев, милостивы к вашей несчастной сестре.

Хотя Дерн произнес свою страстную речь, не повышая голоса, это его, человека сдержанного, утомило, и он, устало вздохнув, вновь открыл Библию — словно добровольно отправился в знакомую наизусть палату психлечебницы. Полковник Томас, не глядя на него, встал и направился на свое прежнее место.

* * *

Мадам Пхом (молодая мадам Пхом, внучка старого канатоходца) и Лиза Ко выросли вместе. Будучи лучшими подругами, при встрече они всегда обнимались-целовались, и эпизод с Бардо Боппи-Бип, после которого Лиза взглянула на подобные нежности по-новому, лишь слегка повлиял на ее реакцию.

— Пхомми, дорогая! Что ты здесь делаешь?

— Да вот, зашла проверить оборудование, на котором мы будем в этом сезоне работать. А ты-то здесь как очутилась, любовь моя? И почему так странно разговариваешь?

— У меня зуб болит. Наверное, нерв воспалился. Завтра пойду к зубному. Но уже в Бангкоке.

— И правильно. Тайские дантисты куда лучше. Ой, как бы мне хотелось отправиться с тобой в Бангкок. Вот бы погуляли! Но мне надо через пару дней возвращаться в Фань-Нань-Нань.

Как только мадам Пхом сообщила о своих планах, в том отсеке Лизиного мозга, где в кромешной тьме играли в пинг-понг братья-близнецы по фамилии Дилемма, зажглась лампочка. И она тут же поняла, каким будет ее следующий шаг.

— Пхомми, ты мне очень поможешь, если отвезешь в Фань-Нань-Нань мое письмо. Точнее, два письма. Сделаешь?

Мадам Пхом с радостью согласилась, и Лиза, извинившись, отправилась искать ручку с бумагой и уединенное местечко.

— Не торопись, — сказала ей подруга. (На самом деле она сказала это по-лаоссски, употребив несколько иное выражение.) — Я должна проверить, что там натворил художник по свету. Мне иногда кажется, что администрация нарочно хочет нас, гимнастов, ослепить, чтобы подарить кровожадной толпе острые ощущения.

Лиза устроилась в кабинете инспектора манежа и так долго сидела, прижав указательный палец левой руки к своему кривоватому носу, что он даже обрел на некоторое время симметричность. За время, пока Лиза писала две короткие эпистолы, голливудский адвокат успел бы составить первый вариант брачного контракта. Но письма хоть и были ко-

роткими, тем не менее, когда Лиза наконец управилась (заклеивая конверты, она их лизала, и припухлость на нёбе ей мешала), над ними стояла такая густая атмосфера окончательности, что ее можно было вилкой подцепить.

В Когнито нету известий – уже хорошо,
Адресов и с картой не сыскать.
Начальница почты, дама пик,
Почтальонов отправила в жмурки играть.

* * *

Хотя полковник Томас и получил от надежных источников информацию, что гостиница "Зеленый паук" – место, где ненужных вопросов не задают, заметив, что портье узнал Дерна Фоли, он мрачно нахмурился. И следующие тридцать шесть часов, пока ждал, когда же неуловимый посредник ответит на его звонок, хмурился все чаще и все мрачнее.

У Томаса и сержанта Кентербери были смежные комнаты. Дерна поместили с Кентербери, приковав наручниками к водопроводной трубе. Дверь между комнатами была открыта, и Дерн с сержантом наблюдали, как Томас ходит взад-вперед, взад-вперед, словно тигр в клетке. Он не то чтобы был встревожен, скорее, расстроен и о чем-то непрерывно размышлял.

Когда наконец зазвонил, прервав астматический свист кондиционеров, телефон, все трое подскочили. Однако это оказался не посредник, а американский бизнесмен, иногда подрабатывавший информатором, тот самый, кто, не зная подробностей, отрекомендовал своему старинному приятелю Томасу посредника как человека знающего, осторожного и опытного.

– Извини, Пэтт. Ничего не выходит. Едва он узнал, кто твой напарник, сразу дал задний ход.

– Хочешь сказать, он нашего святошу Мэйфлауэра не уважает? Отличный знак. Мне этот тип уже нравится. Ты меня с ним все-таки свяжи. Я за три минуты его на этот счет успокою. Просто договорись о встрече.

– Не могу. Он уехал. Отправился с одной из своих жен куда-то на юг.

– С одной из? А сколько их у парнишки?

– По-моему, две.

– Всего-то? Какая жалость. Тайские дамочки чудо как хороши. А я и не знал, что у них тут полигамия.

– Никакой полигамии. Одна жена европейка, другая – американка.

– Шутишь!

– Я так слышал. Причем они и не мормоны. Странные нынче времена, Пэтт. Двадцать первый век. Хрен знает что творится. Ты, видать, давно из своего кабинета не выходил.

– Тут ты прав, дружище. Стопроцентно прав. И у меня зреет намерение пойти прогуляться по Бангкоку, понять, что здесь к чему. А ты, прошу тебя, отыщи мне двоеженца. Отыщи, прижми к стенке, объясни ему, что я – камень в желчном пузыре Мэйфлауэра, и если он поддастся, звякни мне на спутниковый. Спасибо, друг.

Через час полковник, сержант и пропавший без вести – все трое в одинаковых брюках хаки и синих футболках – направлялись к Патпонгу. Наручники (на которые в "Зеленом пауке" никак не прореагировали) были сняты, и Томас с Кентербери шли, крепко держа Дерна под руки,

хотя вел их он. В толпе идти троим в ряд было трудно, поэтому то и дело один из стражей оказывался либо впереди, либо позади пленника и другого стража. Так они и вошли в Патпонг.

И вдруг их оглоушил страшный рев — это со всех сторон выли эскадрильи музыкальных автоматов. Тяжелый тропический воздух источал ласковые улыбки и призывные речи. Отовсюду неслись дурманящие запахи: благовония, кокосовые коктейли, шипящее масло, жгучие специи, сладковатый запашок марихуаны и нежные девичьи ароматы — у кого духов, у кого природные. У американцев кровь забурлила, как газированная, — перед ними предстала дикая и таинственная красота, почти такая же древняя, как сама природа. Они словно листали оживший мужской журнал, изданный в Гоморре племянницами-нимфоманками Вавилонской блудницы. Страницы были жирными и дымящимися, и у "читателей" пересохло во рту.

Они держали путь в ближайший бар, и тут дорогу им преградил старичок в засаленном костюме. Несмотря на весьма сомнительный вид, старичок держался с таким достоинством, что просто отпихнуть его было невозможно. Полковник Томас шел впереди, поэтому старичок обратился к нему.

— Эй, мистер, — воскликнул он. — Хотите смотреть, как девушка трахается с тануки?

— Чего? — Томас ушам своим не верил.

Профессор вежливо повторил:

— Хотите смотреть, как девушка трахается с тануки?

Томас расхохотался.

— Слыхал, а? — обернулся он к Кентербери.

Но Кентербери не слыхал, поскольку отвлекся на двух обалденных малолетних шлюшек, одетых как воспитанницы католического приюта. Томас обернулся к Фоли. Но Фоли тоже не слыхал, поскольку Фоли рядом уже не было.

Фоли был метрах в ста от них, Фоли бежал со всех ног, несся сквозь толпу, подрезая, расталкивая, сбивая с ног прохожих, бежал великолепно, как лучший защитник университетской сборной, которым он некогда так мечтал стать. Сержант Кентербери, грязно выругавшись, кинулся за ним в погоню, однако Дерн бежал в самую гущу патпонговского хаоса, в неразбериху лабиринта, знакомого ему, но не его преследователям, бежал вдохновенно, и Томас понимал, что сержанту, хоть он и моложе Дерна лет на двадцать, ни за что его не догнать. *Ушел*, подумал Томас. *Без вести пропавший пропал вторично.*

Томас обернулся к Профессору. Тот стоял рядом — невозмутимый и непроницаемый.

— Хотите смотреть...

Полковник улыбнулся.

— Отведите меня туда, — сказал он — И назовите цену.

* * *

Вернувшись в Фань-Нань-Нань, мадам Пхом не застала там Дики Голдуайра. Дики с утра отправился в селение хмонг за рубинами, дабы поправить расстроившиеся финансы, и, хотя дело уже шло к вечеру, еще не вернулся. Поскольку ей еще нужно было сходить в виллу "Инкогнито" и обратно, а в темноте по проволоке не пройдешь, она положила письмо Лизы Ко поверх вещей Дики, которые он свалил в кучу посреди хижи-

ны, будто собрался в далекий путь. Мадам Пхом это удивило, но едва она поставила ногу на трос, как тут же выкинула из головы все мысли о Дики и Лизе и направила каждый эрг своей энергии на проволоку.

— Ходить не страхуясь — высшее наслаждение, — частенько напоминал ей папаша Пхом. — Ходить не сосредоточившись — самоубийство.

Соответственно она практически не обращала внимания на посторонние вещи — в том числе и на пролетевшую мимо кукушку, в клюве у которой было нечто, напоминавшее золотой волосок.

Слуга по имени Лан впустил ее на виллу, но дал знак молчать, поскольку Марс Альберт Стаблфилд читал лекцию. Лан шепнул мадам Пхом, что ей повезло — выступление только началось и она почти ничего не пропустила. Ответить гимнастка не успела — Лан уже пробрался в гостиную и присел на корточки возле хозяина.

Стаблфилд заметил мадам Пхом, кивнул ей, смочил горло холодным шампанским и начал снова:

— Как я уже говорил, многие из вас наверняка заметили длительное отсутствие мсье Фоли. Среди нас есть, по крайней мере, две молодые женщины, которые уже почувствовали недостаток внимания. — Стаблфилд улыбнулся, но указывать на упомянутых женщин не было необходимости — у обеих был достаточно злой, обиженный, взвинченный и раздраженный вид, и он продолжил: — Однако большинство из вас ни впрямую, ни косвенно не упоминали о том, что моего и вашего друга нет уже несколько недель. Обитателям виллы свойственна сдержанность — природная или благоприобретенная, — да и отсутствует Фоли не столь долго, чтобы встревожиться, однако я убежден: выяснись, что это продлится еще неизвестно сколько, ваше поведение не изменилось бы. И только благодаря тому, что вы, будучи жителями Азии, признаете и принимаете непостоянство материального мира, за который мы, люди Запада, цепляемся зубами и ногтями. Вот так-то...

На Стаблфилде был его любимый лиловый шелковый костюм. Он был босиком и с голой грудью, так что тигр предстал во всем великолепии. Во время утреннего туалета, когда Стаблфилд, как всегда, принял ванну и умастил себя маслами, сожительницы вплели ему в бороду свежие цветы (возможно, дикие хризантемы — по сезону). *Девочки его, конечно, почитают,* подумала мадам Пхом, *но все равно относятся как к игрушке.* Пытаясь привлечь его внимание, она помахала письмом, но он готовился развить основную тему и прерываться не хотел.

— Нам, людям западной цивилизации, необходимо нечто несомненное, объяснимое и абсолютное. Собственно говоря, "Абсолют" — один из эвфемизмов нашего одинокого монобога. И как ни забавно, но это очень подходящее слово. Бог абсолютен. Он — абсолютная тайна, абсолютная двусмысленность, абсолютная неопределенность. Ха-ха-ха.

В нашем мире, созданном Богом (или же Матерью Природой), господствуют случай и новизна, что делает все рассуждения о стабильности абсурдными. Парадоксально, что, когда мы решаем принять в себя неопределенность, когда начинаем ее пестовать и лелеять, только тогда мы ощущаем внутри присутствие Абсолюта. Тот, кто не принимает неопределенности, не принимает Бога.

Разглагольствования Стаблфилда оказывали гипнотическое воздействие, и хотя мадам Пхом мало что понимала, она бы с удовольствием прослушала все до конца. Более того, она бы осталась после лекции на ужин (с кухни уже доносились соблазнительные ароматы). Но, увы,

солнце должно было вот-вот зайти, и ей следовало торопиться. Она снова помахала письмом, но Стаблфилд на нее и не взглянул, а, отклонившись от курса, пустился рассуждать о патологически искореженных эго американских патриотов, об их неумении извлекать уроки из истории и принимать неизбежность перемен.

— Эти маниакально самодовольные психи убедили себя, что не было и не будет страны сильнее Соединенных Штатов. Они забыли, что гибли и куда более могущественные империи, что Америка существует всего двести двадцать пять лет, и не хотят ни на секунду допустить, что, возможно, за следующие двести двадцать пять лет она исчезнет. А небоскребы, которые для всех присутствующих являются наглядными символами Америки, ее богатства и силы, могут — по причине природного катаклизма или по воле человека — рухнуть в одночасье. Многие американцы-христиане, противореча сами себе, настаивают на том, что Америка была, есть и будет, и тут же утверждают, что верят в скорый конец света. Таким образом они попадают в ловушку абсурда, но не осознают этого и потому урока извлечь не могут. — Он вздохнул. — Должен признаться, я почти тоскую по их параноидальному бреду. Да-да, почти тоскую. Это отменная трагикомедия. Завораживает, как удав кролика.

Этих слов, как и тех, что за ними последовали (уж не готовил ли лектор слушателей к своему неминуемому уходу?), мадам Пхом уже не услышала, поскольку, просунув в конце концов письмо Лизы Ко под дверь кабинета Стаблфилда, тихонько покинула виллу. Перебравшись по тросу через ущелье — это должно было уже стать привычным делом, но переход всегда и пугал, и возбуждал, — она отправилась домой, где, утомленная долгой дорогой из Вьентьяна, тут же легла. Когда Марс Стаблфилд и Дики Голдуайр обнаружили и прочитали свои письма, она уже давно спала, и снились ей, как ни странно, птицы и сверкающие волоски.

* * *

Мой драгоценный! Наставник, друг, возлюбленный, мой "отец"! Я уже давно тебе говорила, что этот день близок, и вот он настал.

Так начиналось письмо Лизы Стаблфилду. Далее речь шла о том, что ключи к ее будущему были спрятаны в прошлом ее матери, бабки и прабабки. Лиза писала:

И вот скоро семейная тайна раскроется, я наконец узнаю, чем я отмечена, почему отличаюсь от остальных женщин. Может, это окажется какая-нибудь мелочь, ерунда, сплошное разочарование. Однако пока ситуация у меня во рту все усложняется, и я трепещу от страха, опасаясь узнать что-то на редкость странное, что невозможно будет ни объяснить, ни вынести. Да, конечно, оно есть оно, и я есть оно, но его "есть" и мое "оно" выходят за пределы понятий "есть" и "оно". Тем не менее одновременно (а я помню, как ты ценишь парадокс) меня переполняет неземная радость!

У меня есть ощущение, предчувствие, что то, что делает меня особенной, вообще-то имеется у всех людей. Но только у женщин нашего рода это проявилось столь удивительным образом. Что я есть? Отголосок прошлого? Живое эхо древних правремен? Или же глашатай (заблаговременное предупреждение) времени, которое еще не настало? Или я и вправду придаю преувеличенное значение физиологической особенности, унаследованной мною от двух или трех поколений глупых, суеверных женщин без роду без племени, подвинутых на дзене? Надеюсь,

что когда-нибудь смогу ответить тебе на эти вопросы, мой любимый, хотя в данный момент не верится, что мы когда-нибудь встретимся снова.

Далее Лиза сообщала о своей беременности:

Хочешь верь, хочешь нет, но и об этом я была предупреждена. Я не могу сказать тебе, кто отец. Не то что не хочу – не могу. Я собиралась родить в доме Дики, будучи его женой, а когда настанет пора мне уйти (на встречу с судьбой – ты уж извини за напыщенное выражение), оставить ребенка на попечение Дики, потому что из него наверняка получился бы замечательный отец. Но арест Дерна спутал мне все карты. Теперь Дики, да и тебе тоже, по-видимому придется бежать, и вас, наверное, будут преследовать. Мне очень не хотелось бы, чтобы моя доченька жила в бегах, чтобы ее прятали в большом городе. Я убеждена, что она должна жить как можно ближе к тому, что осталось от естественного мира. А если Дики поймают и посадят в тюрьму, тогда что?

О беременности и о том, что мне нужно уехать, я написала и Дики. Конечно, для него это будет ударом. Тебе он так же дорог, как и мне, и ты должен помочь ему – не понять, нет, потому что понять он не сможет, а принять. У Дики есть способность радоваться всем сердцем, и его радость – легкая, не столь сложная, как твоя напористая joie de vivre[1]. Пообещай мне, что ты поможешь ему ее сохранить, не дашь впасть в отчаяние. Такова моя прощальная просьба.

Далее она с нежностью вспоминала о времени, проведенном с ним, и слова так изящно шли одно за другим, словно кто-нибудь из Пхомов вышагивал по канату, отделяющему духовное от эротического. Завершалось письмо так:

Те замечательные вещи, которым ты меня научил (за исключением замечательного сам знаешь чего), кому-то могут показаться отрицающими мудрость, полученную мной от предков, но я благодарна тебе за твои уроки. К незнанию может прийти лишь тот, у кого есть знание. Чем ярче сияет знание, тем покойнее тишина конечного незнания. Так, опрокинутый чан, некогда наполненный до краев, кажется куда более пустым, чем чан, в котором молока никогда и не было. Спасибо, что наполнил мое ведерко.

* * *

Помещение – ни театром, ни клубом его назвать нельзя, уж слишком оно было тесным – располагалось над баром, вела туда шаткая плохо освещенная лестница. Сам бар был из разряда сомнительных, куда захаживают лишь сутенеры да рикши. В театре же (все-таки назовем его так, ибо там имелся крохотный бамбуковый помост, выполнявший роль сцены) присутствовал налет некоторой изысканности, поскольку все, что только можно, было задрапировано кроваво-красным шелком. В зале стояла дюжина столиков с железными стульями, и это создавало атмосферу (усугубленную отсутствием кондиционеров и вентиляторов) кафе-мороженого на главной улице ада.

На сцене стояла клетка, накрытая чем-то вроде льняной скатерти. Справа от клетки лежал замызганный матрац, а рядом сидела на стуле простоватого вида пухленькая тайка в свободном халатике. Она сидела

1. Радость жизни (*франц.*).

спокойно, прикрыв глаза, а в клетке что-то непрерывно шевелилось, оттуда доносилось урчание и хрюканье, словно ее обитателю не терпелось употребить то... то, что было ему обещано.

Полковник Томас и сержант Кентербери уселись подальше от сцены. Сержант был возбужден — видать, переживал, что упустил Дерна Фоли, — но полковник, похоже, выбросил это из головы. Если его что и огорчало, так это цена здешнего пива.

Большинство столиков было занято японцами в деловых костюмах. Они пили отвратительное тайское виски, болтали, хихикали и непрерывно щелкали фотоаппаратами. Исключение составлял лишь соседний с американцами столик. Там сидела дама азиатской внешности в нефритово-зеленом платье с высоким воротником. Она сидела одна, погруженная в собственные мысли, и пила колу. Только глаза у нее странно блестели. Полковник Томас уставился на нее.

— Видишь женщину, — шепнул он Кентербери, — за соседним столиком?

— Да, сэр.

— Она из цирка, что выступал в Сан-Франциско. В представлениях она не участвовала, но я видел ее по телевизору, в рекламе. Это ее был номер с тануки, тот, который испоганила пьяная в стельку клоунесса. Ставлю причитающуюся мне пенсию, это она. — Томас не дослужился бы в разведке до такого высокого чина, если бы не был наблюдательным. — Смотри, на ней черные сапоги. Может, она набирает команду для нового номера. Ну и ну!

Томас, нимало не смущаясь, наклонился к женщине и собрался вступить с ней в беседу. Но не успел он открыть рот, как случились две вещи: убавили свет, что означало начало представления, и у Томаса в кармане зазвонил спутниковый телефон.

Томас чуть было его не отключил. С клетки убрали покрывало, девушка снимала халат, а женщина, к которой он намеревался обратиться, улыбнулась ему. Вот ведь дурацкое стечение обстоятельств. Вот она, ирония судьбы. Но в конце концов в Томасе возобладало пошатнувшееся в последнее время чувство долга.

— Слушаю!

Окажись это Мэйфлауэр, он бы дьявольски разозлился.

— Полковник Томас? Сэр, вы слышали новости? — раздался дрожащий голос лейтенанта Дженкса.

— Какие такие новости?

До этого мгновения Кентербери бы поклялся причитающейся ему пенсией, что черный человек побледнеть не может.

— Вставайте, сержант, — резко бросил Томас. — Мы уходим.

Сержант вскочил и с надеждой спросил:

— Фоли?

— Да пошел он к черту! Какие-то гады протаранили в Нью-Йорке небоскреб. Террористы. Полный кошмар!

Когда они мчались вниз по лестнице, до них донеслись странные звуки, вроде *пла-бонга, пла-бонга.* А барабанов на сцене, кажется, не было.

* * *

Служащие почтового отделения "Куин Энн" в Сиэтле утром во вторник никак не могли сосредоточиться. Но посетители не жаловались, поскольку сами были потрясены новостями. Радио в углу зала не умолкало.

Слезы текли из глаз не одной Бутси Фоли, хотя у нее слез, пожалуй, было больше, чем у остальных.

Но в обеденный перерыв Бутси не пошла вместе с коллегами в кафе, где по телевизору снова и снова показывали, как самолеты-смертники врезаются в башни-близнецы. Нет, она отправилась на поиски Пру, которая не отвечала на звонки по сотовому и сама не звонила.

К счастью, до Главной арены было всего несколько кварталов. Когда Бутси (на сей раз не обращавшая ни малейшего внимания на "восхитительные" краски осени) туда пришла, оказалось, что вечернее представление отменили. На манеже не было ни души, и Бутси подошла к кассе, где выстроилась очередь сдававших билеты. Кассирша ей сообщила, что, поскольку представление отменено, труппу отпустили, но в среду все вернутся — либо на прощальное выступление, либо собрать реквизит.

Поскольку за пятнадцать лет Бутси не пропустила по болезни ни дня, начальник к просьбе отпустить ее домой отнесся с пониманием. Она взяла такси и, увидев у дома старенький серо-черный "хиндай" Пру, напоминавший походный котелок, одновременно обрадовалась и встревожилась. У двери Бутси остановилась — ее удивило, что не слышно телевизора.

— Боже ты мой, — пробормотала она.

Открыв дверь, она снова воскликнула: "Боже ты мой!" Это было "Боже ты мой" в квадрате, "Боже ты мой" в кубе, "Боже ты мой" в тринадцатой степени. На софе сидела растрепанная, с размазанной губной помадой Пру Фоли и обнималась с клоуном.

* * *

Из Дики словно выпустили воздух. Он не мог дышать. Он даже опустился на колени. Письмо выпало из рук.

Да, конечно, это было очень теплое письмо, нежное и ласковое, но по сути это был отказ, а такой отказ — слишком горькая пилюля, которую не подсластить и всей патокой африканского континента. Дики был поражен, Дики был обижен. Дики был раздавлен утратой. И, наконец, он был зол.

Он поднял письмо с пола и заметался по комнате. Лиза Ко так легко не отделается! Ей придется объясниться. Если это его ребенок, как она смеет его забирать? А если это не его ребенок, как она посмела его зачать? Неужели она думает, что после стольких лет можно вот так подбросить ему в хижину письмо и... Где же она? А, все ясно! Есть только одно место, где она может быть!

Дики был в мало вменяемом состоянии, поэтому выскочил из дому, не спрятав сокровище, полученное им днем. Забрав у вдовы из селения хмонг пяток совсем мелких и неказистых рубинов, Дики уже собирался с ней распрощаться, но тут она, испуганно оглядевшись по сторонам и убедившись, что поблизости никого нет, вытащила из кармана синекрасный камень неслыханного размера и чистоты. Он поверить не мог, что она отдаст этот рубин ему — такую редкость положено было сдавать деревенским старейшинам, и при обычных обстоятельствах Дики ни за что бы его не принял. Как не сделал бы того, чего она ожидала от него в награду. Но данные обстоятельства вряд ли можно было считать обычными. Преодолеть стыд и отвращение он смог, напомнив себе про мисс Джинджер Свити и про то, каким унижениям постоянно подвергается

эта чудесная девушка ради того, чтобы иметь возможность самой вершить свою судьбу.

В конце концов огромный рубин вернул Дики бодрость духа. Его доля от продажи позволила бы ему, а впоследствии и Лизе Ко, уехать далеко-далеко. Но теперь он ушел, бросив сокровище на столе, словно это был огрызок перца чили (или же осколок его собственного сердца).

Ему был необходим канатоходец. Увы, в доме мадам Пхом было темно и тихо.

Он помчался в дом ее кузенов. Те сидели ужинали, предложили и ему к ним присоединиться.

– Очень хороший *там маак хунг.*

Когда он сказал, что ему нужно на виллу "Инкогнито", они только засмеялись и напомнили ему, что уже вечер.

– В темноте по проволоке никто не ходит. Даже призрак папаши Пхома. – И снова засмеялись.

Конечно же, Дики прежде всего необходимо было успокоиться. Его уже однажды отвергли (помните Шарлин?), да он не был настолько хрупкой или зацикленной на себе натурой, чтобы мариновать себя в формалине затяжной депрессии. Но зеленый червь уже обвил ствол его мозга, и Дики не хотел тихо ждать, пока тот его ужалит. Ему не терпелось действовать, пускай действие будет поспешным, никчемным и ошибочным. Да, из школы кошмаров ему удалось сбежать, но в списках Купидоновой Академии Бессмысленной Мелодрамы его имя числилось до сих пор.

Возле ущелья было темно, начала подниматься луна – бледная и осунувшаяся, как лицо наркомана, но Дики не нужны были ни лампа, ни фонарик. Его глаза светились как у лемура или у какого другого животного рода полуобезьян. Он встал на помост и смерил взглядом всю длину троса, отделявшего его от виллы "Инкогнито", где горели огни и где, скорее всего, происходило то, о чем он изо всех сил старался не думать.

Он простоял так минут десять, пытаясь себя отговорить, напоминал себе, что было, когда он последний, точнее, единственный раз перебирался по канату. Хотя человеческие особи по сути своей трусливы и под маской цивилизованности и образованности остаются такими же трусливыми, какими были, обитая в джунглях и пещерах, есть чувства, способные превратить черный пот страха в розовый лимонад. Не то чтобы у Дики не похолодело в животе, нет, он был вполне испуган, но его страх, равно как и его рассудок, получив меньшинство голосов, были сняты с повестки дня. Кроме того, его ведь всегда тянуло... не к высотам – к падению.

* * *

Он обхватил трос сначала правой ладонью, затем левой. Сталь была на ощупь столь же холодной и твердой, сколь жаркими и мятущимися были его мысли. Трос хоть и висел над почти бездонной пропастью, в нем было что-то основательное. Схватившись за него, Дики сразу же сосредоточился, собрался, успокоился. И уже не колебался ни секунды. Нет, наоборот: только что его ноги стояли рядом с помостом, там, где стояла некогда маленькая Ко Ко, и в следующее мгновение они уже висели в воздухе.

И, перебирая руками, он отправился в путь. Над ущельем было довольно прохладно, тихо и покойно. Дики не помнил; когда он был вот так – один. Именно что не в одиночестве, а один, как будто во всей Вселенной существовал единственный сгусток жизни – он сам. Да, при-

знаться, руки уже начали уставать, но он заметно продвинулся. Ночью передвигаться по канату куда проще. Первая рука пошла, потом вторая, и снова — первая.

И тут из тиковых зарослей наконец вылезла луна. Ее лучи накрыли его как сетью. В лунной паутине он казался себе огромным серебристым насекомым. *Господи*, подумал он (а об этом он уже сколько лет не думал), *видели бы меня сейчас каролинские ребятки!*

Трос стал провисать, и Дики понял, что приближается к середине. Но провисал он больше, чем раньше, а еще и трясся. Наверное, потому, что Дики за эти годы прибавил пару фунтов. Но не за счет мышечной массы — плечи заныли всерьез.

А трос провисал еще больше. И заколыхался так сильно, что очень трудно стало держаться. В Дики, как газировка в сифоне, поднялась паника. Он услышал шум — словно кто-то ругался и смеялся. Причем совсем рядом. Вытянув шею, Дики посмотрел вперед и в нескольких ярдах от себя увидел очертания человеческой фигуры. По спине побежали мурашки: Дики понял, что на канате он не один.

* * *

— Ба! Неужто это лейтенант Голдуайр?

— Стаблфилд? Да какого...

— Слушай, с такими встречами надо кончать.

— Стаблфилд! Что ты тут делаешь?

— Дышу свежим воздухом, мальчик мой, дышу свежим воздухом. О-о-о... И воздух осени свеж и прян. — Он действительно дышал свежим воздухом, причем с трудом. — А в тиши ночных часов / На крылах летучей мыши / С каждым взмахом мчусь все выше[1]. — Цитата из Шекспира прерывалась присвистами и вздохами.

— Какого хрена ты сюда поперся? — В голосе Дики сквозило отчаяние, руки дико болели.

— Тебя решил навестить (*вздох*). Фоли оставил вертолет в Таиланде. Знал ведь я, что нужно съездить его забрать. Дьявол! Староват я для этого. (*Присвист.*) Гимнастика — не мое призвание. Фигура неподходящая.

— А Лиза? Лиза где?

Стаблфилд застонал.

— Лиза? Одно знаю: она не висит в семистах пятидесяти футах над землей. — И он снова застонал. — Про Лизу ничего не знаю. Мадам Пхом (*вздох*) оставила мне ее письмо. Я так понимаю, она и тебе написала. Я решил, ты расстроишься. Отправился тебя подбодрить. Дьявол! Плечи просто отваливаются.

Дики не знал, что и думать.

— Так Лизы вообще здесь не было? Ну, теперь все понятно. А ты решил меня утешить.

— Я — твоя официально назначенная Синяя птица. — Стаблфилд. прерывисто дыша, затянул, сюсюкая, песенку: — Если ты счастлив и знаешь это, хлопни в ладоши, раз-два. — Он задумчиво взглянул на провисший канат. — Но, по зрелому размышлению...

— Стаб, ты спятил!

— Нет, это ты спятил. А я должен тебя вразумить.

1. У. Шекспир. Буря. Акт V, сцена 1. Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

— Слушай, нам надо отсюда выбираться. Отправляйся-ка в обратный путь. — Двуглавая и треглавая мышцы Дики уже дымились, а дельтовидная опасно потрескивала.

— Уж не знаю, смогу ли...

— Возвращайся назад. Это ближе. Я за тобой! Давай!

Дики продвинулся вперед, но Стаблфилд не шелохнулся. Они были уже совсем рядом.

— Ты (*стон*) встал у меня на пути, Голдуайр. У тебя уважения к личности не больше, чем у женщин, с которыми я живу.

Совсем рядом прошмыгнула стайка летучих мышей, чей писк и визг звучал как минималистская музыка к спектаклю про двух мужчин, висящих бок о бок на канате. Если бы на спине летучей мыши действительно сидела фея, она бы решила, что эти две освещенные луной фигуры — часть силуэта какого-то далекого города.

— Ну двигайся же, черт тебя подери!

— Ладно-ладно... Голдуайр, ты вынуждаешь меня отступить? Ты что, забыл (*вздох*), что я из тех (*вздох*), кто идет только вперед?

Медленно, с трудом они продвигались к платформе на обрыве. Несмотря на серьезность ситуации, Дики не сдержался и крикнул:

— А что насчет ребенка?

— Ребенка (*вздох*)?

— Кто отец?

Стаблфилд так резко остановился, что Дики чуть на него не налетел.

— Это не наше дело, — бросил он раздраженно. — Не наше дело, Голдуайр. У женщин свои тайны. Это надо уважать. — Голос его слабел. — Наша Лиза... больна неземной болезнью... Ты что, не догадывался? Лиза имеет дело с могущественными силами (*выдох*). С силами, вызывающими благоговение и почтение. А мы с тобой имеем дело разве что с правительством. — Он фыркнул, и правая рука соскользнула с троса. Его роскошное, облаченное в лиловый костюм тело осталось висеть на одной левой.

— Стаб, держись! О господи! Хватай канат! — Дики понимал, насколько это трудно — у него самого пальцы начали неметь. — Хватай его, Стаб! Хватай, умоляю! Ну же! — Он почти рыдал. — Прошу тебя!

— Меня... этот способ передвижения... разочаровал. — Стаблфилд раскачивался все сильнее. — Теряешь... собственное... достоинство. Пожалуй, я... выберу... другой. — Он крикнул нечто вроде "Пусть гадают!"

И исчез.

Именно что исчез. Дики не видел, чтобы он падал. Просто Стаблфилд был, и вдруг его не стало. Ноги Дики так отчетливо ощущали пустоту внизу, словно он стоял на груде острых камней. А из глубин бездонной пустоты не донеслось ни крика, ни всплеска, ни стука, ни рокота прощальной отрыжки — ничего, что обозначило бы завершение. Слышны были только писк летучей мыши, кукушкино *ку-ку* и призывный гул забвения.

* * *

Последователи Карла Юнга утверждают, что совпадений не существует. Кроме того, среди наших знакомых есть такие, кто пытается нас убедить, что и ошибки быть не может, а следовательно, надо сделать вывод — не может быть и счастливого случая. Кто скажет наверняка, по чистой случайности или по подсказке подсознания полковник Пэтт Томас

очутился 15 сентября в храме Чинго-до в Токио? Чинго-до — храм, посвященный тануки, и Томас точно отправился туда не специально.

Узнав о террористических актах, полковник тут же связался по телефону с командующим разведкой военно-воздушных сил. Томасу и сержанту Кентербери было приказано немедленно отправляться в посольство США в Токио и оставаться там для выполнения спецзаданий в этом регионе. В конце их краткой беседы полковник Томас сообщил, что дезертир Дерн Фоли был "нейтрализован" и больше хлопот с ним не будет. (Он скрестил на счастье пальцы.)

— Ну и хорошо, — прорычал полковник, и вопрос был закрыт. И пусть Мэйфлауэр Кэбот Фицджеральд что хочет, то и думает, хотя у этого кретина наверняка сейчас на уме проблемы посерьезнее, чем осточертевшие всем "без вести пропавшие". Вот оно: нет худа без добра.

В Токио полковник встретил своего старинного приятеля. Билл Леворк, бывший офицер разведки, служил теперь в посольстве, в отделе связей с общественностью. В субботу днем Леворк предложил показать полковнику город, и, поскольку приказов от начальства не поступало и дел не было никаких, тот согласился. Томас не был в Токио лет двадцать и составил список мест, которые хотел посетить. Среди них значился и храм, но не Чинго-до. Леворк храмы знал плохо и привез друга в Чинго-до по ошибке. (По ошибке ли?)

Точнее сказать, Леворк привез его в Сенсо-дзи, огромный буддистский комплекс в Асакусе, квартале Токио, который вместе с соседним Иосиварой стал для Токио тем же, чем стал для Бангкока Патпонг. Храм Чинго-до находится совсем рядом с Сенсо-дзи, на торговой улочке, где продается все, от туристических сувениров до настоящего антиквариата, мало похожей на роскошный Сенсо-дзи. (Пятиэтажная пагода Сенсо-дзи окружена садами, а вход в Чинго-до — рядом с обувным магазином.)

Билл Леворк был крайне озадачен.

— Нет, — сказал он, — это вроде не то. — Он остановился прочитать табличку на выкрашенных красным воротах, после чего сообщил Томасу, что в 1872 году Совет попечителей Чинго-до посвятил этот храм обожествленному животному — "енотовидной собаке". Эти зверьки прежде обитали в больших количествах на территории Сенсо-дзи, и считалось, что они отпугивают разбойников и предотвращают пожары. — Просто какая-то помесь медвежонка Смоуки[1] с сержантом Макдаффом, — презрительно усмехнулся Леворк и собрался уже идти дальше. — Твой храм, наверное, где-то поблизости.

— Погоди-ка, — сказал Томас. — Пойдем-ка засвидетельствуем свое почтение. Если это сработает, может, прекратить страховать дом? Страховые взносы на случай кражи и пожара меня по миру пустят. — Несмотря на недавние трагические события, полковник пребывал в бодром настроении. Возможно, с нетерпением ждал нового задания, или же это было как-то связано с запиской, лежавшей у него в кармане: вернувшись поздно ночью 11 сентября в гостиницу "Зеленый паук", он обнаружил под дверью листок с названием и адресом клиники на Филиппинах, где страдания его смертельно больной сестры можно было облегчить при помощи героина. И подпись: "Обнимающий деревья".

1. Смоуки — талисман Службы леса — медвежонок в форме лесника и с лопатой в руках. В 1950-х гг. по решению Конгресса стал символом борьбы за предотвращение лесных пожаров.

Американцы вошли в ворота, купили в кассе билеты, прошли между двумя довольно большими каменными фонарями и приблизились к храму. В нем не было ничего примечательного, если не считать двух глиняных статуй забавных зверьков, стоявших на задних лапах справа от входа. Фигурки были футов пяти высотой, выкрашенные черным, с круглыми белыми животиками и белыми кругами вокруг явно безумных глазок. Изображения были стилизованные, и до полковника Томаса дошло, кто это такие, только когда Леворк сказал:

— А, я понял! Эти "енотовидные собаки" и есть легендарные японские барсуки, как их там, кажется, тануки.

Не успел Леворк договорить, как Томас увидел ее. Зеленое платье с высоким воротником, черные замшевые сапоги, очаровательное, хоть и слегка асимметричное лицо и блеск в глазах, придававший лицу игривое и чуточку пугающее выражение. Она опускала пятийеновые монетки в ящик для пожертвований. Не сказав приятелю ни слова, Томас направился к ней.

Она ответила на его приветствие с ледяной вежливостью. Но, присмотревшись повнимательнее, просияла.

— Это вы! Бангкок! Да, помню. Вы все время искать тануки, да?

— Чего? Я? — Он взглянул на статуи. И засмеялся. — Нет-нет. Это просто совпадение.

— Я так не думать. Я думать — как сказать? — вы искать тануки. Фанат тануки. Вы тайком поклоняться тануки.

— Да ну что вы! Я про тануки ничегошеньки не знаю. Я искал другой храм, совсем другой. Мой приятель думал, это где-то поблизости. — Когда он видел ее в Бангкоке, она сидела за столом, и он только сейчас заметил, что она месяце на седьмом беременности. Кивнув на ее живот, он сказал: — Думаю, вы наверняка знаете, где этот храм.

— Я? Почему вы так думать?

Томас объяснил, что в Токио есть храм, он только названия не помнит, куда беременные женщины ходят молиться о здоровье будущих детей, а бездетные молятся о том, чтобы забеременеть. Храм, специализирующийся на родовспоможении и лечении бесплодия.

— Я не знать такое место. Я недавно в Токио. — Она посмотрела на него с любопытством. — Почему вы его искать?

По причинам, которые он и сам не мог объяснить, полковник в последнее время стал отвечать на личные вопросы откровенно, что людям его профессии не свойственно.

— Понимаете, у нас с женой нет детей. Мне сорок пять, ей тридцать восемь, и время-то уходит. Жена увидела по телевизору передачу про этот токийский храм, где лечат бесплодие, ну, а как узнала, что я здесь буду, пристала ко мне, велела сходить — мало ли что. Вроде как в шутку это говорила, но она родом из Луизианы, а они там все на вуду помешаны. — Томас взглянул на статуи и заметил, что у одной — огромная мошонка. — Эти зверьки, думаю, нам вряд ли помогут.

Лиза улыбнулась и покачала головой.

— Нет, они не помочь. Это храм хороший, а все равно — идиотское место.

— Да? И почему же? Что в нем такого идиотского?

— Японцы думать, Тануки их беречь от воров, а Тануки сам главный вор. Тануки всегда воровать еда, воровать сакэ, воровать женщины.

Есть у меня такие дружки, подумал Томас. А вслух сказал:

— У нас есть поговорка: "Вора только вор поймает". И органы, которые у нас в Штатах называются правоохранительными, действуют, руководствуясь именно этим принципом. Так что, может, для тануки охрана — самое подходящее занятие.

Лиза посмотрела на часы.

— Я теперь идти в другое место Тануки. Лучше. Вы любить Тануки, вы его тайный фанат, вы идти со мной, я показать. Самый хороший храм Тануки. Первый сорт. Будете смотреть?

Томас поманил пальцем Леворка, который из вежливости держался на расстоянии.

— Билл! Иди сюда! Я хочу познакомить тебя с мадам Ко. Она приглашает нас осмотреть главную обитель тануки. — Он обернулся к Лизе. — Это ведь не то, что шоу в Бангкоке?

Поклон Леворка мог бы быть заметен только японскому глазу. Мадам Ко, густо покрасневшая при упоминании о бангкокском шоу, ответила на приветствие.

— Еще тануки? — спросил Леворк. — На кой они нам сдались?

— Я фанат тануки, — подмигнул ему полковник. — Последователь тайного культа. — Он кинул монетку в ящик для пожертвований, и они втроем, весело болтая, отправились на ближайшую железнодорожную станцию. Мужчины решили, что у Лизы нарушение речи (она говорила так, будто у нее во рту нарыв), но спросить не рискнули.

Храм, куда привела их Лиза, называется Янаги Мори. Как это ни странно, находится он в Акихабаре, одном из самых неприметных районов Токио, известном разве что магазинами с дешевой электроникой. Янаги Мори, огороженный забором из красного штакетника, выходит на узкую улочку с магазинами и ларьками. А за ним — набережная реки Канды, чьи зеленые воды, заключенные в бетонный желоб, текут по Токио точно так же, как протекает река Лос-Анджелес по городу с тем же названием: вот и еще одно доказательство несостоятельности человеческой фантазии.

Хотя территория храма оказалась не больше, чем, скажем, стоянка у пригородного "Макдоналдса", там повсюду были изображения Тануки — из камня, дерева, глины, железа и еще из невесть каких материалов. Некоторые вполне симпатичные, и американцы нашли, что атмосфера здесь приятная. Достаточно почтительная, но чуточку ироничная, видимо, чтобы почтение не переходило в набожное почитание.

Они походили, посмотрели статуи, и Томас, показав на здание чуть поодаль, сказал:

— Там, наверное, еще тануки.

— Нет, — ответила Лиза. — Это храм Кицунэ. Кицунэ — не то что Тануки. Кицунэ — это по-вашему... *лис.* В Японии барсук и лис иметь особая сила, люди им поклоняться, но они не настоящие боги. Лис Кицунэ — посланник богов. Он ходить между мирами. Между другой мир и этот. Может пошутить, сделать скандал, но он много работать. Тануки никогда не работать. Он только веселиться. Есть, пить, танцевать, делать секс. Всегда весело.

— Понятно, — сказал полковник. — Так может, пойдем к Кицунэ? Похоже, Братец Лис поважнее.

Лиза окинула его взглядом — с фуражки до кончиков ботинок. Глаза у нее светились — как внутренности сладкого перца, от которого отреза-

ли кусочек. У ее улыбки собственного цвета не было, но она словно забирала цвет у всего вокруг.

— Да? — удивилась она. — Вы думать, веселье — не так важно? Веселье не так, как работа? А может, веселье лучше? Вы как думать?

— Меня легко переубедить, мадам Ко. И у вас это отлично получается. — И он прерывисто засмеялся.

— Полковник не полностью отвергает веселье, — вставил слово Леворк.

— Ой, не полностью, — согласился Томас. — А когда я избавлюсь от этих птичек, — показал он на погоны, — то уж повеселюсь как следует. Через пять лет выхожу в отставку, — объяснил он Лизе.

— И что тогда делать?

— Мы купили отличный деревянный коттедж в Орегоне. В горах неподалеку от Грантс-Пасса. Куплю болотные сапоги, буду ловить форель и встречаться с друзьями — с теми, кто просто хочет поиграть со мной в покер и не желает обсуждать политику и текущие события. А еще буду сидеть на веранде, пить виски и беседовать с дятлами. А по настроению, может, черт возьми, когда и встану, обниму одно-другое дерево. — Незаметно для остальных он пощупал бумажку в кармане. — Правда, — вздохнул он, — поскольку тот храм мы так и не нашли, топота маленьких ножек в доме не будет.

Леворк только усмехнулся, а Лиза мысленно произнесла: *Не зарекайся!* Она, разумеется, подумала о тануки, которые обрели свободу как раз в районе Грантс-Пасс, но вдруг в голове забрезжила совсем другая мысль. Подойдя к одному из каменных тануки, Лиза сделала вид, что внимательно его рассматривает. Она так работала челюстями, будто жевала хрящик, но причиной тому были ее размышления, а также резко усилившаяся боль в нёбе. К мужчинам она присоединилась только через несколько минут. И вдруг резким движением схватила руку полковника и прижала к своему животу.

— Скоро, — сказала она, — я иметь дитя-сан. Я уехать. Не могу взять дитя. Может быть, я отдать дитя вы и ваша жена.

Томас потерял дар речи.

— Вы это серьезно? — спросил Леворк.

— Да, я серьезно. — Она еще сильнее сжала руку Томаса. — Вы думать сегодня, вы говорить жена. Завтра или день после завтра вы приходить этот храм. — Потом она показала на здание не больше хижины Дики: — Дом сторожа. Если я нету, вы оставить ответ сторож. О'кей? Если ответ "да", вы приезжать сюда через один год. — Она взглянула на часы. — Один год. Сентябрь пятнадцать. Когда дитя уже не сосать грудь. Если я нету, девочка в доме сторожа. Для вас. Ваше дитя. Извинить, документы нет.

Для человека со связями в министерстве обороны и ЦРУ вывезти из Японии ребенка без документов труда не составляет, но Томас был слишком потрясен предложением, чтобы думать о деталях. Одно он отчетливо понимал: говорит мадам Ко все хуже, но говорит совершенно искренне. В ответ он смог только пробормотать:

— Спасибо... Поверить не могу... Спасибо... Я вам сообщу. Мы это обдумаем и вам сообщим. Спасибо.

И в этот самый миг мадам Ко выпучила глаза, лицо ее перекосилось. Прикрыв рот ладонью, она согнулась пополам. Томас решил, что ее сейчас вырвет. Мужчины смущенно и озабоченно переглянулись. Лиза за-

кашлялась и отвернулась. И стала вытаскивать что-то изо рта. Что-то яркое. Мягкое. И на удивление большое.

С минуту она рассматривала это "что-то", оказавшееся свежей хризантемой. На ней, как роса, блестела слюна. Лиза показала ее мужчинам. Улыбнулась сконфуженно, но не без гордости. А затем быстро ушла в сторожку.

— Вот те на! — воскликнул Леворк. — Это что за чертовщина?

— Ничего особенного, — махнул рукой полковник Томас, выводя приятеля из храма Тануки. — Мадам Ко циркачка. Это был просто фокус.

Эпилог I

Тела Стаблфилда так и не нашли. И решили, что его останки съел тигр. Однако, что странно, когда прочесывали ущелье, не отыскали ни косточек, ни лоскутка лилового костюма, ни остатков рюкзака, который был при нем (по-видимому, он намеревался переночевать у Дики).

Поисковая партия, состоявшая из Дики и пяти-шести рыдающих молодых женщин, обнаружила две вмятины в грязи — там, где незадолго до этого вышел из берегов ручей, — и, поскольку каждая была раза в два больше размера ступни человека, возникло предположение, что Стаблфилд приземлился на ноги, а поскольку попал в грязь, остался в живых. Подобные "чудеса" случаются. Например, однажды в Новой Зеландии у одного парашютиста не раскрылся парашют, но, так как он приземлился в илистый пруд с утками, обошлось даже без синяков.

Некоторые старейшины утверждали, что от тигров Стаблфилда защищала татуировка. Они уверяли, что Стаблфилд жив-здоров и обитает в какой-нибудь пещере с семейством тануки.

Были и другие слухи, более правдоподобные: их привезли в Фань-Нань-Нань циркачи-путешественники, которые уверяли, что Стаблфилд отправился в Гонконг, где у него был счет в банке, и там его видели, причем не раз. Рассказывали, что он поселился в гавани на роскошной джонке и пишет мемуары. Да, эта книга могла бы украсить не одну библиотеку. Наверное, называться она будет "Пусть гадают", и ее будут резко критиковать те, кто не может смириться с мыслью, что для человека чувство прекрасного является куда более подлинным и предпочтительным, нежели чувства религиозные или политические. Но пока такая автобиография не появилась, нельзя утверждать наверняка, что Марс Альберт Стаблфилд умер. Да здравствует Марс Альберт Стаблфилд!

* * *

Дерн В. Фоли совершил последний и крайне рискованный полет на разваливающемся "Умнике-2" и вновь поселился на вилле "Инкогнито".

Он распустил слуг, расплатившись с ними коврами и мебелью. Сожительницы, в том числе и самая любимая, были вознаграждены ценными предметами искусства и также отосланы прочь. В тот же день Дерн, взяв ножовку, перепилил растяжки троса со стороны виллы. А затем перепилил и сам трос. Когда он закончил, конец, болтавшийся у противоположной стороны ущелья, блестел в лучах полуденного солнца, как огромная сверкающая нитка лапши, свесившаяся через край миски.

Фоли внимательно перечитал каждый стих Библии бесчисленное количество раз, но, не найдя рационального подтверждения расхожего убеждения, что это "слово Господа", забросил священную книгу и сосредоточил свое внимание на флоре и фауне. И если вызывание "духов природы" оказалось бы в конце концов очередной пляской вокруг бездонной черной дыры духа, еще одной бескровной попыткой выжать сок из космической репы — что ж, останутся еще винный погреб и чанду.

А о том, какую особую, упоительную радость он испытывал потому, что в очередной раз избежал капкана властей, и говорить не приходится.

* * *

Раз уж речь зашла о властях, сообщаем, что полковник Пэтт Томас получил задание в Афганистане. Перед тем как отправиться в Карачи, он снова встретился с Лизой Ко в храме Тануки, где сообщил ей, что они с женой, проговорив час по телефону, решили принять ее предложение и удочерят ее дитя. Прежде они относились к подобным идеям с прохладцей, но это особый случай.

Естественно, возникли вопросы. Например, кто отец. Когда мадам Ко сказала, что на этот счет информации предоставить не может, полковник Томас только пожал плечами и списал это на половую распущенность, свойственную людям шоу-бизнеса.

На вопросы о том, где и как супруги смогут с ней связаться в течение года, Лиза отвечала так же уклончиво, но у Томаса создалось впечатление, что бóльшую часть времени она намерена проводить в храме Янаги Мори, и связаться с ней можно будет через тамошнего сторожа.

А что касается того, где она намерена поселиться, когда Томасы заберут ребенка, то Лиза сказала, что ее привлекают леса в окрестностях некоего озера Бива. Чем она будет заниматься, она не могла или не хотела рассказывать, однако дала понять, что возвращаться не собирается. Никогда. Но передала Томасу запечатанный конверт для дочери, который той надлежит вскрыть, когда она достигнет половой зрелости. Поскольку это было единственное условие мадам Ко, полковник дал слово, что выполнит его, и они договорились окончательно. (Речь ее вдруг стала безукоризненной, и фокусов больше не было.)

Прежде чем покинуть Токио, Томас договорился кое о чем еще. Его жена должна была в ближайшее время сопроводить его сестру в некую клинику близ Нью-Дели, где та могла умереть спокойно и с достоинством, чего заслуживает каждое живое существо и ради чего Богом — или матерью-природой, если вам так больше нравится, — и создан опийный мак.

* * *

Пру Фоли сбежала в Нью-Йорк с Бардо Боппи-Бип и вскоре стала продюсером на кабельном телевидении в шутовском шоу Бардо, рассчитанном на геев нынешних, будущих и таких, которые о своих склонностях еще не догадываются. Судя по электронным письмам к Бутси, сестра была вполне счастлива и лишь однажды упомянула, что романтическая страсть к партнерше пробуждается, только когда та в клоунском костюме и в гриме. Причуда, которая рано или поздно должна была привести к печальным последствиям.

Что касается Бутси, то она не чувствовала себя такой уж одинокой. К удивлению сослуживцев, она выкрасила пару прядей зеленым, глаза

подвела темно-синим, прицепила к корсажу черные розы и стала посещать заведения вроде клуба "Вервольф". Она решила во что бы то ни стало проникнуть в секту сатанистов, выйти на сатанистов из Лос-Анджелеса и вызволить Дерна из поместья "Плейбоя". Но ее репутация в оккультных кругах рухнула в тот день, когда она назвала Хэллоуин "симпатичнейшим праздником", а первую серьезную осеннюю бурю "очаровательной".

* * *

Дики Голдуайр камни похуже сдал в Бангкоке. После чего по поддельному французскому паспорту поехал поездом в Сингапур, где выручил кругленькую сумму за "голубиную кровь". Вернувшись в Таиланд, он поручил Ксингу передать вдове ее долю, а сам отправился на поиски мисс Джинджер Свити.

— Дики! — радостно заверещала она. — Ты больше не ходить в школу кошмаров? Гитара где?

Через месяц они поженились. Церемония была буддистской, но свадьбу устроили по-западному. На ней пел Элвисьют, и пел чудесно, правда, во время выступления у него дважды пищал пейджер, и он, отработав свое, умчался на следующую гулянку.

Молодожены поселились в Накхонпатхоме, поближе к университету, но через три месяца Джинджер дали студенческую визу, и они — мистер и миссис Пепе Газо — улетели в Колорадо, где Джинджер намеревалась изучать творчество Аллена Гинзберга в Институте Наропа[1].

Дики, до глубины души потрясенный ограничением свобод и засильем рекламы, приспосабливался к новой жизни с трудом. Он скучал по Фань-Нань-Наню, но о прошлом вспоминал без злобы и без сожалений, и они с мисс Джинджер Свити устроились в Боулдере совсем неплохо. Поскольку случайная встреча с родственниками или знакомыми могла обернуться ненужными неприятностями, Дики жил тихо, не высовываясь, хотя порой на табличках "Созревшие на ветке помидоры" и писал фломастером "Вранье!" — в память о Стаблфилде. Но пойман на этом не был.

Нет никакого проку рассуждать о том, сколь часто и с какими чувствами вспоминал он о Лизе Ко, но одно можно сказать наверняка: случалось, наедине с собой он размышлял о том, что именно имел в виду Стаблфилд, сказав: "Наша Лиза больна неземной болезнью".

Что до гитары, так Дики купил себе новенькую "Martin D-28", на сей раз — настоящую. И наконец дописал свою песню.

Хочешь — голым ходи,
Сексуальней не станешь.
Исповедуй цинизм,
Но не будешь крутым.
Ложь за ложью выстраивай в ряд,
Нацепи на себя маскхалат,
Все равно тебя пробуравит взгляд
Того, кто видит тебя насквозь.

1. Институт Наропа — гуманитарный колледж, основанный в 1974 г. в американском городе Боулдере тибетским ученым, специалистом по буддизму Чонгьямом Трунгпа. В том же году Аллен Гинзберг и Энн Уолдман открыли при институте "Школу освобожденнной поэзии Джека Керуака".

Что остается в конце концов?
Страсти твои, а не пересказ снов.
Святым Граалем считают любовь
Даже в Когнито.

Так что, сестричка, внимательно слушай,
И ты, браток, навостри-ка уши.
Занятно, конечно, в игру играть,
Боли бежать и богов забавлять,
Но успеху с удачей нельзя доверять,
Твое "я" позабыло, как тебя звать,
И в этом мы схожи, надо признать:
Все мы – инкогнито.

Эпилог II

* * *

Тук-тук!

– Кто там?

– Я Самый.

– Неужто ты, Тануки? Давай лезь сюда, если сумеешь. У меня тут все вверх дном. Такого бардака даже Бог Холостяцких Квартир не вынес бы. – Тут в нору Кицунэ пробрался Тануки. – Ой, и впрямь ты! Ты где шлялся, старый плут? Как ты вообще?

– Да как "как"... Как и ты.

– М-да... – вздохнул Кицунэ. – Чертовы людишки. Но нам недолго осталось мучиться. Похоже, они всерьез подумывают о массовом самоубийстве.

– Ага, о глобальном харакири. Но они его иначе называют.

– Само собой. Они называют его *прогрессом*. А еще *национальной безопасностью, энергетической политикой* и еще какими-то идиотскими словами. Только и мотивы их, и конечные цели – всё одно. Правда, утешает, что они снова взялись налаживать межвидовое общение. У них там в этих, как их, в компьютерах, появилась Всемирная паутина...

– Это когда еще было – при Зверях-Предках. Они про все забыли, когда забыли, что и сами звери.

Лис кивнул.

– Все эти выпендрежные технологии оказались в лапах шайки приматов, которые в эмоциональной сфере недалеко ушли от павианов. Это же шимпанзе на бульдозерах, мартышки с бомбами. Ситуация очень опасная, но оно и к лучшему: опасность – предвестие перемен, а перемены – дорога в будущее. В этом мире у нас с тобой есть еще на что надеяться. Да, кстати, твои-то отпрыски справляются лучше многих. Намного лучше. Твоя слава даже до Америки докатилась.

– Это уж точно! – фыркнул Тануки. – Если добавить пару тыщ иен, можно и чашечку сакэ купить.

— Ой, извини! Хозяин из меня никудышный! Клянусь, у меня в доме ни капли спиртного. Могу предложить разве что вчерашнюю сову доглодать.

В рот вечно голодного барсука/пса/енота хлынули потоки слюны. Однако он ответил:

— Не бери в голову. Мне уже пора. У меня встреча.

— Вот оно как? Значит, у тебя встреча? Все продолжается? Либо это — величайшее безумие, либо — величайшая победа. Как говорят люди, время покажет.

Тануки снова фыркнул.

— У времени пасть огромная, а мозгов капля.

— Отлично сказано, — похвалил Кицунэ. Они еще немного поиздевались над ошибочными трактовками феномена времени. А затем лис сказал: — Ну ладно, ты Тануки был, Тануки и остался. И поступаешь так, как вздумается. Должен сказать, у меня сохранились самые теплые воспоминания о Михо и малышке Казу. — И он ткнулся гостю мордой в шею. — Давай я с тобой выйду. В следующий раз я уж припасу для тебя бутылочку. И мы проведем время с пользой — вместо того чтобы попусту на людей жаловаться. Нужно брать пример с богов: пока люди не поумнеют, на них вообще нечего обращать внимания.

Тануки хотел было возразить, что не обращать внимания на людей легко тем, кто обитает в Заоблачной Крепости или в Ином Мире, но тут вдруг увидел, какой чудный день стоит в *этом* мире, и так обрадовался, что все слова из головы вылетели.

Пожухлая трава на поляне была одного с солнцем блекло-желтого цвета. На пыльцу словно объявили сезонную распродажу, и головка каждого второго цветка клонилась под тяжестью пчел. В ветре оставалась пара-тройка калорий тепла, и он несся с гор — видно, чтобы окунуться напоследок в озеро Бива. Кусты, пунцовые, как после долгих ночей любовных прелюдий, ждали, насторожив каждый листок, когда на них наконец извергнется россыпь инея. В воздухе стоял сладковатый запах палых и прелых плодов и перезревших грибов, слышался стабильный стрекот страды, и над всем этим носились вороны, доводя всех и вся своими невразумительными коанами. Вьющаяся в вышине смоляно-черная стая походила на прилепленные к нёбу накладные усы.

— Когда лето переходит в осень, — сказал Тануки, — мне почему-то хочется... хочется валяться и кувыркаться. — Он так хлопнул себя по животу, что даже мошонка затряслась, рухнул в сухую траву и покатился.

— Я понимаю, о чем ты, — ответил Кицунэ, — хотя мы, лисы, не склонны к столь бурным проявлениям чувств. Знаешь, это единственная пора, к которой людям стоило бы отнестись повнимательнее. Смена времен года. — Он с хохотом бросился наземь и присоединился к приятелю.

Как вы думаете, может, Бутси, несмотря на свою убогую лексику, что-то все-таки понимала правильно?

Георгис Павлопулос

Стихи

Перевод с греческого и вступление Ирины Ковалевой

В творческой биографии современного греческого поэта Георгиса Павлопулоса (родился в 1924) есть черты, роднящие его с Кавафисом. Главная из них вот какая: Павлопулос, как и Кавафис, "немногословный" поэт. За 80 лет он написал около 200 стихотворений, напечатал — и того меньше. Первая публикация стихов Павлопулоса — в 1943 г. в журнале "Одиссей", который Павлопулос издавал с друзьями. Первый сборник "Подвал" вышел в 1971 г. в издательстве "Эрмис" ("Гермес"), когда Павлопулосу было уже далеко за сорок, по инициативе Георгоса Сефериса, тогда уже лауреата Нобелевской премии по литературе. В 2004 г. вышел седьмой сборник его стихов под названием "Куда улетели птицы?". Между этими публикациями — целая жизнь; к Павлопулосу с полным правом можно отнести слова, сказанные Сефернсом о Кавафисе: он перелил по капле свою жизнь в эти полторы сотни стихотворений...

Как и Кавафис, Павлопулос связан с одним городом — только не с блестящей Александрией, гордящейся тысячелетней историей, а с крошечным провинциальным Пиргосом в пелопоннесской области Элея (самая знаменитая ее часть — древняя Олимпия, давшая начало Олимпийским играм; современная — прекрасная — экспозиция археологического музея в Олимпии, содержащая шедевры Фидия, создавалась на глазах у Павлопулоса. Выдающийся археолог и реставратор Стелиос Триандис, друг Павлопулоса, кропотливо воссоздавал статуи из обломков; по словам поэта, Триандис умел слышать голос мрамора и потому был безошибочен в своих решениях; отголоски этой работы есть в стихах Павлопулоса). Там, в Пиргосе, Павлопулос родился, туда же вернулся после учебы на юридическом факультете Афинского университета. Диплома, впрочем, он не получил и работал на самых "непоэтических" работах (как и Кавафис) — бухгалтером или де-

© G. Paulopoulos, 1994, 2004.
© Ирина Ковалева. Перевод, вступление, 2005.
Редакция благодарит Георгиса Павлопулоса за право безвозмездной публикации.
Переводчик выражает признательность Михалису Пиерису за помощь в подготовке данного материала.

лопроизводителем... В Пиргосе он живет, выбираясь из него разве что летом, в крошечный домик на море, где рисует свои картины, — Павлопулос не только поэт, но и довольно известный в Греции художник.

Павлопулос похож на Кавафиса еще и тем, что избирает самые "экономичные" средства для построения своего поэтического мира. Никакой риторики, только самое необходимое — он работает подобно скульптору, отсекающему "все лишнее" от скульптуры, уже сокрытой в глыбе мрамора...

И все-таки Павлопулос не похож ни на кого. Он пишет о Памяти и о Красоте, о страшном опыте войны (его поколение пережило оккупацию Греции гитлеровскими войсками) — и о любви, снова и снова о любви. Его стихи целомудренны и эротичны — сочетание, не часто встречающееся в современной поэзии.

Девушка в кафе. Рисунок Г. Павлопулоса

Стихи Павлопулоса переводились на английский, испанский, немецкий и французский языки. В 1983 г. в антологию греческой поэзии "Геракл и мы" (издательство "Радуга") вошли 4 небольших стихотворения Павлопулоса из двух его первых сборников в переводе Юнны Мориц.

В 1999 г. на Кипре проходила конференция, посвященная двухсотлетию со дня рождения основоположника современной греческой литературы, "греческого Пушкина" — Дионисиоса Соломоса (1798 — 1857). Организаторы конференции пригласили на нее пять крупнейших ныне пишущих греческих поэтов, и вместо одного из заседаний было устроено чтение стихов. Там я впервые познакомилась с Г. Павлопулосом, и он подарил мне вышедшую незадолго до того вторым изданием книгу "Отмычки" (1994), стихи из которой он тогда читал. С тех пор я мечтала их перевести. Теперь эта мечта начала осуществляться.

Из книги "Отмычки"

Театр сна

Георгосу Михаилидису[1]

Я и правда ее забыл
и лицо забыл и голос
даже не помнил
ни до́ма ни улицы ни ступенек

1. Г. Михаилидис – один из наиболее крупных театральных режиссеров современной Греции, основатель и руководитель Афинского Открытого театра. Известен также как романист. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

вдруг в черном платье
босиком как тогда
вошла в темный мой сон
ну иди сказала

мы спустились по лестнице ощупью
снова сели на ступеньки я ее обнял
и сказал куда ты пойдешь
она сказала все равно
я ее хотел
и сказал ей я хочу тебя
она сказала Война ведь
не делай этого любимый
может однажды встретимся снова
взъерошила мне волосы
сказала ты еще маленький
найдешь себе других а меня забудешь
даже не вспомнишь что забыл меня

остальные там наверху еще танцевали
кто-то наклонился со свечой над лестницей
крикнул сверху
есть там кто на лестнице
мы не ответили
и было ее дыханье в моем дыхании
как тогда

но теперь мы знали что это игра безнадежная
игра в любовь
в прошлую нашу жизнь
в темном моем сне
мы как два неумелых актера
трепещущие перед режиссером.

П*роба*

Наверху накрывали на стол для свадьбы
а мы с сестренкой невесты
спустились в погреб за сыром.
Я открыл бочку и окунул палец
в пахучую мякоть.
Он был весь в рассоле.
Она взяла меня за палец и сунула его себе в рот
чтобы попробовать первой.

Шкатулка

Толика мрака ее волос и цветок жасмина.
Письмо сочиненное мною от имени некого Владимира
которое я заставил написать по-русски Валю Нелавицкую
чтобы ее позлить.
Стеклянная улитка из Шотландии и монета царя Деметрия
Полиоркета подарки Питера из его поездок.
Камешек со стихом: Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris[1].
Калейдоскоп что я хотел в детстве а нашел в той китайской
лавочке
рядом с Орландо.
Лист плюща с его могилы на кладбище Овер-сюр-Уаз
точно его отрезанное ухо.
Одна сережка Элени.
Серый галстук что мне подарил тот самый Стоппакий
Папенгнус душит меня как петля если надену.
Обрывок пачки сигарет с телефоном Пелии по которому я
никогда
не позвоню.
Вот что лежит во флорентийской шкатулке.
И еще — четки Поэта: девяносто девять бусин, пять кораллов и
голубая кисточка.
Тридцать три для мира
тридцать три для неба
тридцать три для ада
кораллов пять по числу чувств.
И голубая кисточка бесконечные волны стихов.

Прах

Мице

Ветер шумел
вздымая их прах
до самого неба
она боялась боялась
эй трусиха кричал он ей

Перестань дурачок говорила ему
уже мы не на земле
у нас нет больше кожи
нет волос
даже глаз и то нет

1. Я никогда не плачу и никогда не смеюсь (*франц.*).

Мы стали прахом говорил ей
но ведь ты меня видишь и я тебя тоже
и любовь все еще длится
она не может стать прахом
и любовь все еще длится

Я твой прах говорила ему
а ты мой
но куда мы подымаемся куда
ветер все шумит и ты пропадаешь из виду
эй трусиха кричал он ей

Перестань дурачок говорила ему

Разбитое зеркало

С тех пор прошли годы. Он все еще сидел в одиночестве
дома
Глядя на стену, туда, где висела картина.
Как будто корабль — он не мог припомнить не мог
различить
что там на ней нарисовано. В комнате было темно и нет
никакой картины сказал он.
Ту, что ты видишь, должно быть, годами ты создаешь
в уме
в неизменном сумраке где зарождаются сны.

Он спокойно поднялся и включил свет. Тогда он увидел
что на стене
висит разбитое зеркало его юности.
Из застывшего золотого огня выходила женщина
нагая вплоть до мрака ее и он опускал глаза
боясь обнаружить свое желание. Но она почуяла и
расхохоталась
бесстыдно
ища любого повода коснуться его и раздразнить еще больше.
Покуда он не осердился и запустив пальцы ей в волосы
не вытащил шпильки — и пряди рассыпались по плечам.

Теперь она дрожала всем телом и от ее испуганного взгляда
быстро отчалила и пропала крошечная яхта
с намалеванным на борту названием лавки
где они сходились когда-то с такой любовью. С такой
любовью.
И это была та картина что он пытался припомнить. И вдруг
он узнал ее.
И сказал "почему". И она горько шепнула "сам знаешь,
что спрашиваешь".
И в последний раз указала ему
на разбитое зеркало его юности.

Статуя и мастер

Исмини и Стелиосу Триандису

Когда музей закрывался
поздно ночью Деидамия[1]
спускалась с фронтона.
Уставшая за день от туристов
она принимала горячую ванну а потом
долго-долго расчесывала перед зеркалом
свои золотые волосы.
Красота ее навсегда
застыла во времени.

Тогда она снова видела как он
подкарауливает ее где-нибудь в темном углу.
Он подкрадывался бесшумно
хватал ее за талию и за грудь
и прижимая живот
одной ногой
упирался сильной пятою
в ее великолепное бедро.

Ее нисколько не удивляло
что он вновь и вновь на нее набрасывался.
Она даже ждала этого она привыкла.
Сопротивляясь для вида отталкивая
локтем его сладострастную голову
и целиком растворяясь
в его хищном теле
она чувствовала что потихоньку
он превращается в кентавра.

Теперь его конское копыто
причиняло ей боль
сладкую пробирающую до костей
и предаваясь ему
между своим страхом и его похотью воображала
что он все еще ее ваяет.

1. Деидамия (чаще Гипподамия) — невеста царя лапифов Пирифоя; на их свадьбе разыгралась знаменитая кентавромахия — битва между подвыпившими кентаврами, попытавшимися похитить лапифских женщин, в том числе и невесту, и лапифами. Кентавромахия — сюжет множества произведений античного искусства, среди них — один из фронтонов храма Зевса в Олимпии.

К Мраку

Мне приснилось что я дровосек устал и выхожу
из лесу
одинокое дерево на свету рубишь его как придет черед
а назавтра о нем забываешь
там где я лег у него в корнях уснул и мне приснилось
что мой топор
превратился в змею обвил ствол скользнул
в крону
и дерево расцвело цветы укрыли меня а тень была
свежа
как женщина что обняла меня и вернула в мою
первую жизнь
лица я не видел только цветок жасмина в темных
ее волосах вдыхал
среди поцелуев и слез и входя в ночь теперь
во сне
дерево было корабль и топор был мачта а к нему
привязанные змеей вместо веревки
я и женщина ветер сек нагие наши тела
покуда нос громадного корабля
медленно поворачивал к великому мраку.

Из книги "Куда улетели птицы?"

Среди ночи

Далеко за полночь
женский голос
шепнул мне: "Приходи".
Я спросил: "А кто ты?"
"Приходи", — повторила она
и положила трубку.

"Опять ошиблись", — подумал я
и склонился над своей тетрадью.

Я приду

Он остановился за домом
у изгороди
и увидел сохнущее белье
велосипед, мотыгу
резиновый шланг
и опрокинутую бочку на газоне.

Потом он вошел в сад.
Заглянул в окно кухни
и увидел мужа своей жены
играющего с детьми.
А она стряпала, улыбаясь им.

Они забыли меня, ну и ладно, сказал он.
Я приду посмотреть на них снова и снова
я хочу видеть их часто.
Не могу привыкнуть
к темноте там внизу.

Фотография

Юная женщина
смотрит на фотографию
на которой ему девятнадцать.
"Какой красавчик, — говорит, —
а глаза грустные...
Кто это?"

Он хочет ее так сильно
так неотступно
он — старик теперь —
говорит неопределенно
"Это один мой друг, он умер", —
и отводит взгляд.

Жалоба

Каждый раз когда я пытаюсь заговорить
с моим умершим другом
вспоминаю
жалобу души Ахиллеса:
"Как ты проникнул в пределы Аида, где мертвые только
Тени отшедших, лишенные чувства, безжизненно веют?"[1]

1. Одиссея. X. 475—476. Перевод В. А. Жуковского.

Парис

Сердцем моим никогда подобная
страсть не владела.

Илиада. III, 442

Они уснули нагими
и она лежала в его объятьях.

Так он никогда не желал ее прежде.
Теперь только, когда его тронула Смерть.

На полу ее прозрачные ризы
и рядом его пробитый щит.

От кораблей ахеян вздымается ныне
мрачный гул который разрушит Трою.
В дымном сумраке спальни
задумчиво смотрит на них старая Афродита.

Елена

Злую нам участь назначил Кронион,
что даже по смерти
Мы оставаться должны на бесслав-
ные песни потомкам.

Илиада. VI, 357–358[1]

Сегодня она снова нагая в его объятьях
но мысли ее устремились к иному ложу.

Впервые страсть его была ей нежеланна
впервые ласки и ночь ее страшили.

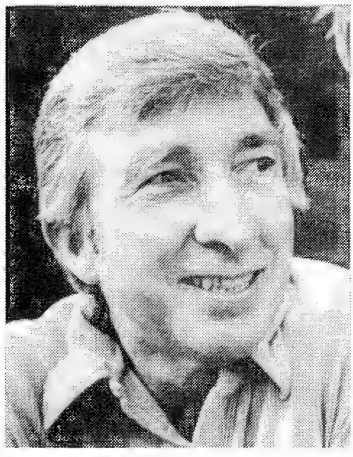
На полу ее разорванные ризы
и его пробитый щит этот вечный позор.

Но кто ее телу участь назначил, кто виноват,
что завтра ее красота разрушит Трою?

Какой бог судил им крепко любить друг друга
из-за любви стать поэмой о Смерти?

1. Перевод Н. И. Гнедича.

Джон Апдайк



Рассказы

Перевод с английского Ю. Жуковой

Голубиные перья

КОГДА они переехали в Файртаун, то всю мебель переставили, передвинули, поменяли местами. Красный диван с плетеной спинкой, краса и гордость их гостиной в Олинджере, оказался слишком большим для тесной, узкой деревенской общей комнаты, его изгнали в сарай и накрыли брезентом. Никогда больше не валяться на нем Дэвиду в послеобеденные часы, лакомясь изюмом и читая детективы, научную фантастику, Вудхауса. Синее мягкое кресло с высокой спинкой корытом, которое много лет простояло в стерильной, с привидениями гостевой спальне, глядя сквозь кисейные, с тканными горошинами шторы на телефонные провода за окнами, на конские каштаны и дома напротив, здесь воцарилось перед маленьким закопченным камином, единственным в доме источником тепла в эти холодные дни только что наступившего апреля. Ребенком Дэвид боялся гостевой спальни — это в ней он увидел, когда болел корью, черную палку с ярд высотой, она прыгала, слегка склонившись к нему, вдоль края кровати и, когда он закричал, исчезла, — и сейчас ему было неприятно, что один из свидетелей его тогдашнего страха нежится у огня, в самом сердце домашнего очага, залосниваясь от частого сидения. Книги, которые дома пылились в шкафу возле пианино, наспех рассовали без всякого порядка по полкам — плотники сколотили их вдоль одной из стен под окнами с широкими

© Ю. Жукова. Перевод, 2005
Рассказы будут опубликованы в сборнике Д. Апдайка, выходящем в издательстве "Азбука".

подоконниками. Дэвиду в четырнадцать лет было легче поддаться потоку движения, чем создать движение самому; он, как и перевезенная мебель, должен был найти здесь для себя место и, чтобы как-то начать осваиваться, во вторую субботу их жизни на ферме взялся разбирать книги.

Их выбор вызвал у него глухую скуку, это были в основном книги матери, собранные ею еще в юности, когда она училась в колледже: хрестоматии древнегреческих драматургов и английских поэтов-романтиков, "История философии" Уильяма Джеймса Дьюранта, тома Шекспира в сафьяновых переплетах с ленточками-закладками, пришитыми к корешку; "Зеленые дворцы", иллюстрированные гравюрами на дереве и в картонных коробках; "Я, тигр" Мануэля Комроффа, романы Голсуорси, Эллен Глазгоу, Ирвина С. Кобба, Синклера Льюиса, Элизабет[1]. Вдохнув запах их поблекшего мира, Дэвид почувствовал пугающую пропасть между собой и родителями, оскорбительный разрыв во времени, которое существовало еще до того, как он родился. И ему вдруг захотелось окунуться в то, ушедшее, время. Из стопок книг, громоздящихся вокруг него на старых, вытертых досках пола, он вытянул второй том четырехтомных "Очерков истории" Герберта Уэллса. Когда-то Дэвид прочел в одном из сборников его "Машину времени", так что автор был ему немного знаком. Корешок красного переплета выцвел до розовато-оранжевого. Он открыл обложку, и на него пахнуло сладковатым чердачным запахом; на форзаце незнакомым почерком была написана девичья фамилия матери — смелая, без наклона, и в то же время аккуратная роспись, в ней было трудно отыскать сходство с торопливыми, валящимися налево ломкими каракулями, которые с замечательным постоянством разбегались по ее спискам покупок, расходным книгам и рождественским открыткам подругам по колледжу, все из того же смутно пугающего далека.

Дэвид принялся листать страницы, рассматривая сделанные в старомодной технике тушью рисунки разных барельефов, масок, бюсты римлян с глазами без зрачков, античную одежду, осколки керамической посуды из раскопок. Все это неплохо смотрелось бы в журнале, подумал он, вперемежку с рекламой и комиксами, а так, в неразбавленном виде, от истории скулы сводит. Шрифт был решительный, четкий, ясный, как в учебнике; пожелтевшие по краям страницы, над которыми склонился Дэвид, казались ему прямоугольниками покрытого пылью стекла, сквозь которое он глядел на картины нереальных, давно изживших себя миров. Они вяло двигались под его взглядом, он чувствовал, как к горлу подступает тошнота. Мать и бабушка хлопотали в кухне; щенок, которого они только что завели, "чтобы был сторож в деревне", забился под стол и время от времени начинал там крутиться, отчаянно царапая пол когтями, — этот стол в их прежнем доме накрывали только по торжественным случаям, а здесь они за ним и завтракали, и обедали, и ужинали каждый день.

Глаза Дэвида рассеянно заскользили по строкам, где Уэллс рассказывает об Иисусе. Никому не известный политический агитатор, бродяжка в одной из второстепенных колоний Рима времен империи, по какой-то случайности, которую сейчас невозможно восстановить, он (это "он" с маленькой буквы ужаснуло Дэвида) не умер на кресте и, вероятно, про-

1. Псевдоним английской романистки графини Элизабет Мэри Рассел (1866–1941). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

жил еще несколько недель. Это недоразумение легло в основу религии. Легковерная фантазия современников задним числом приписала Иисусу разные чудеса и сверхъестественные деяния; миф распространялся все шире, и наконец возникла церковь, доктрины которой в основе своей противоречили простому, близкому к коммунизму учению галилеянина.

Будто камень, который уже много лет с каждым днем все тяжелее давил на нервы Дэвида, вдруг разорвал их и рухнул вниз сквозь страницу Уэллса и сквозь сотни страниц лежащих в кипе книг. В первый миг его испугала не эта кощунственная ложь — ну конечно же ложь, ведь всюду стоят церкви, их страна была основана с благословения Господа, — его испугало то, что такому вообще было позволено родиться в человеческом мозгу. В какой-то точке времени и пространства возник ум, омраченный неверием в божественность Христа, и ничего, Вселенная не исторгла из себя это исчадие ада, она позволила ему богохульствовать и дальше, позволила дожить до старости, стяжать почести и славу, носить шляпу, писать книги, которые, если только в них правда, обращают жизнь в хаос и ужас, — вот что сразу же ошеломило. Мир за окнами с широкими подоконниками — бугристый газон, беленый сарай, каштан в пене молодой зелени — казался раем, из которого он навсегда изгнан. Лицо горело, будто обожженное.

Он снова перечел этот абзац. В глубинах своего невежества он искал опровержений, которые отразили бы самодовольную атаку этих черных слов, и не находил ни одного. Каждый день в газетах рассказывают о воскресениях куда более невероятных, разъясняются самые фантастические недоразумения. Но ни из-за одного из них не строят во всех городах церкви. Дэвид попытался вернуться вместе с церквами вспять, пробиться сквозь их высокие горделивые фронтоны, сквозь бедные, запущенные внутренние помещения к тем далеким событиям в Иерусалиме и почувствовал, что его окружили беспокойные серые тени, столетия истории, о которых он не знал ничего. Опровержения рассыпались в прах. Разве Христос когда-нибудь приходил к нему, Дэвиду Керну, разве говорил: "Вот, вложи свои персты в Мою рану"? Нет. Однако его молитвы не оставались без ответа. Но что это были за молитвы? Он молился о том, чтобы Руди Мон, которому он подставил ножку и тот ударился головой о радиатор, не умер, и Руди не умер. Крови было много, но он всего лишь рассек кожу; его в тот же день выпустили из больницы с забинтованной головой, и он снова принялся дразнить Дэвида. Конечно, он бы и так не умер. Еще раз Дэвид молился, чтобы два разных военно-патриотических плаката, которые он заказал отдельно, пришли бы завтра, и они пришли, правда не завтра, а через несколько дней, но все равно одновременно, упали через лязгнувшую крышкой щель в двери точно упрек из уст Господа: "Я отвечаю на твои молитвы так, как Мне угодно и когда Мне угодно". После этого Дэвид стал молиться о чем-то менее конкретном, чтобы ответ не превратился в нагоняй. Однако какое это пустяшное, смехотворное совпадение, его ли противопоставить могучему оружию знаний, которым владеет Герберт Уэллс! Оно лишь доказывает правоту противника: надежда на зыбкой песчинке возведет гигантское здание; там, где черкнули закорючку, она увидит слово.

Вернулся отец. Суббота была у него свободный день, но он все равно ездил работать. Он преподавал в школе в Олинджере и с утра до вечера су-

етился, делая какие-то ненужные дела с забавно заполошным видом. Городской человек, он к тому же боялся фермы и пользовался любым предлогом, чтобы улизнуть из дома. На ферме родилась мать Дэвида, она же и задумала ее выкупить. Проявив невиданную доселе изобретательность и упорство, она добилась своего и перевезла их всех сюда — своего сына, мужа, мать. В молодости бабушка трудилась на этих полях наравне с мужем, а сейчас она бестолково топталась на кухне, и руки у нее тряслись от паркинсоновой болезни. Она вечно всем мешала. Странно, но здесь, вдали от города, на восьмидесяти принадлежащих им акрах земли они постоянно теснились друг подле друга. Томясь своей неприкаянностью, отец нескончаемо спорил с матерью по поводу органического земледелия. Весь вечер, весь ужин напролет только и слышалось:

— Элси, я знаю, знаю, что земля всего лишь соединение химических элементов. Это единственное, что я понял, проучившись четыре года в колледже, поэтому не надо говорить, что я не прав, ведь это моя профессия.

— Джордж, ты выйди из дому, пройдись по полю, и ты поймешь, что действительно не прав. У земли есть душа.

— Никакой-души-у-земли-нет, — раздельно произнес он, будто вдалбливал урок тупым ученикам. Потом обратился к Дэвиду: — Никогда не спорь с женщиной. Твоя мать настоящая женщина, поэтому я и женился на ней и вот теперь страдаю.

— У этой земли и в самом деле нет души, — сказала мать, — ее убили суперфосфатом. Арендаторы Бойера вытравили здесь все живое. — Бойер был богатый землевладелец, у которого они выкупили ферму. — А раньше у нее душа была, правда, мама? Когда вы с папой на ней работали?

— Да-да, как не быть. — Бабушка силилась поднести ко рту вилку рукой, которая тряслась не так сильно. От старания она подняла с колен другую руку. Корявые неразгибающиеся пальцы, серовато-красные в оранжевом свете керосиновой лампы, стоящей в центре стола, были скрючены параличом в узловатую культю.

— Душа есть только у че-ло-ве-ка, — продолжал отец тем же нудным металлическим голосом. — Потому что так сказано в Библии. — Кончив есть, он закинул ногу на ногу и, болезненно сморщившись, принялся ковырять в ухе спичкой; стараясь извлечь то, что находилось внутри, он уткнулся подбородком в грудь, и, когда обратился к Дэвиду, его голос прозвучал тихо: — Когда Господь сотворил твою мать, Он сотворил истинную женщину.

— Джордж, ты что, не читаешь газет? Не знаешь, что через десять лет химические удобрения и ядохимикаты убьют нас всех? Все без исключения мужчины в Америке старше сорока пяти умирают от инфаркта.

Отец устало вздохнул; он больно надавил спичкой, и желтая кожа вокруг его глаз съежилась в мелкие морщинки.

— Между инфарктом и химическими удобрениями не существует никакой связи, — с мученическим терпением объяснил он. — Во всем повинен алкоголь. Алкоголь и молоко. В сердечных тканях американцев слишком много холестерина. И не говори со мной о химии, Элси, я на нее четыре года ухлопал.

— А я ухлопала четыре года на греческий, и что толку? Мама, убери ты ради бога со стола свою культю.

Старуха вздрогнула, кусок упал с вилки. Почему-то вид ее изуродованной руки на столе нестерпимо раздражал дочь. Бабушкины глаза – тусклые, безумные кристаллики в чем-то водянистом, мутно-молочном – сделались огромными за стеклами криво сидящих очков. Круги серебряной оправы, тонкой, как проволочка, вдавились в красную бороздку, которую они за много лет вырыли в переносице бледного острого носа. В мигающем оранжевом свете керосиновой лампы ее оцепеневшее страдание казалось нечеловеческим. Мать Дэвида беззвучно заплакала. У отца словно бы и вовсе не было глаз, вместо них желтые морщинистые провалы. Над столом поднимался пар от еды. Это было ужасно, но ужас был знакомый, привычный, он отвлекал Дэвида от той бесформенной жути, которая пульсировала в нем острой болью, точно огромная рана, которая хочет затянуться.

Ему нужно было в уборную, он взял фонарик и пошел с ним по мокрой траве. Его всегдашняя боязнь пауков показалась ему сейчас смешной. Он поставил горящий фонарик рядом, и на линзу тут же село какое-то насекомое, совсем крошечное, комар или блоха, что-то хрупкое и ажурное, слабые лучи фонарика высветили на дощатой стене его рентгеновский снимок – еле различимые очертания прозрачных крыльев, размытые от многократного увеличения черточки согнутых в суставах ног, темный конус туловища. А этот трепет, должно быть, – биение его сердца. И вдруг без всякой связи Дэвиду ясно представилась картина смерти: длинная узкая яма в земле, тебя в нее затягивает, и бледные лица наверху отдаляются, отдаляются... Ты рвешься к ним, но руки связаны. Лопаты кидают тебе в лицо комья земли. Там ты и останешься во веки веков, будешь рваться вверх, слепой, безгласный, пройдет сколько-то времени, и никто уже тебя не вспомнит, не позовет. От движения горных пород твои пальцы начнут вытягиваться, зубы широко раздвинутся в огромной подземной гримасе, неразличимой в пластах мела. А Земля так и будет продолжать свой путь, погаснет Солнце, там, где когда-то сияли звезды, навеки воцарится тьма.

У Дэвида вспотела спина. Его мысль словно бы уперлась в некую неодолимость. Такое полное уничтожение не просто испугало, потрясло его, пронзило болью, нет, оно вызвало совсем иные чувства. Ведь этот образ не мог возникнуть в его мозгу сам по себе, он проник туда извне. Бунтующие нервы пытались оплести его поверхность, точно лишайник, который расползается по телу метеорита. Дэвид с такой страстью отвергал эту идею всеобщей гибели, что по груди катился пот. Страх, густой и плотный, заполнял его изнутри, и такой же густой и плотный страх окружал его снаружи; прах прибоем вознесся к звездам, пространство сплющилось в неразделимую массу. Когда Дэвид встал, машинально втянув голову в плечи, чтобы не попасть в паутину, он почувствовал, что все тело онемело, будто он все это время был сдавлен жесткими обложками внутри книги. Его удивило, что он может двигаться хотя бы в этом крошечном пространстве. Застегивая брюки в зловонной тесноте отхожего места, он ощутил, что слишком мал, такую малость невозможно раздавить – это был первый проблеск утешения.

Но во дворе, когда луч фонарика с торопливым испугом забегал по стенам сарая, по винограднику, осветил огромную сосну, что росла у тропинки, ведущей к лесу, ужас вернулся. И Дэвид помчался по цепляющейся за ноги высокой траве, преследуемый не дикими зверями, которые, может быть, жили в лесу, и не лесными духами, о которых суеверная ба-

бушка рассказывала ему в детстве, а существами из научной фантастики, где гигантская пепельная луна закрывает половину бирюзового неба. Дэвид бежал, а по пятам за ним неслась серая планета. Если он оглянется — ему смерть. Ужас уже душил его, и тут из пустоты вырвались на свободу отвратительные кошмары, созданные человеческим воображением: солнце увеличивается до размеров Вселенной, все живое на земле погибло, остались лишь насекомые, по берегу океана ползут крабы из "Машины времени", — и еще сильнее сгустили мрак надвигающегося на него небытия.

Он рывком распахнул дверь. Керосиновые лампы в доме ярко вспыхнули. Горящие в нескольких местах фитили словно бы отражали друг друга, как в зеркале. Мать мыла посуду в миске с подогретой водой, которую накачали насосом; бабушка боязливо трепетала у ее локтя. В гостиной — нижний этаж их маленького квадратного дома был разделен на две длинные комнаты — перед черным камином сидел отец и, нервно сворачивая и разворачивая газету, развивал свои аргументы:

— Азот, фосфор, калий — вот три возобновляемых компонента почвы. Один урожай пшеницы забирает из нее сотни фунтов... — он бросил газету на колени и стал загибать пальцы: — азота, фосфора, калия.

— Бойер не выращивал пшеницу.

— Урожай любой культуры, Элси. Человек...

— Джордж, но это же значит убить земляных червей!

— Человек, тысячелетиями возделывая землю, научился поддерживать баланс химических элементов в почве. А ты хочешь вернуть меня в Средневековье.

— Когда мы поселились в Олинджере, земля возле дома была как камень. Всего одно лето мы удобряли ее куриным пометом с фермы моего двоюродного брата, и в ней появились земляные черви.

— Уверен, несчастные, которым выпало жить в Средние века, ничего не имели против своего времени, но лично я туда не хочу, увольте. От одной мысли в дрожь бросает. — Отец невидяще глядел в холодную черную топку камина и сжимал руками свернутую в трубку газету, как будто только она и не позволяла ему сорваться в прошлое, провалиться вглубь, вниз.

К двери подошла мать, потрясая зажатым в кулаке пучком мокрых вилок.

— Да, конечно, благодаря твоему ДДТ скоро в стране не останется ни одной пчелы. А когда я была девочкой, персики можно было есть немытые.

— Ужасно примитивно, Элси. Опять Средневековье.

— Господи, да ты-то что знаешь о Средневековье?

— Знаю, что не хочу туда возвращаться.

Дэвид взял с полки положенный им сегодня туда огромный полный "Словарь" Вебстера, который принадлежал еще дедушке, и стал переворачивать большие тонкие страницы, прогибающиеся, как ткань. Наконец нашел слово, которое искал, и стал читать:

"Душа 1. Сущность, почитающаяся сутью, смыслом, побудительной основой и движущей силой жизни, человеческой жизни, в особенности жизни, проявляемой в психической деятельности; жизненное существо человека, воображаемое отдельно от тела и от духа".

Дальше рассказывалось о том, что́ понимали под душой древние греки и египтяне, но Дэвид не ступил на зыбкую почву античных учений. Из этих осторожных, уточняющих друг друга слов он выстроил себе временное убежище. "Отдельно от тела и от духа" — можно ли сказать точнее, правильнее, убедительней?

Отец говорил:

— Современный фермер не может ходить следом за коровами и подбирать их лепешки. У бедняги на руках тысячи — тысячи! — акров. Современный фермер использует смеси азота, калия и фосфора в нужных пропорциях согласно рекомендациям ученых, причем вносит их в землю с помощью замечательной современной техники, которая нам, естественно, не по карману. А современному фермеру не по карману средневековые методы.

Мать в кухне молчала, ее молчание накалялось гневом.

— Нет-нет, Элси, сейчас твои женские штучки не пройдут. Поговорим спокойно, как разумные люди, живущие в двадцатом веке. Твои одержимые проповедники органического земледелия воюют вовсе не с химическими удобрениями, их возмущают доходы гигантских фирм, которые производят удобрения.

В кухне звякнула чашка. Гнев матери дохнул Дэвиду в лицо, его щеки запылали виной. Лишь потому только, что он сидел в гостиной, он словно бы поддерживал позицию отца. Мать возникла в дверях, с покрасневшими руками, с мокрым от слез лицом, и сказала, обращаясь к ним обоим:

— Я знала, что вы не хотите сюда переезжать, но что вы будете так меня мучить! Ты своими разговорами свел папу в могилу, теперь взялся за меня. Давай, Джордж, смелей, желаю успеха. По крайней мере меня похоронят в неотравленной земле. — Она повернулась, но наткнулась на препятствие и взвизгнула: — Мама, да перестань ты топтаться у меня за спиной! Шла бы наконец спать!

— Всем нам пора спать. — Отец поднялся с синего кресла и похлопал себя по ноге свернутой газетой. — Кстати, самое время подумать о смерти. — Дэвид так часто слышал эти его слова и никогда не вдумывался в их смысл.

Наверху страх как будто отпустил его. Белье на постели было чистое. Бабушка выгладила его двумя утюгами, которые нашли на чердаке в Олинджере и привезли сюда; утюги были портновские, с деревянной ручкой, они грелись на плите, и бабушка брала то один, то другой. Удивительно, как ловко она с ними управлялась. В соседней комнате мирно переругивались родители; наверно, они относились к своим ссорам не так серьезно, как он. Они ходили с ночником по спальне, пол под их ногами уютно поскрипывал. Их дверь была неплотно закрыта, и он видел, как свет перемещается. Да, конечно же, в последние минуты, в последний миг перед ним в темноте обрисуется светлым контуром дверь в другое пространство, полное света. Эта мысль вызвала у него невыносимо яркую картину собственной смерти: он увидел комнату, в которой лежит на кровати, пестрые обои, услышал свое резкое свистящее дыхание, шепот врачей, взволнованные родные входят и выходят, но ему уже никогда отсюда не выйти, его вынесут мертвым, положат в землю, в могилу, зароют. *Никогда больше не открывай эту дверь.* Родители еще пошептались, потом свет у них погас. Дэвид стал молиться, чтобы ему был послан знак. Он и сам испугался того, что задумал, однако протянул руки вверх,

в темноту, и попросил Господа прикоснуться к ним. Не надо долгого и сильного пожатия, легчайшее мгновенное касание даст ему веру на всю жизнь. Его руки ждали в воздухе, и воздух сам был сущностью и словно бы обтекал его пальцы. Или это была пульсация его собственной крови? Он спрятал руки под одеяло, так и не поняв, случилось прикосновение или нет. Но ведь божественное касание и должно быть неощутимо легким?

Барахтаясь среди обломков своей катастрофы, Дэвид цеплялся за воспоминание о той, по сути своей иной, неодолимости, в которую уперлась его мысль тогда, в уборной, о твердыне ужаса, незыблемой и потому способной выдержать сооружение сколь угодно высокое. Ему бы сейчас чуточку помощи; одно только слово, ободряющий жест, кивок головой — и он избавлен, спасен. За ночь поддержка, которую ему дал словарь, улетучилась. Сегодня было воскресенье, жаркий солнечный день. В прозрачном воздухе плыл колокольный звон, церковь в миле от них сзывала к службе. Поехал только отец. Все с той же мученически-суетливой непреклонностью он надел пиджак на рубашку с закатанными рукавами, сел в стоящий возле сарая старенький черный "плимут" и уехал. Он слишком рано перешел на вторую скорость и дал газ, колеса забуксовали на проселочной дороге, из-под них полетели фонтаны рыжей пыли. Мать пошла в дальнее поле посмотреть, где нужно подстричь живую изгородь. Дэвид пошел с ней, хотя обычно предпочитал оставаться дома. Чуть поодаль за ними ковылял щенок, он жалобно скулил, пробираясь по колючему былью, но когда его брали на руки, пугливо вырывался. Вот они поднялись на пригорок дальнего поля, и мать спросила:

— Дэвид, ты чем-то расстроен?

— Нет. С чего ты взяла?

Она пристально посмотрела на него. Над ее сильно поседевшими волосами сквозил одевающийся зеленью лес. Она повернулась к Дэвиду в профиль и протянула руку в сторону дома, до которого было около полумили.

— Видишь, как он стоит на земле? Теперь разучились ставить дома. Папа говорил, раньше всегда намечали фундамент по компасу. Надо нам найти компас и проверить. Фасад должен смотреть прямо на юг. Но юг, по-моему, чуть левее.

Дэвид смотрел на нее сбоку, и она показалась ему молодой и красивой. Гладкое полукружье волос над ухом белело целомудренно и безмятежно, и это было так необычно, незнакомо. Он никогда не ждал, что родители утешат его в беде; ему с самого начала представлялось, что у них больше бед, чем у него. Их растерянность вызывала у него такую лестную иллюзию собственной силы, и потому сейчас, на этом залитом солнцем пригорке, он ревниво оберегал подступающую со всех сторон угрозу, которую ощущал кончиками пальцев, как ощущают ветер, угрозу, что весь этот широкий простор канет во тьму. Мать пришла сюда посмотреть разросшиеся кусты, но не взяла с собой секатор, потому что была неискоренимо убеждена — работать в воскресенье грех; и это было единственное утешение, которое он позволил себе принять от нее.

Они повернули домой, все так же провожаемые скулящим щенком, и по дороге увидели за дальними деревьями поднимающуюся пыль, это отец спешил домой из церкви. Когда они вошли в дом, он уже был там. Он привез воскресную газету и возмущенное наблюдение:

— Добсон слишком умен для этих тупых фермеров. Сидят с разинутыми ртами и ни слова не понимают.

— Почему ты считаешь, что фермеры тупые? Фермеры создали Америку. Джордж Вашингтон был фермером.

— Они тупые, Элси. Ту-пы-е. А Джордж Вашингтон умер. В наше время работать на земле остались одни только обиженные судьбой. Хромые, слепые, однорукие, увечные. Слабоумные калеки. Отбросы человечества. Как тут не задуматься о смерти — сидят себе с разинутыми ртами.

— Мой папа был фермер.

— Элси, твой отец был неудачник. Он не нашел своего места в жизни. Бедняга был полон благих намерений, но в делах ничего не смыслил. Твоя мама подтвердит. Верно я говорю, ма? Па ведь так и не нашел своего места в жизни?

— Да, да, как не найти, — проговорила бабушка дрожащим голосом, и спорящие на миг умолкли, не поняв ответа.

До половины второго Дэвид прятался в комиксах и спортивных новостях. В два часа в файртаунской церкви начинался урок катехизиса. Дэвиду пришлось перейти сюда из лютеранской церкви в Олинджере, это было ужасно унизительно. В Олинджере ребята встречались в среду по вечерам, радостно взволнованные, принаряженные, как на танцы. Когда урок кончался и священник с кирпичным лицом, из уст которого слово "Христос" падало точно кусок раскаленной серы, благословлял их, самые храбрые отправлялись со своими Библиями в кафе и курили. Здесь же, в Файртауне, девочки были похожи на вялых белых коров, мальчики с длинными физиономиями, в отцовских костюмах — на рыжих козлов, их всех сгоняли в воскресенье после полудня в подвал давно не ремонтированной церкви, где пахло прелым сеном. Отец опять уехал на машине по каким-то своим нескончаемым делам в Олинджер, и Дэвид пошел пешком, радуясь вольному простору и тишине. Обычно он чувствовал себя неловко на уроке в воскресной школе, но сегодня шел в церковь с надеждой: ведь там он сможет увидеть тот самый наклон головы, жест ободрения, только это ему сейчас и нужно.

Преподобный Добсон был тщедушен и молод, с большими темными глазами и маленькими белыми красивыми ручками, которые во время проповеди так и мелькали в воздухе, точно растревоженные голуби; среди лютеранского духовенства он был немножко белой вороной. Этот приход был его первым назначением, он состоял из двух частей: отец Добсон служил еще в одной сельской церкви в двенадцати милях отсюда. Его радужно переливающийся зеленый "форд", такой новый полгода назад, был по самые стекла заляпан красной глиной и весь дребезжал от езды по ухабистым проселкам, на которых Добсон часто сбивался с пути, доставляя своей пастве повод для злорадства. Но матери Дэвида священник нравился и, что значительно важнее для его карьеры, нравился процветающему семейству Эйеров, которое торговало комбикормами и тракторами, содержало гостиницы и задавало тон в файртаунской церкви. Дэвид ему тоже симпатизировал и чувствовал ответную симпатию; случалось, в классе, услышав особенно вопиющую глупость, Добсон с кротким изумлением обращал к нему взгляд своих широко раскрытых черных глаз, этот взгляд и льстил Дэвиду, и смутно беспокоил.

Урок катехизиса состоял из зачитывания вслух правильных ответов из учебной брошюры на вопросы домашнего задания, например "'Я

есмь..., ..., ...', сказал Господь". После этого должны были задавать вопросы ученики, но никто никаких вопросов никогда не задавал. Сегодняшняя тема была последняя треть Апостольского символа веры. Когда наступило время вопросов, Дэвид покраснел и спросил:

— Я по поводу воскрешения во плоти: наше сознание продолжает жить между нашей смертью и днем Страшного суда?

Добсон быстро взглянул на Дэвида и сжал пухлые детские губки, всем своим видом показывая, что тот еще больше запутывает и без того непонятное. На физиономиях учеников выразилось замешательство, как будто было произнесено нечто непристойное.

— Я полагаю, нет, — сказал преподобный Добсон.

— А где же в таком случае находится все это время наша душа?

Ребята уже были почти уверены, что Дэвид издевается. Робкие глаза Добсона увлажнились, видно, он изо всех сил старался сохранить дисциплину в классе. Одна из девочек ухмыльнулась своей сестре-близняшке, чуть менее толстой. Стулья, на которых они сидели, были поставлены не слишком ровным кругом. Ток, пробежавший по этому кругу, вызвал у Дэвида панику. Неужели все они знают что-то, чего не знает он?

— Полагаю, можно сказать, что наши души спят, — сказал Добсон.

— А потом они проснутся и увидят землю, такую же, как всегда, и всех людей, которые на ней жили? А где же царствие небесное?

Анита Эйер захихикала. Добсон строго смотрел на Дэвида, но в его взгляде неловко, изумленно трепетало прощение, как будто между ними существовал тайный уговор и вот теперь Дэвид его нарушил. Но Дэвид не заключал никакого тайного уговора, он всего лишь хотел услышать слова, которые Добсон повторял каждое воскресенье, а Добсон отказывался их произнести, как будто в обычном простом разговоре на них наложен запрет.

— Дэвид, царствие небесное можно представить себе, например, как добро, которое сотворил Авраам Линкольн и которое продолжает жить после его смерти.

— А Линкольн знает, что оно продолжает жить? — Теперь лицо Дэвида горело не от смущения, а от злости, ведь он пришел сюда с открытой душой, а над ним потешаются.

— Знает ли он об этом сейчас? Я вынужден сказать, что нет, не знает. Но я думаю, это не имеет значения. — В голосе Добсона была решимость труса, теперь он говорил враждебно.

— Не имеет значения?

— Да, в глазах Господа это не имеет никакого значения.

Какое елейное ханжество, какое вопиющее бесстыдство! Слезы негодования обожгли глаза Дэвида. Он опустил их в книгу, где из простых слов, как, например, "Долг", "Вера", "Добро", "Труд", складывался крест.

— Ты хотел еще о чем-то спросить, Дэвид? — Голос Добсона обрел прежнюю мягкость. Остальные ученики поднимались со стульев, складывали книги.

— Нет. — Он заставил себя произнести это твердо, но глаз поднять не мог.

— Я дал исчерпывающий ответ на твой вопрос?

— Да.

Священник замолчал, и стыд, который он должен был бы сейчас испытывать, вполз в душу Дэвида: на него, невинного, взвалили бремя и

муки обманщика, и то, что он не смел взглянуть в глаза Добсону, когда выходил из церкви, хотя тот сверлил его череп сбоку беспокойным взглядом, было словно бы признанием вины, он это знал.

Отец Аниты Эйер подвез его по шоссе до их проселка. Дэвид сказал, что дальше пойдет пешком, ему хочется пройтись, и мистер Эйер не стал настаивать, он не хотел, как догадался Дэвид, чтобы его блестящий синий "бьюик" покрылся пылью. Что ж, он не в обиде; он вообще ни на кого не в обиде, если только с ним по-честному. От того, что его предали, предали на его глазах христианскую религию, он ожесточился. И теперь шагал по удивительно твердой, прямой немощеной дороге. Из ее укатанной поверхности выступали розоватые камешки. Апрельское солнце сияло в центре послеполуденной половины неба, оно уже припекало по-летнему. И трава по обочинам дороги успела порыжеть от пыли. С полей, между которыми он шел, из оживающих сорняков и прошлогоднего былья неслось монотонное, механическое стрекотание насекомых. Вдали по опушке двигалась маленькая фигурка в отцовском пиджаке. Его мать. И он подумал: неужели эти прогулки доставляют ей радость? У него вид этих рыжих просторов медленно поднимающейся и опускающейся земли вызывал тоскливое изнеможение.

Раскрасневшаяся от свежего воздуха, счастливая, она вернулась с прогулки раньше, чем он ее ждал, и застала его врасплох за дедушкиной Библией. Библия была толстая, в черном переплете, обложка стерлась в руках деда, корешок держался на ветхой полоске ткани. Дэвид искал то место, где Иисус говорит одному из распятых разбойников: "...ныне же будешь со Мною в раю"[1]. Он никогда раньше не пытался сам читать Библию. И сейчас так сильно смутился, увидев мать, потому что возненавидел антураж религии. Затхлая духота церквей, гнусавое пение, некрасивые учителя воскресных школ, их глупые брошюрки — все вызывало у него тошноту и однако поддерживало веру, веру в то, что самое лучшее и стоящее в жизни, баскетбол, веселые розыгрыши, девочки с дерзкими грудками, существуют благодаря дичайшей несообразности, какой, например, был бы брак между прекрасным принцем и самой безобразной и старой каргой, какую только смогли отыскать в его королевстве. Но матери он этого объяснить не мог. Времени не было. Она обрушила на него свою заботу.

— Дэвид, что ты делаешь?

— Ничего.

— Почему ты взял дедушкину Библию?

— Хотел почитать. Америка вроде бы христианская страна?

Она села на зеленый диван, который у них в Олинджере стоял в парадной гостиной под фигурным зеркалом. На ее лице все еще играла легкая улыбка, оставшаяся после прогулки.

— Дэвид, я хочу, чтобы ты поговорил со мной.

— О чем?

— О том, что тебя тревожит. Мы с папой это видим.

— Я спросил преподобного Добсона, что такое царствие небесное, а он ответил, что это все равно как сотворенное Авраамом Линкольном добро, которое живет после его смерти.

1. Евангелие от Луки. 23:43.

Он думал, она возмутится до глубины души, а она спросила, ожидая продолжения рассказа:

— И что же?

— Больше ничего.

— И почему тебе не понравилось такое объяснение?

— Почему? А ты сама разве не понимаешь? Да это все равно что сказать, что никакого царствия небесного не существует.

— Я с тобой не согласна. А как ты сам представляешь себе царствие небесное?

— Откуда мне знать. Но должно же там быть хоть что-то. Я думал, он расскажет мне. Думал, это его работа. — Он чувствовал, что она удивлена, и начал сердиться. Ей-то казалось, что он и думать забыл про царствие небесное, тайно вступил в молчаливый заговор, существующий, как он теперь понял, вокруг него.

— Дэвид, — ласково сказала она, — неужели тебе никогда не хочется покоя?

— Вечного? Нет.

— Дэвид, ты еще так молод. Когда ты станешь старше, ты будешь относиться ко всем этим вещам иначе.

— Дедушка не относился к ним иначе. Видишь, какая истрепанная книга.

— Я никогда не понимала твоего дедушку.

— А я не понимаю священников, которые говорят, что царствие небесное — это все равно что добрые дела Линкольна, которые живут после его смерти. А если ты не Линкольн?

— Мне кажется, преподобный Добсон совершил ошибку. Постарайся его простить.

— При чем тут Добсон и его ошибки, разве в них суть? Суть в том, что я умру и никогда больше ничего не увижу, не услышу, не пошевельнусь.

— Но... — Она недовольно нахмурилась. — Милый мой, нельзя же быть таким жадным. Господь даровал нам этот изумительный апрельский день, даровал эту ферму, у тебя впереди целая жизнь...

— Так, значит, ты думаешь, Бог есть?

— Конечно есть... — Она вздохнула с глубоким облегчением, черты лица разгладились, наполнился покоем его овал.

Дэвид уже давно встал и теперь стоял в опасной близости от нее. Вдруг она протянет руку и дотронется до него?

— Всё сотворил Он? Ты в это веришь?

— Да.

— А кто же сотворил Его?

— Как — кто? Человек! — Ответ был так прекрасен, что лицо ее засияло от счастья, но вдруг она увидела, что сын с отвращением передернул плечами. До чего же она наивна, нелогична; настоящая женщина.

— Что ж, ты по сути сказала, что никакого Бога нет.

Она хотела взять его за руку, но он отстранился.

— Дэвид, это таинство. Чудо. И чудо такое прекрасное, что никакой преподобный Добсон не способен рассказать тебе о нем. Ты же не станешь отрицать, что дома существуют только потому, что их построил человек.

— Бог не дома, тут совсем другое.

— Ах, Дэвид, взгляни на солнце, на эти поля. Это ли не доказательство?

— Господи, мама, да неужели ты не понимаешь... — голос у него срывался, в горле стоял ком, — если, когда мы умрем, ничего больше не будет, то все твое солнце и твои поля и все-все на свете — один сплошной ужас? Черный, нескончаемый ужас!

— Нет-нет, Дэвид, никакого ужаса нет. Это же так очевидно.

Она порывисто протянула к нему руки, и в этом жесте было не только желание принять его беспомощность, но и вся ее душевная щедрость, вся нежность, любовь к прекрасному, сплавленные в такой покорной страстности, что Дэвида пронзила страстная ненависть к ней. Нет, он не позволит увлечь себя в сторону от истины. "Я есмь Путь, Я есмь Истина..."

— Не надо, — сказал он. — Оставь меня.

Он отыскал в углу за пианино свой теннисный мяч и пошел за дом кидать его об стену. В верхней части стены отваливалась рыжая штукатурка, обнажая каменную кладку, и он целился мячом именно туда, стараясь каждым ударом отбить еще кусок. На его глубинную боль наложилась не такая мучительная, но свежая травма: он расстроил мать. С шоссе донеслось тарахтенье отцовского автомобиля, и Дэвид пошел в дом помириться с мамой до его возвращения. К счастью, от нее не исходили жаркие, удушающие волны гнева, она была спокойна, тверда, матерински заботлива. В ее руках была растрепанная зеленая книга — хрестоматия, по которой она в колледже изучала Платона.

— Я хочу, чтобы ты прочел аллегорию о пещере, — сказала она.

— Ладно, — согласился он, хоть и знал, что толку не будет. Какой-то давно умерший грек сочинил что-то маловразумительное, она, конечно, в восторге. — Ма, да ты не беспокойся обо мне.

— Как же не беспокоиться. Поверь мне, Дэвид, мы не исчезнем вовсе, я в этом убеждена. Но с годами это перестает занимать нас так сильно.

— Возможно. Но утешительного тут мало.

Отец ломился в дверь. Все двери здесь перекосились, замки заедало. Бабушка заковыляла было отодвинуть задвижку и впустить его, но он уже открыл дверь плечом. Он ездил в Олинджер устраивать соревнования по легкой атлетике между школами. Обычно мать никого не посвящала в свои разговоры с Дэвидом, эта драгоценность принадлежала только им, но сейчас сразу же громко крикнула:

— Джордж, Дэвид боится смерти!

Отец подошел к двери гостиной, нагрудный карман рубашки ощетинился карандашами, в одной руке коробка с пинтой тающего мороженого, в другой нож, которым он собирался разрезать мороженое на четыре части — их воскресное лакомство.

— Ребенок испугался смерти, говоришь? Дэвид, выкини ты эти глупости из головы. Бог знает, доживу ли я до завтра, и мне ничуть не страшно. Лучше бы меня вообще пристрелили в колыбели. Легче бы дышалось на земле. По-моему, смерть отличная штука. Черт, да я ее жду не дождусь. Прочь с дороги ненужный хлам. Если бы здесь был человек, который изобрел смерть, я бы наградил его медалью.

— Перестань, Джордж. Ты только пуще перепугаешь ребенка.

Неправда, отец не мог испугать Дэвида. Он никого не мог испугать, он был такой безобидный. И в этом его самобичевании сын словно бы ощущал поддержку союзника, хоть и не слишком явного. Он уже с долей спокойствия, как стратег, оценивал свою позицию. В мире людей ему не

услышать ни слова поддержки, не найти улыбки ободрения, которые так нужны, чтобы начать строить крепость для войны со смертью. Люди не веруют. Он совсем один. Один в этой глубокой яме.

Шли месяцы; его настроение почти не менялось. В школе было немного легче. Волнующе-привлекательные, пахнущие духами девочки, беспрерывно острящие ребята, все смеялись, жевали жевательную резинку, и все обречены умереть, но никто о смерти не думает. Когда Дэвид был в их компании, ему казалось, что они возьмут его с собой в уготованный им яркий, мишурный рай. В толпе страх немного отступал; он убеждал себя, что где-то на земле непременно должны существовать несколько человек, которые веруют так, как нужно, и чем больше толпа, тем верней надежда, что родная душа близко, она может даже услышать тебя, вот только уметь бы ее распознать, ведь он ничего не умеет, не понимает. При виде священников он приободрялся, что бы они там сами про себя ни думали, их воротнички были по-прежнему знаком того, что где-то, когда-то, кто-то признал: мы не можем — не можем! — подчиниться смерти. Вывешенные перед входом в церковь листочки с темами проповедей, развязная, торопливая набожность диск-жокеев, комиксы в журналах, где изображались ангелы и черти, — вот какими крохами питалась его надежда, что надежда есть.

Все остальное время он старался утопить свою безысходность в болтовне и разных пустяках. Какое счастье, что в буфете был автомат-бильярд; когда он склонялся над его жужжащей, вспыхивающей поверхностью с желобками и лунками, сдавливающая грудь тяжесть отпускала, боль притуплялась. Он был благодарен отцу, что тот придумывает себе столько ненужных дел в Олинджере. С каждым днем они все дальше отодвигали минуту, когда приходилось садиться в машину и ехать вдвоем по пыльному проселку в недра темной фермы, где светит одна-единственная керосиновая лампа, она ждет их за обеденным столом, и в ее свете еду накрывают тени, еда отталкивает, пугает.

Он потерял интерес к чтению. Боялся, что опять рухнет в пропасть. В детективных романах люди умирали, точно никому не нужные куклы; в научной фантастике их совокупными усилиями расплющивали бесконечность времени и бесконечность пространства; даже у Вудхауса Дэвид ощущал неискренность, тайную горечь в его желании отвернуться от реальности, горечь, которая прорывалась наружу, когда он создавал комические персонажи своих никчемных священников. Веселье словно скользило по тонкой пленке, под которой была пустота. Минута тишины словно бы притягивала холодный ужас.

Они с отцом умудрялись удирать с фермы даже по субботам и воскресеньям, а когда все же оставались изредка в субботу дома, то что-нибудь разрушали: снесли старый курятник, сожгли срезанные ветки живой изгороди, огромный костер чуть не перекинулся на лес, мать кричала и махала руками. Работал отец самозабвенно, с неистовым азартом; когда рубил доски старого курятника на растопку, щепки летели в стороны как шрапнель, а головка топора, казалось, вот-вот слетит с топорища. Забавно было смотреть на отца: он обливался потом, чертыхался, втягивал скопившуюся в уголках губ слюну.

Занятия в школе кончились. Отец стал ездить в противоположную сторону от Олинджера — на строительство шоссе, куда его наняли на лето табельщиком; и Дэвид остался словно на необитаемом острове среди

расстилавшихся акров зноя, зелени, летящей пыльцы и странного, механического гудения, которое невидимым слоем лежало на сорняках, люцерне, пожухшей траве.

В день пятнадцатилетия родители подарили Дэвиду "ремингтон" 22-го калибра, сопровождая подарок шутками, что вот он теперь деревенский житель. Хождение с винтовкой в лес к заброшенной известняковой печи, где раньше обжигали кирпич, а теперь они сваливали там свой мусор, почти заменяло ему бильярд-автомат, он ставил консервные банки на припечье и сбивал их одну за другой. Он брал с собой щенка, который стал длинноногим подростком с густой рыжей шерстью – в нем была примесь чау-чау. Рыжик терпеть не мог выстрелы, но Дэвида любил и бегал с ним в лес с удовольствием. Услышав резкий, отрывистый треск, он начинал в ужасе носиться вокруг Дэвида суживающимися кругами и наконец, весь дрожа, прижимался к его ногам. Дэвид продолжал стрелять или опускался на колени и успокаивал щенка – смотря какое у него было настроение. Успокаивая Рыжика, он немного успокаивался и сам. Собачьи уши, в страхе прижатые к черепу, были вылеплены так искусно, так – он с трудом подыскал слово – уверенно. Из-под ошейника с металлическими бляшками торчала шерсть, и можно было рассмотреть каждый волосок, у корня он был мягкий и белый, кончик черный, а вся длина между корнем и кончиком медно-рыжая, из-за чего пес и получил свое имя. Рыжик взволнованно дышал, шевеля изящно вырезанными ноздрями, они напоминали две зажившие раны, две прелестные замочные скважины в черном с зерненой поверхностью дереве. И в этом свернувшемся в кольцо теле с тугим переплетением мышц и изумительными суставами было не счесть таких совершенств. А когда Дэвид вдыхал запах собачьего меха, он словно бы спускался вниз сквозь четко отделенные друг от друга слои земли: перегной, почва, глина, сверкающие породы минералов.

Но когда он возвращался домой и видел расставленные на низких полках книги, возвращался и страх. Четыре несокрушимых тома Уэллса точно четыре тонких кирпича, зеленый Платон, озадачивший его своей непривычной деликатностью и запутанной отвлеченностью, умершие Голсуорси и Элизабет, гигантский словарь дедушки, дедушкина Библия, его, Дэвида, Библия, которую он получил, став членом лютеранской общины Файртауна, – при виде их вновь просыпалось воспоминание о том страхе, и страх снова охватывал его. От этого страха он тупел, деревенел. Родители пытались как-то его отвлечь.

– Дэвид, у меня есть для тебя работа, – сказала однажды мать за ужином.

– Что еще за работа?

– Если ты будешь разговаривать со мной в таком тоне, лучше вообще не разговаривать.

– В каком тоне? Никакого тона не было.

– Бабушка говорит, в сарае развелось слишком много голубей.

– Ну и что? – Дэвид посмотрел на бабушку, но она сидела, уставившись на огонь керосиновой лампы с обычным своим выражением недоумения.

Мать прокричала:

– Он спрашивает: "Ну и что?"

Бабушка резко, раздраженно дернула скрюченной рукой, будто собирала силы для ответа, и произнесла:

— Они мебель загадили.

— Это правда, — согласилась мать. — Она волнуется из-за нашей старой олинджерской мебели, которая нам никогда больше не пригодится. Дэвид, она меня уже месяц донимает этими несчастными голубями. Хочет, чтобы ты их перестрелял.

— Не хочу я никого убивать, — ответил Дэвид.

— Мальчик весь в тебя, Элси. Он слишком хорош для этого мира. Убивай или убьют тебя — вот мой девиз.

Мать громко проговорила:

— Мама, он не хочет.

— Не хочет? — Старческие глаза расширились словно от ужаса, культя медленно опустилась на колени.

— Да ладно, — буркнул Дэвид, — перестреляю я их, завтра же перестреляю. — И от того, что решение принято, он почувствовал во рту приятный свежий вкус.

— А я еще думала, когда работники Бойера набивали сарай сеном, до чего же он похож на голубятню, — зачем-то сказала мать.

Днем сарай был маленьким островком ночи. Щели в рассохшейся дранке на высокой крыше горели точно звезды, а балки, стропила и лестницы казались, пока глаз не привык к темноте, таинственными ветвями заколдованного леса. Дэвид вошел в тишину сарая, держа ружье в руке. Рыжик отчаянно скулил возле двери, он боялся ружья, но не хотел расставаться с Дэвидом. Дэвид тихо повернулся к нему и приказал: "Ступай домой", закрыл перед псом дверь и задвинул засов. Дверь была сделана в воротах, высоких и широких, во весь фасад, чтобы могли въезжать фургоны и тракторы.

В нос ударил запах прелой соломы. Этот запах, кажется, пропитал и красный диван под загаженным голубями брезентом, утопил его в себе, похоронил. Пустые лари зияли, точно входы в пещеру. На гвоздях, вбитых тут и там в толстые доски стен, висели разрозненные остатки ржавой фермерской утвари: мотки проволоки для ограды, запасные зубья бороны, штык лопаты без черенка. С минуту он стоял не шевелясь; ему не сразу удалось отличить гульканье голубей от шума собственной крови в ушах. Но когда он наконец смог вслушаться в голубиное воркованье, оно целиком заполнило обширное пространство сарая гортанными руладами, вытеснив все остальные звуки. Голуби сидели высоко среди балок. Свет проникал в сарай только сквозь щели в дранках кровли, сквозь грязные стекла оконцев в стене против входа и сквозь маленькие, не больше баскетбольного мяча, круглые проемы под самой крышей в боковых каменных стенах. В одном из этих проемов, в стене, обращенной к дому, появился голубь. Он влетел снаружи, хлопая крыльями, сел, обрисовавшись четким силуэтом на фоне клочка неба, сжатого окружностью проема, и принялся оглаживать клювом перья, курлыча нежно, гортанно и призывно. Дэвид сделал четыре осторожных шага к лестнице между двумя столбами, устроил ружье на нижней ступеньке и навел прицел на крошечную, беспечную головку. Хлопок выстрела, казалось, раздался возле каменной стены у него за спиной, голубь почему-то не упал. Однако и не улетел. Птица закружилась в круглом проеме, кивая головкой, будто горячо с чем-то соглашалась. Дэвид быстро передернул затвор и начал целиться еще до того, как вылетевшая гильза со звоном подкатилась по доскам пола к его ногам. Он опустил мушку прицела чуть

ниже, к грудке птицы, и, весь сосредоточившись, стал ровно, с безупречной плавностью давить на курок. Пальцы медленно сжимались, и вдруг пуля вырвалась. Мгновенье он сомневался, но голубь стал падать точно комок тряпья, скользя по внутренней стене, и опустился в солому, устилавшую пол сеновала.

Теперь голуби взлетели с балок и шумно заметались в полумраке, неясно мелькая и оглушительно хлопая крыльями. Они будут пытаться вылететь в проемы; он навел прицел на маленькую голубую луну и, когда один из голубей подлетел к ней, выстрелил, птица не успела пройти те десять дюймов каменной кладки, что отделяли ее от вольного мира. Голубь лежал в каменном туннеле, он не мог упасть ни внутрь, ни наружу, но был еще жив и поднимал крыло, застилая свет. Крыло опускалось, он снова поднимал его рывком, раскрывая веер перьев. Теперь никто больше не мог вылететь через этот проем. Дэвид кинулся в другой конец сарая, где была точно такая же лестница, и установил винтовку тоже на первой ступеньке. К этой амбразуре подлетели три птицы; одну он убил, две вылетели. Остальные снова расселись среди балок.

За балками, поддерживающими двускатную крышу, было пустое треугольное пространство, здесь-то они гнездились и прятались. Но то ли пространство было слишком тесным, то ли птицы не в меру любопытны, только Дэвид, глаза которого привыкли к пыльному сумраку, теперь различал, как маленькие серые комочки то выглянут, то спрячутся. Голуби курлыкали пронзительно, от их тревожно раскатывающихся тремоло, казалось, дрожит весь воздух в сарае. Дэвид заметил маленькое темное пятно головки, которая выглядывала особенно настойчиво; определил цель и навел туда дуло ружья, и, когда головка появилась снова, его уже изготовившийся палец спустил курок. С балки соскользнул ком перьев и шмякнулся с высоты на парусиновый чехол поверх чего-то из олинджерской мебели, а там, откуда выглядывала головка, в дранках образовалась новая звезда.

Стоя посреди сарая, уже вполне мастер своего дела, не нуждающийся ни в каких опорах для винтовки, он стал стрелять с плеча и убил еще двух птиц. Он чувствовал себя благородным мстителем. Наглые твари, смеют высовывать свои глупые головы из сумрачной, ветхой бесконечности под высокой крышей сарая, оскверняют его звездную тишину своим грязным трусливым существованием, так что ж, он отнимет у них жизнь, надежно спрячет в этой тишине. Чем он не творец? Эти слабые мерцанья и трепетанья, которые он так зорко подмечал в темных провалах между балками и в которые так метко попадал, — ведь каждое он превращал в целую птицу. Крошечный глазок, быстрый любопытный взгляд, блестка жизни, но едва он попадал в голубя пулей, тот превращался в труп врага, как превращается в цветок бутон, и тяжело падал последним паденьем.

Его мучило, как неудачно получилось со вторым голубем, в которого он стрелял, птица все еще поднимала время от времени крыло, лежа на камнях круглого проема. Он перезарядил "ремингтон" и, прижимая к себе винтовку, стал подниматься по лестнице. Мушка на конце дула царапнула его ухо, и он вдруг пронзительно ярко, будто на цветном слайде, увидел, как стреляет в себя и как его находят распростертым на полу сарая среди его жертв. Он обхватил рукой верхнюю ступеньку — гнилую шаткую перекладину, прибитую к столбам, — и выстрелил в голубя с тупого угла. Крыло сложилось, но удар вопреки надежде не вытолкнул пти-

цу из амбразуры. Он выстрелил еще раз и еще, но маленькое тельце, такое легкое, легче воздуха, когда птица живая, все так же тяжело лежало в своей высокой гробнице. С того места, где Дэвид стоял, ему были видны сквозь проем зеленые деревья и коричневый угол дома. Весь облепленный паутиной, которая скопилась между ступеньками, он всадил в упрямую тень полную обойму — восемь пуль, и все впустую. Он спустился вниз, и его поразила тишина в сарае. Наверно, остальные голуби вылетели через другой проем. Ну и прекрасно, с него хватит.

Он вышел со своим "ремингтоном" на свет. Навстречу шла мать, и он не мог не усмехнуться, когда она отпрянула при виде дымящегося ружья; он играючи нес его в одной руке, с небрежной ловкостью опытного деревенского охотника.

— Дóма все просто оглохли, — сказала она. — Что за пальбу ты тут устроил?

— Один голубь умер в этом круглом проеме, и я хотел выбить его наружу.

— Рыжик спрятался в углу за пианино и не вылезает. Я уж отступилась.

— По-твоему, это я виноват? Вот уж кто не хотел убивать этих несчастных тварей.

— Перестань ерничать. Совсем как твой отец. Сколько ты подстрелил?

— Шесть.

Она вошла в сарай, он за ней. Она вслушалась в тишину. Волосы у нее были растрепаны, наверно из-за того, что возилась с Рыжиком.

— Теперь они вряд ли вернутся, — устало сказала она. — И зачем я поддалась на мамины уговоры, сама не понимаю. Они так мирно ворковали.

Она принялась собирать мертвых голубей. Дэвиду не хотелось к ним притрагиваться, и все же он подошел к сеновалу и поднял за еще теплые жесткие коралловые лапки первую убитую им птицу. Ее крылья распахнулись, и он растерялся: голубь словно был перевязан нитками, и вдруг эти нитки разрезали. Он был совсем легкий. Потом Дэвид поднял того, что лежал у другой стены; мать подобрала трех, что упали в середине, и он пошел за ней через дорогу к южному склону небольшого пригорка, у подножья которого виднелся фундамент сарая, где когда-то сушили табак. Пригорок был слишком крутой, на нем ни сеять, ни косить нельзя, сейчас он буйно зарос травой и земляникой. Мать положила свою ношу на землю и сказала:

— Надо их похоронить, а то пес обезумеет.

Он опустил своих двух птиц на уже лежащих трех; тельца в гладком, лоснящемся оперении легко скользнули друг на друга.

— Принести тебе лопату? — спросил он.

— Принеси лопату себе, хоронить будешь ты. Ведь ты их убил. И выкопай яму поглубже, чтобы пес не добрался.

Он пошел за лопатой, а она двинулась к дому. И против обыкновения, ни разу не посмотрела вокруг, ни на фруктовый сад, что был справа, ни на луг, лежащий слева, ее слегка склоненная голова будто окаменела, казалось, мать вслушивается в землю.

Дэвид выкопал яму в том месте, где не росла земляника, и стал рассматривать голубей. Он никогда раньше не видел птицу так близко. Перья оказались еще бóльшим чудом, чем собачья шерсть, потому что каж-

дый волосок в пере был именно такой длины, какой требовала его форма, а перья точно такой формы и длины, какой требовал пернатый покров, идеально облегающий тело птицы. Его заворожили накаты геометрических узоров, перья то расширялись, росли и крепли, чтобы поднять птицу в воздух, то суживались, уменьшались и превращались в пух, который сохраняет тепло вокруг немой плоти. И по всей поверхности этой совершенной и все же словно бы возникшей без чьего-либо участия механики оперения играл беспечный узор окраски, на всех птицах разный, нанесенный в строгом вдохновении, с радостью, которая была ровно разлита в воздухе над ним и за его спиной. А ведь эти птицы плодятся миллионами, и их уничтожают как вредителей. Он бросил в разверстую благоухающую землю сизого, с грифельно-серыми наплывами широких полос, потом другого, сплошь крапчатого, в ритмичной игре серых и лиловых тонов. Третий был чисто белый, только грудка отсвечивала бледно-персиковым. Он положил сверху последних двух, еще мягких, податливых, и встал, и тут свивавшие его пелены спали, он каждой клеточкой, по-женски остро ощутил наполнившее его счастье: казалось, возникшие из воздуха руки накинули на него ризы, защитившие уверенностью, что Господь, с такой безудержной щедростью расточающий свое искусство на никому не нужных птиц, не погубит весь сотворенный им мир, не откажется позволить Дэвиду жить вечно.

Спасатель

Ну до чего же я хорош, посмейте возразить. Всю осень, зиму и весну я выполняю обязанности студента-богослова, а летом снова влезаю в собственную шкуру и становлюсь спасателем на пляже. Моя не слишком широкая и умеренно волосатая грудь, вполне, впрочем, мужественная, делается на солнце шоколадной, гладкая спина приобретает цвет кофейной карамели, добавьте к этому белый, точно сбитые сливки, тропический шлем, и получится, как уверяет ребятня из моей свиты, какое-то симпатичное кондитерское изделие. Мои задранные вверх ноги, которые я могу изучать сколько душе угодно, вольготно развалившись на деревянном троне своей вышки, загорели до рыжевато-коричневой матовости орехового дерева, что подчеркивает их мускулистую силу. Соответственно растительность на теле выгорела до платиновой блондинистости, от чего ноги приобретают сходство с вытянутым, изящным андроцеем цветка, припорошенным по темному столбику светлой пыльцой.

Девять месяцев из двенадцати мои бледные руки и воспаленные глаза прикованы к необъятным страницам библейских текстов, обросших досужими вымыслами комментариев, точно днище корабля ракушками; к многотомным апологетикам, изложенным с фальшивой доброжелательностью викторианской проповеди, в великолепных переплетах из чуть покалывающей пальцы, в мелкий рубчик, ткани слегка приглушенного, словно бы выцветшего красного цвета; к требникам, молитвословам и историям догматов; к сбивающему с толку своей запутанной двойственностью христианскому социализму Пауля Тиллиха; к вкрадчивой светской болтовне отца Д'Арси, Этьена Жильсона, Жака Маритена и прочих современных богословов, позволивших себе благодушествовать в обманчивом уюте университета Святого Фомы Аквинского, среди изы-

сканной мебели, за не в меру обильными трапезами; к отчаянным попыткам Кьеркегора, Бердяева и Бата насильственно вызвать Бога к жизни. Я, замирая от ужаса, балансирую на минусах — жердочках моста, который теологи тщатся перебросить через пустоту. Тайком прокрадываюсь во владения философов-натуралистов, точно вор, замысливший похитить серебро. Как акробат, перелетаю с трапеции на трапецию. Радужные хитросплетения Ньюмена расползаются в моих руках. Математические выкладки Паскаля исчезают с доски, стертые плечом случайного прохожего. Наскальные портреты мудрецов-аборигенов, Павла и Августина, поражающие своей жизненной силой при свете свечей, днем способны заинтересовать разве что антрополога. Заигрывающие с литературой поставщики развлекательного чтива, такие, как Честертон, Элиот, Оден и Грин, — не важно, считают ли они христианство страной чудес, куда можно совершать приятные увеселительные прогулки, или роскошно смрадной выгребной ямой, откуда можно нескончаемо извлекать контрасты механической ассенизационной черпалкой, — все они, несмотря на немыслимое разнообразие имеющихся в мире ударных молотков и гонгов, с непогрешимой точностью вызванивают именно ту ноту, которую взял некогда на берегах Средиземного моря богатый молодой иудей, отказавшийся в смятении продать все, что имел.

Пока земля совершает остальную четверть своего пути вокруг солнца, мои глаза отдыхают на страницах слепящего песка, испещренного рунами голых человеческих тел. То, что мои зимние и летние занятия не противоречат друг другу и что написанные плотью тексты дополняют творения человеческого ума, просто напрашивается в качестве темы моей проповеди.

На спинке моего спасательского кресла сзади нарисован крест — правда, крест красный, символизирующий бинты, шины, нашатырный спирт и мази от солнечных ожогов, и все равно он меня греет. Каждое утро, когда я поднимаюсь на свою вышку, ловко обхватывая сильными, с молодым пушком, пальцами ног железные прутья трапа, я словно бы влезаю в необъятную, стоящую колом мешковатую ризу.

И в одной, и в другой своей ипостаси я сижу, весь сосредоточенное внимание, у края необъятности. То, что море с его сонмами разнообразных и таинственных обитателей, с его звериными приступами бессмысленной ярости перестало для нас быть расхожей аллегорией божества, доказывает, как безжалостно гуманизм отравил райские яблоки нашей веры. Теперь мы ищем Бога в цветах, в добрых делах, и необъятность синевы вокруг маленьких струпьев земли, на которых мы влачим свое существование к неутолимому концу, пронизана наводящей ужас пустотой, которую сотворила наука. Мне, например, страшно думать о звездах или о мириадах икринок, гибнущих в морях и реках. Но здесь, с моего кресла на вышке, море, словно бы чуть вздувшееся из-за того, что я гляжу на него свысока, напоминает толстенного седого старикана, привольно развалившегося в необъятном кресле, где подлокотниками служат берега залива, а вместо крахмальной салфетки на спинке — свежевыстиранное небо. По его телу скользят парусные лодки, точно ленивые, бессвязные, но благодушные мысли. Мерно накатывают волны прибоя — это старикан дышит, и в такт с дыханием поднимается и опадает его роскошный, выстеганный рябью халат. Не странно ли: когда мы входим в море, мы испытываем шок, наша кожа, наша кровь в панике кричат, протестуя. Но еще миг, и мы уже в воде, и что мы чувству-

ем? Восторг и невесомость. Мы бьем по воде руками и ногами, пытаясь плыть, мы боремся — и тонем; сдаемся, вконец отчаявшись, и вдруг вода выносит нас на поверхность и начинает держать, мы спасены — чем вам не притча?

С какой робостью, с каким ощущением недозволенности, чуть ли не иносказательно я формулирую мысль, уместную в устах лишь облеченного духовным саном. Простите меня. Я еще не рукоположен; у меня в голове слишком большой сумбур, с таким нельзя подступаться к Священному Писанию. Мои возможности толковать его, увы, ограниченны, и лучше уж я сам ограничу себя изучением заметок на полях, вернее на песке этого пляжа, которые изо дня в день пишут для меня лоснящиеся человеческие тела.

Здесь кинолента жизни прокручивается с конца. Первыми появляются старики. Дел у них никаких нет, сон они потеряли. Тело каждого из нас — часы, отсчитывающие растраченное впустую время. Я очень молод, но и я слышу, как тикают в моем организме белки, окисляясь; я просыпаюсь среди ночи и чувствую, как в содрогающейся темноте и безмолвии ко мне со скоростью курьерского поезда мчится смерть. Чем старше мы становимся и чем меньше нам остается утр, тем глубже вонзается в нас каждый новый рассвет, пробуждая. На головах у дам соломенные шляпы с широкими полями, на затененных полями лицах такие же широкие улыбки, они одаривают ими друг дружку, пахнущие морем ракушки, которые находят в разглаженном утреннем песке, даже меня, клюющего носом после разгульной ночи. На мужчин часто неловко смотреть: хилые бледные ноги, медная, бочонком, грудь, несообразно крепкая, в седой пене растительности. И как же гордятся эти старые петухи своей "великолепной формой"! С какой уморительной истовостью плавают в ледяной воде — правда, всегда точнехонько вдоль берега, и там, где можно достать дно ногой.

Потом приходят тридцати-, сорокалетние, с выводком детей, с грузом алюминиевых стульев. На мужчинах стигмы их профессии: у заправщиков бензоколонок руки до локтя красно-коричневые; светлые перекрещенные полоски на спине у каменщиков и плотников; лодыжки сборщиков мидий изъедены язвами. Волосы у всех на теле растут по-разному, как сорная трава. Женщины поблекли, однако плодоносны, подобно рекам Ирака, взрастившим семена нашей цивилизации. Их дети ужасны. Со злых физиономий ухмыляются все пороки взрослых, их алчность, настырность, хамство, не приглушенные скрытностью зрелых лет и усталостью. Но вдруг то тут, то там мелькнет девочка, старшая дочь, в вязаном поперечными полосками зелено-коричнево-бордовом купальнике, она ступает осторожно, медленно, ошеломленная рассветом, который овеял ее ровное, плотненькое тело, талия на нем еще не обозначилась, но шейка девочки стройно поднялась.

И наконец приходят молодые. Молодые мамы привозят толстых неугомонных малышей, они кидаются набивать себе рот песком, будто это сахар, ковыляют, восторженно вереща, к воде, и тут я вытягиваюсь на своем троне в струнку. Заливается мой свисток. Мамаши в испуге просыпаются. Многие из них снова беременны, они лежат в своих растянувшихся купальниках, ленивые, ушедшие в себя, будто коровы на лугу. Болтают о политике и беспрерывно курят, а когда мимо горделиво пройдут три грации с плоскими животами, тревожно и удивленно поднимут на них глаза. Мы все не можем отвести глаз от этих красоток. Задорная ры-

женькая в ярких веснушках и с белыми ножками прижимается к своему молодому человеку и требует, чтобы тот ее окунул; строгая брюнетка торжественно несет себя, будто драгоценную вазу, даже дышать боится; блондинка с ямочками на щеках, в слюнявчике и крошечном подгузнике своего бикини, золотистый пушок на ее животе блестит точно мех кошки. Вожделение обжигает меня, как солнце.

Вы шокированы, что студенту-богослову ведомо вожделение? Сколько же самодовольного невежества в людях, не связанных с церковью. Не сладострастие ли толкает нас на попытки познать непознаваемое — на это развратное, в сущности, действие? Знали бы вы, каким садистски извращенным унижениям подвергают нас наши возвышенные преподаватели трансцендентальной философии, в какие жуткие пещеры души заставляют спускаться, готовя нас к нашей будущей деятельности, которая состоит в том, чтобы светить в темноте.

Я чувствую, что раскаляюсь от вожделения докрасна; мне делается холодно в моем кресле, я превращаюсь в ледяной факел, изучая женскую красоту. Я изучил великое множество экземпляров — в купальниках самых разнообразных фасонов и с самым разнообразным макияжем на лице, — и вот к какому заключению пришел: тайна женской красоты не в пышности определенных форм и не в общей гармоничности пропорций, которую легко определить с помощью золотого сечения или еще какого-нибудь эстетического предрассудка, нет, она — в рисунке спины, в изгибе линии, которая соединяет спину и ягодицы, эта-то линия и наделяет женскую фигуру грацией, в ней вся разгадка.

Я рассматриваю со своего белого трона женщин и жалею их: как горестно, что в слепоте своей они неудержимо тянутся к хвастливым, мускулистым мезоморфам и благополучным, самодовольным эндоморфам, тогда как самый щедрый дар любви, самую надежную защиту им можем предложить мы, сухопарые, с крепкими мышцами и натянутыми нервами эктоморфы. Желать женщину значит желать ее спасти. Те, для кого соитие не просто грубое, торопливое совокупление самца и самки, знают, что, совершая акт любви, мы с женщиной все глубже погружаемся в причудливый и зыбкий мир теней, которые до этого мгновенья были заперты в самом сокровенном тайнике нашей души, и в этот-то приют мы ее приводим. Неясный гротескный пейзаж наполняется жизнью; каждая тень, к которой мы прикасаемся, изучая, расцветает прекрасным цветком. Мужчина словно бы остров, к которому женщину прибивает неуемная суетность и слепой эгоизм, и здесь она наконец-то находит покой, но в последний миг экстаза Природа с усмешкой швыряет на стол свой козырной туз, и остров тонет под водой.

Как правдивы фильмы, которые все громко обвиняют в извращении Священного Писания и в искажении правды жизни. Не верьте этим обвинениям: написаны ли сценарии бесами или пьяницами, в них от начала до конца все — истинная правда. Каждый из нас — царь Соломон, вожделеющий спасти царицу Савскую. Душа мужчины, постоянно размышляющего о Боге, — это девственная страна, которая жаждет быть заселенной. Каменные покои требуют драгоценностей, мехов, ярких тканей и теплой плоти, пусть даже Самсон обрушит храм. Женщины — другой, отличный от нас народ, язычники, живущие рядом с нами, и, совращая, мы неизменно обращаем их.

Кто из любивших не чувствовал себя защитником? Неправда, что наши природные инстинкты облагорожены рыцарскими порывами, скорее уж рыцарские порывы закованы в тяжелые, громыхающие доспехи инстинктов. Любят евнухи. Любят дети. Хочу любить и я.

Сидя здесь, над толпой, я все пытаюсь закинуть эту людскую массу в царствие небесное. Задача не из легких: уж слишком велико стадо и слишком порочна каждая отдельная его особь. Нет более яркого memento mori, чем фотография давно рассеявшейся толпы. Годовщина Дня перемирия, люди приветствуют Рузвельта, вот они, тысячи соломенных шляп и крахмальных воротничков, мужественные, открытые лица, застывшие в кипении жизни, и вдруг все смело. Толпа исчезает с улицы, точно снесенные развалины дома, не остается ни наследника, ни имени, ни следа. Как просто и легко вообразить, что я существую за пределами времени, но то, что я перестану существовать, воображение не может осилить. Впрочем, когда я изучаю это плотное людское месиво, расползшееся по всему пляжу, мне в голову лезет невообразимая чепуха. Например, в каком виде уйдут в жизнь вечную женщины — в облике ли юных девушек, солидных дам или безобразных старух? Что они будут делать, оставшись без сплетен и детей? А те, кто потерял память, кто неузнаваемо изменился внешне, вернут ли нам утраченное, когда бухгалтеры небесной канцелярии подведут последний баланс? Ведь там оперируют таким масштабом цифр, что ум за разум заходит. Когда-то род человеческий представлял собой маленькую стаю обезьян-аристократов и вся цветущая земля принадлежала им; сейчас человечество распространилось по всем континентам, точно чума, точно пожар, и все опустошило. Гигантское скопище на берегу, эта миллимикроскопическая его часть — а может быть, этот беспрерывно плодящийся муравейник сам по себе бессмертен, и, стало быть, нечего мне о нем больше думать, точка? Ведь в каком-то смысле бессмертен пчелиный улей, и разве каждый из нас не подобие улья, не галактика клеток, в которой каждая, вне всякого сомнения, молится со своей церковной скамьи, в ногте ли большого пальца или в пищеводе, о собственном персональном воскрешении. Мало того, возможно, клетки даже считают, что рак послан для возрождения веры. Нет, о ближнем следует забыть, это разумно и полезно для душевного здоровья.

Разливанное море ближних особенно раздражает и изнуряет меня по воскресеньям утром. Не понимаю, почему люди перестали ходить в церковь, они что, разучились петь или потеряли желание слушать? Начиная с половины девятого они валом валят от автостоянки — муравьи, каждый со своей крупицей багажа; и к полудню, когда двери дальних церквей выпускают горстку верных, нарядных прихожан, море уже сплошь кишит полыми головами и бьющими по воде руками — такое впечатление, будто у берега качается широкая полоса прибитого волнами мусора. Внизу лежащий где-то на песке транзистор испускает тоненькое виноватое дребезжанье — колокольный перезвон, завершается записанная на пленку служба. Это уже апогей идиотизма, полное помрачение рассудка, я бессильно оседаю в кресле, полуприкрыв глаза, в щелках век контуры тел размываются, и мне начинает казаться, что это заблудшее протестантское стадо пламенно молится на коленях у края воды. Я словно бы лежу и грежу в твердыне бесконечного пространства до сотворения мира, и видится мне то, что в сущности увидеть невозможно, — рай. Ведь если б мы существовали до того, как Бог отделил во-

ду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, разве смогли бы мы понять простую, ясную как день, банально азбучную истину, что наше самое большое достояние, наш самый счастливый дар – мгновенье, единственное, непреходящее мгновенье, которое мы с каждым нашим вдохом подносим к губам во всей его полноте?

Итак, веселитесь. Веселитесь, такова моя заповедь. Я прозрел ее в кишении ваших тел. Раскиньтесь на песке, как шкуры, растянутые скорняком, пусть чудо этого мгновенья – солнце – дубит вашу кожу. Наслаждайтесь легкостью ног, которые вы можете развести как ножницы, гибкостью вашей талии. Устраивайте возню, валяйте дурака, болтайте глупости, будьте как дети. Я здесь, над вами; я отдал свою молодость, чтобы вы могли позволить себе это. Я жду. В накате времени есть коварные глубинные течения. Вас неуклонно сносит к горизонту. Что ж, я готов; мои мускулы справятся со всем, что мне предстоит. Настанет день, когда моя готовность вознаградится: у горизонта раздастся долгожданный, прозрачный, похожий на зеленый колокол над водой крик, тот самый крик, крик о помощи, который еще ни разу, с печалью вам признаюсь, ни разу не прозвучал.

Джо Грин

Стихи

Перевод с английского и вступление А. Нестерова

Джо Грин (р. 1948) принадлежит к тем американским поэтам, которые осознанно держатся в стороне от больших издательств, предпочитая публиковаться в независимых литературных журналах — но ими-то по-настоящему и жива сейчас поэзия. В чем-то судьба этого литературного круга в Америке напоминает ситуацию русских авторов, принадлежавших к оппозиционной "второй культуре" 60—80-х годов. Они не печатались в официальных изданиях, но во многом определили саму судьбу русской поэзии — именно с именами Ольги Седаковой, Елены Шварц, Виктора Кривулина, публиковавшихся тогда только в сам- и тамиздате, были связаны самые интересные открытия в русской поэзии после Бродского. В сегодняшней американской поэзии "настоящее" надо искать не в книгах маститых поэтов, вышедших под маркой престижных издательств, и не на страницах солидных журналов, а в малотиражных альманахах, в книжках, издающихся мизерными тиражами маленькими издательствами, — но именно эти публикации определяют истинное лицо современной американской литературы.

Джо Грин закончил университет Линкольна (Пенсильвания) — когда-то в этом же университете учился Ленгстон Хьюз. Потом была еще учеба в аспирантуре Миннесотского университета — однако написанную диссертацию о нарративных техниках Шекспира Грин защищать не стал. Работал редактором, библиотекарем. Успел послужить в армии — где, среди прочего, выучил русский язык, интерес к которому зародился еще в юности, когда в 14 лет он впервые прочел Гоголя в английском переводе.

Для стихов Джо Грина характерна редкая для современной англоязычной поэзии искренность, слегка отстраненная иронией и прикрытая многочисленными литературными аллюзиями. Если представить поэта в качестве собеседника, то Джо Грин — один из тех, разговор с кем требует серьезнейшей концентрации интеллектуальных усилий, но всегда интересен. Интересен еще и тем, что Грин предельно четко выговаривает свою позицию — но не навязывает ее другому.

"Аллюзивная" техника, которой пользуется Джо Грин, отчетливо видна в стихотворении "Мыс Лобос: 1944". В подтексте здесь присутствует судьба известного американского поэта Робинсона Джефферса (1887—1962). В 1913 году Джефферс переехал в город Кармель (Калифорния), где выстроил себе дом, чьи окна смотрели на мыс Лобос. Лучшие стихи Джефферса воспевали "холодную красоту вещей" — красоту, в самой бесчеловечности которой уже таится трагедия. Контраст этой невыносимой красоты окружающего мира и мелочности устремлений современного человека — тема, все сильнее звучавшая в стихах Джефферса 30-х годов, вслед за Ницше настойчиво призывавшего отказаться от "человеческого,

© Joe Green, 2005
© А. Нестеров. Перевод, вступление, 2005
Редакция благодарит Джо Грина за право безвозмездной публикации.

слишком человеческого". В годы Второй мировой войны этот "дегуманизирующий" (хотя сам Джефферс никогда не пользовался этим словом) взгляд на мир уже не мог не вызывать вопросов, и Джефферс потерял большинство своих читателей. Стихотворение Джо Грина написано от лица стареющего поэта, проводящего дни за слушанием радио, а ночью — смотрящего на звезды и видящего в войне лишь "великую вылазку в самое сердце тьмы", как сказал Джефферс в одном из своих текстов, написанных в те годы.

Джо Грин — из тех поэтов, которые задают вопросы, безжалостно ставя читателя перед этической диллемой, как в стихотворении "Мыс Лобос: 1944" или в другом тексте из предлагаемой подборки: "Любовь к динозаврам".

В этом Джо Грин наследует той традиции американской поэзии, что связана с именами Джона Берримена, Джеймса Райта, Роберта Блая, — жесткой "поэзии свидетельства". Но это лишь один "полюс" поэтического мира Джо Грина, а на другом — поэзия елизаветинцев, Китса, Вордсворта, то есть вся полнота англоязычной поэтической традиции. У Джо Грина есть стихи, где собеседниками поэта выступают Чосер или Донн, есть тексты, построенные на аллюзиях и цитатах из немецких поэтов, например, Рильке.

Причем, все это — живое: не демонстрация книжного энциклопедизма, а непосредственное чувство включенности в единый большой поток поэзии.

Мыс Лобос: 1944

В небе пламенеет галактика — меч на бедре
у охотника отливает огнями: "отмеченный статью и красотой,
как никто из живущих"[1], Орион в вечном беге, на плечах —
шкура льва, на копье полыхает звезда:
темно-лиловый алмаз, отливающий пеплом.
За охотником стелется пес. Орион бросил женщину,
устремился в погоню за добычей[2] и — оступился,
упал прямо в небо, и вот теперь падает вечно
в океан, там, на западе небосклона; меч пламенеет во тьме,
наконечник копья: темно лиловый алмаз,
с оттенком пепла.

Стоя на кромке
океана, впору запрокинуть голову вверх — что ты и делаешь:
"Как поэтично!
История, благословленная
Небом..."

1. Ср.: "... станом всех выше людей их земля возрастила:
Всех красотой затмевали они, одному Ориону
В ней уступая...". Одиссея. II. 309 – 310. Перевод В. А. Жуковского. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. "Впрочем, этим Плеядам, дочерям, как мы сказали выше, Плейоны и Атланта, древние астрономы определили место на небе в стороне от Тельца. Когда Плейона и ее дочери проходили по Беотии, Орион, распалясь желанием, захотел сойтись с нею против ее воли. Она пустилась в бегство, и Орион безуспешно преследовал их семь лет. Но Юпитер сжалился над девами и поместил их среди созвездий... Поэтому взору представляется, что Орион до сих пор преследует их, убегающих на запад". Гигин. Астрономия. Кн. II, 21.4. Перевод А. И. Рубана.

Не история даже, поэма; охотник — что нам до имен? —
Орион, Одиссей ли, Геракл, раз за разом — все то же,
погоня за добычей, начало великого странствия.
"История странствия, в погоне за добычей?"
"Добыча — само странствие".
"И чего же хотел Орион?"
"Я... я не очень-то помню... Но..."
"Говори..."
"Одиссей, тот хотел одного лишь — добраться до дома".

"Мне нравится эта история".
Думаю, лучшей наша цивилизация не создавала.
600 миллионов умерло только во имя того, чтобы этот рассказ
родился!

Начало восходит к Гомеру, хотя —
почему обязательно он? Сгодится любая лысая обезьяна, была
бы талантлива.
Обезьяна,
примкнувшая (где-то там, в русских степях) к стае
собратьев-убийц. Ладно,
пусть будет Гомер. Посчитаем: четыре миллиона лет на
создание крупных приматов,
потом миллион лет отбора, экспериментов — и вот мы
имеем Гомера.

Говорят, дело было после войны:
он прищурил свой внутренний взор, и измыслил поэму,
в которой был пойман
звездный отблеск на глади воды, отблеск стали небесной.
Поэму о не знающем отдыха
муже. О ликвидации.

Чем не история
Для возлюбленной!
История о тех, кто был убит и убивал, история богов, которые
убийством промышляют — и вечно живы. В этом —
благородство?
И... лучшей у нас нет.

Слушай, я ведь знаю: вряд ли у нас хватит решимости взглянуть
в бесчеловечность

Небес. Рабы концлагерей, мы ищем Гомера, чтобы спел:
о благородном муже, который в трудах и битвах вечно[1], и
вечно
будет жить, подобный богу.

Только Тимурчен, пожалуй, мог бы сказать
о небе правду.

1. Ср.: "Битвы и мужа пою...". Энеида. I, 1. Перевод С. А. Омерова.

Но... и у него был собственный Гомер, жадно ловивший
сиянье звезд на глади вод...
И так из века в век: мы населяем
собой пространства ночи....

Есть ли что подлее этих порывов к небу?!
Гомер, ты говоришь... Гомер был лучшим из лжецов,
сумевших заключить союз со Смертью.

А все-таки... Увидь мы звезды — просто звезды? Отбросив
прочь всю пошлость рассказов, цель которых — заболтать
наш ужас перед красотой бесчеловечной?
Но... нам уже не по себе от нами же придуманных химер...

Вернемся к нашим грекам. Великая цивилизация? И где же
она?
Бесславная кончина. Но то была хотя бы смерть в кругу семьи.
Рим загибался в одиночку: губы жертвы дрожат. "Подай-ка
молоток". Огонь сошел с небес. И небо сделалось,
как власяница.
Бог — и скончался в муках? Что ж тут скажешь...
Не впечатляет, право...
"Взгляни на небо. Орион. Персей. Они алкали
одного —
бессмертья. Даже — Гончий Пес, чьи глаза,
как звезды...
Но *небеса* для них недостижимы.
Ведь если ты родился до Христа, душа твоя не стоит и полушки
медной".

Любовь, одна любовь откроет небо. Там,
в вышине, — там пламенеет роза
в сердце галактики.
Сокровище — там,
в центре этой розы.
Мы видели ее.
И имя ей — любовь.
О, роза Данте.
Кладезь доброты!

По мне, уж лучше верить в доброту
взъярившегося льва.

Но — дальше, дальше. Еще одно
тысячелетье, отмеченное
самолюбованьем. Но — огненное колесо:
прожилки хрусталя в граните.
Огненное колесо: цветок белейшей лилии.

Очередная война, вновь
поэты — искренне и в осознании свободы

писателя, себя вверяют все тем же: Геббельсу и Рузвельту
на небе.
Поэт — для публики!
Есть еще иные
поэты, что пасутся на тучных пажитях и нежно блеют, в небо
вперяя взор.
Эти все талдычат: религия, искусство, неизбывный
мир нежных чувств (конца ему не будет...). И где он, этот
мир?
Над нами, в вышине?
Сияет по ночам над этим концлагерем с удобствами?
"Как же — без этого? После всех бомбежек,
грязи сражений: нужно ведь и это.
Красота...
Любовь..."
Это — превыше пониманья.

Поэты — лучшие среди поэтов:
Гомер, Данте, Шекспир, — те, кто превзошел
других, — поэты утверждают,
что эта бездна, эта алчная утроба — есть красота.
А значит:
На костях младенцев спящих стоит цивилизация,
зимою этой еще десятки тысяч сдохнут, под нежным
мерцаньем Плеяд.

Гравитации причуда
охотника в его небесном беге над Азией ежевечерне
заставляет склониться долу.
Дни напролет я слушаю по радио известья.
Ночами я настроен внимать небу, молчанью звезд.
Орион над Азией заходит.
Но Азии охотник не коснется...
Когда-нибудь и мы очистимся?
В огне.
И полыхает пламя.

Любовь к динозаврам

Умирающий друг в постели
листает "Парк юрского периода".
А мне — мне хочется закричать:
"Какого черта!
Ведь ты умираешь!
Тебе бы — читать молитвы,
Тебе..."

— Знаешь, всегда любил динозавриков, —
бормочет он, засыпая,
пальцем зажав страницу.

Письмо от пса, из-под осажденной Трои

Дорогая Пенелопа,
Здесь вечно дует. Девять лет в палатке на берегу!
Улисс говорит, они знают, что делают.
Ну конечно же. Уже верю.
Девять лет — и чего ради?
Хотя... им девять лет — не срок...
Девять лет — почти вся собачья жизнь!
Я устал. И не спрашивай о богах:
всему есть пределы...
Хотя... Про богов ты знаешь не хуже меня.
О щенках мне известно,
жаль, что сказала не ты...
Сама понимаешь: она поделилась со мной этой вестью.
Ну, да это неважно.
Просто... Увези их с Итаки.
Когда ты прочтешь эти строки,
Меня уже не будет. Мне осталось... года четыре?
Я уйду туда, где нет людей.
Нет богов.
Разве что... кролики?

Абель Поссе
Страсти по Эвите

Перевод с испанского Н. Беленькой

Посвящается Кармен Бальсельс

Перед вами портрет самого обаятельного каудильо в истории Аргентины нынешнего века. Книга, составленная из множества голосов. Роман, написанный его же героями. Биография целой нации: в центре — соломенная шляпка, сияющая улыбка, в глубине — хор и народ. Автор всего лишь собрал и объединил различные сюжеты и истории, породившие миф.

Но это еще и путешествие в самое сердце Аргентины, в ту далекую пору, когда Буэнос-Айрес закружился в водовороте жизни — рискованной игры, романтики полуночных улиц предместья, где звучало танго. Эвита решила покорить город. На самом же деле ей пришлось иметь дело с государством-левиафаном, и постепенно она стала одной из самых значительных фигур мировой политики, излюбленного детища мачизма.

Все, что вы найдете в этой книге, основано на исторических фактах. Материал для ее написания заимствован из бесед с участниками событий или из их мемуаров. В конце романа читатель найдет имена людей, которых автор благодарит за помощь.

Ролан Барт утверждал, что роман по сути своей есть смерть, потому что превращает жизнь в судьбу. После смерти Эвы Перон, такой жестокой и долгой по сравнению с ее короткой жизнью, автор попытался восстановить ее судьбу, эту яркую и отчаянную трагедию.

А. П.

И ходил Енох пред Богом; и не стало его, Бог взял его.

Бытие. 5:24

И вот дух мой был похищен и вознесен на Небо. И увидел я ангелов Божьих, шагающих в огненном пламени.

Рай находится между разрушением и созиданием.

Книга Еноха

© Emecé Editores S. A., 1994
© Н. Беленькая. Перевод, 2005

Всего только девять месяцев!
Точнее, девять месяцев и пятнадцать дней.
Девять раз по месяцу. Всего лишь
девять
месяцев, которые пролетят как
один-единственный месяц.

НАКОНЕЦ-ТО ОНА ОСТАЛАСЬ ОДНА. По-новому расставлена мебель, в шкафу развешена одежда, разложена косметика, ампулы и пузырьки на стеклянной полке злодейски вытеснили душистые ряды баночек и флаконов, верных спутников женской привлекательности.

За красной шторой Эва обнаружила странные предметы, проникшие в ее комнату, словно гулящие девки, которых развратник тайком привел в дом. Два кислородных баллона, помятых и поцарапанных во время перевозки, немало кочевавших от одной смерти к другой. От баллонов тянутся непристойно розовые резиновые шланги. Баллоны смахивают на двух растерянных провинциалов, которые, вырядившись с иголочки, явились на вечеринку, устроенную медперсоналом. Эва знает: кислородные баллоны ненадолго опережают визит священника. Их заботливо прячут за шторой возле ванной комнаты.

Эва входит в ванную, зажигает свет и встает напротив зеркала — честного, безжалостно правдивого, словно вышколенная медсестра-немка.

Я раздеваюсь перед зеркалом. Я готовилась к этому испытанию несколько дней. Мне нужно одно — знать правду. Халат и атласное белье соскальзывают с меня до странности легко. Я всегда любила белье из шелковистого атласа, как у Джин Харлоу[1]. Не забыть бы рассказать Ирме: внешне я вылитая Джин Харлоу, но внутри никакой Джин Харлоу нет и в помине — совсем как жаркое из кролика, в которое положили все, кроме крольчатины...

Но я — это не только мое тело, такое крошечное, жалкое, как будто я превратилась в подростка. То же самое я чувствовала шестнадцать лет назад, когда жила в пансионе на улице Кальяо: однажды я заметила, что совершенно непохожа на женщину. Если бы мне пришлось торговать собой (чего боялась моя мать, когда я уезжала из Хунина), никто не захотел бы мною воспользоваться, разве что какой-нибудь извращенец. У меня никогда не было форм, которые обычно привлекают мужчин, особенно аргентинцев. Мое тощее, плоское тело всегда казалось слишком детским, а теперь и вовсе почти ничего не осталось.

Тогда, в пансионе, я пришла в бешенство. Я засунула в лифчик два скомканных муслиновых чулка и вечером во время спектакля впервые поймала на себе несколько красноречивых мужских взглядов. Пьерина обнаружила мою уловку и долго надо мной смеялась.

Видели бы меня сейчас все эти чопорные аристократки, жены олигархов, которые слишком оптимистично называют меня шлюхой! Куда там! В шлюхи я не гожусь, у меня попросту нет для этого данных. Во-первых, отсутствуют бедра — самая знойная часть женской фигуры. Нет ни плавных изгибов, ни соблазнительных выпуклостей. Я вся как-то съежилась, усохла. Руки, прикоснувшиеся ко мне сегодня, разочарованно

1. Джин Харлоу (наст. имя Харлин Карпентер; 1911—1937) — американская актриса. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

скользнут по плоской поверхности. Останутся ни с чем — эти жадные, настойчивые руки. Множество, множество рук. Как они бесстыдны и алчны в первую ночь — пахнущие никотином руки, которые осторожно подкрадываются к тебе в полумраке кинозала. Руки известных дикторов с усиками, как у Кларка Гейбла, руки администраторов и импресарио — таких богатых и самоуверенных. Ничего им теперь не достанется, этим рукам.

Зато волосы не меняются. Никакая болезнь им не страшна. Говорят, волосы растут даже у покойников.

Представьте себе, я снова стала тем жалким тщедушным существом, каким была много лет назад, покидая Хунин. Пожалуй, придется снова комкать чулки и подкладывать в лифчик. Скверный симптом, недаром говорят, что незадолго до смерти человек телом словно превращается в подростка. А еще говорят, что в лице умершего проглядывают черты ребенка...

В зеркале ясно видно, какую цену пришлось заплатить дереву, возмечтавшему стать факелом.

Всегда было во мне что-то вызывающее, мятежное, неспокойное. За все в этой жизни мне приходилось переплачивать вдвое, если не втрое.

Но теперь настал черед последнего решающего рывка — к жизни. Я должна преодолеть болезнь. Видите, падре Бенитес, ваш Бог ошибается, я должна остаться по эту сторону. И клянусь вам, не ради себя самой!

Если же я не права, пусть Бог подарит мне сто дней, падре, всего сто дней.

Зато у меня теперь изящные икры. Прямо как у газели. Как старалась я когда-то быть стройной! Чего стоили все эти салаты из морковки и постные супы!

Мое тело было совсем иным. Оно принадлежало ночному Буэнос-Айресу, где я стала актрисой. После всего, что мне довелось пережить, меня наконец-то взяли в театр. Мое тело было создано для желаний, для нежного трепета. Какая тонкая, едва уловимая разница! Чуть покруглее здесь, поплотнее там — и вот она, эта загадочная притягательность, без которой не выжить в джунглях.

Какая забавная игра, как нелепы все эти существа с насупленными бровями, как странно выглядят эти двое: им не до смеха, не до шуток — они охвачены страстью. Борьба, возня, прерывистое дыхание... О мужчинах вспоминаешь одно — до чего они неуклюжи. Зато как настойчивы, как усердны! Какие у них тяжелые, липкие взгляды! Вот они готовят свою извечную атаку... Я отлично знаю все их уловки, хитрости: они прут напролом, а добившись своего, сопят, потеют... Сделав дело, курят. Мужчины... А потом исчезают.

Комедия, да и только. Трагикомедия.

Мужчины — вот истинные хозяева мира сего, всех его лестниц, входов и выходов.

Фокусники, запыхавшиеся акробаты, которые отдуваясь с нас сползают. Ловкие, мечтательные иллюзионисты. Неутолимый голод распаленных животных толкает их вперед. Канатоходцы и гимнасты полуночного городского цирка. Моя кожа, наша женская плоть — вот их арена, где они мечтают, бредят, гоняются за призраками. Мужчины — это клоуны, дрессировщики и жандармы. А мы — цирковые девчонки...

До чего все скучно! Какая тупая, изнуряющая, бесконечная работа! С малолетства нас учат опасаться мужчин, вечно быть начеку: так кошки

признают силу собаки, так мышки боятся кошек. Нас учат безошибочно угадывать, что таит в себе мужской взгляд. Мужчины нагло проникают в наши глаза и воображение. Мы учимся обходить тысячу ловушек. Всю жизнь женщина чувствует себя как газель, которая каждое утро спускается к водопою, — напряженная, внимательная, чуткая. Проклятые мужчины!

С рождения жить в ожидании чего-то преступного. В ожидании секса. Боязнь сумерек, любой пустынной дороги, пустого дома, темного подвала. Сложное искусство хождения по ночам, украдкой, незаметно — я освоила его, когда по окончании спектакля садилась на трамвай, а затем шла пешком до убогого пансиона на улице Пинсон.

Еще в колледже мы запугивали друг друга, мы учились быть осторожными, блюсти себя. Шепотом рассказывали об этой вечной тайной войне, о нескончаемой охоте. Мы были испуганным, вечно гонимым стадом. Негласные правила сводились к одному — как избежать домогательств мачо, в которых мы видели роковую ошибку природы.

У нас, затравленных самочек, тоже имелись свои уловки: долго, терпеливо учились мы принимать насилие за любовь. С детства мы чувствовали себя в этом мире словно в питомнике, где выращивают крокодилов... Но вот наступал день, когда то та, то другая принималась играть с крокодилом. Понятно ведь: когда вокруг кромешная ночь, перестаешь бояться темноты.

Сколько раз вспоминала я поговорку нашей ведуньи доньи Асунсьон: ни собакам, ни мужчинам нельзя показывать, что ты их боишься. Они чуют страх, он их притягивает и распаляет. Если тебе грозит опасность, замри, стой неподвижно. Если же они все-таки на тебя бросятся, ори что есть силы и отбивайся. Ярость жертвы сбивает их с толку, и они бегут, поджав хвост, куда глаза глядят. Так нас учила донья Асунсьон.

Эва с облегчением вытянулась в постели. Последний предутренний приступ лихорадки дотлевал, словно горячий пепел костра.

"Пройдет всего сто дней..."

Муньос написал сценарий по мотивам фильма с Гарбо и Шарлем Буайе. Сценарий радиоспектакля про Валевскую, Марию Валевскую. Мы вышли из кафе и направились в студию на улице Бельграно. На мне была синяя шляпка, о которой потом все столько говорили. На упругой тулье сидела крошечная колибри из белых перьев. Яркий солнечный свет, веселое утро, погожий день. Я давно поняла: ощущение ускользающей гармонии, равно как и трагедии, сохраняют мелочи.

Музыкальная пауза, реклама масла "Косинеро" ("Лучше масла нет примера"), затем пудры "Ле Санси" от Дюбарри. И вот раздается стук копыт скачущего галопом коня. Металлический звон стремени, звякнувшего о саблю.

— Это Мюрат! Маршал Мюрат!

Затем вступаю я, Мария Валевская:

— Мюрат, мой верный друг! Как вы бледны, как измучены!

— Мадам! Я скакал день и ночь! Я принес вам великую новость!

— Вы принесли мне новость об императоре?

— Да-да, мадам! Он бежал с Эльбы и движется к нам!

— О боже! Он не сумеет противостоять предательскому заговору коварных врагов. Заговор возглавляет Веллингтон, в его руках сосредото-

чены все силы Австрии, его поддерживают лакеи, это они захватили французский трон. О боже!

— Мадам, слезы душат меня. Я хочу одного: передать вам слова императора: "Никто не сможет меня удержать..." Пройдет всего сто дней, и Европа снова будет у него в руках, и все это ради того, чтобы пасть, изнемогая от любви, в ваши объятья!..

— Мой добрый друг, я не в силах сдержать слез! Владимир, принесите мне поскорее рюмку коньяку!

"'Радио Бельграно' и первый канал Аргентинского радио представляют цикл театральных постановок с участием знаменитой актрисы Эвы Дуарте..."

Шесть тысяч песо. Куплю себе petit gris[1] и боа, а потом угощу Пьерину печеной картошкой в "Лас Делисиас" возле студии "Радио Эль Мундо". Пьерина просто обожает печеную картошку. И мы будем смеяться, смеяться как сумасшедшие — над ними, над мужчинами. Ведь это Пьерина сказала мне, что Наполеон был импотентом...

ДОБРЯК РЕНЦИ НЕСЛЫШНО ПОЯВЛЯЕТСЯ В КОМНАТЕ раньше положенного. Эва наблюдает, как он кладет на журнальный столик свежие номера "Пренсы" и "Демократии". Сегодня среда, по средам выходит приложение "Эль Тони". Интересно, что будет дальше с Одиноким Гаучо? Сумел ли он освободиться из западни, устроенной ему золотоискателями? Ренци осторожно заглядывает в полумрак спальни. Он думает, что Эва спит. Но она сидит в кресле, поджав под себя ноги.

— Тебя удивляет, что я сняла больничную рубашку?

На ней костюм, который она носила в поместье "Сан-Висенте": светло-оливковые брюки, голубая блузка и куртка из тонкой кожи; такие куртки всегда кажутся не то выгоревшими, не то потертыми. На ногах у Эвы короткие темно-коричневые сапожки из шевро. Кажется, что они ей велики на пару размеров. Она аккуратно причесана: волосы заплетены в косу и уложены короной. Она накрашена, и ее бледность не так заметна. Видя, что она встала, Ренци хочет сказать ей что-нибудь ободряющее. Эва нетерпеливо перебивает его, ее голос звучит сухо, но Ренци давно к этому привык.

— Хорошо, что ты пришел вовремя. Мы о многом должны поговорить, многое сделать. Ты мне сейчас очень нужен. На тебя я могу положиться, потому что в глубине души ты не веришь, что я умру. Они относятся ко мне так, будто я уже покойница. Я все замечаю, все понимаю. Болезнь одолевает нас, когда мы сломлены, пали духом. И она отступает, когда мы боремся, когда мы живем, действуем. Болезни возникают и исчезают по таинственным причинам, о которых не ведают врачи. Умирает тот, кто уже мертв. Живет тот, кто хочет жить. Когда у нас не хватает духу бороться, кричать что есть мочи, мы начинаем умирать. Почти все люди мертвы — они ходячие мертвецы. Я буду бороться, Ренци, и, значит, я буду жить. Вот увидишь! Ты мне очень нужен, Ренци, больше, чем когда-либо. Ты поможешь мне в самых сложных делах. Я не хочу, чтобы ты помогал мне по должности или из ложного чувства преданности... Я хочу, чтобы ты был со мной по доброй воле. И никто, никто не должен знать, чем я занимаюсь.

1. Зд.: беличья шубка (*франц.*).

— Сеньора, что бы ни случилось, я всегда буду с вами...

— Если человек противостоит невзгодам, он спасется. Я буду напористой и отважной, и это меня излечит, — продолжала Эва, словно не слыша ответа Ренци. Затем добавила: — Ни в кого я не верю так, как в тебя, Ренци... Вы нашли человека, о котором мы говорили?

— Все в порядке, Сеньора. Это было непросто, но наши друзья из разведки поработали на славу. Я лично готовил ребят...

— Как они его обнаружили?

— Этот тип жил на берегу Кильмеса под чужим именем. Были допрошены все немцы, которые собираются в пивной на улице Сукре. Генерал живет в ветхой лачуге. Он очень удивился, что с ним обращаются как с генералом, особенно когда мы назвали его настоящим именем. Он просто опешил.

— Как он отнесся к вашему визиту?

— Плохо. Сказал, что не хочет иметь с нами дело. Он приехал в Аргентину с одной целью — умереть спокойно, забыть обо всем. Ну, мы предупредили, что, если он откажется с нами сотрудничать, мы выдадим его местонахождение, — и тогда немцы потребуют экстрадиции... Генералу пришлось согласиться. Наши ребята с ним уже работают. Они дважды с ним встречались, и он готовит первый проект.

— Он понял, чего мы от него хотим?

— Ему все подробно объяснили.

— Мы должны действовать безотлагательно, время не ждет, а мы спим, ни о чем не беспокоясь. Установите постоянное наблюдение за этим человеком, он нам очень нужен. Поселите его в "Плазе" или где-нибудь еще, чтобы он работал день и ночь, работал, не жалея сил. Заплатите ему сумму, которую он назовет, деньги возьмите прямо из Фонда. Нельзя терять времени, Ренци. Против нас готовят заговор, а мы ведем себя так, словно в стране ничего не происходит. Что еще сообщает секретная служба?

— Те же сведения, которые сегодня получил президент, мне обо всем рассказал Хуансито. Ему стало известно о встречах политиков с офицерами, в основном из кавалерийских частей. Однако похоже, что в армии заговор провалился: подразделениям из Кордовы и Кампо-де-Майо не удалось договориться. Кроме того, следует учитывать мнение политиков... Некоторым образом предположения Генерала...

— Что ты имеешь в виду, Ренци?

— Видите ли, ваш отказ двадцать второго августа от должности, Сеньора... Отказ от поста вице-президента...[1] — Ренци не удавалось найти подходящие слова.

— Ты считаешь, что крысы испугаются? Неужели что-то их может остановить?

В голосе Эвы послышались жесткие, высокие нотки. Это был голос гнева, когда прорывались наружу самые пугающие черты ее характера.

— Запомни, Ренци: крысы никогда не идут на попятную, никогда не уступают. Вот почему однажды они вытеснят людей с этой гадкой планеты. Ты когда-нибудь наблюдал за крысами? Если у них есть цель, они движутся только вперед; для них не имеют значения ни жертвы, ни потери, ни цена, которую надо заплатить. Только цель — и больше ничего. Кры-

1. 22 августа 1951 г. Эва Перон отказалась от предложенной ей должности вице-президента.

сам неведома сладость победы, им не нужны ни слава, ни любовь. Это твари, для которых существует только одно – неустанное вечное действие. Крысы никогда меня не простят, Ренци. Они знают, что не сегодня, так завтра придет их час. Они впервые учуяли нашу слабость. Они уверены, что в их руках все скрытые рычаги, все мощные денежные рычаги... Надо действовать, надо штурмовать их поганые норы, жечь их из огнемета!

Она жадно вздохнула и спросила:

– Что еще произошло за это время?

– Фрондици, радикал, снова переметнулся к генералу Менендесу; помните, первый раз он явился к нему домой на улицу Оливос 31 июля. Однако партия, похоже, его не поддерживает. Чиолди ведет себя очень активно, то и дело встречается с офицерами военно-морских сил. Он говорит, что настанет день и страна вспыхнет, как пожар на сеновале. По его мнению, нация по горло сыта перонизмом, и Федерация студентов Буэнос-Айреса, ФСБА, чиновники и даже члены некоторых профсоюзов выйдут на улицу и в один миг одержат победу.

Взгляд Эвы пылает, лицо краснеет.

– Чиолди – социалист! Они заискивают перед Браденом, перед генералами, взывают к их паршивому здравому смыслу! Они ненавидят народ! Им не нужна истинная демократия, единая, сплоченная нация! Их надо уничтожить, Ренци! Ты понимаешь, какие за ними стоят силы? Они плетут свои подлые сети даже сейчас, когда власть целиком в наших руках! Нельзя себя обманывать: они никогда не простят нам, что мы взбаламутили всю страну и наши оборванцы гнали их прочь по авениде Альвеар. Мы разбудили народ, а такое не прощают... Мы зажгли крохотную искру, и вот они уже суетятся и со всех ног бегут ее гасить, затаптывать. Похоже, крысы совсем нас не боятся. Мы всего лишь маленький островок в бурном море, а как много о себе возомнили! Надо тормошить, будить народ, наших верных сторонников. Чтобы поняли: их маленькое счастье надо защищать с бешеной ненавистью! Поверь, Ренци: если мы их не уничтожим, все пойдет по-старому. Мы стоим на пороге великих перемен. Если перестанем их бить, превратимся в посмешище, в жалких авантюристов, в кочку на дороге богачей!

Эва разбушевалась. Казалось, ее окружает светлое, чистое сияние, словно светятся сама ее кожа, ее кровь.

– Видишь, Ренци? Посмотри, как порозовели мои руки, мое лицо. Ты ведь понял, о чем я говорю? Я рада, что вы разыскали генерала. Ты уверен, что это действительно тот, о ком говорил Молина? Что это он был советником у китайцев?

– Он, Сеньора, никакой ошибки быть не может.

– В таком случае, вы должны его использовать. Пусть ему хорошо заплатят – столько, сколько попросит. Игра того стоит. И помни: чтобы никто ничего не пронюхал. Никто не должен знать, с кем я работаю... Перона не бойтесь, он все знает, и он на моей стороне... Пора браться за дело, Ренци! Смотри-ка, я вся горю. Помнишь, что я говорила тебе о болезни и о жизни?

Ренци кажется, что гнев Эвы пошел на убыль. Желая сделать ей приятное, он достает перевод газетной статьи.

– Сегодня нам прислали эту вырезку из лондонской "Стар". Там пишут, что госпожа Перон – самая могущественная женщина на планете.

Речь идет о событиях 22 августа, об отказе от должности. Самая могущественная женщина в мире, вот как они вас величают...

— Выброси это, Ренци. Раз они так говорят, значит, как гиены, учуяли смерть. Выкинь эту бумажку. Нельзя доверять лести врагов. Она означает только одно: твои дела плохи... Как бы не так!

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ: В 1919 ГОДУ ЛОС-ТОЛЬДОС был унылым, затерянным в пустыни поселком. Зимой — непролазная бурая грязь, летом — клубы раскаленной пыли, вот каким он был. Домишки из небеленого кирпича тянулись вдоль нескольких грязных немощеных улиц, заросших бурьяном. Дождь выстукивал на цинковых крышах затейливые мелодии, печальные в зимние вечера, задумчивые и напевные летом. В январе домишки превращались в раскаленные печи: дотронешься случайно до крыши — обожжешься. Дело в том, что креолы, вопреки советам гринго, не сажают деревьев, словно не хотят менять привычный облик родной матери-пустыни. Лошади паслись без привязи, бродячие собаки яростно облаивали нищих, которые невесть откуда появлялись в селении, собирая с его обитателей жалкую дань. Другой приметой этого неказистого места были чудом уцелевшие индейцы, которые в те времена доживали свой век, безжалостно теснимые цивилизацией и равнодушной жестокостью христиан.

Порой индейцы без чувств валялись на земле возле продуктовой лавки — должно быть, джин "Льяве" возвращал им тени забытых богов и призрак великого Генешена. Иногда в поселок заглядывал какой-нибудь неприкаянный гаучо, который нанялся на сезонную работу или продавал скот, но на нем уже не было традиционных чирипá[1] и сапог, а с седла его свешивалась индюшка или сковорода. С приходом цивилизации многие солдаты превратились в гаучо и зажили под открытым небом, скрываясь от закона об оседлости, от судей, от всеобщего образования, введенного Сармьенто[2], от дешевого мыла, раздаваемого федеральными властями. Постепенно бывшие солдаты нашли общий язык со своими жертвами — индейцами. Навсегда ушли в прошлое те времена, когда военные были олицетворением власти — победителями, верными защитниками новой Аргентины. Правительство безжалостно уничтожало и преследовало их как врагов. В продуктовых лавках, прадедушках нынешних супермаркетов, все еще поговаривали о мятежнике Коликео, о Пинсене, о белых из банды Вильегаса, о полковнике Мансилье[3] и полковнике Борхесе, коменданте форта Хунин.

Некоторые из бывших солдат от отчаяния решились на безумный шаг: подняли мятеж, устроили кровавую бойню — массовые убийства поселян или погром итальянцев в Тандиле, — защищая веру либо вольную землю, то есть пампу без границ и колючей проволоки. Мятежники наделали много шума. Их ловили и расстреливали во имя прогресса. Просторы пампы украсила-таки колючая проволока. Уцелевшие мятежники

1. Чирипá — широкие мужские штаны из одного куска ткани.
2. Доминго Фаустино Сармьенто (1811—1888) — аргентинский политический деятель, писатель и историк; в 1868—1874 гг. — президент Аргентины.
3. Хусто Коликео (погиб в 1871) — индейский вождь; генерал Митре подарил ему участок земли в провинции Брагадо; Конрадо Вильегас Пинсен (1840—1884) — аргентинский военный, участвовал в походах против индейцев; Виктор Мансилья Лусио (1831—1913) — аргентинский писатель, военный.

ушли далеко на Юг — туда, где бьется (точнее, билось когда-то) сердце Родины — их Родины, еще не превращенной в Государство...

В ту пору во всех пограничных селеньях до самого Хунина и Брагадо знали и почитали имя Петроны Нуньес, бабушки Эвиты. Сначала Петрона была простой солдаткой — женщиной, принадлежавшей всем и никому, живущей при отряде действующей армии, из тех, кому дозволялось участвовать в военных походах. В мирные времена наиболее уважаемые и пробивные солдатки становились маркитантками или же им удавалось открыть в каком-нибудь форте бакалейную лавочку, торгующую всякой всячиной. Постепенно форты превращались в гарнизонные поселки, а то и в городки, где на месте сторожевых вышек появлялись колокольни.

Петрона Нуньес умела обращаться с мужчинами, в чьих испуганных глазах, казалось, навеки замерло отражение бескрайних просторов. Ее уважали: всем было известно, что за корсажем она прячет нож. Говорят, у Петроны и ее братьев прежде были земли, которые они, как и все, потеряли. Диохенес Нуньес, брат Петроны, из чувства собственного достоинства отказался от звания сержанта. Когда ему в награду давали очередную лигу земли, он ни за что не желал прятаться там за колючей проволокой. Видно, считал, что она оскверняет эти просторы, принадлежащие одному лишь Создателю. Свою землю он в конце концов прямо в лавке продал за наличные управляющим, которые вели дела столичных богачей. Кто знает, быть может, его покупателем был сам Уарте, поверенный Д'Угарта[1]. Толстосумам из Буэнос-Айреса, спесивым буржуям в сюртуках — вот кому все досталось. Удачливым торгашам и гринго, Веселому Теленку, как потом назовет Эва помещичью аристократию.

Долго привыкала Петрона к однообразию мирных будней. Потом она сошлась с Хоакином Ибаргуреном, они уехали из Брагадо и обосновались в Лос-Тольдосе, владениях Коликео. Усвоили, как могли, законы собственности, эксплуатации и обогащения, ту самую культуру капитализма, которая уже выводила Аргентину на одно из первых мест в мировой экономике. У Ибаргурена была огромная телега, запряженная четырьмя першеронами, на которой он развозил товары по бакалейным лавкам и магазинам генерала Ача. Петрона и Хоакин прижили двух дочек, Хуану и Либерату. Хуана получила фамилию отца, ее звали Хуана Ибаргурен. Она-то и стала матерью Эвы.

Сами видите: Эва пошла в бабку, неукротимую Петрону. Бабкина порода досталась Эве по наследству. Да, именно так: в Эве была *порода*, неуловимое редкое свойство, суть которого едва ли передается этим неясным словом и которое способно погубить человека или возвысить (или погубить и возвысить разом)...

Хуана Ибаргурен, видать, была слишком уж хороша собой, потому и засиделась в девках до девятнадцати лет. В маленьких селеньях боятся красоты и ума: эти качества кажутся опасными. К счастью, она познакомилась с Хуаном Д'Уартом, или Дуарте, который поселился в Лос-Тольдосе, чтобы возделывать земли Ла-Унион, чьим истинным хозяином был, как говорят, землевладелец Марселино Угарте. В те времена все кругом были убежденными консерваторами. Дуарте создал с Хуаной вторую семью, потому что уже состоял в законном браке с Эстелой Грисолиа, жившей в Чивилкое. Раньше такое случалось: у знатных и состоятельных се-

1. Речь идет о Марселино Угарте (1855–1929) — аргентинском военном.

мей были особые права, которых ныне не знают. В 1908 году у Хуана и Хуаны родилась первая дочка, Бланка. Потом по очереди на свет появились Элиса, Хуан, а затем, в 1914 году, Эрминда. Все дети получили фамилию Дуарте. Тем временем отношения между любовниками, представьте себе, остыли. Бывает и такое: вторая семья осталась, а любовь ушла. Но как-то раз после очередной ссоры, которая закончилась безрадостным соитием, была зачата Эва Мария, последний плод этого пылкого союза. Она родилась в мае 1919 года. Хуане Ибаргурен было в то время 32 года. Дуарте отказался признать ребенка, и Эву записали Марией Эвой Ибаргурен, хотя все ее звали Дуарте, как других детей.

Хуан Дуарте выстроил им неплохой домишко на улице Генерала Виамонте в Лос-Тольдосе. До последнего дня своей жизни он оплачивал им прислугу. На мой взгляд, дети Дуарте росли барчуками. Девицы, к примеру, никогда бы не признались, что они из низов.

ГОВОРЯТ, Я РОДИЛАСЬ ПРЯМО В ПОЛЯХ ЛА-УНИОНА. Мать выбрала такое странное место сознательно: брат и сестры были уже большими, и не пристало им слушать стоны роженицы. Так вот, родилась я в полях Ла-Униона на рассвете 7 мая к исходу бесконечной ветреной ночи. Повитухой была сеньора Раусон де Гуаикиль; по фамилии ясно, что была она гринго, вышедшая замуж за индейца. Рассказывали, что индейцы взяли ее в плен, и сны она видела на английском языке. Расспрашивать о таком не принято, но, похоже, к тому времени, когда я родилась, отец ничего не хотел знать о моей матери... Никто мне об этом не говорил, тем более мать, но я-то знаю: меня зарегистрировали поздно именно потому, что отец отказывался меня признать. С тех пор я чувствовала себя чужой, лишней. Меня записали как Марию Эву Ибаргурен, а вовсе не Дуарте. Кстати, родилась я на земле, поднятой на деньги зажиточных консерваторов нашей провинции (несмотря на это, нас принимали с черного хода и пеоны здоровались с нами во вторую очередь). Я всегда была убеждена, что Тот Человек долгие годы любил и мою мать, и детей, которых она от него родила, — всех, кроме меня, ставшей пресловутым яблоком раздора. Обо мне он и слышать не хотел. Мое появление на свет завершило их долгую любовь, которую первое время держали в тайне. Наверняка я видела его, Этого Человека: он как-то раз пил мате на нашей террасе, прежде чем отправиться в свой магазин. Но я внушила себе, что ни разу его не видела. Я не хотела его видеть, я его выгнала, выставила взашей из своей жизни, из своих мыслей... Я увидела его только однажды, когда он был уже мертв. Одно лишь воспоминание сохранилось о нем в моей памяти — как он лежит мертвый. Удивительно, стоит захотеть — и память творит чудеса...

Единственный мужчина, которого я помню с детства, — это мой двоюродный дедушка Диохенес, дон Диохенес Нуньес, брат моей бабушки Петроны. Он жил вместе с бабушкой в крошечном поместье, ухоженном, цветущем ранчо, мы называли его "Косогор". Дедушка Диохенес разговаривал мало. Он курил крепкий душистый табак, и у него была внешность святого старца — белоснежные седые волосы и борода. По воскресеньям он надевал безупречно белые шаровары и белые альпаргаты с разрезом впереди. Его смуглая морщинистая кожа напоминала кору квебрахо, а в темных, спокойных глазах не было ни смирения, ни надежды. Дон Диохенес — имя великого философа, полубога. Он любил си-

деть в плетеном кресле в тени винограда. Без лошади — к тому времени он уже не мог ездить верхом — он словно лишился нижней половины тела и ждал, когда же к нему наконец вернется вторая половина его существа. Как величественно восседал он в кресле в тени виноградника и инжира! Казалось, он заглянул к нам ненадолго — заехал на ранчо погостить два-три дня. Он был гаучо, но его землю украли, обесчестили, обнесли колючей проволокой вольный океан его пампы. Он все время вполголоса разговаривал с бабушкой Петроной, своей сестрой. Они не жаловались, ничего никогда не просили, никого не ругали. Они были настоящими креолами, а это очень, очень редкая порода. Не имея ни гроша за душой, они были настоящими *сеньорами*, а другие сеньоры — те, у которых всего-то и было что деньги, — робели и смущались в их присутствии (я так и вижу, как Хуан Дуарте поспешно идет через площадь с жаровней и направляется к дедушке, осторожно неся в руке рюмку вина: "Пожалуйте, дон Диохенес").

Со мной старики почти не разговаривали — ни дон Диохенес, ни бабушка Петрона. Они обращались ко мне на "вы": "Как вы поживаете, девочка?" Изредка дон Диохенес неловко и осторожно гладил меня по волосам. Я вдыхала сладкий аромат черного табака, которым пропитались его пальцы. (Это был запах Полковника — именно так пахло от Перона, который оказался рядом со мной на концерте в Луна-парке, устроенном в пользу пострадавших во время землетрясения в Сан-Хуане. Запах голубоватого дымка "Кондала", изредка "Импарсьялес" или крепких "Партикуларес".)

Неизвестно, отчего и когда умер дон Диохенес. Я так и не смогла поверить, что он умер на самом деле: для нас он был полуреальным, мифическим существом. По утрам он тяжело кашлял, но не из-за курения — так говорила бабушка Петрона, — всему виной была ночная роса, которой пропитались его легкие в холодные зимние ночи во время военных походов — ночи под открытым небом в раскисшей от дождя пустыне. Это она погубила его, суровая родина. Он стал уходить надолго. И вот как-то раз не вернулся совсем. А про бабушку Петрону все было известно: она скончалась в 1927 году, спустя год после смерти Того Человека. Когда мы добрались до "Косогора", было уже поздно, бабушка умерла и казалась спящей. В тот день со мной произошло нечто странное. Говорят, я повалилась на землю и забилась в судорогах, похожих на эпилептический припадок. Сама я ничего не помню. Никто не мог меня удержать. Я швырнула на землю латунный паровоз Хуансито и разбила его вдребезги, так что колесики разлетелись в разные стороны (этот момент сохранился у меня в памяти). Приступ гнева, похожий на эпилепсию... Мой припадок запомнила вся наша семья. Интересно, что приключилось тогда со мной на самом деле?

РЕНЦИ ПРИНЕС ЭВЕ РУЧКУ И ТЕТРАДЬ в твердой обложке, и она набросала несколько строк:

"Эва Перон. Эва Дуарте. Я, Эва Мария Ибаргурен, непризнанная. Мария Эва Дуарте де Перон. Мари Эв Д'Уарт. Чола. Негрита. Чолита. Моя Негрита. Эва, Мария Эва. Эвита".

"Шлюха. Кобыла. Подстилка. Буржуйка. Пижонка. Оборванка. Дрянь. Самозванка. Святая. Духовный Вождь Нации. Эвита Капитанша. Фея Обездоленных".

"Я должна смириться, должна принять все имена, все прозвища. Такова я есть, такой я могла бы быть — всякой и никакой. (Со всеми людьми происходит нечто похожее.) Но на обложке тетради я написала только одно слово: 'Эвита'".

"Ответственный день: день подведения итогов. Ренци сообщил чрезвычайно важные новости: найден исчезнувший генерал, которого нельзя называть по имени. Он прятался в лачуге на берегу Кильмеса. Мы изловили птичку и будем держать ее в золотой клетке, покуда она не обучит нас секретам военной науки, которые сейчас нам очень нужны, потому что враги вот-вот перейдут от ненависти к решительным действиям и посягнут на власть, ведь до нашего появления она была у них в руках".

"Очень славная ручка, она хорошо пишет, хотя почерк у меня сейчас неважный (температура 37,5). Что напишу я этой ручкой: объявлю о начале войны или составлю завещание? Тут уж как Судьба распорядится: орел или решка".

ИНОГДА ЛИХОРАДКА НЕ ПРИНОСИТ С СОБОЙ ОГНЯ, не оживляет, и тело напоминает тлеющие угли или тепловатую горстку пепла. Ты чувствуешь, что не принадлежишь себе; дремлешь и сонно созерцаешь замысловатые узоры полусна. Твое тело, все твое существо безвольно плывет, как осенний лист, медленно уносимый рекой. Перед тобою проплывает твое прошлое. Оживает вчерашний день, воспоминания захватывают тебя, и это сильнее твоей воли. Образы надвигаются мягко, неторопливо, забытье уступает встречному потоку видений.

Наконец я уютно свернулась калачиком в сонном покое обезболивающих, и в памяти ожил тот далекий день 9 января. Мне семь лет. К утру разразилась буря, и я просыпаюсь от стука тяжелых капель, барабанящих по цинковой крыше нашего дома. Проливной летний дождь. Кажется, с неба падают упругие прозрачные монеты. Я соскакиваю с кровати, выбегаю на крыльцо. Возле коновязи напротив дома стоит несчастный першерон со сломанной ногой. Вот уже который день никто не приходит, чтобы его прикончить. Копыто сломанной ноги нелепо вывернуто в сторону. Он понуро стоит между зарослями терновника и ржавой бочкой из-под масла "Унико". Под непрерывной дробью холодного дождя от его широкого крупа поднимается пар. Раньше на круп этого спокойного, доброго животного садились воробьи. Я смотрю на него и чувствую, как ноет проклятая сломанная нога. У меня кружится голова, словно густой, влажный и горячий воздух насыщен ядовитыми испарениями. Я понимаю, что прикончить коня придется мне. Никто, кроме меня, этого не сделает. Я вспоминаю рецепт, о котором однажды рассказывал мой брат Хуан; собираю ягоды бузины, добавляю к ним листья цикуты. Все перемешиваю и складываю этот душистый смертельный салат в глубокую миску, которую нахожу на скотном дворе. Я выхожу под дождь. Теплая вода быстро пропитывает платье насквозь. Я подношу ароматный яд к морде несчастного животного. Горячие, рыхлые губы. Во влажных глазах нет ни смерти, ни жизни... Я жду. Затем ставлю миску перед конем и пытаюсь пригнуть его голову к земле. Он не ест. Мой брат Хуан рассказывал, что стоит человеку или животному проглотить хотя бы горсть такого зелья, и он немедленно падает замертво.

Домой я возвращаюсь потихоньку, тайком проскальзываю в дверь. В этот миг в жирном болоте возле наших ворот тормозит автомобиль. Это

Эль Турко. Он привез нам новость. Я слышу долгий душераздирающий крик матери. Две мои сестрицы и брат стоят рядом с ней, схватившись за ее юбку и словно пытаясь удержаться на краю бездны, разверзшейся перед всей нашей семьей. Он умер. Умер Тот Человек. Он ехал в Хунин, машина перевернулась и рухнула в кювет. Умер наш благодетель — далекий, всемогущий и щедрый, словно Господь Бог. Хуан Д'Уарт, или Дуарте, мой не-отец скончался сегодня утром.

Представьте себе: в те времена от Лос-Тольдоса до Чивилкоя было часа три пути. Эль Турко решил срезать дорогу, проехав через Брагадо, ему не пришло в голову, что ливень, который лил всю ночь, превратил окрестные дороги в непролазную топь.

У него был "ласалье", так называемый двухдверный фаэтон. Мать сидела на переднем сиденье рядом с водителем. На ее голове красовалась громадная вышедшая из моды черная шляпа с длинной вуалью, развивавшейся по ветру. Мы ехали молча. На нас были надеты все черные вещи, какие только удалось отыскать в Лос-Тольдосе. Пятеро детей свободно уместились на просторном заднем сиденье и двух откидных.

Мать держалась с достоинством, как бабушка. Даже болтливый Эль Турко почтительно молчал. Мы тоже притихли. На подъезде к Чивилкою мама попросила притормозить возле ремонтной мастерской и, уплатив два песо, велела как следует вымыть машину из шланга. Из-под грязи показался огромный нарядный "ласалье", блестели большие светлые окошки.

На похороны собрался весь Чивилкой. Поговаривали, что пожаловал сам Марселино Угарте и несколько других почтенных консерваторов. При нашем появлении воцарилась зловещая тишина, которая предшествует сражениям и стихийным бедствиям. "Ласалье" остановился перед двумя рядами венков и букетов. Мама поправила вуаль, мы выстроились за ней по старшинству. "Пять цветков любви", как пелось в модной в те годы румбе.

Было заметно, что нашего появления ждали: нас встретил ухоженный господин, должно быть какой-нибудь родственник покойного. Рядом с ним стоял гробовщик во фраке. Мне никогда раньше не приходилось видеть фрак. Я была испугана и очарована одновременно. Я все понимала, все чувствовала. Мне запомнилось многое из того, о чем впоследствии никто мне не рассказывал, чего я не могла слышать в разговорах об этом тяжелом и памятном дне... Я догадывалась, что моя мама ведет бой за свою честь. Наружу рвалось напряжение, накопившееся во время поездки. Вскоре маме заявили, что она не может и не должна присутствовать на бдении у гроба Хуана Дуарте, этого любимо-, ненавистно-любимого человека. Сказали, что ей не положено. Я дрожала от страха... Чего же я боялась? Унижения, того, что нас оскорбляют. Даже спустя много лет в моих ушах явственно звучит твердый голос мамы. Ужасный, непререкаемый тон: "Если вам угодно, я останусь на улице, но никто не запретит детям поцеловать отца на прощание, в последний раз..."

Она говорила громко. Ухоженный господин нервничал. Он попытался прикрикнуть на нее. Тогда появился другой человек, пожилой мужчина, похожий на рыцаря из кино, — потом я узнала, что это был Луис Грисолиа, брат законной жены моего отца, — и умело разрядил обстановку. Грисолиа был алькальдом Чивилкоя; он-то и убедил ту, другую вдову, а также ее родню, что раз моя мать столь упряма, разумнее будет не

доводить дело до скандала. Мама победила. Она успокоилась, поправила вуаль, и мы чинно вошли в дом, где стояла необычайная тишина, словно во время мессы. Мы шли гуськом по старшинству, уважая законы нашего "племени". Обстановка заворожила меня: свечи, венки, увитые лентами с золотыми буквами, странный и резкий запах множества цветов — густой, волнующий аромат, который опьянил бы целый пчелиный рой. Но самое необычайное ожидало меня впереди: продолговатый черный футляр, роскошная лодка, похожая на старинную гондолу или огромный музыкальный инструмент, — таким виделся мне гроб, где покоился Тот Человек. Вокруг — заплаканные лица членов семейства Грисолиа...

Мама с достоинством перекрестилась, затем, как того требовал обычай, приказала Бланке и всем нам поцеловать покойника в лоб. Хуан приподнял меня, и я коснулась губами лба Того Человека. Я отчетливо помню смесь брезгливости и страха: лоб у него был не просто холодный, он был ледяной, как мрамор. Мне показалось, что я сделала некое жуткое открытие. Я и вообразить себе не могла, что мертвецы бывают такие холодные, несмотря на жаркий январский день. И еще одно впечатление навечно врезалось в память: мне почудилось, что у мертвеца громадный нос, который занимает гораздо больше места, чем нос на лице живого человека, и ноздри — зловещие пещеры, уходящие в глубь тайны, в грозную непроницаемую тьму. В этот миг мне пришло на ум, что все эти горы цветов принесли для того, чтобы заглушить отвратительный густой запах, шедший от лица Хуана Дуарте.

Затем мы вновь уселись в "ласалье" — притихшие, подавленные. Возле дома выстроился траурный кортеж. Впереди чернел неуклюжий катафалк, украшенный ангелами и зажженными факелами. Эль Турко не двигался с места, словно в нерешительности чего-то ждал. Кажется, он хотел пристроиться за грузовиком, куда без особенных церемоний побросали венки и охапки цветов. Наверное, он решил, что наше место там, за этим автомобилем. Мама подняла вуаль и спокойно произнесла:

— Сделайте милость, включите поскорее мотор и становитесь в ряд с другими машинами.

В Лос-Тольдос мы вернулись к ночи. Мы уже не были такими притихшими и подавленными. Дождь перестал, и вслед нам светила огромная луна, бледная и тусклая, как уличный фонарь. Прежде чем лечь спать, я спустилась вниз и выглянула во двор. Першерон по-прежнему стоял возле коновязи, и его круп серебрился в лунном свете. Он был жив. Он стоял понуро и обреченно, так и не притронувшись к приготовленному мною салату. Два дня спустя его забили кувалдой работники городской бойни.

С этого дня все изменилось. Все пошло кувырком, мир сделался враждебным, превратился в выжженную пустыню. Черная книга лавочника; быстрый, безжалостный подсчет; конечная цифра, на которую Лосано молча указывал мне пальцем, пока я поспешно и воровато запихивала продукты в сумку, отлично понимая его нетерпеливый жест. И безобразный плакат, издевательски красовавшийся над всеми прилавками тогдашней Аргентины: "Сегодня в долг не даем. Приходите завтра".

"ЧЕЛОВЕК ВОЗРОЖДАЕТСЯ, ПЕРЕЖИВ ЛЮБОЕ ПОТРЯСЕНИЕ — будь то смерть, поражение или утрата", — сказала как-то раз Эва своей маникюрше.

Несмотря на тяжесть болезни, о которой уже догадывались все, включая саму Эву, она предчувствовала, что стоит на пороге нового жизненного этапа. На пороге возрождения — если уместно употребить здесь это избитое слово. Трудно поверить, но больная Эва действительно питала столь наивные иллюзии. В тот период она была убеждена — до поры до времени, — что вопреки болезни ее воля к жизни всесильна.

Поэтому она так тяжело пережила "день отречения", 22 августа.

Позволю себе смелость сказать, что с некоторых пор она считала свою деятельность священной миссией. Вспомните ту безумную самоотдачу, с которой она занималась милосердием, благотворительностью... Милосердие с большой буквы как государственная политика, то есть политизированное милосердие — вот что это было на мой взгляд. Пожалуй, это можно назвать практическим или реальным *хустисиализмом*[1].

Если хотите знать мое мнение — ту душевную боль, которую Эва испытала после своего выступления 22 августа, она тоже скорее всего назвала "булавочным уколом".

Как вы уже знаете, "булавочными уколами" она называла приступы боли. Они настигали ее в любое время суток и причиняли ужасные страдания, из-за которых она на день, а то и на два впадала в полную прострацию, получая щедрые дозы обезболивающего. Она призналась мне, что ей казалось, будто в ее тело втыкают одну из тех длинных булавок, которыми по тогдашней моде прикалывали шляпки к волосам.

В 1951-м правительству Перона исполнилось пять лет. Генерал готовился к перевыборам. Он считал, что нет нужды слепо подчиняться конституции, он был уверен: истинная демократия в том и заключается, что он, избранный абсолютным большинством народа, просто обязан удержать власть в своих руках, дабы выполнить план намеченных преобразований. В ноябре должны были состояться выборы, и Эвита могла выдвинуть свою кандидатуру на пост вице-президента. Здесь я бы хотел упомянуть об "искушении Эвы" (не только Адаму предлагалось яблоко). Эва имела громадную власть, но она не занимала никакой официальной должности. Вся необычность и двусмысленность ее положения стали очевидны во время путешествия в Европу, когда Папа, Франко и Сарагат[2] принимали ее как "особого рода" главу государства (не забывайте, что Эвите было всего лишь двадцать восемь лет!).

Традиционные понятия, царившие в Аргентине и особенно в среде военных, не допускали, что сколь-нибудь важную роль в стране может играть женщина, способная покорить и влюбить в себя массы. Это было привилегией мачо. Перон, прирожденный политик, отлично понимал ситуацию, и Эва тоже. Нельзя забывать, что речь идет об Аргентине, где образованные женщины, такие как Виктория Окампо[3] или сестры Грондона, выходили на улицы, размахивая зонтиками и воинственно распевая "Марсельезу", но, заметьте, в знак протеста против участия женщин в выборах. Право голоса предоставил женщинам Перон — благодаря, разумеется, стараниям Эвы.

Однако Эва не собиралась бороться с искушением, ибо ей хотелось отведать пресловутое яблоко. С вашего позволения, продолжу рассужде-

1. Хустисиализм (от *исп.* justicia — справедливость) — буржуазно-националистическое течение в Аргентине; по имени его основателя Х. Д. Перона его называли также перонизмом.
2. Джузеппе Сарагат (1898—1988) — итальянский политик, президент Италии в 1964—1971 гг.
3. Виктория Окампо (1890—1979) — аргентинская писательница.

ния, так сказать, психологического толка: дело в том, что Эва устала быть маргиналкой, вернее сочетать, как это ни парадоксально, роль лидера и маргиналки. И тут возник вопрос: почему бы Эве, ставшей второй политической фигурой в Аргентине, не занять пост вице-президента? Скажу больше: не без ее согласия об этом завели речь профсоюзные вожди, которые ее обожали, превозносили и боялись. Сам Эспехо, генеральный секретарь ВКТ, выдвинул ее кандидатуру. Между тем Перон, эта хитрая лиса, выжидал. Его страшило только одно — что терпение военных лопнет. Иными словами, в решающий для судьбы Аргентины момент опять восторжествовала привычная психология мачизма, о котором столько твердят злосчастные психоаналитики и уродины феминистки.

Итак, было решено: для Эвы, маргиналки по рождению, настало время занять официальный пост, куда она будет избрана большинством. Таким образом, статус ее обретает прочность. Для нее эта должность была равносильна новенькому свидетельству о рождении, совершенно законному и скрепленному всеми необходимыми печатями. После избрания она сможет куда эффективнее бороться за социальную справедливость, заниматься благотворительностью. Ведь и сейчас Эва работала с девяти утра до двух ночи, иногда по двадцать два часа кряду. Тридцать машинисток без перерыва стучали по клавишам пишущих машинок — отвечали на вопросы, просьбы и жалобы обездоленных из Аргентины, других стран Латинской Америки и, случалось, с других континентов. Никто не мог остановить Эву, даже сам Перон. Кое-кто поговаривал, что болезнь ее — результат некоего заговора с целью притормозить бурную деятельность, которая выходила за рамки так называемой политики.

Как-то раз, заметив ее худобу и бледность, я рассказал ей, что некоторые святые впадали в опаснейшее искушение "слепой добродетели", заставлявшей их отдавать свою жизнь и все свои силы, жертвовать собой во имя спасения других... На это она ответила мне вычитанной неведомо где фразой: "На закате жизни ты проверяешь себя только любовью, и другие проверяют тебя тем же".

В мае 1951 года она выдвинула свою кандидатуру на пост вице-президента Аргентины. Это выглядело вполне естественно. Вернее, выдвинули ее Женское движение Перонистской партии (женщины впервые проголосовали в Аргентине в ноябре того же года) и профсоюзы.

И вот настал знаменательный день — 22 августа. На город опустились ранние зимние сумерки, но в воздухе уже чувствовалось легкое дуновение теплого весеннего ветерка. Я тоже был на трибуне рядом с Эвитой. Честно скажу, произошло нечто непредвиденное. Все мы вдруг почувствовали, что Эва играет в этот вечер особую роль — политическую, мистическую, — роль такой исключительной важности, что Перон разом отступил на второй план. Кое-кто из нас осознал, что несметная толпа, рокотавшая во мраке, этот вот народ с его страданиями, любовью, отчаянной надеждой ждет от Эвы того, чего, как они поняли, не пожелал сделать Перон: она будет с простыми людьми, пойдет за них до конца... (Пусть даже там, в конце, ждет пропасть, обрыв — чего бояться тому, кто и так стоит на самом краю?)

ДА, Я ВЕДЬ СКАЗАЛА, что в тот день испытала нестерпимый "булавочный укол"... Как описать то, что произошло? Я чувствовала жгучую боль, похожую на проявления моей болезни. Какие ужасные удары готовит

нам иной раз судьба!.. Случилось неожиданное: народ был полон сил, он был свободен. Тысячи и тысячи несчастных, обделенных, нищих... Они цеплялись за меня, как за свою последнюю надежду. В тот вечер они решили, что дадут мне покинуть трибуну только после того, как я дам свое согласие занять пост вице-президента. Я получила от народа миропомазанье (по-моему, это называется именно так). Громадное чудище, клокотавшее во мраке, не желало следовать уже готовому сценарию.

Огромная, невиданная толпа. Такого история еще не знала. Люди прибыли со всех концов страны на специальных автобусах и поездах. Миллион человек. "Перон + Эва Перон — вот лозунг отечества 1952—1958-го". Я поднялась на трибуну чуть позже, чем Генерал. Овации были такими оглушительными и искренними, что, не успев занять свое место, я разрыдалась. Я чувствовала слабость: накануне ночью у меня был приступ (в то время я еще это скрывала).

Перон отнесся к выдвижению моей кандидатуры сдержанно: он выжидал, что будет дальше. Меня же все происходящее глубоко волновало, ведь передо мной открывались великие возможности. Однако проекты, которые отныне я могла бы беспрепятственно осуществлять через ВКТ, могли серьезно осложнить жизнь Перона, которому приходилось выдерживать жестокий натиск товарищей-военных уже из-за самого факта моего существования...

Толпа, клокотавшая в ночи, ничего не хотела знать ни об интригах, ни о закулисной игре... Народ любит или ненавидит. Для него все сводится к двум чувствам: любовь к жизни и ненависть к смерти.

Этот исполин влюбился в меня, словно Кинг-Конг, толпа разлилась от Бельграно до Коррьентес. Улицы Лима, Бернардо де Иригойен, Карлос Пальегрини, Серрито... Гудящее море. Я чувствовала, что происходит нечто странное, сверхъестественное. Я достигла недостижимой Высоты! Меня подняли их мощные незримые руки, и я расправила крылья и устремилась ввысь, в полет. Да, безымянный и безликий влюбленный исполин проделал со мной то же самое, что с Пероном шесть лет назад, 17 октября 1945 года: он помазал меня (повторю еще раз), вознес на пьедестал. Теперь я принадлежала ему навеки, словно мы поклялись друг другу на крови. Вы ведь тоже там были, вы знаете, о чем я говорю. Это похоже на акт любви, так рождается истинная демократия — в этом ее отличие от демократии теоретиков...

Я перестала плакать и, стоя в темноте, чувствовала, что меня поднимает невидимая сила — исключительно духовная. Так, наверное, являет свою волю Бог. Такое могут послать только небеса. Человеческое существо, которому довелось пережить подобное — будь то в любви или материнстве, — сразу же угадывает божественную природу явления.

Нескончаемый, пронзительный стон толпы. Причастие без облатки. Единение сердец. Толпа преображается, становится единым существом, грозным и святым. Огромное невидимое сердце выталкивает меня вверх. Я лечу ввысь, парю над городом. Какую же невиданную силу таит в себе любовь!

Они освятили меня, падре, вот самое подходящее слово. Я переживала самые восхитительные минуты, какие только может пережить человек. Нет ничего более возвышенного. Это было воплощением настоящей демократии. Кто отныне осмелится рассуждать о демократии, тыча пальцем в статьи законодательства?

ДА, Я БЫЛ С ЭВИТОЙ НА ТРИБУНЕ. Я держал ее теплую шаль – на тот случай, если поднимется ветер. Не думаю, что она сама подготовила то, что произошло потом. Однако еще в машине я заметил, в каком она напряжении. Сейчас может показаться странным, что она замешкалась в Резиденции и села в другую машину – со мной и охранниками... За всю дорогу Эва не проронила ни слова. Она готовилась к отречению. У нее наверняка не было выбора (хотя она и могла стать первой женщиной в мире, занявшей столь высокий пост). Но молчать она не собиралась, и, когда заговорила, в словах ее звучали гнев и отчаяние. Эвита говорила так:

"Народ – это женщины, дети, старики, рабочие, которые собрались здесь, потому что решили взять будущее в свои руки. Они помнят, что до генерала Перона они жили в рабстве и, самое страшное, потеряли надежду на будущее. Они знают, что олигархи, предатели родины еще не уничтожены, они затаились в своем логове и плетут заговор против народа и свободы!"

Стоя на трибуне, Сеньора кричала всей Аргентине, что враг перешел в наступление.

А затем произошло неожиданное. Она объявила об отказе.

"Повторяю вам то, что говорю вот уже пять лет: быть Эвитой для меня важнее, чем быть супругой Президента. Только Эвита может облегчить страдания своей Родины, и я по-прежнему хочу оставаться просто Эвитой".

И тогда толпа взорвалась негодованием. Удивительно: казалось, что эта бесформенная масса, растекшаяся в вечерних сумерках до самого Обелиска, внезапно обрела единый голос, насыщенный, живой, способный точно выразить свою волю. Все мы услышали этот голос, и Эспехо[1], "хозяин" мероприятия, смотрел на Сеньору с Генералом растерянно. Он попытался сказать что-то в микрофон, но ропот толпы стал оглушительным: "Эвита! Эвита!"

Между Эвой и толпой начался необычный диалог:

"Товарищ, товарищи! Я отказываюсь не от борьбы, а только от должности. Неужели вы думаете, что если бы пост вице-президента был полезен для нашей цели и эта должность давала мне реальные возможности, я отказалась бы от нее?"

"Говори! Соглашайся! Скажи да!" – такого не ожидал никто. Эспехо не знал, как справиться с ситуацией. Генерал, стоя позади Эвиты, невозмутимо смотрел перед собой. Не он на этот раз был героем.

"Всеобщая забастовка! Забастовка, всеобщая забастовка!"

Беспорядочные крики слились в один безудержный вопль, все более угрожающий и требовательный. Народная масса, этот смирный барашек, неожиданно показала клыки. Народ защищал ее, свою Сеньору.

Все мы чувствовали, что происходит нечто опасное, крайне неприятное. Кое-кто исподтишка ухмылялся. Но подал голос Генерал – сухо, отчетливо, невозмутимо:

– Приказываю немедленно прекратить церемонию.

Я попытался поймать взгляд Генерала. Мне это удалось не сразу. Неподвижные, совершенно безучастные глаза. Глаза игрока в покер, простите за сравнение.

1. Эспехо – руководитель ВКТ.

Многоликое чудовище ревело: "Генерал! Выслушайте нас! Это наш день. Пора начинать бой! Сейчас или никогда!"

Но Генерал не был сторонником таких вот стихийных действий. Вспомните 1955-й: военная сила была практически полностью сосредоточена в его руках, однако он так и не начал решающую битву. У него имелись на то свои причины, которые, безусловно, шли не от сердца...

— Немедленно прекратить, — приказал Генерал Эспехо.

Потом опять были просьбы и угрозы. Всеобщее замешательство возрастало. В конце концов Эва и Эспехо выпросили у народа "два часа на размышления". Со всех сторон к ним были обращены встревоженные, растерянные глаза. "Скажи да, не говоря да", — чуть слышно велел Генерал Сеньоре. Она исполнила его приказ.

— Товарищи! — обратилась она к толпе. — Разве Эвита хоть раз обманула вас? Разве она не делала того, что вы хотели? Прошу об одном: подождите до утра...

Все решили, что она согласна. Только так можно было заставить разойтись несметную толпу. Но 31 августа она выступила по Национальному радио и объявила об отказе: "Я обязана сообщить аргентинскому народу о своем окончательном и категорическом решении отказаться от чести занять предложенную мне должность..."

Не знаю, что переживала Сеньора, потому что она возвращалась в машине Генерала. Представить себе не могу, о чем они говорили. Уже потом, прежде чем уйти, я хотел заглянуть к ней, чтобы передать газеты, но она заперлась в своей комнате. По словам Веры, ее подруги, Сеньора в ту ночь почти три часа разговаривала с Генералом. Впрочем, я не слишком доверяю этой особе...

(Вы спрашиваете, плакала ли Сеньора. Нет, не плакала. Впрочем... Она плакала от волнения. Это были не женские слезы слабости, вызванные неудачей или досадой. Она плакала не от бессилия, если так можно выразиться, — ведь женщины плачут по самым разным причинам. Она была совершенно непохожа на героинь фильмов — тех, что взбегают по лестнице в спальню и с рыданиями бросаются на кровать... Слезы волнения — это да. И больше ничего...)

Я увидел ее два дня спустя — она была жизнерадостна и спокойна. Дожидаясь с нею вместе прихода премьер-министра Иполито Паса, я осмелился заметить:

— Иногда мне кажется, Сеньора, что вы и Генерал похожи на стальные рельсы: два отдельных пути, но они параллельны, и по ним движется один и тот же поезд...

— Да, Ренци... — только и произнесла она в ответ.

Мы были на террасе, выходящей в сад, который раскинулся над авенидой Альвеар, и собачонки Сеньоры то и дело тявкали. Неожиданно она обратилась к доктору Пасу:

— Знаете, что я думаю, доктор? Эти собачки такие породистые, что, умей они говорить, непременно тоже бросили бы мне что-нибудь оскорбительное.

ДО ЧЕГО ЖЕ СТРАННАЯ ИГРА — плести интриги против чужих интриг. Мой отказ от должности вице-президента не произвел на врагов большого впечатления. Я работаю так же, как и прежде, — им это тоже не так уж важно, хотя они люто ненавидят все, чем я занимаюсь. Их

больше беспокоит то, что мы собой представляем: наше желание действовать, добиваясь социальных перемен, социальной справедливости.

Перечислю тех, кто участвует в моем смехотворном заговоре: святая душа Ренци и его бывшие друзья-офицеры, удачно внедренные в армию; Пичола Марроне, посыльный в Фонде, который разносит мою почту; Сара, маникюрша, которую мы иногда просим передать какое-нибудь письмо. И, конечно же, мой брат, верный Хуан, за которым закрепилась слава человека безответственного, что нам весьма на руку: никто не поверит, будто ему поручают важные дела (он повсюду таскает за собой своих любовниц-актрис, так что враги дали ему прозвище "Люкс", потому что, как утверждает реклама, "им пользуются каждые девять из десяти киноактрис").

Мои помощники словно опереточные герои. Секретные службы, а также военные интересуются только серьезными людьми. Их они ни в чем не заподозрят.

Смешно сказать, но наш штаб, если его можно так назвать, расположен в доме, принадлежащем родителям посыльного Пичолы на улице Крамер. Именно туда отправили генерала "Фон Ф.", или просто "Ф.", когда его уговаривали помогать нам, — или, попросту говоря, увели силой, вытащив на свет божий из лачуги на берегу Кильмеса, где он жил в одиночестве, скрываясь от воображаемых врагов, которых вызывала к жизни собственная память о бесчисленных грехах. Теперь окна его комнаты выходят во внутренний двор, и он слушает радио вместе с отцом Пичолы, стариком пенсионером.

Этот человек работал в рейхсканцелярии во время оккупации Франции и в пору самых опасных боев на Дальнем Востоке, а теперь сидит в доме Пичолы Марроне и наблюдает в окно, как прыгают и поют птички под тенью раскидистого инжира, где по вечерам пьют мате...

И вот наконец меня знакомят с генералом. Его переодели фельдшером и проводили ко мне в кабинет. Так задумал хитрец Хуансито.

Генерал похож на птицу, на степного жаворонка. Серые бегающие глазки. Он крайне застенчив, что часто присуще людям, чья работа связана со смертью, — могильщикам, палачам, хирургам. Он исподволь наблюдает за мной, стоя между Хуаном и Ренци, на нем белый фельдшерский халат и шапочка: тигр в овечьей шкуре, иначе не скажешь.

Он разговаривает со мной на неуклюжем, но довольно правильном испанском языке, говорит медленно, словно каждое слово дается ему с трудом. Он заявляет, что не сможет заниматься серьезной работой, не получив точных сведений о военных частях, расположенных как в столице, так и по всей стране.

Ренци отвечает, что это очень просто, надо только обратиться к нашим друзьям офицерам в Министерстве обороны.

"Фон Ф." поясняет, что проблема имеет две стороны: первая — чисто военная, вторая — военная подготовка членов Партии и особенно профсоюзов, которых надо приучить к дисциплине.

Еще одна задача, самая непростая, — создать собственную сеть связи.

По его словам, у Аргентины те же характеристики, что и у Центральной равнины Китая, где он некогда был советником Гоминьдана. Он говорит, что армия успешно продвигалась вперед и одержала ряд побед, пока боевые действия шли на равнине между двумя крупными реками, Хуанхэ и Янцзы, и на участке от Чунцина до Шанхая, но только в тех местах, где были горы, а на севере и юге народная армия постоянно одер-

живала верх. В стране, подобной Аргентине, такими "горами" могли бы стать города, и серьезное сопротивление войскам могут оказать только городские партизанские отряды. Он считает, что в данном случае необходима очень сложная тактика, лобовые атаки здесь не годятся.

Чтобы умерить его пессимизм, я говорю: когда в такой стране, как Аргентина, образуется несколько серьезных очагов сопротивления, немедленно вспыхивают стихийные восстания. Цитирую ему фразу из романа Муньоса Аспири, который мы ставили на "Радио Бельграно". Это был роман о жизни госпожи Чан Кайши "Женщина на баррикадах": "Чувствуя, что его хотят поработить, народ творит собственную историю". По-моему, цитата произвела на него должное впечатление.

По утверждению генерала, он разрабатывает план "минимального и практичного вооружения". Далее я сообщаю ему, что легче всего нам получить бельгийское оружие, хотя и другие рынки мы не исключаем.

Прежде чем удалиться в сопровождении Пичолы, толкающего перед собой тачку с кислородными баллонами, он подходит ко мне и выражает признательность от себя лично, а также от своих товарищей (он был из тех, кто высадился в Генуе с паспортами, которые мы им передали через Адольфо Савино). Мне показалось, что в его глазах степного жаворонка мелькнула живая искорка.

В заключение он объяснил, что отлично понимает: гарантией его спокойного пребывания в Аргентине является только наше правительство, однако он очень просит прекратить постоянное наблюдение, которое офицеры установили за ним по просьбе Ренци. Он не хочет больше жить на улице Крамер, еще меньше — в отеле, каким бы роскошным тот ни был.

Он хочет вернуться в свою хижину на берегу Кильмеса, где, он уверен, никому не придет в голову его искать. Там он живет со смуглой толстой уругвайкой — она хорошо поет и печет пирожки.

Этот человек, который участвовал в боях, спасался бегством, испытал власть и поражение, который был творцом и жертвой величайших катастроф нашего века, наконец-то обрел свое счастье. Долгими безмятежными вечерами он ловит рыбу на берегу Кильмеса и попивает содовую.

Вот оно, тайное обаяние аргентинской Родины.

Осталось только восемь месяцев.
Две трети года.
Одного-единственного года.

ЭВА ПОДХОДИТ К ОКНУ, выходящему в сад и на широкую авениду. Покои Резиденции заливает мягкий вечерний свет. Моросит мелкий дождь. Изморосью наполнен теплый густой воздух — воздух Буэнос-Айреса. В сером небе мерцает перламутровый отсвет вечерней зари. Летний город пропитан дождем.

И тут она видит, как с площади Франции приближается хрупкая фигурка.

Ей кажется, что это девушка с коричневым чемоданом. Да, конечно же, это именно та самая девушка. Такая худая, такая крошечная, что картонный чемодан, перевязанный бечевкой, кажется в ее руках огромным и очень тяжелым.

Нет, всего-навсего обманчивая изморось да причудливый вечерний свет. Эва улыбается, глядя сквозь тюлевую занавеску. В ее памяти живо воспоминание о далеком вечере, хмуром, как ее печаль, как ее страх.

Да, именно так все и было: она обошла площадь Франции, оказалась возле конной статуи Митре[1], постояла в нерешительности и пошла по адресу, который трое веселых парней из кафе на углу улиц Кальяо и Корриентес написали ей на мятой бумажной салфетке, услышав, как она расспрашивает посетителей, где бы ей найти "приличный пансион".

Официант назвал один на Кальяо, но эти трое вмешались и посоветовали "отправиться на улицу Аустриа, и там, не доходя до улицы Альвеар, она найдет хороший пансион".

Девушка побрела дальше, оставив позади свежую зелень площади Франции. Она отыскала улицу Аустриа и пошла по ней до пересечения с улицей Альвеар. Тогда она поставила чемодан на сырой тротуар и еще раз взглянула на адрес.

Перед ней возвышался роскошный особняк во французском стиле, какие встречаются в фильмах ужасов или в мелодрамах, где любовь непременно окружена роскошью и достатком. Дом отделялся от улицы длинным забором, из-за которого выглядывали верхушки деревьев.

Напротив стояли автомобили — военный джип и полицейский фургончик. Девушка замерла в нерешительности.

Наконец к ней направился толстый офицер с пышными, как у Уильяма Пауэла, ухоженными усами.

— Ты чего здесь ищешь, малышка?

— Мне нужен пансион "Унцуэ", мне сказали, чтобы я обратилась к дону Хусто, администратору...

— Пансион? Это, крошка, дом Президента[2], и тебе здесь делать нечего...

Ни гнева, ни страха девушка не почувствовала. Она бросила на мостовую салфетку с надписью: "Пансион 'Дворец Унцуэ'". Угол Аустрии и Альвеара. Спросить дона Хусто".

Эва вспомнила всю сцену, и ей передались отчаяние и растерянность девушки. Казалось, она видит, как та медленно бредет обратно в сторону Кальяо. В ее нынешней болезни есть что-то схожее с теми унижением и усталостью. Когда же это было? Шестнадцать лет назад. Совсем недавно!

Какой же ты была сильной, Эва, хотя и сама этого не сознавала! Ведь ты даже не разозлилась.

Должно быть, это случилось на вторую или третью неделю после моего приезда из Хунина, в полдень, после скандала с администратором омерзительного пансиона, набитого проститутками и сутенерами, — пансиона на пересечении Сармьенто и Кальяо. Да, 15 или 18 января. В январе 1935 года мне было почти шестнадцать. Девчонка ринулась в мир одна-одинешенька с жалким коричневым чемоданом в руках! По иронии судьбы я оказалась тогда возле дверей Резиденции, дома Президента, и вот сейчас, шестнадцать лет спустя, нахожусь уже по другую сторону ограды, внутри, и сквозь занавеску смотрю на ненастный вечер. Стоит мне нажать на звонок, и сбежится вся Аргентина: сперва появит-

1. Бартоломе Митре (1821—1906) — аргентинский политик, государственный и военный деятель, историк, публицист; в 1862—1868 гг. — президент страны.
2. Речь идет о дворце Унцуэ.

ся добряк Ренци, потом остальные двадцать миллионов. Но тогда, шестнадцать лет назад, ты побрела прочь с перевязанным бечевкой чемоданом. Это было так недавно, что мне чудится, будто я тебя вижу.

Превратности судьбы. Завораживающая игра. Загадочные совпадения. Сияние мечты. Как описать эту тайну? Кто осмелится? Магия жизни. Есть ли во всем этом смысл? Мы всего лишь игрушки в руках Бога и дьявола. Они играют нами, только и всего.

Ей кажется, что усталость в руках и ногах, упадок сил напрямую связаны с прожитой жизнью. Одной ночи спокойного безмятежного сна недостаточно. Постель не излечит от усталости, которая накопилась за тридцать два года жизни впопыхах. Без оглядки, без передышки. Эва никогда не знала покоя. Эва пришла, чтобы жить, ее дорога не имеет конца, не сулит отдыха.

Поразмыслив, она говорит себе, что от рождения наделена странной способностью спорить с судьбой, перекраивать события на свой лад. Она блуждала по лабиринту страстей, подозрений, удач, поражений и грязных предательств, и ею владели тот же восторг и изумление, какие испытывала она во время незабываемого катания на "поезде-призраке" в Японском парке аттракционов.

Как-то раз она спросила падре Бенитеса: падре, кто меня преследует, кто за мной гонится? Мне кажется, что к своим тридцати двум годам я прибежала, не отдыхая ни секунды. От кого я убегаю? От Бога или от дьявола? А может, от обоих сразу? Кто наградил меня этой горькой, невеселой славой? Кто позволил стать тем, чем я хотела?

И, раз уж так случилось, почему же я не умею быть счастливой — хоть на миг?

ПРОСТИТЕ, ЧТО ПЕРЕБИВАЮ ВАС. Но коли уж речь зашла о похоронах Дуарте, которые столько значили в жизни Эвиты, расскажу вам подробнее, как познакомились Хуана, мать Эвы, и Хуан Дуарте, ее отец. Все произошло очень просто, очень обыденно. И не было в этой истории ничего скандального, хотя именно так стараются представить дело те, кто распространяет грязные слухи про Эву Перон.

Она, то бишь Хуана, дочка Петроны Нуньес и гаучо Ибаргурена, както раз зашла в бакалейную лавку — ту, что напротив церкви, — чтобы купить кружев для шитья (она ведь была портнихой). Д'Уарт, или Дуарте, тоже зашел туда со своим приказчиком сделать кое-какие закупки. Высокий, с большими черными усами, статный, обаятельный и пылкий — вот каков был Дуарте. У винного прилавка он купил две большие бутылки можжевеловой водки и дрянной местный кофе. Он оживился, заметив девушку, которая стояла возле галантерейного отдела. Девушка рассматривала ленты для воланов на будущие платья и юбки. Она, Ибаргурен, была прехорошенькая, в ней чувствовалась порода. Как я вам уже говорил, по линии отца она была из басков — вот откуда у нее такая дивная белая кожа, необыкновенная, полупрозрачная. Эвита и Хуансито тоже ее унаследовали.

Девушка все еще заплетала косы, но уже вошла в тот возраст, когда длинной юбкой прелестей не скроешь. Потому что она была настоящей женщиной. А Дуарте тогда чувствовал себя, что называется, на коне: сбылась его заветная мечта — он стал членом муниципалитета, представлял консервативную партию в Чивилкое. Слушайте, что было дальше:

он подошел к девушке и заявил ей довольно развязно, что он бы не отказался увидеть ее в новой юбке, обшитой кружевами. Ибаргурен ответила ясно, решительно и дерзко — отвесила ему звонкую пощечину, после чего незадачливый ухажер ретировался, делано посмеиваясь, чтобы скрыть смущение. Два дня спустя пожаловал его посыльный на дрожках и привез Ибаргурен маринованного поросенка, рядом с которым вместо листьев салата лежал свернутый в трубочку листок с нежным любовным стихотворением. Это был, как сейчас помню, "Ноктюрн" Хосе Асунсьона Сильвы или что-то из Беккера[1] — может, то стихотворение про арфу...

— На обратном пути заберу блюдо, — сухо предупредил посыльный.

Это была настоящая любовь. Представьте только — пятеро детей!

Но закончилась история печально, и бедняжка Эва оказалась нежеланным ребенком, прижитым уже на закате любви. Что правда, то правда: Дуарте ее не признал, и своим отказом поставил точку в отношениях с ее матерью, которые не могли больше продолжаться...

И все-таки это была великая любовь. Другой такой ладной пары не знали во всем Лос-Тольдосе. Куда было тягаться с Хуаной законной половине Дуарте, Эстеле Грисолиа, его супруге из Чивилкоя. И любовь у них была, и секс, и шумные ссоры, бурные, словно летние грозы. Один приказчик из Ла-Униона, где родилась Эва, рассказывал, что когда в округе слышались вопли и звон посуды, он считал за лучшее укрыться дома и переждать, когда буря уляжется, даже если его ждали неотложные дела.

Ну, так вот, когда Хуан Д'Уарт скончался, для "племени" гордячки Хуаны настали невеселые дни. Все перевернулось вверх дном, как говорила Эва. Дом наполнился нескончаемым стрекотанием швейной машинки, за которой работала бедняжка Хуана. Она повесила два объявления: одно возле бакалейной лавки Лосано, другое у железнодорожной станции. Должно быть, ее первыми клиентами стали железнодорожники: по пути на работу они заходили к ней, принося порванные рабочие блузы, или просто оставляли узелок, а на нем — бумажка с именем, и забирали все на обратном пути. Одним из этих рабочих наверняка и оказался тот самый Дамиан. Осмелюсь предположить, что Дамиан познакомился с девицами Дуарте еще в ту пору, а с годами узнал и Эву.

Кстати говоря, никакой это был не "Зингер", просто швейную машинку так прозвали — "Зингер". Хуана не разрешала к ней даже пальцем прикоснуться и ужасно гневалась, когда на лакированную деревянную доску ставили чайник с мате. Самыми священными предметами в доме считались иглы в конвертиках из вощеной бумаги, которые Хуана хранила так, словно это были инструменты для сложных хирургических операций. Она их держала в банке от чая "Солнце" — помните, был такой?

Нескончаемое стрекотание швейной машинки с раннего утра до поздней ночи. Иногда до часу, а то и позже.

Стрекотание, беспрерывное жужжание прерывалось лишь шумом проходящего поезда да воем ветра.

Как-то раз Дуарте принес им в подарок радио "Эриксон" на предпоследнее Рождество, которое он провел на этом свете (заказал в универмаге "Макс Глюксман" в Буэнос-Айресе). Радио было новехоньким и по-

1. Густаво Адольфо Беккер (1836–1870) — испанский поэт.

ходило на маленький готический собор, завернутый в фирменную целлофановую упаковку. Теперь у них появилось радио. Одна незадача – в Лос-Тольдосе не было электричества. Все обходились масляными светильниками, свечами "Сочельник" и фонарями "Ночное солнце" – такой фонарь висел в их доме над швейной машинкой. В промозглые зимние вечера вокруг него как будто собиралось все тепло злосчастного жилища. В воздухе всегда висел слабый запах керосина.

Печальные, горькие дни 1926 года. Нужда превратила Хуану в капитана, который ведет судно в штормовом море. Работать приходилось всем. Хуанито нанялся посыльным в бакалейную лавку Лосано, а немного спустя Элиса устроилась в почтовое отделение.

Эва мне рассказывала, что иногда в беспокойные лихорадочные ночи детских болезней она просыпалась и не отрываясь смотрела, как поднимается и опускается иголка швейной машинки, залитой неровным светом "Ночного солнца".

Стрекотание, беспрерывное жужжание. Под машинкой чернела кромешная ночь, там была пещера, где шевелились, жили своей особой жизнью ноги матери. Постепенно ее икры потеряли форму, на них выступили вены. Но все это скрывалось там, в темноте, задрапированное многими метрами ткани, бодро скользившей под превосходной английской иглой. По рассказам сестры, Эва молилась перед сном, прося Бога помочь матери, сделать так, чтобы у нее не болели ноги, чтобы не ломались иглы, которые приходилось заказывать в Буэнос-Айресе.

Как-то раз, во время избирательной кампании Иригойена[1], Хуана получила единственный в своей жизни большой заказ – сшить белые пончо для индейских вождей из резервации. Радикалам хотелось, чтобы индейцы прошли перед мэрией в белых пончо и беретах. Подарки индейцы взяли, однако на площадь Лос-Тольдоса явиться не пожелали. Так или иначе, Хуане удалось заработать пару сотен песо.

Два тяжелых года – 1927-й и 1928-й. Хуана превратилась в донью Хуану. Она вертелась как белка в колесе. В Лос-Тольдосе рассказывали, что ее дочка Элиса устроилась на почту по рекомендации некоего Россета, который якобы был любовником Хуаны. Поговаривали, что она встречалась и с другими. Но доказать никто ничего не мог. Скорее всего, Хуане мстили за ее красоту и за любовь, которая была у нее с Д'Уартом.

Они жили замкнуто, в полном уединении.

Потом Эва пошла в местную школу – три барака под цинковой крышей.

Из окон школы было видно, как маленькие индейцы прибывали в Лос-Тольдос из своего палаточного лагеря пешком или верхом по трое на изнуренных тощих клячах. Внуки Коликео, Пинсена, Байгорриты[2], покоренные хозяева свободной пампы. Они, эти молчаливые, замкнутые дети, становились временными друзьями Эвы. Они старались приспособиться к цивилизации. Старались поверить в чужих богов, в чужих героев. Но быстро сдавались. У них ничего не получалось. Сблизившись с белыми, индейцы заболевали. Они умирали от оспы, кори, гриппа, тоски, алкоголизма.

1. Иполито Иригойен (1852–1933) – аргентинский политик, в 1916–1922 и 1928–1930 гг. – президент страны.
2. Имеется в виду Мануэль Байгорриа (1816–1875) – аргентинский военный индейского происхождения; впоследствии перешел на сторону тех, кто преследовал индейцев.

Эва краем глаза разглядывала индейцев, сидящих на длинной классной скамье. Они слушали чудесные истории о военных подвигах Сан-Мартина, о жизни Ривадавиа[1], а глаза их смотрели куда-то вдаль, в пустоту.

Там, в Лос-Тольдосе, как и во многих других поселках пограничной полосы, в бывших военных фортах, имело место то, что годы спустя социологи назвали "столкновением культур". На самом деле за этими звучными словами скрывалось преступление.

Самое настоящее истребление индейцев — вот что это было. Тихое уничтожение — так комья земли тают в лужах во время грозы. Во имя Бога и всеобщего просвещения... Вот она, прививка, сделанная стране Сармьенто.

Хуана же, представьте себе, боялась, что индейцы заразят ее детей! В марте, в первые дни школьных занятий, она смастерила ладанки, в которые положила душистые кусочки камфарного дерева. Эти ладанки, висевшие у детей на шее под нижними рубашками, оберегали их от заразы, а заодно и от злых духов.

С самого начала Эве приходилось в школе туго. Она была самой маленькой, самой хрупкой девочкой в классе, однако отличалась упрямством и своеволием. Донья Хуана через день устраивала ей выволочки. Попробуйте посадить себе на руку ястреба: вам кажется, что вы его держите, а на самом деле это он держит вас!

МОЯ СЕСТРА ЭРМИНДА ГОВОРИТ ПРАВДУ: если ко мне обращается вдова, женщина, покинутая мужчиной, или одиночка, живущая в нужде, лучшее, что я могу для них сделать, — это послать швейную машинку "Зингер". Вполне логично, правда ведь?

Мой Фонд раздает сотни швейных машинок. Отправляет их женщинам, живущим в столице, в провинциях Аргентины, в Бразилии, по всей Латинской Америке.

Вечное стрекотание маминой машинки превратилось в бодрую песню тридцати пишущих машинок Фонда, которые денно и нощно отвечают на тысячи писем тех, кто забыт всеми, кто кое-как перебивается за сверкающим фасадом городов или за молчанием "обыденности".

Все должны быть услышаны, все должны получить ответ. Слова "нет" не существует, отказать можно только по моему личному распоряжению. Стрекочут пишущие машинки... Ренци! Ты здесь?

Ренци выскакивает из смежной комнаты. Он всегда где-то поблизости.

— Ты уверен, что в Фонде все в порядке?

— Я звоню туда дважды в день, Сеньора.

— Ты ведь не сказал им, что мое отсутствие может затянуться?

— Нет, Сеньора. Ни в коем случае. Они работают как всегда. Ночная смена заканчивается в три утра.

— Отправлен грузовик с одеялами и раскладушками для пострадавших в наводнении?

1. Хосе де Сан-Мартин (1778–1850) — национальный герой Аргентины, один из участников Войны за независимость испанских колоний в Америке (1810–1826); Бернардино Ривадавиа (1780–1845) — аргентинский государственный и политический деятель, борец за независимость Южной Америки от испанского господства; президент Аргентины в 1826–1827 гг.

— Разумеется, Сеньора. Погрузка закончилась вчера в десять вечера, они, наверное, уже прибыли...

Ей кажется, что она — важнейшая деталь, выпавшая из отлаженного механизма, и без нее он замрет. Внезапно ее охватывает тоска.

— Слушай-ка, Ренци, как ты называл тот склад в гараже?

В гараже Резиденции родился Фонд. Дело было так: однажды мы обнаружили там сотни ящиков печенья, какое обычно едят старухи и архиереи, когда приходят друг к другу в гости и угощаются портвейном, мешки с сахаром, кофе и рис. Это были тайные запасы дома Президента, и вот мы — Ренци, я и мой брат Хуансито — принялись разбирать их, раскладывать по пакетам, чтобы раздать бедным детям нашего квартала.

В нашем квартале бедных детей не оказалось. Бедных было всего лишь двое — я да Хуансито. Как-то раз, когда мы с Генералом ставили в гараж автомобиль, в свете фар вспыхнули крошечные брильянты — сахарные крупинки, все еще рассыпанные по полу.

— Этот склад мы называли "Наслаждение", Сеньора.

— Ренци, ты слышишь меня?

— Да, Сеньора.

— Со мной происходит что-то странное. Словно я вижу себя издалека... Словно я на другой планете. Вчера, сегодня... вспоминаю детство, мамин дом, пампу, летние вечера. Вся моя жизнь словно отступила куда-то вдаль. Правда, странно? Я так ясно все вижу! Это похоже на грезы, на мираж... Такое чувство, что настоящее — круги на воде, очень зыбкое: все — ничто, все исчезает в бездонном мешке уходящего времени...

Я вспоминаю... Что бы это значило?

Со мной никогда не происходило ничего подобного. Я словно перенеслась куда-то на задворки времени. Я все вижу со стороны, из далекого далека... Чувствую, что это плохо, есть тут что-то страшное. А может, у меня теперь остались только вспоминания? Как тебе кажется?

— Не говорите так, Сеньора. У меня тоже иногда случаются приступы хандры. Просто вы не работаете в Фонде, а без него вы как рыба без воды...

— Там все в порядке? Вся смена вышла на работу? Говори мне только правду...

— Ничего не изменилось, Сеньора, клянусь вам. Люди работают, не жалея сил, ведь все понимают, в каком вы состоянии...

Итак, "состояние"...

Бесконечные письма. Старательно выведенные буквы, почерк простых людей. Аккуратно вырванные из тетради листки, глянцевая оберточная бумага. "Сеньора Эвита, помогите мне, я вынужден обратиться к Вам, прошу Вас, умоляю, я нахожусь в очень затруднительном положении..."

О чем они только не просят! Кастрюли, костыли, новые альпаргаты, матрасы, пенициллин, лечение в больнице, вызволение из тюрьмы, вставные челюсти, место сторожа, протезы, книги и школьные принадлежности, скот, инструменты...

Однажды утром явился молочник — крестьянин в шароварах и кушаке, расшитом монетами, — и плакал на крыльце Фонда. Пропала его тележка, наверное, ее украли, а вместе с ней — все его мерные черпаки, цинковые и оловянные бидоны. Простой честный баск никак не мог поверить, что чья-то подлость, злая шутка разбила ему жизнь. Я набрала номер Сереихо, спавшего безмятежным сном у себя дома, и заявила, что

он, как министр экономики Аргентины, должен решить задачу государственной важности. Я терпеливо дожидалась, когда он окончательно проснется, и объяснила, что необходимо достать тележку молочника со всем, что нужно — бидонами, черпаками, лошадью и так далее, — немедленно, пока бедный баск окончательно не потерял веру в справедливость и в аргентинский народ. Вся полиция была поднята на ноги.

В десять утра молочник покинул крыльцо Фонда с тележкой, его сопровождало мелодичное позвякивание, похожее на звон бубенцов, — волшебная мелодия, которая ранним утром звучит на мощенных камнем городских улицах.

Так передо мной открылась дверь во двор чудес, где можно узнать душу аргентинского народа.

Неужели кто-то вспомнил о твоем убогом существовании, заметил твои страдания? Ты держишь в руках письмо с государственным штемпелем: почтальон вручил конверт лично тебе. Пойми, Ренци, главное — чудо. Настал твой день, тебе ответили, и ты получил вставную челюсть, или костыль, или тебя положили в больницу, или назначили на должность путевого обходчика! И вот ты снова поверил в жизнь и в политику! Наконец-то равнодушное государство сказало тебе "да"! Разве такое можно забыть, Ренци?

На самом деле людям не так уж много нужно. Главное, чтобы их услышали. Ведь никто никогда их не слышал... Им нужна любовь. Им все равно, ответишь ли ты на их письмо, или протянешь руку и скажешь "да", или пришлешь костыли.

Без любви люди умирают. Говорят, я занимаюсь "оказанием содействия населению", так называют мою работу, презирая ее наравне с "милосердием" миллионерш из Благотворительного общества. Но они заблуждаются: я люблю народ, я отдаю ему эту любовь. Да, вызов, скандал! Потому что наше жалкое общество обходится без любви, Ренци, и все его победы оборачиваются тайным поражением миллионов и миллионов серых людей, неврастеников без автомобиля и холодильника, маргиналов.

Они никогда не требуют ни прав, ни свобод, ни роскоши (за исключением того психа, который попросил меня устроить ему медовый месяц в Акапулько, потому что пообещал это невесте, учительнице из Бель-Виля; или того бессовестного сторожа, который трижды писал мне, прося по домику для каждой из трех своих невест).

Страдание, оно разное, Ренци. Я никогда не читала писем, вернее, не читала от начала до конца. Я просматривала их, и мое сердце угадывало главное. Страдание замечаешь сразу. Истина обходится без пустословия.

А помнишь Жеральдину, помнишь то ужасное письмо? Она просила ни много ни мало — вернуть ей глаза, сожженные каким-то химическим веществом. У себя в Бразилии она прослышала, что на свете существует добрая фея или богиня, которой ничего не стоит подарить ей новые глаза... Бедная Жеральдина... Как свята была ее вера! Она приехала из Бразилии с матерью и тоненьким голоском попросила вернуть ей зрение. Как же мне хотелось тогда действительно быть богиней, а не тем, что я есть, всего лишь человеческим созданием! Прелестная Жеральдина молилась вместе с падре Бенитесом во время специально устроенной нами мессы. Она верила, что Бог должен меня услышать, обнимала своими ручками мою шею, а я отворачивалась, чтобы она не заметила моих слез! О какой же власти мы говорим, Ренци?

Еще можно говорить о власти полицейского или посыльного из пансиона. А наша власть? Смех один... В лучшем случае мы — слуги добра, не более того... Люди все время чего-то просят, но у нас с ними словно заключен некий негласный договор: они требуют только чего-то простого, хотя и необходимого — будь то швейная машинка или место на почте. Самое главное — заставить их поверить, что в мире существует справедливость, что наша деятельность — не злой розыгрыш, не насмешка, их письмо дошло, о них знают, и очень скоро они получат ответ на свой отчаянный зов... Вот в чем секрет, Ренци. Вот что важнее всего... Об этих людях веками никто не хотел слышать, Ренци..

Как здесь тихо! Какое пустое, никчемное существование! Я бездействую, я оказалась на обочине жизни, и все, что мне остается, — наблюдать за наступлением болезни, а ведь мне всего тридцать два года! Дьявольские козни, вот что это такое!

Растерянная худенькая девушка с картонным чемоданом стоит на мокром тротуаре. Вокруг ни души. Мрачный толстяк офицер ушел — должно быть, догадался, в чем дело.

Потом ты подняла голову и глянула на роскошный особняк — на окна первого этажа. Наверное, ты разглядывала шелковые занавески, и у тебя мелькнула мысль, что если бы тебя пустили, ты бы попросила показать тебе именно эту комнату с окнами на улицу. Хотела бы я оказаться на твоем месте? Согласилась бы ты оказаться сейчас на моем? Кто сочинил эту странную пьесу, кто поставил ее, кто передвигает фигурки в таинственной игре?

Вздохнув, ты взяла чемодан. На самом деле он не такой уж и тяжелый. Ты побрела назад, вниз по улице Альвеар. На Кальяо тебя застал ливень, и, пока ты добралась до Коррьентес, промокла насквозь.

Ты вернулась в кафе, опасаясь, что старый чемодан развалится. Трое шутников, трое веселых молодых аргентинцев, бесследно исчезли. Тогда ты не поняла, что означал недобрый озорной огонек в их глазах. Это была не просто шутка — в ней таилось тонкое садистическое удовольствие. Как у человека, который во время карнавального шествия незаметно поджигает костюм актера, наряженного медведем. Самое худшее, что было в тогдашней Аргентине, — бесчеловечный "розыгрыш", жестокая месть того, кто чувствует, как с родной земли его незаметно вытесняют такие же "шутники". Итак, я огляделась по сторонам, но их уже и след простыл... Тот же самый официант предложил поставить к нему за прилавок чемодан. Он протянул тебе кусок мыла и свое полотенце, чтобы ты вытерлась и не заболела воспалением легких. Когда ты вернулась, перед тобой стояла чашка горячего кофе с молоком и рогалики. Но в этот миг произошло чудо: в кафе вошел Хуансито в новенькой форме новобранца. Он зашел за тобой в пансион — тот, где произошел скандал, — а потом решил, что ты наверняка сидишь в одном из кафе неподалеку.

Хуану хотелось гульнуть, он пригласил тебя в "Геррен" и угостил пиццей. Но сперва вы пошли в пансион, указанный официантом, поднялись по обшарпанной и грязной мраморной лестнице на второй этаж, тебя попросили оставить в залог восемь песо, и ты осмотрела комнату — относительно чистую и, хотя и без окна, вполне сносную и даже уютную.

К вечеру того же дня, вернувшись в пансион, ты открыла свой картонный чемодан, повесила в шкаф три перкалевых платья, вязаный розовый жакет и коричневое пальто с бархатным воротником, которое от-

дала тебе Бланка. А потом разложила остальные вещи. Что это были за вещи?

Эва погрузилась в воспоминания, на лице у нее появилось мягкое отстраненное выражение. Она потянулась за карандашом, но сразу же передумала. Она будет записывать мысленно.

Три платья в цветочек, сшитые по выкройке из журнала "Для тебя", – мать называла их "chemisier"[1], вязаные пуловеры, туфли на высоком каблуке в картонной коробке. Блокнот марки "Колосо", пудра "Ле Санси" (основной тон и оттенки, "Ле Санси де Дюбарри"). Помада "Танжи", подводка для бровей, которая делала меня старше. Пахнущая резиной коробочка с двумя отделениями, набитая всякой всячиной, остро наточенный карандаш, от которого пахнет сосной, несколько самопишущих перьев, потайное отделение, где хранились мои сбережения. Альпаргаты, гребень, шампунь, несколько кусков английского мыла, которое Хуан выиграл на благотворительной лотерее в приходской церкви, и записная книжка "Сан-Мартин" со всеми необходимыми адресами, а также крылатыми школьными фразами, вроде знаменитой "Будь тем, кем ты должен быть, или не будешь ничем".

И, наконец, ужасный предмет, на который было стыдно смотреть, – непристойно-розовый корсет марки "Голливуд", который Хуансито в последний момент сунул в чемодан, не обращая внимания на мое яростное сопротивление. Этот корсет я должна была носить как пояс целомудрия, средство крайней защиты. Сам Хуан толстыми и крепкими нитками пришил внизу корсета три пуговицы – пришил неуклюжими, надежными стежками, какие отличают любую вещь, сшитую мужчиной.

Корсет "Голливуд" я надевала его всего лишь несколько раз, чтобы платья, которые были мне велики, сидели лучше и я выглядела на сцене более привлекательной, более женственной.

Пояс целомудрия... Растерянный, пунцовый Хуансито, не знающий, что и сказать...

МЕНЯ ЗОВУТ ХУАРЕС, я кузен Эвы. Я играл с ней на этой тропке, которую не отличишь от наших немощеных дорог. Все кругом звали ее Чола – она-то, конечно, этого уже не помнит. Эва была самая младшая из сестер Дуарте. Все их так называли – "сестры Дуарте". Мужчин у них в семье не было (не считая Хуансито, который всегда казался подростком и, даже когда вырос, так и не стал взрослым мужчиной. Он не возмужал до самого последнего дня, когда раздался загадочный выстрел и многие решили, что это самоубийство)... Да, это был женский клан, настоящее племя амазонок...

Эва слыла озорной девчонкой, лазила по деревьям... Ее мать на своем "Зингере" шила ей панталоны из обрезков яркой цветной ткани, и они пестрели между зелеными ветками. Она сливалась с деревом, словно птичка, и часами пряталась в густой листве старых ветел или акаций, которые, сами видите, у нас повсюду. Во времена ее детства это были уже большие деревья. Они стали ее друзьями, ее убежищем. Она ухитрялась лазить даже по зарослям бузины, знала места, где можно вскарабкаться, не поранившись и не занозив руки.

1. Платье с воротником и застежкой спереди (*франц.*).

Когда Эва улепетывала после очередной шалости, она взбиралась на деревья проворнее любого мальчишки. Дело в том, что Чола не весила ровным счетом ничего, воробышек с блестящими черными глазами, которые едва умещались на лице, и она взбиралась даже на молодые тонкие ветки, куда садятся под вечер воробьи... Она была неуловима. Никто не мог за ней угнаться. Чола выслушивала угрозы и проклятия доньи Хуаны, сидя на ветке, — тщетно мать упрашивала Хуансито снять ее с дерева.

Еще раз скажу: она была шустрой девчонкой.

А вот и ее дом. Сами видите: небеленый кирпич, цинковая крыша, одна-единственная длинная комната с дверью на кухню, где имелись плита и раковина. Пол глиняный. В глубине — терраса или, скорее, широкий навес; во дворе утоптанная земля, виноградник, за ним уборная. Нехитрое, как видите, сооружение — яма, над ней доска с дыркой.

Да, справиться с Эвой не мог никто, даже ее мать, настоящий деспот!

Никто. Никто не мог справиться с этой девчонкой. Она вытворяла, что хотела.

Устраивала настоящие цирковые представления, пела. Говорили, что она и уроки делала наверху, на деревьях. Как-то раз с дерева свалилась ее сестра, в другой раз она сама. Но не плакала, стерпела, чтобы у домашних не было повода за нее взяться.

Она не заплакала и в тот дождливый вечер, когда донья Хуана поставила на плиту сковороду, чтобы поджарить пончики, и Чола, которая вместе со своей сестрой носилась по кухне, опрокинула на себя кипящее масло. Она издала жалобный стон, но в тот же миг умолкла и спряталась, чтобы никто не видел ее ужасных ожогов. В три дня лицо у нее почернело. Говорили, так и останется. Но потом обожженная кожа сошла и стала такой же, как была раньше, разве что еще белее, еще тоньше...

Она все терпела, она была особенной, такими бывают люди, которым выпал нелегкий жребий, необычная судьба... Здесь, в Лос-Тольдосе, жила одна старуха по имени донья Асунсьон, то ли ведьма, то ли чокнутая. Она, эта старуха, раздавала карамель детям, когда те выходили с мессы. И дети, как воробьи, слетались к ней со всех сторон. В первое же воскресенье, когда ожог зажил и Эва отправилась в церковь, старуха ей сказала: "Ты, детка, можешь родиться по-настоящему, если хочешь, если у тебя получится. Твоим сестрам и стараться нечего, а вот ты, дочка, если хочешь, можешь родиться..."

Они прожили в Лос-Тольдосе до тридцатого года. Люди, сами знаете, завистливы и злопамятны, а Хуана слишком уж гордилась своей любовью с Дуарте. И когда она осталась одна, все на нее напустились, приставали к ней с поучениями и наставлениями, с упреками, к которым прибегают, когда завидуют тому, кто живет или жил по-своему. Тогда-то ее и прозвали Полюбовницей и шептали, что у нее что-то было и с Россетом, и с Кальвиньо, и с Томассе...

Хуана понимала, что дальше так продолжаться не может. Ее дочка Элиса работала на почте, поэтому, чтобы выжить, пришлось обратиться к Леттьери, алькальду-радикалу, и тот добился перевода Элисы в Хунин. Было это аккурат перед военными беспорядками тридцатого года. Донья Хуана подсуетилась очень вовремя — вы же знаете, как расправились с членами радикальной партии... Майор Галассо говорил мне, что у них был приказ расстреливать радикалов на кукурузных плантациях це-

лыми толпами. Бедные радикалы в своих пиджачках и брючках, купленных у Браудо, так и падали, будто подстреленные кролики...

Они подражали знатным господам, и им этого не простили. Истинными господами всегда считались консерваторы – и в нашей провинции, и по всей стране. Ну, так вот, через восемь дней пришла весть о переводе Элисы в почтовое отделение Хунина. Они упаковали свои пожитки и сели в поезд, почти ни с кем не простившись. В Лос-Тольдосе никто бы не стал о них скучать – даже родственники. Не будь донья Хуана настоящей тигрицей, гаучо в юбке, ее бы вместе с ее выводком просто-напросто сожрали вши...

Эва в ярости швыряет на пол отпечатанные страницы.

– Откуда взялся этот идиот Хуарес? – Она напряженно вспоминает.

Вдруг перед глазами всплывает худой, очень смуглый человечек, похожий на индейца, кажется, какой-то дальний родственник со стороны Валенти...

– Ренци! – кричит Эва. Никто не отвечает.

Стоит тишина, которая еще больше выводит ее из себя, словно гнев бесцельно носится по устланным коврами пустынным коридорам Резиденции.

– Ренци! – Перед ней вырастает Ренци, он боится ее гнева – слишком хорошо знает Эву. – Что за сукин сын съездил в Лос-Тольдос и теперь утверждает, что я там родилась? Неужели это посмели напечатать?

– Нет, Сеньора. Эти материалы только что принесли в Отдел информации, и мне показалось, что Сеньора должна с ними ознакомиться... В отделе интересуются, могут ли они опубликовать их в журнале...

– Пусть эти идиоты запомнят: я родилась в Хунине! Есть свидетельство о рождении, а если они будут настаивать, я засажу их в тюрьму, в Сьерра-Чика, и пусть найдут этого дебила Хуареса и объяснят ему: нет никакой свободы печати, свобода печати принадлежит мне одной! Пришел мой черед! Пусть найдут Хуареса и объяснят ему, что, если он еще раз полезет в мою жизнь, в мое прошлое или в мои семейные отношения, его пристрелят в придорожной канаве! Мое прошлое, настоящее и будущее принадлежат только мне одной, я сама их сделала. Я не хочу слышать ни о каких родственниках, ни о детстве, ни о шлюхе, которая меня родила!

Ренци ошеломленно застыл в дверях гостиной. В руках у него маленький пластмассовый "Эксельсиор", любимый радиоприемник Эвы. Мягко ложатся вечерние сумерки. Обычно в это время Сеньора тихо включает радио и слушает "Глостора танго-клуб".

Ренци становится страшно. В сумерках ему кажется, что в сверкающих глазах Эвы пляшут желтые огоньки. Она так разбушевалась, что даже щеки немного порозовели.

Ирма появляется с чашкой кофе в руках, но тут же испуганно семенит прочь по коридору.

Да, Эва превратилась в пламя, пылающее в сумерках. Злое пламя, безжалостно раздуваемое бешеным ветром гнева. Маленькое радио в любой момент может стать жертвой, на которую обрушится шквал ярости. Но Ренци стоит неподвижно, невозмутимо. Он удаляется, спасая радио. Эва пытается заснуть.

Через час он снова входит. Эва не спит.

— У меня была температура. К счастью, она уже спала. Я задремала, и мне вспомнились деревья. Для меня они были живыми существами. Друзьями-гигантами. Зеленые, молчаливые братья. Загадочные и могучие. На них я устраивала себе сиесту... Почему сегодня мне многое кажется таким далеким? Пение цикад. Мороженщик... Прохладный ветерок играет свежими листьями... Все, что написал подлец Хуарес, — чистая правда...

Как же они ненавидят меня, Ренци! И жалости не знают. Я убежала из дома, полного ненависти, но они следуют за мной по пятам. Такая у меня судьба: меня ненавидят с самого рождения, с того дня, как мой отец...

Уже в 1944 году, когда Перон впервые попросил меня пойти с ним в театр "Колон" — он в то время был вице-президентом у Фарреля, — я поняла, что они настроены против меня. Я поняла это по тому, как они со мной поздоровались.

Не знаю, как мне удавалось лавировать меж потоками ненависти, неприятия. К счастью, я была словно в угаре. Я была похожа на девочку, бегущую сквозь пламя.

Это вроде капризов моды: в один прекрасный день и непонятно почему политическая оппозиция идеям Перона соединилась с ненавистью и презрением ко мне. Появились своего рода профсоюзы ненависти: студенты ФСБА, столичная интеллигенция, банковские чиновники, покорные своим мужьям дамы из среднего сословия, генералы, женатые на засидевшихся в девицах провинциалках из хороших семей, капитаны фрегатов, живущие в квартале Норте... Ренци, в этом городе меня ненавидят абсолютно все! Даже ребята из буэнос-айресского "Националя"... Моя болезнь... видно, они мне ее все вместе наколдовали. Я уверена, Ренци: вся их ненависть обернулась порчей.

Я повторила судьбу мадам Линч, которую играла на "Радио Бельграно" в цикле "Великие героини". Мадам Линч была ирландкой, вышла замуж, но в восемнадцать лет в Париже познакомилась с генералом Франсиско Солано Лопесом[1] и уехала с ним в Парагвай. Они завоевали власть, но ее все ненавидели — может быть, даже больше, чем меня... Она была не такая, как другие. Трудно сказать, почему так получилось. Просто ее не приняли. Но она не сдавалась до самой смерти. Моя судьба была предсказана в том спектакле, в котором я играла, когда мне казалось, что люди меня любят или, по крайней мере, терпят. Спектакль назывался "Амазонка судьбы". Название — лучше не придумаешь! Действительно, эта женщина победно оседлала судьбу, и никто не смог выбить ее из седла.

— Осмелюсь возразить вам, Сеньора, судьба не может быть предначертана заранее, ни плохая, ни хорошая.

— Судьба, Ренци, это те решения, которые мы вольно или невольно принимаем в каждое мгновение нашей жизни... Но наступает день, когда ты понимаешь, что от судьбы не уйти, по вкусу это тебе или нет, ты должен оседлать ее, как задумал Муньос Аспири, который написал сценарий. И вот тут-то и выясняется, кого ты оседлал — дракона или робкую овечку. Мадам Линч держалась в седле до самого конца. А я задыхаюсь, Ренци, задыхаюсь в этой непроглядной ненависти.

1. Франсиско Солано Лопес (1826—1870) — государственный деятель Парагвая, в 1862—1870 гг. президент страны.

— Не говорите так, Сеньора. Вы сейчас похожи на того еврея-лавочника, который жаловался на плохую торговлю, а сам просто позабыл записать прибыль. Вы, Сеньора, самый любимый человек не только в этой стране, но даже на всем континенте. Миллионы людей вас любят и за вас молятся. Они терпеливо дожидаются на тротуаре, когда вы проедете мимо на машине, и плачут. И это самые искренние, благородные и святые слезы, какие только можно себе представить. А что до других — тех, кто вас ненавидит, — они ведь давно превратились в соляные столпы, потому что смотрят назад. Вы породили нечто новое и необыкновенное, что очень нужно всей Аргентине. Вы поднялись выше политики, выше здравого смысла и рассудка. Вы отважились на чистую и бескорыстную любовь, как сами вчера говорили... Грех жаловаться, Сеньора...

Впервые Ренци видит Эву в профиль. В мягком вечернем свете контур ее лица кажется барельефом, вырезанным из белого мрамора.

— Когда Алькарас сделал мне прическу для фильма "Счастливица" — заплел волосы в косу и уложил короной (говорят, что эту прическу я где-то подсмотрела), — я постепенно разучилась ненавидеть. Забыла, что такое ненависть, Ренци! Меня захватил Фонд, каждую минуту моей жизни, для ненависти просто не осталось времени. Запомни, Ренци: им повезло, ведь ненавидеть я умею по-настоящему. Раньше всякого, кто коварно вставал у меня на пути, я была готова уничтожить. Не пугайся, дальше этого дело не шло... Словно бы меня останавливало что-то высшее... А ведь я могла бы стать великой ненавистницей, Ренци. Из тех, что строят концентрационные лагеря, устраивают массовые казни и все такое прочее... Падре Бенитес об этом знает. Он сам мне однажды сказал. Я могла бы сеять вокруг ужас. А сейчас собственные злодейские наклонности кажутся мне просто смешными.

В тот день, когда Алькарас сделал мне новую прическу, видно, изменилась и я сама. Наверное, ненависть живет в волосах. Когда Далила остригла Самсону волосы, он сделался чуть ли не евнухом! Что-то в этом есть! С этой прической, с короной из волос, я превратилась в Эвиту, которую ты сам называешь святой...

Я забыла рассказать тебе, что пришло мне в голову, пока я читала статью этого чудака-журналиста: любое детство, Ренци, это счастье, богатство, даже самое нищее детство. Вот настоящий социализм, другого наш несправедливый эгоистичный Бог не создал. Какая особенная, ни с чем не сравнимая радость — раскрываться навстречу жизни, природе, миру. То, что называется Благодатью... (Пусть твое детство омрачено нищетой и невзгодами — ты все равно всесилен, всемогущ... В некий миг каждый из нас был Богом. Или уж, по крайней мере, его любимым родственником...)

— ПРОСТО УМОРА: РЕВОЛЮЦИОНЕРКА НЕ ДЕРЖИТСЯ НА НОГАХ ОТ СЛАБОСТИ, — сказала Эва с ноткой сарказма в голосе.

14 сентября 1951 года. Ее брат Хуан прибыл из Дома правительства с тревожной новостью: готовится военный заговор, который возглавляет националист-проповедник Бенхамин Менендес.

Демократы самым бесстыдным образом заигрывали с военными. Они замышляли переворот — во имя официальной демократии без народа, демократии, которую можно назвать уродливым и жестоким детищем интриг. "Тайные принцы" — так называл их Перон.

В тот день, выслушав дурные новости от Хуана Дуарте, Эва произнесла пророческие слова: "Мы обе больны раком – и я и Аргентина. Или мы его одолеем, или погибнем вместе".

Несмотря на слабость, Эва была крайне возбуждена. Мне она показалась одинокой, словно ее покинул даже Перон, который выслушал сообщения о заговоре со странным безразличием.

Эва без конца повторяла, что заговоры превратились для Аргентины в повседневную болезненную реальность. И она, Эва, стала для них главным поводом. "Меня возненавидели в тот проклятый день 9 июля 1944 года, когда полковник Перон, вице-президент, пригласил молодую актрису в театр "Колон". Тогда же в фойе мне был дан знак, что это надолго".

Восстание Менендеса – это ведь то же самое, изменилось лишь имя главного заговорщика: в 1944-м и 1945-м основным действующим лицом был генерал Авалос.

Сам Перон рассказал мне о "товарищеской встрече", когда Авалос пожаловал к нему в квартиру на улице Посадас (генерал не знал, что Полковник снял квартиру на том же этаже, куда несколькими месяцами раньше въехала Эва). Не знал Авалос и того, что в крошечной кухне за дверью гостиной Эва готовила цыпленка – единственное фирменное блюдо новоявленной хозяйки. Авалос от лица военной верхушки по-дружески посоветовал Полковнику: как аргентинский офицер он должен блюсти честь мундира и не жениться на особе, "запятнавшей свое имя в артистических кругах, которая не пользуется достойной репутацией в армии, чуть ли не авантюристке".

Авалос ни разу не произнес слова "шлюха" или чего-то в этом роде, но когда Эва ворвалась в комнату, неся в руках блюдо с цыпленком, впечатление было такое, что генерал назвал ее именно так. Глаза у нее пылали. Она не смогла совладать с собой и опрокинула на него блюдо с курицей и горячим соусом (напомню, что Авалос был самым высокопоставленным лицом в армии).

Они всего два дня жили вместе на улице Посадас. И пока только узнавали друг друга... Эва скрылась в спальне. Перон побежал в ванную за полотенцем, потому что томатный соус струился по генеральскому мундиру.

Эва повела себя как женщина, с которой обошлись непозволительным образом. Однако ей самой это происшествие принесло неожиданный сюрприз: Полковник смеялся. Да, представьте себе, вручая полотенце генералу, он хохотал. Перон и не подумал извиниться. Словно наблюдал эту сцену со стороны и она его не касалась.

Случай с генералом Авалосом был до такой степени скандальным – и смешным, – что не возымел никаких последствий.

Поведение Перона было куда более странным, чем реакция Эвы. Похоже, именно в тот вечер Перон полюбил Эву по-настоящему: Эва была единственным человеком, которого он уважал, считая в чем-то себе равным.

В докладе Хуана Дуарте не было для Перона ничего нового: у него в кабинете уже лежало аналогичное сообщение, составленное разведкой. Очевидно, несмотря на отречение Эвы от поста вице-президента, заговорщики не успокоились. Эва была вне себя; она металась взад и вперед по маленькой гостиной, смежной со спальней, где мы собрались на неофициальное совещание.

— Если бы не я, эти сволочи поддержали бы хустисиалистов, лишь бы получить разрешение на ввоз одного иностранного автомобиля в год.

Эвита не знала, что как раз в последние недели успешно осуществлялся хитрый план Перона: Менендес оказался в изоляции, его поддерживали лишь скудные силы, размещенные в Кампо-де-Майо и в столице, в то время как генерал Лонарди из Кордовы покинул заговорщиков — как и самые видные радикалы, которые не считали Менендеса достаточно серьезным и надежным военачальником, способным разрушить единство национального большинства, огромных масс народа. Менендес защищал безжизненную, выхолощенную демократию ("Демократию тех, других, — иностранцев", — говорил Перон).

"Мы чувствуем себя так же, как тогда, после визита в Испанию, — страна у нас в кулаке, нас поддерживает народ и революционные силы, при этом мы должны быть все время начеку и следить за действиями старца, которого его друзья-олигархи пинками загнали в Кампо-де-Майо!"

Вот что услышал я в тот вечер.

Эва потребовала информацию о тех, кого она называла "контрзаговорщиками". Ренци сказал, что инструкции получили все надежные офицеры.

Генерал "Фон Ф." продолжал свою работу, ему предоставлялись все нужные сведения.

Как сообщил Эве человек, поддерживавший связь с "Фон Ф.", тот скептически отнесся к идее создания "очищенного войска", что предполагало переформирование действующей армии, и настаивал на создании секретных служб — отдельной военной организации, вроде той, что победила в Китае.

Генерала "Фон Ф." никак не назовешь энтузиастом. Он не чувствует в аргентинцах главного — боевого духа, способности к длительным испытаниям, к самопожертвованию. Кроме того, он разделяет точку зрения бывшего (до поражения) берлинского Главного штаба: Аргентина занимает в Латинской Америке особенное место — прежде всего из-за своей близости к европейской культуре. Однако, по его мнению, в будущем, "когда континент проснется", центром тяжести политических событий станет не она, а Бразилия.

Выслушав доводы генерала "Фон Ф.", Эва помрачнела. Она приказала нам удвоить усилия. "Предсказать, куда движется История, не может никто, — сказала Эва, — даже этот немец. История, она как мяч, которым играет обезьяна..."

Я заметил, что Эва подавлена. Когда мы уходили, она опустилась на длинный диван, похожий на больничную кушетку, и воскликнула: "Как же все плохо! Зачем только я уехала из Хунина!"

ХУНИН... КАКИМ Я ЕГО ПОМНЮ? Аккуратно расчерченные улочки, расходящиеся в разные стороны от площади Сан-Мартина, которую я называла Зевотой. Широкая, унылая зевота. Зевота последних дней мира. Скука бессмысленной жизни, как поется в танго. С одной стороны площадь Сан-Мартина, с другой — церковь, в которую Бог побрезгует заходить, у него слишком хороший вкус...

— Не говорите так...

— Да, я совсем не добрая. Правду говорят: иной раз язык может далеко завести... Я знаю, падре: в любой церкви живет веселый бог юных,

бог влюбленных. Помните? "Утренняя месса. / Колокол поет. / Юная невеста, / как жасмин, цветет..." Так оно и есть.

Чуть поодаль кондитерская "Париж". Прежде, в те времена, когда Хунин был фортом, там располагалась лавка.

А вот городские клубы: Итальянское общество и Испанский клуб. Туда степенно направлялись худощавые строгие англичане с Тихоокеанской и Западной железных дорог, чтобы сыграть партию в бридж.

Променад по часовой стрелке и против (поговаривали, что против часовой стрелки двигались только педики, местные рогоносцы, директриса школы, ужасная злюка, да комиссар полиции Ландольфи). Мороженщик на углу улицы Ривадавия. В зимних сумерках ветер гоняет по улицам листья платанов. Бесконечными летними вечерами жители выносят на тротуар плетеные кресла, чтобы, сидя в них, разглядывать прохожих. Знаете, что они пьют? Гранадин с содовой и льдом из высоких стаканов. Я его просто обожаю.

Больше о Хунине сказать нечего. Не забудьте: главное — вечная зевота площади Зевота... Вот что открыла я для себя в Хунине. Конечно, случилось это спустя какое-то время после нашего переезда, через два или три года, когда я действительно начала "рождаться на свет", как предсказала донья Асунсьон из Лос-Тольдоса.

По-правде говоря, когда мы приехали в Хунин, он нам показался настоящим Парижем — мне и всему нашему "племени". Мы сошли с поезда, навьюченные узлами и тюками (мы ведь приехали из глуши, из Лос-Тольдоса), и жизнь очень скоро наладилась, хотя от перемены климата у матери побаливали вены на ногах. Первым делом, оказавшись в пустом доме, мы включили "Эриксон", привезенный в целлофановом пакете. Словно по волшебству жизнь хлынула в наше жилище. Мы поставили приемник на полочку, прибитую высоко на стене, чтобы никто случайно не опрокинул. Оттуда шла жизнь, богатый веселый мир — шум Буэнос-Айреса, голос Ады Фалькон, Симоны, радиопостановки "Две маски", болеро Эльвиры Риос.

Но главным было другое: мать вдвое меньше крутила свой "Зингер". В полдень, когда я возвращалась из школы, из нашего окна, выходившего на улицу Роке Васкеса, доносился теперь не только унылый стрекот машинки, но и беззаботное щебетание Йайи Суарес Корво, чьи спектакли заканчивались как раз в это время. Радиостанции "Прието", "Стентор", "Эль Мундо"... Мы наизусть знали расположение всех станций на пластмассовой панели радиоприемника.

Иногда я переименовывала вещи. Так, например, радиоприемник "Эриксон", который незадолго перед смертью нам подарил отец, за строгую готическую форму я назвала "базиликой". Он и вправду сильно смахивал на средневековый собор или на Луханскую базилику. Из круглого окошечка, затянутого фланелью, похожего на плотно занавешенное готическое окно с украшениями из резного дуба, до нас доносились голоса целого мира. Эти огромные деревянные радиоприемники были святилищем, таинственным источником откровений...

Моя мать с ее больными ногами даже мессы слушала по радио. Их передавали по воскресеньям, в десять утра. Принарядившись и покрыв голову мантильей, мать усаживалась в кресло. По окончании мессы, сняв и аккуратно сложив мантилью, снова возвращалась к швейной машинке.

Однажды, когда мне было лет десять, я оделась как на праздник, тщательно причесалась и, стоя напротив радио, слушала торжественно объ-

явленный концерт Алехандро Брайловского. Конечно, домашние надо мной смеялись. Я нарядилась так, словно готовилась слушать настоящий концерт в первом ряду партера, нацепила все свои побрякушки и даже надела туфли, которые мне одалживала Эрминда.

Радио приносило нам жизнь. Некоторые передачи собирали вокруг "базилики" все семейство: последние новости, концерт Календера, "Советы невидимого друга", сводка погоды по "Радио Эль Мундо", "Хочу быть первым", "Чудесная ночь" с Асусеной Маисани и многое, многое другое...

Еще одним источником, доносившим до нас гул неведомого мира — точнее сказать, отзвуки светской суеты, — были журналы. Мои старшие сестры кропотливо, номер за номером собирали "Для тебя" и "Очаг". Они хранили их в длинном деревянном сундуке, от которого почему-то отвратительно пахло касторкой.

Достать эти журналы в Лос-Тольдосе было чрезвычайно трудно. Мода, парижские новости, роскошные балы в Буэнос-Айресе, помолвки и сердечные победы светских дам... Из них мы узнавали о помолвке Ракели Пуэйрредон с Алехандро Ластрой или Клары Окампо Альвеар с Мариано Кастексом (торжество, как вы сами понимаете, проходило не в Хунине, а в Париже — в далеком настоящем мире). Некая сеньорита Видела Дорна деловито объясняла, что кожа может стать такой, как у нее, только при регулярном употреблении крема "Пондс" — лучшего увлажняющего ночного крема.

Однажды, когда все куда-то ушли, я бросилась к воняющему касторкой сундуку и отправилась в путешествие по дремавшей под его крышкой неведомой вселенной. Старшие сестры стерегли журналы как нечто опасное или даже непристойное... Воистину, пуританам по вкусу лишь бедность.

Журналы приоткрывали дверь в чудесную, далекую реальность. Буэнос-Айрес — чарующие, магические слова; "Инес Анчорена де Асеведо победила в двух этапах соревнований на гидроплане и получила звание чемпионки"...

Парижский и лондонский свет, подробная статья о Люсьен Байер, фотография Триумфальной арки, романтичные переулки возле площади Пигаль. Курорты Брайтона, неизменно окутанные белесым туманом, который большинству аргентинцев кажется особенным шиком.

Я заглядывала в бездну, всматривалась в неведомый мир, таивший в себе что-то порочное.

Захватывающее приключение — проникнуть в пахнувший касторкой сундук, заглянуть в иное измерение, прикоснуться к ярко сияющей жизни. Казалось непостижимым, что Хунин мог иметь какое-то отношение к той реальности...

Роскошные туалеты, высокая мода, выкройки. Салонные сплетни. Юные теннисисты в белых пуловерах окружили пианино, за которым поют "В твоих глазах задумчивая дымка". Голая спина Полы Негри в "Негреско" (Ницца). "Жокей-клуб" в Сан-Исидро. Лайнер "Анды" отплывает от буэнос-айресского причала в Лондон, и девушки в матросских костюмах прощаются со своими воздыхателями. Чего тут только нет: оркестр — кларнеты, тромбоны, барабаны, — разноцветные гирлянды и невообразимых размеров "линкольны" и "паккарды", припаркованные вдоль длинного причала. Одним словом, жизнь. Легкая, веселая жизнь больших городов...

Воистину, центр мира был повсюду, только не в Хунине.

ХРАМ КИНО ТОЖЕ БЫЛ ПОЛОН ЧУДЕС. Как описать бесконечные сеансы, когда три или четыре фильма шли подряд с двух часов дня до половины девятого вечера!

Лилиан Гиш в "Ромоле" (с Уильямом Пауэлом и Роналдом Колменом), неотразимая авантюристка Джин Харлоу. Кларк Гейбл. Герои полумрака и примитивной игры света и тени, о которой вспоминали лишь в тот миг, когда вялая публика неожиданно принималась вопить: "Пленка, пленка порвалась!", и в зале вспыхивал свет. Механик, ловко орудуя смоченной ацетоном кисточкой, устранял дефект и возвращал движение иллюзорному миру – единственному, в котором стоило жить.

Захватывающий "Бен Гур". Рамон Новарро, неустрашимый борец за справедливость, спасается от позора – его колесница приходит к финишу первой, успешно обойдя все ловушки, расставленные римлянами. Все кончается благополучно за три минуты до того, как на экране вспыхивают слова "The End".

Далее волшебный полумрак представлял "Милых женщин", и неправдоподобные светловолосые существа – платиновые блондинки – танцевали канкан как в "Ziegfeld Follies"[1]. Вот она, настоящая жизнь: приключения, риск, чувство опасности, мужество, торжество справедливости. Погони, дальние плавания, безумная любовь, подвиги, от которых захватывает дух... И в довершение всего – благородная, элегантная, непередаваемо женственная Норма Ширер, именно ей суждено было стать образцом для подражания и кумиром Эвы.

Хунин делался еще более Хунином (если такое вообще возможно), когда в зале вспыхивал свет и старшие сестры вставали со своих мест с покрасневшими глазами, словно они вернулись с демонстрации, которую разгоняли слезоточивым газом. Затем по улице Ривадавия они брели к дому, а вокруг простирался все тот же Хунин, где нет места ни мечтам, ни риску. "Однажды, – призналась Эва, – я отчетливо поняла, что реальность, обыденность – всего лишь чистый лист бумаги, на котором человеку предстоит написать то, что у него хватает мужества сотворить со своей жизнью. Войти в кинематограф означало для меня бегство из Пустоты. Особенно в тот роковой 1934 год, когда я окончила школу и мне предстояло "вести обычную жизнь", иными словами, стать учительницей или бухгалтером и выйти замуж за Катурлу – парнишку, который ходил за мной по пятам. Однажды, когда я возвращалась домой из кинематографа по улице Ривадавия, мною овладел приступ бешенства. Я убежала от сестер, я шла как одержимая неведомо куда. Точно помню, что я сказала себе, воскликнула, словно заклинание или политический манифест: "Каждый день, проведенный здесь, в Хунине, будет днем, потерянным для всего мира, для всей Вселенной..."

РАЗ УЖ ВЫ ЗАГОВОРИЛИ О ЦИРКЕ, признаюсь: цирк всегда вызывал у меня безотчетный страх. Мне чудилось что-то омерзительное в ужимках клоуна, в неестественной гибкости акробатов, в покорности слонов, в рычании тигра.

В цирке я не видела никакого волшебства, ничего даже отдаленно напоминавшего праздник. Цирк появлялся в Хунине раз в год с точнос-

1. "Причуды Зигфелда" – ежегодные музыкальные шоу-ревю, поставленные американским продюсером Ф. Зигфелдом. Шли на бродвейской сцене с 1907-го по 1931 г.

тью кометы. Начинался он с парада животных и фокусников на площади Сан-Мартина. Я ни в малейшей степени не разделяла восторг одноклассниц и сестер. Во всем мне виделся трагический фарс, который пытались выдать за веселый балаган. И вот однажды в понедельник, когда в цирке был выходной, а на улице лил холодный обложной дождь, я протиснулась сквозь непроходимые баррикады повозок и клеток и обнаружила то, о чем всегда догадывалась, — "изнанку". Хмурая гимнастка жарила яичницу на керосиновой горелке. Пьяный дрессировщик-венгр играл в кости. Тигр дремал, вяло отгоняя хвостом мух, слетевшихся на зловонную кучу его экскрементов.

Больше я в цирк не ходила. Когда гремели барабаны, возвещая опасный трюк — какой-нибудь двойной сальто-мортале, — я видела только одно — ту, обратную сторону. Было невыносимо узнать, кем был на самом деле размалеванный клоун, которого на потеху публике унижает Арлекин (ну что здесь смешного, скажите на милость?).

Однако по иронии судьбы моим первым настоящим контрактом в кино была роль в фильме "Цирковая кавалькада" с Уго дель Каррилем[1]. В день подписания контракта мы с Энрике Фаустином и всей труппой устроили праздник. К моему облегчению, в фильме почти не показывали цирк — такой, во всяком случае, как в Хунине, который тщетно изображал веселье. Недотепы из нашего класса хохотали, а передо мной открывалось совсем другое зрелище: я видела, как всех их, от хищников до стройной акробатки в перьях, пожирает невидимый адский огонь.

ГОДЫ БОРЬБЫ. Интересно, почему по войне тоскуют больше, чем по мирным временам? Суровый аскетизм, мобилизация всех сил для выживания. Вот что запоминается.

Могу ли я забыть тот наш дом на улице Роке Васкеса! Сперва мы жили на жалованье Хуансито, которое ему платили в аптеке, затем получила место учительницы старшая сестра. Короче, кое-как концы с концами сводили. Мы то и дело переезжали: дом на улице Лавалье, затем на Альфонсо Альсина, на Винтер и наконец самый наш лучший дом — на улице Хосе Ариаса, 171.

Мама перестала шить, умолкла швейная машинка, ее вечное проклятье. Она устроила дома пансион, в котором кормила обедами и ужинами холостых чиновников. Так у нас в доме появились майор Арриета и адвокат Альварес Родригес, которые женились на моих сестрах. Оба настоящие господа.

Да, постепенно все налаживалось. Чуть позже Хуансито устроился коммивояжером в мыловарню "Геррeньо", а майор Арриета одолжил ему денег на покупку замечательного автомобиля, малолитражки образца 1928 года, который значительно облегчал работу. Вскоре Хуансито превратился в настоящего плейбоя. Одевался с иголочки. Как-то раз он появился на карнавале в костюме Зорро — в плаще из искусственного шелка с белой буквой "Z"; в другой раз вырядился русским князем — косоворотка, серебристая пудра на висках. Он носился по всему Хунину на автомобиле со своими дружками — Пахарито Барриосом и Альбису. Эдакая шумная золотая молодежь... Каждому встречному и поперечному Ху-

1. Уго дель Карриль (наст. имя и фамилия — Пьеро Бруно Уго Фонтана; 1912–1989) — аргентинский актер, кинорежиссер, исполнитель танго.

ансито сообщал, что он "сын Хуана Дуарте, землевладельца, консерватора и сторонника идей генерала Виамонте[1]".

Итак, моя мать бросила швейную машинку, и с ногами у нее стало лучше.

Что же значило это время для меня, спросите вы.

Для меня Хунин, прежде всего, — учеба в школе. Трудно восстанавливать в памяти прошлое по логически выстроенной схеме. Сейчас, когда я могу позволить себе, лежа на диване, порассуждать о подобных вещах в четыре часа пополудни, признаюсь вам, что больше всего мне запомнился особенный запах школы — запах чего-то общего, коллективного (не знаю, поймете ли вы меня).

Зимой в воздухе витал едва ощутимый запах керосина, доносившийся от двух шестисвечовых печей "Вулкан", которые приходилось топить во время каждой перемены, помните? В уборных крепко пахло дезинфицирующим средством, так называемым акароином, который используют на вокзалах и в казармах... В классе — запах чернил "Пеликан", которые учительница подливала в белые фарфоровые чернильницы, стоявшие на каждой парте. Аромат свежезаточенного карандаша. Двухэтажный пенал, где хранились школьные принадлежности. Перочистка, которая выскакивала, как испуганная птица, стоило приоткрыть футляр — мать сшила мне его из цветных лоскутков. Еще там были ластики: мягкий для карандаша и жесткое резиновое колесико для чернил. Шероховатые мелки. Белесая от мела классная доска. Помню кропотливую работу с угольником и транспортиром в тетради (обложка фирмы "Синтония"). Черновик с каракулями и кляксами — маленький уголок свободы. Дождливые вечера, ответственная задача — обвести контуры Аравии. Тайны Африки: хищники, Стенли и Ливингстон, притоки Нила, пустыня Сахара, бескрайняя, безлюдная, первозданная. И вот в укромном закутке мира — почти у самого Южного полюса — наша Родина: на лазурной полусфере океанических вод перевернутый вверх дном котелок лесного разбойника и обнаженная ступня Огненной Земли, которая боязливо пробует, холодны ли воды Антарктики.

Белые полотнища штор под раскаленным утюгом, тягостное однообразие воскресных вечеров. После легкого завтрака мать завязывает нарядный синий бант в белую крапинку — только она умеет с ним справляться. Все это я помню. Очень немного интересного было вокруг меня. "Ну, а сейчас твои оценки, Эвита Дуарте, озорница и непоседа: математика — 4, история — 9, чтение — 6. Много прогуливала без уважительной причины. Однако должна признаться, что никто так, как ты, не читает стихов. У тебя редкие способности, тебе их надо развивать..." Вот слова, которые я жаждала услышать. Оценки меня не интересовали.

Знаете, как мать отдала меня в школу? Даже здесь она ухитрилась все сделать по-своему. Ей не хотелось, чтобы я выглядела белой вороной. Хуанито и сестры вполне законно носили фамилию Дуарте. Так их и записали в школе. Однажды утром, вскоре после того, как мы переехали из Лос-Тольдоса, я заметила, что мать куда-то собирается и очень нервничает. Я сразу поняла: происходит нечто важное и необычное. Мы с ней отправились в школу, и она сказала, что ей необходимо переговорить с директрисой. "Мою дочь, — заявила она, — зовут Эва Мария Дуарте, но во

1. Хуан Хосе Виамонте (1774—1843) — аргентинский военный и политический деятель.

время переезда ее документы потерялись. Я могу показать вам метрики всех ее сестер, вот они, взгляните. Будет несправедливо, даже преступно, если она пропустит этот год, не так ли?"

Меня приняли временно, и об этом как-то забылось. Мать решила, что я не поняла, в чем тут дело. Взрослые часто воображают, будто их дети — все еще грудные младенцы. Мать всегда была несокрушимым бойцом. Она так радовалась своей хитрости, что на крыльце школы позабыла о том, что я не должна ни о чем догадываться, и лукаво мне подмигнула.

В школе меня быстро зауважали. У меня была неутомимая фантазия, я придумывала игры и шалости, я лучше всех читала вслух (точнее, с пафосом декламировала, стараясь подражать Берте Зингерман, чьи завывания частенько передавали по "Радио Бельграно").

Я всегда жаждала приключений. Я глаз не сомкнула в ту ночь, когда мы условились потихоньку выйти из дому и пойти на озеро поохотиться на уток. Но пробило шесть, и никто за мной не зашел, потому что все крепко спали. Как часто меня разочаровывали окружающие люди!

Однако в глубине души ко мне относились с презрением. Между девятью и десятью годами я узнала, о чем говорят за моей спиной. Понимаете, что я имею в виду? Мы, сестры Дуарте, переехали из Лос-Тольдоса, и со временем поползли слухи, будто мы происхождения самого незавидного. Кое-кто распустил гадкие сплетни о матери. В классе мы всегда были второго сорта. Война с привидениями — вот как можно описать чувство, когда тебя "недолюбливают". Перон, который все это испытал на своей шкуре, однажды сказал мне: "Авторитет — штука хорошая, но он хрупок, как стекло, а презрение липнет к человеку, как стригущий лишай".

Все осложнялось еще и тем, что я носила всего одну фамилию, хотя зачали меня, разумеется, два человека: в девять лет я узнала, что зовут меня Эва Мария Ибаргурен — и только[1].

Эта тайна у всех вертелась на языке. Реакция была красноречивой: многие ребята из колледжа перестали со мной водиться, их примеру последовали и мои первые ухажеры — Рикардо Катурла, которого, по счастью, вскоре призвали в армию, и Марио Сабелья, который влюбился в меня, что называется, безумно, когда услышал, как на выступлении в музыкальной школе я пела арию в "Долгожданном мгновении". Родители беднягу чуть из дому не выгнали. Где-то он теперь?

Что ни говори, власть завораживает. Да здравствует власть, и да простят меня анархисты, отдавшие свою жизнь в борьбе! В 1945 году, когда я выходила замуж за Перона, мне сделали новое свидетельство о рождении. Об этом позаботился Николини и его приятели в отделе регистрации Лос-Тольдоса. Актовая запись гласила, что я родилась в Хунине 7 мая 1922 года. Заведующий подарил мне лишних три года, которые, само собой, пришлись как нельзя более кстати. Не каждой удается перехитрить чиновников! Наш приятель Ордиалес из Хунина временно "перенес" свой отдел регистраций в Буэнос-Айрес, в нашу квартиру на улице Посадас. 23 октября 1944-го в семь тридцать вечера был зарегистрирован наш брак (хотя в книге актовых записей значится 22 октября).

1. В Испании и Латинской Америке принято иметь две фамилии: первая дается по отцу, вторая — по матери.

ТРАССА АВТОГОНОК ПРОХОДИЛА НЕПОДАЛЕКУ ОТ ХУНИНА. Эрнесто Бланко на своей забрызганной грязью машине. Огромные неразборчивые номера, намалеванные на дверцах. Я отправилась туда с Хуаном, сестрами и друзьями по школе. Облепленные глиной снаряды проносились мимо лесопилки.

Они мчались с такой скоростью, словно хотели как можно быстрее покинуть Хунин. Был там Затучек, который, как говорили, пересек Анды, был некий Риганти, а также некто с почти непроизносимой фамилией Картулович — или Картула, хозяин журнала "Синтониа", с которым я познакомилась позже на одном из крутых виражей судьбы. (Именно он годы спустя сообщил мне великую новость, наполнившую меня радостью и ликованием: "Эва, на следующей неделе выйдет номер с твоим портретом на обложке".)

В тот день он тоже пронесся мимо нас как метеор.

Машины унеслись, оставив за собой на поворотах клубы пыли. Мы возвращались молча, чувствуя себя обманутыми. Именно в тот вечер мой новоявленный ухажер Рикардо Катурла признался мне в любви. Пришлось объяснять ему, что это невозможно.

— Невозможно?

— Да, невозможно.

— Что значит невозможно? — настаивал он.

Я молчала. Это было красноречивее любых слов. Я и сама не знала, что и почему, собственно, невозможно. Просто невозможно, и все.

А так стала бы я "сеньорой Катурла". У семейства Катурла была ферма, они продавали кур, мед и молочные продукты, и их знали по всей округе, не только в Хунине и Чивилкое. Наверное, они бы огорчились, если бы их легкомысленный отпрыск сообщил им, что ухаживает за младшей из сестер Дуарте, дочерью Хуаны Ибаргурен из Лос-Тольдоса...

На повороте к Сархенто-Кабралю гоночные автомобили ревели и завывали, как взбесившиеся чудовища. А потом была дорога к дому, тишина улиц и дрожащий голос Рикардо Катурлы, который предлагал мне навеки остаться в Хунине.

Вдумайтесь в эти слова: безмятежная вечность в Хунине.

"БЕСЫ, СУЕТА, ПОХОТЛИВАЯ ПЛОТЬ". Жуткую фразу из катехизиса повторял Хуансито, брат Эвы, словно это было название фильма Джин Харлоу с Шарлем Буайе и Нормой Ширер. Однажды Хуансито предложил Эве и Эрминде тайком взглянуть на жизнь, где царят "бесы, суета и похотливая плоть". Был выходной день, точнее — субботний вечер.

Они отправились к борделю "Без названия" на улице Солис. Они притаились у изгороди палисадника, напротив входа. В освещенных окнах мелькали силуэты женщин.

Клиенты съезжались в заведение кто на чем — от простеньких дрожек и велосипедов до роскошных "паккардов" из поместья "Лос Ногалес".

Эва, ее сестра и Хуансито — все были страшно взбудоражены. Они впервые столкнулись с пороком. С гнездом дьявола, где обитали польки и француженки, как в книге "Дорога в Буэнос-Айрес". Скрывая смущение за наигранной развязностью, в дверях по одному исчезали мужчины: чиновники с железной дороги, шумные юнцы, вылезавшие из грузовиков с эмблемой скотоводческой фермы на кузове.

Несомненно, это была обитель зла, греха, растления. Вот она, самая кошмарная судьба, какая только может ожидать женщину, — "когтистые лапы вожделения", как писал какой-то провинциальный поэт.

Мир "желтых билетов" и марганцовки, гонореи и разврата. Воплощение гнусной неопозитивистской философии, утверждавшей, что сексуальный акт — это всего лишь необходимая для организма физиологическая разрядка. В те времена царил разнузданный либерализм: порабощение ближнего с легкостью выдавалось за проявление свободы или особый вид коммерции. Заправляли этой омерзительной торговлей живым товаром несколько мафиозных групп — "Цви Мигдал", французы, некий испанец Хулио.

Как раз в те годы писатель Альбер Лондон весьма вольным стилем а-ля Поль Моран написал свою хронику "Дорога в Буэнос-Айрес", посвященную тогдашнему эротическому Таиланду, где за месяц одна рабыня могла принести доход в восемь тысяч долларов, свободных от налогов. Этих женщин собирали в стадо, словно голодную скотину, в бедных районах Франции или Варшавском гетто.

Как завороженные, молча наблюдали они за происходящим из своего укрытия. Эва отделилась, прокралась к окну, выходившему на коновязь. "Тропический оркестр" исполнял румбу Лекуоны[1]. Вернувшись, рассказала, что мужчины ждали своей очереди, сидя на длинных скамейках, "как перед кабинетом зубного врача", а у женщин не было ни боа, ни страусовых перьев, и они выходили к ним в халатах. Эву это разочаровало.

Была суббота, и около полуночи в заведение пожаловал оркестр танго. Настоящий аргентинский оркестр. Из двух такси вылезли оркестранты — меланхоличные исполнители танго с бледными, как китайские маски, лицами. Напомаженные волосы, черные костюмы, галстук-бабочка. Каждый держал футляр с инструментом, оберегая его от качки на гонимом ветрами корабле ночи, словно это корзина с сырыми яйцами или брильянты.

Сентиментальные, нежно влюбленные в какую-нибудь проститутку с ребенком, но при этом изображающие из себя жестоких негодяев. Вечная битва с кариесом, повышенной желудочной кислотностью из-за стряпни в провинциальных пансионах, вездесущая гонорея, которая в тесном мирке борделя становилась обыденной, как насморк.

Любители красного вина и кокаина. Жрецы в ожидании вожделенной минуты, когда оркестр наконец покончит с рутиной и зазвучит настоящая музыка, маленькие шедевры импровизации. В этот миг люди просыпаются от тоскливой дремоты, от беспросветной скуки. В спертый воздух борделя врывается свежий бриз — так звучит скрипка Ахесилао Феррасано или Эльвино Вардаро.

Обратно шли молча, словно стыдясь друг друга. Эва, которой в ту пору было четырнадцать, ведать не ведала, что сама донья Хуана приказала Хуансито отвести сестер к борделю, чтобы те узнали и поняли глубину дьявольской бездны, где обитают суета и похоть. Вот что им грозило, если вздумают покинуть тихую заводь Хунина.

ГОД 1934-Й, ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН и торжества бесовских сил. В феврале Хуансито покинул Хунин и отправился на военную службу. Он попал в

1. Эрнесто Лекуона (1896–1963) — кубинский композитор и пианист.

Буэнос-Айрес. Это словно подтолкнуло Эву, и вот разразились первые ужасные скандалы. Мать была против, ее поддерживали сестры, женихи сестер (доктор Альварес Родригес и майор Арриета), да и сам Хуансито, который уже несколько раз побывал в борделе "Без названия" и был убежден, что Буэнос-Айрес грозит сестре неминуемым падением.

В марте Эва сдала два предмета, по которым у нее были задолженности, геометрию и рисунок, и окончила среднюю школу. Время торопило: либо она покидает Хунин, либо остается. Долгие часы провела Эва, запершись у себя в комнате и дуясь на близких, и не мигая смотрела на портрет Нормы Ширер. Нет, не хочет она петь в "Долгожданном мгновении". И не ответит на записку Катурлы, молящего о свидании в ближайшее воскресение.

Удержать Эву было невозможно. Она умела превратить отчаяние и гнев в решимость. Мать пригрозила, что обратится к судье по делам несовершеннолетних. Эва не хотела ни быть учительницей, ни работать в почтовом отделении, ни с головой погрузиться в тягучую семейную скуку, выбрав самого приличного из ухажеров.

Ее вызвали в гостиную на семейный совет, собравшийся за столом после воскресного обеда. Эва не сдалась. Все мы знаем, какие вопли поднимают благоразумные родственники, столкнувшиеся с самоубийственной неразумностью подростка. Эва отвергала уют мантилий, воскресной тишины и равиоли, безмятежное будущее и порядок, установленный генералом Хусто[1], проповедовавшим классовый мир. "Станешь подстилкой для мужиков", "Тебя продадут в бордель в Росарио или Асунсьон", "Сдохнешь от туберкулеза" — вот что услышала Эва.

Я лишь передаю вам то, что рассказывали в ту пору. Скоро все мы узнали, что Эва не желала принять наш порядок и наше будущее, достойное и надежное будущее.

У Эвы был только один, да и то весьма сомнительный, козырь: Хуан служил в Буэнос-Айресе в Первом полку, и она не просто бежала из дома — она собиралась стать актрисой, ведь все мы не раз видели, что талант у нее есть. Всех поразило ее упрямство, унаследованное не столько от матери, сколько от бабки-гаучо Петроны Нуньес, которая хлыстом разгоняла пьяную толпу. В Эве чувствовалась порода — так я и заявил ей в первую же нашу встречу...

ВЫ ХОТИТЕ ЗНАТЬ, КАКОВ БЫЛ МАГАЛЬДИ? Человек, хлебнувший сполна всех горестей иммиграции. Грустный это был человек. Как пелось в одном танго, "В горле у него стояли слезы". В 1934 году карьера Магальди достигла зенита. Он прославился особо чувствительной манерой исполнения, в его танго пелось о разлуке и горькой доле. Перед публикой в Хунине, состоявшей в основном из рабочих железнодорожных мастерских, он выступал с песнями анархистского содержания: "Крепкая настойка", "Снег", "Мои лохмотья". Аккомпанировали ему расстроенные, глухие, словно обмотанные шарфами, гитары. Он пел о заснеженных степях и злоключениях благородного революционера, сосланного в Сибирь. Чтобы несколько оживить публику ритмами фокстрота, он исполнял другой известный хит — "Печаль в гареме" Спадо-

1. Агустин Педро Хусто (1876—1943) — аргентинский политический деятель, в 1932—1938 гг. президент страны.

ньи: "Ты — любимица султана / с ангельским лицом. / Ты самая прекрасная женщина в гареме".

В Хунин он приехал на гастроли. Дал два концерта: один в кинотеатре, для добропорядочных горожан; другой в борделе, для "тех, кто любит развлечься". Эва уговорила брата купить билеты и перед началом концерта проникла за кулисы и разыскала скромную уборную, где Магальди лениво настраивал гитару и перекидывался в карты с музыкантами.

Это был безумный, но не лишенный логики ход. К величайшему изумлению певца, Эва бросилась к нему и попросила помочь ей стать актрисой. Ей была нужна только его рекомендация. Поскольку ее мать, донья Хуана, считала Магальди лучшим аргентинским певцом, она умоляла его поговорить с ней, объяснить, что стать актрисой в Буэнос-Айресе возможно и что он сам, будучи юнцом, отправился в столицу, покинув Росарио.

Опешив от натиска Эвы, Магальди высказал ей приблизительно те же соображения, что и родня: в столице ее ждут скорее опасности, чем успех. Какая-то дама, сидя в его уборной перед зеркалом, зевая, красила ресницы; Эва почувствовала, что дама не видит в ней соперницу. Как сказала позже Пьерина Деалесси, "Эва была прозрачным созданием, трогательным и жалким. Темные волосы, узкое личико".

В конце концов Эва уговорила певца встретиться с ее матерью и сестрами.

Тогда же она поговорила и со своей учительницей, не раз повторявшей, что Эва станет артисткой. Она умоляла ее повлиять на донью Хуану и остальных членов семьи. Но и сеньорита Пальмира видела одни только опасности и слабо верила в успех. Она отказала Эве. И прочитала ей целую лекцию о венерических заболеваниях и беспощадном мальстриме буэнос-айресской жизни. Нет, она не могла взять на себя такую ответственность. А потом сеньорита Пальмира принялась рассуждать о вероломстве мужчин, слабости женщин и о порядочности — этой высочайшей добродетели.

Тогда, в тот октябрьский вечер 1934 года, одна из двух собеседниц в пустом школьном классе, скорее всего, уже не была девственницей.

Эва невольно сделала девизом своей жизни строчку из Уитмена: "Никто не пройдет за тебя путь, который избрала ты сама".

СДАЕТСЯ МНЕ, ЧТО ИМЕННО ТОГДА, во времена забастовок, напряженного затишья и преследования профсоюзных активистов (основные приметы тех лет, которые позже кое-кто называл "десятилетием бесчестья") Эва познакомилась с Дамианом. Этот человек сыграл решающую роль в ее потаенной жизни. Эве больше не нужно было посещать школу, днями напролет бродила она по городу, гонимая неутоленным честолюбием и мятежными помыслами.

Возможно, семья Дуарте была знакома с Дамианом и раньше, еще в Лос-Тольдосе, где он был железнодорожным рабочим. Однако уже в ту пору его занимала не столько работа, сколько рабочие-железнодорожники.

Незадолго до своей смерти Мартин Прието рассказал историю Дамиана, маленького человечка, который с невероятным упорством шел к гибели. Тридцати трех или тридцати пяти лет, худой, немногословный, всегда с двухдневный щетиной на щеках — чиркни об нее спичкой "Ран-

черита", и она зажжется, — так выглядел Дамиан, когда познакомился с Эвой. На нем неизменно была грубая роба, в которой пеоны работали в железнодорожных мастерских; так ему было проще слиться с толпой рабочих во время полицейской облавы. Этому восторженному почитателю Симона Радовицкого[1] — революционера, прожившего двадцать лет в каменных застенках в Ушуае, — безбедное существование в заброшенных вагонах и ворованная снедь, изредка разнообразившая неизменный мате и сухари, казались непростительной роскошью. Никто ни разу не видел его улыбки. Он был настоящим анархистом: начал в профсоюзах и настойчиво боролся с упрямой верой рабочих в социализм или коммунизм, убеждая их, что и тот и другой поднимают на пьедестал Власть и Государство.

Дамиан протестовал против жестоких репрессий во времена Иригойена и посещал собрания в Буэнос-Айресе, где выступали Северино ди Джованни и Паулино Скарфо[2]. Потом его послали готовить восстание в железнодорожных мастерских Хунина. Он читал вслух и распространял статьи из "Протеста" и "Факела", объяснял товарищам свою личную позицию. (Вот эпиграф из этих брошюр: "Мир будет совершенен лишь тогда, когда последнего священника повесят на кишках последнего военного".) Он был суров, из тех, для кого человеческая жизнь — мелочь, а личное счастье — предательство. Такие, как он, приходят в политику с великой целью и желают не просто изменить мир, но основать новый Иерусалим. Его идолом был Элизе Руклю[3], и он мечтал о достойной анархиста смерти — чтобы его расстрелял взвод солдат, как Северино ди Джованни, Сакко или Ванцетти...

В своих пылких выступлениях Дамиан разоблачал капиталистический фарс, религиозный дурман, всю традиционную ложь человечества. В своей вере он был чист и наивен как дитя, но, следуя неписаному закону анархистской романтики, навязывал свои идеалы с кровожадностью гиены. Жизнь он поставил на службу делу, так что она уподобилась кинжалу или кольту 38-го калибра.

После расстрела Северино ди Джованни в тюрьме на улице Лас-Эрас на рассвете 1 февраля 1931 года дни Дамиана Гомеса, равно как и других анархистов, были сочтены. Он скрывался от полицейских, перебираясь из одного брошенного вагона в другой. Однажды Эва проникла в такой вагон, где Дамиан давал наставления рабочим в замасленных комбинезонах, и те затаив дыхание слушали красного избавителя, который пичкал их цитатами из Ди Джованни и Руклю: "Монотонная жизнь, серые будни обывателей, унылое прозябание, сытое бездействие — это не жизнь. Это растительное существование. Потакание массе из плоти и костей. Настоящая жизнь требует бунта, гневно поднятой руки и мятежного разума!"

"Разбудить души, отомстить за павших товарищей — вот задача революционера, сегодня, завтра, вечно! Мы испепелим буржуев нашим праведным гневом, сотрем с лица земли лавиной восстания! Вперед — в бой! Будьте безжалостны! Позор тому, кто простит! Не верьте христианским сказкам!"

1. Симон Радовицкий (1891—1956) — организатор и участник террористических актов в Аргентине.
2. Северино ди Джованни и Паулино Скарфо — лидеры анархического движения, расстрелянные в феврале 1931 г.
3. Жан Жак Элизе Руклю (1830—1905) — французский географ, социолог, политический деятель; один из теоретиков анархизма.

Как раз там, в душном вагоне Западной железной дороги, при тусклом свете керосиновой лампы Эва впервые услышала слова "эксплуатация", "революция", "репрессии", "Маркс", "бунт", "хлеб и работа", "Сорель", "капитализм" и т. д. Едва ли она понимала их значение — как, впрочем, не понимали его и притихшие рабочие, загипнотизированные священным гневом Дамиана. Однако она впервые уловила новый для себя вкус — вкус борьбы за справедливость. И здесь же, в сумрачном вагоне, она впервые познала силу власти, ее притягательность, харизму Дамиана, который проповедовал свободу и настоящую жизнь, обращаясь к измученным и безгласным людям. Власть Дамиана была темной силой. Его окружала аура героя-мученика, обреченного на смерть, отчего слова его звучали особенно весомо, словно из глубины катакомб, уже окруженных римскими солдатами.

Эва слушала новоявленного апостола. Как и всех присутствовавших, ее околдовало обаяние этого пророка смерти и борьбы до победного конца.

Эва умела выдержать его пристальный взгляд, и постепенно в ней проснулись смутные желания и любовь.

Должно быть, рассуждал позднее Прието, в чувствах хрупкой девочки, тайком носившей Дамиану одежду и еду, странным образом сочетались физическое влечение и очарованность силой, которую воплощал в себе этот мятежник, заранее настроенный на поражение. После уроков Эва приносила ему заштопанную одежду, продукты и папиросы. И однажды, когда они оказались наедине, Эва, как она делала почти всегда, решилась разом одолеть все страхи и бросить вызов Хунину, матери и всему мирозданию. И пока Дамиан молча глядел на нее, она, наверное, произнесла: "Да, я согласна, я люблю".

"Для меня достаточно одного этого поступка, — заявил впоследствии Мартин Прието, — чтобы восхищаться ею всю жизнь. У нее хватило мужества перейти Рубикон — миф о девственности. Может быть, эта невзрачная девочка сказала себе: 'Ну вот, я сделала самое ужасное, то, чего все боятся, — я совершила преступление. Отныне пусть они оставят себе свою хваленую добродетель. Я свободна, потому что худшее уже позади'".

Все это произошло в октябре 1934 года. В конце декабря Дамиана поймали и доставили в Буэнос-Айрес. Агенты Службы общественной безопасности зверски над ним издевались. Чтобы он выдал своих товарищей, его пытали. На нем опробовали только что изобретенный "электрический хлыст" — пыточную машину, подключенную к радиаторам грузовиков. Хунинские железнодорожники — смутные серые тени, выраставшие из сумерек на запасных путях и тупиках, — поведали Эве о случившемся и посоветовали исчезнуть и держать язык за зубами.

Никто никогда не узнал, что почувствовала Эва, когда так жестоко оборвалась эта едва зародившаяся любовь.

Быть может, описанные события только подлили масла в огонь ее чувств, достигших в те дни особого накала. Как рассказывает Прието, в первых числах января Эва сожгла за собой все мосты, затопила все корабли, связывавшие ее с Хунином и семьей, приехала в Буэнос-Айрес и прямиком отправилась в городскую тюрьму. Она стояла в очереди среди несчастных измученных женщин — матерей, сестер, сожительниц заключенных, но ей так и не суждено было увидеть Дамиана, который в ту пору еще был жив. Говорят, она назвалась его незаконной дочерью, надеясь растрогать тюремщиков и надзирателей. Дело Дамиана замяли.

Он был задержан по сфабрикованным обвинениям: пьянство, уличные беспорядки, отправление естественных надобностей в общественных местах. Его продержали в тюрьме около тридцати дней, ни разу не допустив к нему адвоката. Агенты Службы общественной безопасности замучили его до смерти; они действовали, получив карт-бланш от сына самого Лугонеса[1], для которого провозглашенный отцом героический призыв "Настало время меча" звучал как призыв к запуску "электрического хлыста" и избиению полицейской плеткой.

Как-то раз в приемной тюрьмы некая анархистка отыскала в очереди измученную, исхудавшую "дочь Дамиана" и шепотом сообщила: "Его убили".

Таков был рассказ Мартина Прието о событиях, правду о которых сама Эва держала в строжайшей тайне.

Такова была вторая тайна Эвы. Дважды она мельком упомянула об этой истории: один раз в разговоре со своим братом Хуаном, другой — в пространном письме Перону, в самом начале их связи, когда кто-то из Хунина пытался ее оклеветать.

НА ГОЛОВУ ЭВЫ ПОСЫПАЛИСЬ УГРОЗЫ и проклятия близких. Но она знала, что никто в целом мире не способен понять, чего она добивается. Между тем существовала реальная угроза — суд по делам несовершеннолетних, а также заявление в полицию (Эва, конечно же, догадывалась, что на подобный скандал семья не отважится. Учитывая сплетни о прошлом доньи Хуаны, судья запросто мог отправить Эву в одно из кошмарных заведений, где подростков не исправляют, а превращают в закоренелых преступников).

Так или иначе, но во время рождественских праздников 1934 года Эва чувствовала себя чужой в собственном доме.

Эва добилась своего. 3 января она покинула Хунин и поехала в Буэнос-Айрес. В восемь вечера она сошла с поезда в Ретиро. Такого волнения она не испытывала больше никогда в жизни. Ни разу не ощущала она с такой остротой полноту бытия и собственную силу.

Она охотно подставляла лицо упругому ветру пампы. Вдыхала дым паровоза, словно наркотик свободы. Как прекрасно жить в этом мире! Как прекрасно открытое море! Вперед, к неведомым берегам, к жизни! Позади она оставляла прошлое и всех, кто его населял. Никакой вины она не испытывала, чувствуя, что следует своему предначертанию. Эва впервые осознала скрытый смысл загадочного слова, которое красовалось на вывеске захолустного бара в одном из переулков Хунина: "Судьба".

В руке у нее был коричневый чемодан, перевязанный бечевкой. На животе висел матерчатый кошелек, который разгневанная донья Хуана сунула ей в последний миг, — кошелек с застежкой-молнией и вышитым голубыми нитками словом "Эвита". Внутри лежало несколько билетов по пять песо — такова была скупая помощь оскорбленного семейства. Этой суммы должно было хватить на первые недели жизни в столице.

Вперед! В открытое море! К жизни! Напряженное ожидание, долгожданная дорога, отчаянный вызов.

Никогда не забыть Эве резкий запах паровозного дыма, влажные облака горячего пара, поднимавшиеся ввысь!

1. Леопольдо Лугонес (1874—1938) — аргентинский поэт, прозаик, публицист.

Отчаянный искатель приключений не сидит взаперти — он открывает окно купе и вдыхает ароматы бескрайних полей. Горькие дикие травы, пересохшая земля и пыль — так пах тот январский вечер. В четырехугольнике окна, сколько хватало глаз, простиралась пустыня. Лишь изредка мимо проносились телеграфные столбы, или зловещие проволочные заграждения, или одинокая хижина с чахлыми деревцами, или крохотный островок мельницы.

Эва мчалась навстречу опасности, чувствуя, что отныне ее Родина — необъятное пространство и время, свободное от любых условностей. Вот она, настоящая свобода.

И еще: безудержное ликование, рожденное движением поезда, дикая песня металла, бегство от обыденности и заурядности. Предчувствие неизведанного и нового. Бешеная музыка колес — только вперед, назад пути не будет.

Волосы треплет ветер, от пара и копоти захватывает дух, ветер касается груди и ног, словно дикий беззаботный ангел.

Наконец в сгущающихся сумерках поезд медленно скользит по лабиринту рельсов через огромный легендарный город, потом останавливается у заасфальтированного перрона под сенью громадного купола Ретиро, где Эву не ждет никто, кроме нее самой.

Осталось несколько месяцев.
Несколько коротких месяцев.
Пустые быстротечные недели скоро осыплются,
как сухие листья в ясные осенние дни.

ЭВА СЛАБО УЛЫБАЛАСЬ, лежа в полумраке спальни: отступили боли, терзавшие тело ночью. Три "булавочных укола" обессилили ее и напугали. Непобедимые войска вражеских клеток продвигались острым клином. Обезболивающее вернуло покой, теплый уют кровати казался материнской утробой. В причудливой игре реальности и дремоты, порожденной сочетанием сильных антибиотиков и обезболивающих, возникали приятные мысли. Она улыбалась, блаженно вытянувшись на гладкой белизне крахмальной простыни. Вспомнился тот день, когда она явилась к Магальди в дом на углу улицы Альсина, номер 1700[1]. По дороге с вокзала Ретиро Эва, сжимавшая в руке бумажку с адресом, трижды садилась не на тот трамвай. Было 3 января, стоял удушливый зной. Дойдя со своим картонным чемоданом до авениды Энтре Риос, Эва приостановилась, заметив, что возле угла нужного ей дома затормозила полицейская машина. Случилась очередная шумная ссора между сеньорой Мисерендино, Магальди и актрисой, которая ездила с ним вместе в Хунин, — "новой сеньорой Магальди", как уважительно называли ее соседи. Дверь была распахнута настежь, и зеваки обсуждали скандал. Комиссар полиции, польщенный тем, что ему довелось оказаться в доме такого знаменитого человека, спускался по лестнице навстречу Эве.

Магальди томно возлежал на диване, были видны его очень белые ноги. Наготу прикрывал лишь тонкий шелковый халат. Висевший над комодом портрет его бабушки Ковьелло под разбитым стеклом покосил-

1. В Буэнос-Айресе поквартальная нумерация домов.

ся: салатница, брошенная в певца, потревожила светлую память той, что спала вечным сном на кладбище в Росарио. Веки у Магальди покраснели, казалось, он только что плакал. Покорные, как у ягненка, глаза смотрели испуганно. Только что прокатившаяся по дому лавина его раздавила. На краткое мгновение дамы перестали орать друг на друга и с удивлением уставились на худенькую девочку, которая робко шла по гостиной с чемоданом, казавшимся огромным и тяжелым в ее хрупких руках.

Изумленный Магальди приподнял голову и, несмотря на всю необычность ситуации, попытался придать своему помятому лицу любезное выражение. Он с трудом вспомнил, что когда-то обещал помочь этой девушке в первые недели ее жизни в Буэнос-Айресе.

Спустя мгновение дамы ринулись в бой с новой яростью. Магальди проводил Эву через кухню в заднюю комнату. Она увидела корзину для хлеба и ледницу для шампанского, в которой Магальди обычно держал бутылки с пивом "Кильмес". Здесь имелись кровать и платяной шкаф с разбитым зеркалом, тусклая лампочка без абажура висела на пыльном витом проводе. "Поживешь здесь, пока все не наладится", — ободряюще произнес Магальди.

Бесконечно долгой ночью в знойной духоте дома, который не освежало ни единое дуновение прохлады, скандал неоднократно возобновлялся. Утром Эву разбудил луч света, проникший через слуховое окошко. Неслышно ступая босыми ногами, она вышла из комнаты. Стояла мертвая тишина. Дом напоминал поле битвы, на котором полегли обе враждующие стороны. Магальди спал тяжелым сном на своем диване. Дамы куда-то исчезли. Эва с жадностью набросилась на еще не успевший зачерстветь хлеб и прогоркшее сливочное масло.

К вечеру бои закипели с новой силой и быстро достигли предельного накала. Магальди хмуро собирал вещи: он уезжал на гастроли раньше намеченного срока. Однако он любезно вручил Эве несколько визиток, которые помогут ей проникнуть в мир театра. Этой ночью Эва услышала, как дверь ее комнаты тихо отворилась. Вошел печальный и подавленный Магальди. В руках у него была гитара — самая дорогая для него вещь. Свое сокровище он положил на платяной шкаф, чтобы уберечь от вспышек безудержной женской ярости, ведь женщины, как никто иной, умеют нанести удар по самому ценному, что есть у врага. Ему пришло в голову, что Эва, возможно, еще не спит, и в темноте он знаками пытался объяснить ей, что они — сообщники и он просит у нее извинения за бестактность, но Эва тогда не сумела понять его правильно.

В полдень следующего дня она вновь пересекла поле сражения. В гостиной обнаружилась только одна из женщин — сеньора Месерендино, измученная любовью и ревностью, с глазами, распухшими от слез. Она через силу улыбнулась Эве, которая пробиралась с такой осторожностью, словно в гостиной и впрямь затаились две дивизии. Эва сбивчиво поблагодарила ее за доброту и гостеприимство, оказанные ей, несмотря на все неприятности.

Выйдя на улицу, Эва вздохнула свободно. Она шла пешком до авениды Энтре Риос. Напротив величественного здания Конгресса, куда десять лет спустя она торжественно войдет в сопровождении гренадеров, Эва поставила чемодан на тротуар и спросила, далеко ли улица Кальяо. Вон она, кивнул полицейский, начинается возле того дома. Указанный полицейским старинный особняк, несомненно перевезли в Буэнос-

Айрес откуда-то из Нюрнберга. На первом этаже находилась кондитерская "Дель Молино".

Эва вспомнила историю, которую Дамиан рассказывал во время одного из выступлений перед бастующими железнодорожниками, — историю о муках и смерти Северино ди Джованни. Его крестный путь проходил как раз по улицам Сармьенто и Кальяо, а начался возле высоких стеклянных дверей универмага, который некогда был домом Моуиссион и Чиа. Эва остановилась напротив, зачарованно глядя на номер дома, словно этот синий овальный значок был живым свидетелем последних мгновений славы ди Джованни, перед тем как его схватили.

Внезапно ей почудилось, что номерной знак на фасаде дома — таинственная мандала, которая непременно принесет ей удачу. Она вошла в первый же пансион, чье название красовалось на выцветшей картонной вывеске.

Погрузившись в блаженный покой, принесенный обезболивающим, Эва вспоминает. Она улыбается, забыв о зловещих уколах, которыми разит ее враг. У Магальди было простое, с крупными чертами итальянское лицо. Он напоминал генерала Бельграно[1] на иллюстрации в хрестоматии. Мешала только шляпа с низкими полями, шляпа чикагского гангстера, слезливого и сентиментального.

Эве подумалось, что все в этом мире замечательно и очень смешно.

СЕГОДНЯ 28 СЕНТЯБРЯ 1951 ГОДА. Новый период в развитии моей болезни совпал с попыткой военного переворота — авантюрой, которую затеяли генералы-националисты, поборники морали и нравственности. Нет никакого пафоса в том, что я отождествляю судьбу своего истощенного тела с судьбой Республики. Это на самом деле так: наши жизни (а также болезнь и смерть) с некоторых пор шли параллельно. В тот день, когда после сеанса лучевой терапии мне впервые дали сильное обезболивающее и я погрузилась в забытье, враги решили захватить власть.

Старый генерал Менендес, которого покинули почти все союзники, сперва участвовавшие в подготовке заговора, в отчаянии бежал, уводя за собой ржавые танки. Старик твердо верил, что армия и, главное, эскадра перейдут на его сторону, едва он начнет наступление. Верил, что все будет как в 1930-м, когда Урибуру[2] выступил против правительства Иполито Иригойена. Кроме того, он рассчитывал, что на улицу выйдет вся "передовая Аргентина": адвокаты с улицы Санта-Фе, прогрессивные дантисты, юные демократы из ФСБА, светские дамы, олигархи, конторские писаки, возомнившие себя радикалами, — одним словом, все верные защитники Веселого Теленка. И главное, все они в едином порыве священного гнева выступят против Эвы — библейской блудницы. Самозванки. Потаскухи.

А злокачественные клетки тем временем зреют, набирают силу для нового броска, новой битвы — так доктор Лакапраро говорил вчера огорченной Эрминде. Они тихонько разговаривали в библиотеке, не подозревая, что, возвращаясь из туалета, я остановилась за дверью. Лакапраро рассказывал, что только недавно выяснилось, как ведут себя

1. Мануэль Бельграно (1770–1820) — аргентинский военный, политик, добивался признания независимости Аргентины в Европе.
2. Хосе Феликс Урибуру — президент Аргентины в 1930–1932 гг., сторонник авторитарной власти.

эти клетки. Если я правильно поняла, повадкой они напоминают крыс: когда крысам угрожает смертельная опасность, те начинают стремительно размножаться (как нищие и обездоленные в нашем мире). Чувствуя, что их вот-вот настигает наводнение или огонь, они устраивают в своих норах и закутках настоящие оргии. В ответ на угрозу истребления крысиный клан отвечает взрывом сладострастия и бурным размножением.

Как сказал доктор Лакапраро, мои раковые клетки (моя анти-жизнь, анти-плоть) ведут себя сходным образом. Вот почему ночью двадцать третьего числа, как раз после лечебных процедур, они ринулись в атаку; именно в ту ночь я испытала зловещий "булавочный укол", который на мгновение показался мне смертельным. Нечто пронзило мою живую плоть, как будто меня изнутри ударили кинжалом... Это случилось в час ночи, и я проснулась, обливаясь ледяным потом и дрожа, точно в агонии. Столь сильную физическую боль невозможно описать словами, как не можем мы описать высшее наслаждение любви.

Итак, на сцену вышел бравый генерал Менендес. Он смахнул пыль со своего старого офицерского мундира и собственной персоной явился в казармы Кампо-де-Майо, искренне убежденный в том, что является воплощением общественной совести и защитником добра. К тому времени, то есть к трем часам утра, некий капитан Лануссе взял штурмом так называемые "ворота номер восемь". Старик Менендес произнес торжественную речь, обращаясь к офицерам кавалерии, главной опоре помещичьей олигархии. Он приказал завести танки, однако выяснилось, что большая их часть либо заржавела, либо вышла из строя. Вмешательство "пятой колонны" (младших офицеров) оказалось для Менендеса роковым. Этот опыт мы обязательно учтем во время будущих сражений с военной верхушкой... Хорошо бы наградить офицеров, которые остались верны Перону, — наградить до скандальности щедро, чтобы об этом знали все, как Нерон наградил свою преторианскую гвардию. Можно вручить каждому по заграничной машине без пошлин и налогов, скажем, по "мерседесу". И обязательно дать посмертно геройское звание ефрейтору Хосе Фарине, погибшему во время перестрелки. По слухам, его смертельно ранил сын самого Менендеса.

Как мне сообщили, удалось завести только четыре боевые машины, четыре огромных гусеничных танка. В грузовиках поместилось всего-навсего двести пятьдесят солдат. Менендес ехал впереди, как и положено главнокомандующему. Прошел целый час, прежде чем они достигли Военной академии. Старик был полон решимости, и танки, фыркая и чихая, кое-как дотянули до столицы. Должно быть, Менендес тоже чихал в холодном утреннем тумане... Но дальше беднягу поджидало самое худшее. В Сан-Хусто к ним должны были присоединиться части Таблады, которые к тому времени заняли аэропорт Морон. Старик поджидал их, безмятежно покуривая. Тем временем рассвело, и вскоре на танки Менендеса стали с любопытством поглядывать рабочие и служащие, как обычно в эти часы спешившие в столицу на службу. Старик обливался потом под жарким утренним солнцем. Куда же, спросите вы, запропастились эти любители коктейлей и музыкальных вечеринок в "Пти кафе" — все эти бравые морские офицеры, мечтающие сыграть своим дочкам свадьбу не где-нибудь, а в самом Париже? А толстячки из ФСБА? Должно быть, Веселый Теленок разминулся с генералом Менендесом.

Тем временем выступили правительственные войска, ВКТ вывело своих людей на улицу, и в три часа тридцать минут пополудни, пока я безмятежно парила в грезах полусна, по Национальному радио выступил Генерал, объявив народу о том, что его сторонники находятся в "состоянии боевой готовности", и о том, что предателей ожидает суровая кара.

По приказу Перона Ренци потихоньку унес мое радио. Мой желтый пластмассовый приемник. Сказал, что перегорела лампочка и надо его ремонтировать. Это была ложь: просто меня отключили от этого решающего дня! Мне оставалось только одно – блуждать в грезах по улицам Хунина, размышляя, о чем уместно поведать составителю моей официальной автобиографии, сеньору Пенелье де Сильва, или вспоминать круглую смазливую физиономию Агустина Магальди, когда он исполнял "Приговоренный под номером четырнадцать" в баре "Лос Инморталес" на углу улиц Инглатерра и Ривадавиа.

Только в шесть вечера Генерал пожелал лично рассказать мне подробности. Он смеялся, вернее, делал вид, что ему весело. Он предвидел мою ярость. По его словам, это было досадное недоразумение, которое ему только на руку: теперь он сможет очистить армию от врагов. И добавил, что, если бы Менендес и его ржавые танки действительно представляли опасность, он бы мне об этом немедленно сообщил.

– В девять вечера я выступлю по радио. По Национальному радио... – сказала я глухим голосом, другого у меня в тот миг не было.

Генерал направился в библиотеку. К сожалению, я совершенно забыла, что там сидел Пенелья де Сильва, явившийся ко мне, чтобы править гранки "Смысла моей жизни", и крикнула Генералу:

– Конечно, ты уже отдал приказ его расстрелять! Они не желают, чтобы у власти была женщина, однако без колебаний выводят танки на улицу против конституции и закона! Если бы он ворвался в Дом правительства, то сразу пустил бы пулю тебе в лоб. А заодно пристрелил бы и меня, как Кларетту Петаччи[1]. Расстрелять их! Сейчас или никогда, чтобы такое не повторилось! Как он посмел? За нами большинство, нас поддерживают народ и конституция, так неужели мы с ними не разделаемся? Расстрелять! До рассвета! Что не сделано в первые двадцать четыре часа, не будет сделано никогда!

Да, есть еще порох в пороховницах, раз я способна на такую вспышку, не слишком пристойную, прямо как в лучшие времена. Свое выступление по Национальному радио я назначила на девять и отправилась в ванную привести себя в порядок. Я чувствовала ужасную слабость, мне даже пришлось ухватиться за край умывальника, и, чтобы сберечь силы, я не стала снимать ночную сорочку, которая вполне могла сойти за блузку. Похоже, главарь вражеских клеток знает свое дело лучше, чем никчемный старик Менендес. Я извела почти все свои румяна. Пока мне делали прическу, неукротимое воображение перенесло меня на "Радио Бельграно" (я даже видела ржавчину на микрофоне!). Я играла Екатерину Вторую: "Пусть предадут смерти заключенного Номер Один, самозваного царя, коль скоро безопасности России угрожает заговор. Торопитесь, граф Орлов! За дело!" Вступает граф Орлов, чью роль исполнял

1. Кларетта Петаччи – любовница Муссолини, расстрелянная партизанами.

Пабло Рачиоппи: "Ваше величество, позволю себе заметить, что вам следовало бы проявить милосердие к этому заключенному, ведь он всего-навсего игрушка в руках бояр, истинных врагов нашей великой Империи, хозяев земли..."

Я уселась на диван перед микрофонами, установленными на крошечном стеклянном столике. Я пыталась импровизировать, но выходило скверно, потому что голос меня не слушался.

"Генерал Перон только что сообщил мне о событиях сегодняшнего дня. Я не смогу быть этим вечером вместе с моими оборванцами на славной Плаза-де-Майо. Однако пусть в этот знаменательный день они услышат мои слова любви и признательности, и пусть мое сердце аргентинской женщины и перонистки будет биться в унисон с сердцем моего народа, который сегодня в очередной раз продемонстрировал величие и мужество своей души. Лучший из нас, несравненный Генерал Перон должен и впредь полагаться на поддержку и защиту всего народа так, как это произошло сегодня. Я благодарю вас от имени всех угнетенных, нищих и оборванцев, которым я с радостью раздала по крупице свое здоровье, но удержала знамя..."

И далее в том же духе. Я говорила из последних сил, и микрофон перед моими глазами двоился, словно я была пьяная. Я торопилась, мой голос будто продирался сквозь битое стекло, прерываясь непрошеными слезами:

"Надеюсь, что скоро я буду с вами в вашей борьбе, как это было прежде, в счастливые годы нашей новой Аргентины, созданной Пероном, и поэтому я прошу вас молить Бога, чтобы Он вернул мне здоровье, вернул его не ради меня, а ради Перона и ради вас..."

Я рыдала! В довершение всех бед у меня затекла левая нога. Я видела распухшую лодыжку. Мне пришлось ее растирать. Но кто растер бы мне руки, белые и слабые, как две лебединые шеи?

Пинелья и операторы делали вид, что не замечают моего состояния. К счастью, Генерал был уже наверху, он никогда не опаздывал к ужину.

Несмотря на мое скверное настроение, я сознавала, что он победитель. Мой отказ от вице-президентства 22 августа сыграл свою роль: гарнизон Кордовы, равно как и морская пехота, не перешли на сторону противника.

Я выгнала вон двух новых хорошеньких медсестер, которые пришли мне на помощь, чтобы растереть затекшую ногу, ставшую словно чужой моему телу. Генерал не возвращался. Наверное, он заранее предвидел мою ярость — так сельские старожилы безошибочно угадывают приближение летней грозы. Он дождется, покуда мой гнев уляжется, и тогда покорно войдет ко мне в комнату с опущенной головой, словно чего-то стыдясь или испытывая неловкость за других.

Тут я заметила несчастного Ренци, он шел через комнату к библиотеке, и, не обращая внимания на операторов, которые сматывали кабель, выместила на бедняге свой гнев. В чем я только его не обвинила! В том, что он предатель, что выключил мне радио и телефон. Еще немного, и его самого отключат мои агенты (я всегда их упоминаю, хотя их не существует). Да, отключу к чертовой матери! "Да, тебя, мать твою, и все твое сучье племя!" — орала я, по крайней мере так мне казалось. Бедный Ренци.

У меня пылали щеки, но виной тому была болезнь, а не ярость. Мне хотелось стать огнем, клинком, взрывом. Схватив клочок бумаги, я написала записку, которую затем оставила на столике в коридоре у дверей спальни Генерала. Мое тело, о котором я мало заботилась, — вот настоящий предатель. Я добралась до кровати и разделась с трудом, как пьяная. Одежда в беспорядке свисала со спинки кровати. Мне было совсем плохо; кажется, тогда я впервые ощутила серьезность моей болезни и поняла, что отныне постель — самое подходящее для меня место. Преддверие гроба. Надежное укрытие в пустоте, в небытии. В постели мне было хорошо. Из уютного ложа все виделось словно со стороны. Даже тревожные события 28 сентября... Словно из далекого далека видела я главных действующих лиц. Вот Генерал, он сидит наверху за круглым столиком, ест свой неизменный бифштекс с двумя вареными картофелинами. Не спеша выпивает рюмку "Небиоло". Потом достает сигарету и закуривает. Не похоже, что победитель счастлив.

Видела я и Менендеса. Выражение его лица от меня ускользало. Он тоже один, его содержат в казарме Первого полка в Палермо. Старик тоже достает сигарету, наверняка те же крепкие "Партикуларес", неспешно закуривает. Я не могу ненавидеть этого старого вояку. Вместо ожидаемой ненависти я чувствую некое восхищение старцем в побитом молью мундире, который отважился пойти против власти (вернее сказать, взбунтоваться) — ринулся в бой со своими ржавыми танками, словно оказавшийся в просторах пампы Дон Кихот, преисполненный мужества и веры в добро.

Мне почудилось, что оба были героями одной и той же давней пьесы. Впрочем, вся аргентинская история напоминает водевиль.

Остается лишь мечтать, что злокачественные клетки, чьи отряды вгрызаются ночью в мою плоть, возглавляет такой же бездарный предводитель, как Менендес, и пусть доктора́ Финочьетто, Таиана и другие безжалостно крушат врага, не давая болезни ни малейших поблажек.

Краски выцветают — так линяет застиранная блузка: красный цвет постепенно розовеет, а у голубого и белого появляется желтоватый оттенок.

Вот что я написала в записке, которая осталась на столике в коридоре: "Мы не можем довольствоваться тем, что враги потерпели крах. Словно мы счастливы и благодарны за то, что нам плюнули в лицо, а не ударили ножом".

БУЭНОС-АЙРЕС БЫЛ НАСТОЯЩИМ ПРАЗДНИКОМ, но только для сильных. Его неповторимый шарм — не результат умелых рук архитекторов (в большинстве своем французов и бельгийцев). Он возник как бы сам по себе. Приехавший в столицу Ле Корбюзье заметил, что этот город не вписывается ни в какие привычные схемы. Буэнос-Айрес не пожелал, подобно прочим портовым городам, прильнуть всем своим существом к сияющему морю, к просторному речному руслу. Вместо этого он замкнулся на себе самом, словно боясь потерять уют мощеных площадей, патио, крошечных беленых домишек.

В ту пору, то бишь в тридцатые годы, Буэнос-Айрес губили сладчайшие пороки: снобизм, культ женщины, изысканная проституция, танго, аргентинско-британское соглашение "Рока—Рансимэн", которое позволяло аргентинцам носить настоящие английские плащи и шляпы "борсалино" (вопреки воплям левых, призывающих к скромности и умеренности), ночные увеселения, легкие наркотики ("для бодрости", а не для

того, чтобы превратить свою жизнь в кошмар), а также необычайное почтение к искусству да и любому творчеству. В борделях подавали шотландский виски; Карлос Астрада[1] отправился во Фрайбург, где превратился в верного ученика Мартина Хайдеггера.

Потомки итальянцев, испанцев, евреев и немцев представляли собой мощную движущую силу. Статистика 1930 года определила Аргентину с ее продажным, порочным, но на удивление обаятельным народом как седьмую по уровню финансово-экономическую державу мира.

Все само шло в руки богатым (мужчинам, разумеется), сильным, а также авантюристам всех сортов. Это был языческий мир накануне краха. Всемогущая Империя Ла-Платы.

Благодаря стараниям представителей XIX века, век XX широко распахнул свои двери для аргентинского народа, и он вошел в него поступью наследного принца, дерзко, как отпрыск богатых родителей. Однажды кто-то — не то Сармьенто, не то Авельянеда, а может быть Рока или Альберди[2] — высказал мысль, что эта угрюмая пустынная земля могла бы родить не просто народ, но первую нацию в мире. Похожие соображения высказывали Джефферсон и Линкольн, рассуждая и об иных пустынных землях, внезапно наводненных выходцами из Европы (а также злополучными африканцами).

В те годы — в эпоху всеобщего смятения и забытья — богатые считали, что они бессмертны; бедные верили, что их бедность временна (просто они свернули на неверную тропинку, не дойдя до широкой светлой дороги); а люди среднего достатка были убеждены, что только культура и образование изменят судьбу каждого.

Креолы, побежденные проволочными заграждениями и обязательным всеобщим образованием, могли вволю тешить себя философствованиями о бытии и небытии, обходя молчанием невзрачную суету активных действий.

Простите, что я уделяю столько внимания подобным мелочам, однако мне кажется, что знать их необходимо. О тех временах было сказано много глупостей. На самом же деле это была всего лишь агония щедрой и богатой жизни. Да, это правда, после переворота тридцатого года, когда был свергнут Иполито Иригойен, никакой "аргентинской демократии" не существовало. Однако кого интересуют сухие формулы избирательного права? В Аргентине никогда не было демократии — ни при Росасе, ни при Уркисе[3], Сармьенто или Роке. Демократия не стала здесь ни властью, ни формулой правления. Демократия была укладом жизни народа. Повседневностью, а не институтом.

Аргентинцы мало чувствительны к степени деспотизма своих правителей. Их врожденная демократичность, их тяга к вольной жизни едва ли допускают классические формы демократии.

И вот что любопытно: тираны так и не сумели одолеть свободолюбие народа, его повседневную житейскую свободу. Быть может, из-за открытых пространств, кто знает... Возможно ли поработить человека, когда он прекрасно знает, что стоит ему сняться с места и ринуться в бескрайние пустынные земли, и он вновь обретет настоящую свободу?

1. Карлос Астрада — философ-экзистенциалист, психолог.
2. Хулио Рока (1843–1914) — аргентинский политик, военный, президент страны в 1880–1886 и 1898–1904 гг.; Хуан Баутиста Альберди (1810–1884) — аргентинский политик, писатель, философ.
3. Хусто Хосе де Уркиса (1801–1870) — аргентинский военный и политический деятель.

По правде говоря, мир Буэнос-Айреса был для Эвы не просто праздником, он был для нее честолюбивой мечтой о выигранных поединках. Чем-то вроде чудесного опьянения, которое помогает пережить любые лишения. "Я жила, словно завороженная будущей славой, желанием стать актрисой, желанием жить. Говорят, я голодала. Да, голодала. Но это меня не смущало. То был необходимый, святой голод. Словно искупительная жертва ради будущих побед", — рассказывала Эва.

"Мне не исполнилось и шестнадцати, когда я попала в Буэнос-Айрес. Я преодолела сопротивление матери и всей нашей многочисленной семьи. Честное слово, я уже не помню, украшало ли на самом деле стену убогой комнатенки на улице Сармьенто огромное пятно сырости, напоминавшее карту волшебной страны... Пансион на Ла Бока запомнился чуть лучше: чтобы попасть в номер, я пересекала патио с цветочными кадками и таинственными кошками и поднималась не то по мостику, не то по железной лесенке".

Эва вынесла все. А ведь она была еще совсем девочкой! После спектакля она шла пешком до Бахо и там ждала трамвай номер 10 или 22, не помню точно, какой именно — оба останавливаются возле Центрального почтамта. И ехала в трамвае одна-одинешенька. Тамошние водители-испанцы знали ее в лицо и, когда пустой трамвай подъезжал к опасным глухим улицам Педреро де Мендосы или Суареса, предлагали проводить до пансиона, но она отказывалась и одолевала три квартала, где было темно как в преисподней. Ее подруга Вера рассказывает, что не раз к Эве приставала подгулявшая компания. Но она не пугалась. С характером была. Она вела себя, как ее научила старая ведьма в Лос-Тольдосе: "Никогда не показывай мужчинам страх. Запах страха раззадоривает. Бросайся на них, визжи, и они убегут, поджав хвост". Да, лихая она была, Эва.

В пансионе не было света и стоял собачий холод — отопления никакого. (Представьте себе, в тот год в Буэнос-Айресе было холодно. Помню, кто-то рассказывал, что в былые времена зимы иногда выдавались суровые, не то что теперь.) Сон не приходил, и тогда я разжигала примус, грела чайник и наливала воду в глиняную бутылку из-под джина "Льяве", которую клала под одеяло. Это было самое большое удовольствие в те суровые дни. Июньский дождь барабанил по металлической крыше, вода журчала в водосточной трубе, товарный поезд Южной железной дороги пронзительно гудел, раскалывая ночь на две половинки...

Везде и всюду под потолком неизменно висела засиженная мухами лампочка в 25 вольт на плетеном проводе, покрытом пылью. Свет был настолько скверным, что я предпочитала сидеть в темноте...

Зато сколько радости приносило утро! Я готовила себе мате и выпивала с куском черствого хлеба. Черствый хлеб я размачивала в чашке. Сколько сил дает мате! Правильно, что мы провозгласили его обязательной частью рациона для граждан нашего государства.

Я чувствовала настоящее счастье, бережно складывая обратно в пакет остатки хлеба или засахаренных фиников. "Ну вот, здесь еще на целых два завтрака", — говорила я себе. Лапши, которую варила по субботам и воскресеньям, тоже хватало надолго. Пакет стоил тридцать сентаво, зато я его растягивала на пять обедов. В это нехитрое блюдо добавлялись томатная паста и тертый сыр, который так крепко пах, что я

хранила его за окном. Однажды его склевали воробьи и голуби — они ведь прожорливее чиновников.

После завтрака я сбегала по грязной мраморной лестнице пансиона на Сармьенто, перепрыгивая через выщербленные ступеньки, и шла по тротуару, пока не оказывалась в сером утреннем свете на улице Кальяо.

Такси, трамваи... Рычат и фыркают автобусы "Лейланд", мотор спрятан в выемке возле водителя, словно в автобус кто-то врезался. Газетный киоск, овощная лавка, бакалея "Два мира". Чуть подальше — парикмахерская "Басиле", в ее холле разместился "Салон для чистки обуви"; итальянцы в серых фартуках надраивали кожаную обувь, прямо руками нанося черный гуталин на ботинки клиентов. Меня это особенно поражало. Все поражало, все было таким новым и необычным. Господа читали "Пренсу", поставив ногу на блестящую бронзовую подставку.

Меня завораживала самоуверенность мужчин, хозяев жизни, владельцев вещей и женщин. "Салон Кабальерос". Я заглядывала внутрь через стеклянную дверь, поверх лотков с лотерейными билетами. В салоне сидели мужчины, как в крепости. Им намыливали лицо и шею, потом брили сверкающими острейшими бритвами, в волосы втирали "Брильянтин" или "Глостору", потом гладко причесывали и наносили бриллиантин "Бранкато". В моей провинциальной душе все еще жили индейская дикость и простота, наверное, поэтому меня так поражали горячие влажные полотенца, которые появлялись из глубин высокой посеребренной кастрюли. Ловким движением проворных пальцев раскаленное полотенце извлекалось на свет, разворачивалось над физиономией клиента и затем полностью ее укутывало. Это называлось "компресс". Через некоторое время лицо неподвижной мумии в жилете и шелковом английском галстуке выныривало из-под полотенца — пылающее, багровое. Мужчины казались мне киношными гангстерами. Громадными страшными младенцами. Все они походили на Аль Капоне или, если угодно, на Пола Муни. Всемогущие властелины мира, хозяева жизни, денег, женщин, автомобилей. Там, в парикмахерской, они отдыхали, как в безопасной уютной пещере. Они неторопливо беседовали о Легисамо, Элиасе Антуньесе, Моно Акосто, Антонио Састре, Арсенио Эрико или Тесорьери. Спорили. Заключали пари. Потихоньку понимающе подмигивали друг другу, передавая из рук в руки адресок очередного модного "клуба танго" — Коррьентес, 348 (чаще всего адреса были указаны неверно). В тот год, когда умер Гардель[1], незабвенный исполнитель танго, я поняла, как много значило для них его имя.

Власть этих богов, видимо, таилась в их ширинках. Ширинка — загадочное слово. Вслушайтесь: могущество ширинок.

Разве можно забыть блеск и суету улицы Кальяо! Аромат кофе поджидал меня на углу, а из плотницкой мастерской с ее опилками и стружкой доносился густой запах свежего леса.

Таков был этот город, огромный сияющий Буэнос-Айрес. Постепенно он становился, если можно так сказать, моей многоликой безымянной семьей.

Я поднимала глаза кверху и смотрела на высокие жилые дома, представляя себе могущественных людей, достигших недосягаемого.

1. Карлос Гардель (1890—1935) — аргентинский актер, исполнитель танго.

И так я проникала все глубже в бетонные джунгли Буэнос-Айреса — совершенно одинокая, но ведомая ангелом вдохновения. На углу Корьентес я покупала "Пренсу" и жадно пробегала глазами объявления о найме на букву "А" — вдруг где-нибудь требуется актриса. Но таких объявлений не попадалось. Тогда я вырезала раздел "Театры" и набрасывала свой ежедневный маршрут, прикидывая, в котором часу можно застать администратора или директора.

УЖ ЧЕГО-ЧЕГО, А ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ излишнюю чувствительность я в то время никак не могла. Для женщины такая жизнь ужасна, невыносима, унизительна. Помните танго Диссеполо? Это обо мне. "Когда сядут батарейки у всех дверных звонков, / на которые ты нажмешь, / надеясь, что дверь вдруг откроет друг, / и, обняв его, ты умрешь..." Действительно, я нажимала на все звонки, заглядывала в глаза всем церберам, выслушивала кучу грубостей. Ничто не могло меня сломить. Оскорбления и дерзости казались обязательным элементом некоей нелепой игры. А я решила в нее сыграть.

Я изучала большие афиши на улице Корьентес. Стучалась в стеклянные двери с фотографиями известных актеров. Поднималась по мрачным лестницам, ведущим в логово всесильных импресарио "Вы хотите быть актрисой? С чего бы это?" — спросили меня как-то раз. И я ошарашенно смотрела на этого так называемого профессионала, который не понимал очевидного: "Потому что я актриса. Вот и все. Но у меня нет работы..."

Как велика сила наивности! Как всесильна слепая отвага! Однажды я просто заявила: "Испытайте меня в любой роли... В комедийной или драматической... Я согласна быть на замене. Может, какая-нибудь актриса заболела?"

И снова вперед — по Корьентес в потоках сияющего солнечного света. "Парана", "Уругвай", "Талькауано". Меня вел за руку всемогущий демон упорства. Иногда я заходила в "Косечеру" и робко заказывала кофе, боясь услышать в ответ, что несовершеннолетних не обслуживают или что-нибудь в этом роде.

Вскоре я начала испытывать смутное, вполне обоснованное беспокойство. Я предлагала себя в качестве актрисы, но при этом у меня не было и намека на то, что называется фигурой. Мое тело вызывало только смех (впрочем, вряд ли эти слова передают трагизм моего положения). Если вы хотите быть лицедеем и выступать на театральных подмостках, особенно если вы женщина, надо иметь "внешние данные", иметь формы. По крайней мере, ваше присутствие должно быть заметно. Легко понять сложность моей ситуации. У меня совершенно не было фигуры, мне недоставало женственности, меня как бы вовсе не существовало. Портье и импресарио оглядывали меня с головы до ног, как это было у них заведено, и не видели перед собой женщины. Я стала надевать корсет, проклятый "пояс целомудрия", который мой брат Хуансито сунул мне в чемодан, — не для того, чтобы защитить меня от насильников, а чтобы поглумиться надо мной. Корсет был безобразным и почти не прибавлял объема.

Можешь себе представить, Ирма, я тогда весила почти столько же, сколько сейчас. Самое большее — килограммов сорок. Никому бы не пришло в голову рассматривать как сексуальный объект это тело, это

жалкое, тщедушное существо. Разве что какому-нибудь извращенцу – говорят, у них особые запросы...

Этого тела, которое, по словам домашних, было обречено стать вместилищем греха, просто не существовало. У меня, как говорят адвокаты, отсутствовал corpus delicti, иначе говоря, мне нечем было грешить. Мое тело начало округляться, приобретать так называемые женские формы только в 1938 году, когда мне уже минуло девятнадцать. Как и многое другое в моей жизни, фигура тоже стала моим творением. В один прекрасный день мне захотелось ее иметь, и она у меня появилась Я словно родила ее, наколдовала.

Итак, я нажимала на все звонки подряд. Закидывала удочки. Сновала туда-сюда по Коррьентес, следуя театральной географии Буэнос-Айреса: "Одеон", "Насиональ", "Аполлон", "Коррьентес", "Политеама", "Комедия", "Лисео". И в обратной последовательности: "Лисео", "Комедия", "Политеама", "Коррьентес", "Аполлон", "Насиональ", "Одеон". Как выразился Хуансито, я была "настырнее, чем голод". За эти три месяца я научилась подсчитывать, прикидывать, читать по глазам. Распознавать ловушки и различать ложь. Все это было грустно. Постепенно я делалась жесткой, злой. Доброй с доброжелателями, злой с недругами. Таков был закон ночного Буэнос-Айреса, полного чудес и одиночества, полного танго.

Ирма, скажи мне, могла ли я поведать обо всем этом сеньору Пенелье де Сильва, каталонцу, нанятому, чтобы написать "Смысл моей жизни"? Ведь моя жизнь совершенно лишена смысла, там есть только чудесные совпадения. Как рассказать все это серьезному господину, больше похожему на скульптора, который собирается отлить мою статую из бронзы?

Если вам придет в голову рассказать правдивую историю собственной жизни, рано или поздно вы до ушей зальетесь краской или же явится полицейский и крикнет: "Вы арестованы!"

Они решили сделать из меня памятник безупречной добродетели. Этим занялся министр Рауль Менде, омерзительный тип. Нанятый им Пенелья де Сильва должен сочинить идеальную жизнь, жизнь новой святой. И сама я в этом бессмысленном смысле моей жизни – не более чем верхушка айсберга.

Однако продолжим. Не все было так ужасно, и народ вокруг был не так уж плох. Представьте себе попрошайку, который бродит из дома в дом и мелом ставит метки для других попрошаек: в одном доме дают поесть, в другом живут добрые люди или, наоборот, злые собаки. Так и я держалась тех немногих, о ком знала, что они помогают. Злыми псами слыли портье и администраторы, которые норовили рявкнуть свое "нет", даже не удосужившись спросить хозяина. "Директор тебя не сможет принять, он очень занят".

Вечера тянулись бесконечно долго. Я бродила по улицам, чтобы не торчать одной в четырех стенах моей убогой комнатушки, куда доносились визгливые голоса местных проституток.

Я подружилась со стариком, вечно сидевшим перед полупустой чашкой кофе в кафе на углу Маипу и Лавалье, который существует и поныне. Старика звали Брунетти. У него был зоркий глаз, и как-то раз он заметил, что я выпрашиваю у бармена кусок хлеба и стакан воды из-под крана, и понял, что я голодаю.

Тогда он пригласил меня за свой столик и как ни в чем не бывало заказал кофе с молоком, рогалики и сливочный десерт. Несмотря на поздний час, бедняга заказал себе то же самое, чтобы я не смущалась. Такой союз заключают люди, если одному из них совсем худо. Старик оказался журналистом на пенсии. Сколько раз он спасал меня от голода! Сам того не ведая, он возвращал мне силу духа. (В отличие от любви, преимущества дружбы в том, что она строится на едва ли не преступном сообщничестве.)

Как потрясен был старик, когда, вернувшись из "президентского" визита в Европу, я остановила "кадиллак", который сопровождался кортежем из мотоциклистов, напротив дверей того бара и уселась за столик как тогда, десять лет назад. Сперва он меня не узнал: я стала блондинкой и т. д. "Хочешь кофе с молоком и рогаликов?" — спросила я. Он просто в себя не мог прийти от изумления. Я хотела подарить ему дом в Мартинесе. Он отказался. Тогда я предложила ему автомобиль, лошадей, хорошую должность. Он растерянно улыбался. "Поздно начинать новую жизнь, — ответил он. — Это все равно что надеть новые ботинки. Я ведь уже давно на пенсии. Кроме того, ты ведь знаешь, Эва, что даже после стольких лет работы в 'Пренсе' я остался коммунистом..."

Кафе называлось "Звезда". Угол Маипу и Лавалье...

Три месяца я жила, питаясь своими честолюбивыми мечтами. Рекомендательные письма, которые Магальди написал администраторам и знакомым актерам, измялись и истерлись.

И вот однажды, в невесть какой раз войдя в вестибюль театра "Комедия", я услышала пронзительный визг. Вскоре я узнала, в чем дело: вопила Эва Франко, местная звезда, — за два дня до премьеры исчезла молоденькая актриса, исполнявшая роль служанки. Заметив меня, она умолкла, недоверчиво оглядела с головы до ног и заявила: "А ну-ка, ступайте на сцену, только выучите сперва фразу, которую должны сказать..."

За кулисами я дрожала всем телом. Но когда мне подали знак, решительно вышла на сцену и произнесла: "Пожалуйте к столу".

Эва Франко пристально смотрела на меня. В ее глазах мне почудился язвительный огонек. "Заметно, что вы играли на сцене. Однако служанка не так входит в гостиную и не кричит на хозяев... Попробуйте еще раз".

Меня взяли. Я поверить не могла: восемьдесят песо в месяц, пока будет идти спектакль. Именно столько получала в то время служанка. С одной небольшой разницей: ни стол, ни кровать никто мне, разумеется, не предлагал.

В ночь накануне премьеры я не спала. Если слышала, что в коридоре пусто, принималась репетировать свой выход на сцену — крошечную роль с единственной фразой в спектакле "Сеньора Перес" Эрнесто Марсили. Когда на другой день я вышла на сцену, руки у меня были влажными от холодного пота, но всего через восемь секунд я шмыгнула обратно за кулисы, чувствуя себя на вершине славы.

На следующий вечер в "Критике" появилась рецензия Эдмундо Гибурга, где он великодушно упоминал и меня: "Юная актриса Эва Дуарте исполнила свою маленькую роль естественно и непринужденно".

Рецензия появилась 28 марта 1935 года. С такой отчетливостью запоминаешь рождение ребенка или какое-нибудь другое важнейшее событие своей жизни. Театр "Комедия", улица Карлоса Пелегрини, дом 248...

Какое это было утро! Я оделась так, как будто лучшие платья меня больше не интересовали. Я летела по Коррьентес, затем по улице Девятого июля, словно меня нес свежий сухой ветерок осеннего утра, которому не хочется расстаться с летом. На мне были туфли на высоких каблуках, я чувствовала себя неотразимой. Я вошла в кондитерскую "Везувий" и заказала молочный коктейль и бисквиты.

Итак, я стала актрисой. Мне платили настоящее жалованье. Это был триумф решимости и мечты. Я чувствовала себя королевой Ла-Платы.

Сияющее утро, свежий ветерок, тротуар перед кинотеатром "Метрополитен"... Нас больше всего окрыляет торжество безумной мечты, доказательство тому, что смысл жизни непостижим.

"НЕТ, НИЧЕГО ЭТОГО НЕЛЬЗЯ РАССКАЗЫВАТЬ – ничего личного, настоящего. Пока я была актрисой, я никому не рассказывала о своем детстве, нищете, Лос-Тольдосе. Представьте, в журнале 'Антенна' я заявила: мои любимые виды спорта – верховая езда и яхты. А сейчас мне приходится скрывать, что я была актрисой. Вплоть до того, что никто не осмеливается опубликовать мои фотографии той поры. Мигель Мачинандиарена прислал мне бобины с пленкой фильма 'Расточительница', который так и не появился на экране... Нет, правду нельзя рассказывать никому. Любая откровенность – преступление. В нашем мире торжествует лицемерие.

Любая правда скандальна. Госпожа Элизабет Рузвельт, как я знаю, тоже скрывала о себе нечто ужасное – мне поведал об этом доктор Пас...

Пенелья де Сильва встретил где-то в Европе посла Льямби и сообщил, что собирается написать книгу о госпоже Рузвельт, супруге президента Соединенных Штатов. Льямби ответил, что куда лучше отправиться в Аргентину и написать роман про Эву Перон. Пенелья был эмигрантом. Беднягу наняли за пятьдесят тысяч песо. Итогом его писательской деятельности стал заказной бестселлер "Смысл моей жизни". Книга слишком безупречная, как последнее слово героя, только вот слово это растянулось на двести страниц".

Несколько раз Эва беседовала с Пенельей де Сильва. Злополучному министру Раулю Менде было приказано все проверять, вычеркивать лишнее и вносить нужное в то, что показывал ему Пенелья.

"Никто не может писать без стыда правдивые мемуары, – призналась мне как-то раз Эва. – Будь он хоть самим Иисусом Христом. Простите меня, падре, но Евангелие весьма похоже на то, что написал Пенелья. Есть назидание, но нет человека. Бог, конечно, присутствует, с этим не поспоришь... Наверное, мои слова – чудовищное кощунство...

Жизнь каждого из нас куда сложнее, порочнее или даже, с позволения сказать, преступнее того, что допускают хороший вкус и всякого рода условности. Даже ваш обожаемый Ганди не исключение. Приемлемая часть каждого из нас – это внешнее, поверхностное, самая, самая вершина..."

Думаю, разговоры с прилежным каталонским писарем помогли Эве припомнить в подробностях ту пору, когда ей пришлось вести маргинальную жизнь. Пожалуй, это можно назвать катарсисом.

Однако Эва не отрицала, что в своей формальной, холодной, бездарной книге Пенелья де Сильва уловил и передал на своем великолеп-

ном испанском саму суть ее благородной страсти — борьбы за справедливость. Даже лживая биография может навести на след истины — так финансовый аналитик докапывается до сути, исследуя поддельные счета. Из книги явствует: после знакомства с Пероном Эва поняла, что социальная справедливость станет для нее отныне главной целью, смыслом ее политических устремлений. Ее страстью, как она выразилась.

Мир был сценой, на которой приходилось выкладываться полностью. Но в театре жизни царила чудовищная несправедливость. Надо было изменить сценарий "любыми средствами, любой ценой". Потому что "дух справедливости" как высшая ценность требует больших жертв. Справедливость нередко противостоит самой жизни, которая есть тайна. Справедливость — это здравый смысл, но никак не тайна. Справедливость человечна, тайна жизни божественна.

История дает нам примеры тому, как борцы за справедливость превращаются в настоящих политических преступников (последний пример — Троцкий). Это очень опасное явление. А Эва поверила, что справедливость священна...

Немногим известно, что Эва отомстила безупречной и непогрешимой святой, описанной в "Смысле моей жизни". Она принялась писать чудовищную в своей необузданности книгу, которую хранила у себя под матрасом. Так говорил мне Ренци. Это была тетрадь в твердой коричневой обложке. "Наконец-то я могу воспользоваться чудной авторучкой, которую ты мне подарил", — сказала она Ренци. И вывела на тетради название будущей книги: "Мое последнее послание". Поразмыслив, она зачеркнула слово "последнее".

В эту тетрадь Эва записывала свои мысли, но у нее оставалось очень мало сил, да и почерк был ужасный. Ренци удалось прочитать некоторые отрывки — книгой это никак не назовешь. Поток ярости — вот что это было.

Тетрадь бесследно исчезла вскоре после смерти Эвы. Она исчезла еще до сентября 1955 года, когда Резиденцию заняли военные...

То немногое, что удалось прочитать Ренци, было пронизано исступленной ненавистью к военным. Казалось, Эва забыла о всякой политической целесообразности.

Даже Пенелья де Сильва, неискушенный в аргентинских делах (никогда не понять испанцам Аргентину), знал, что Эва видит в военных верных приспешников олигархов, их опору и поддержку.

Прочитав отрывки из Эвиной тетради, Ренци проникся убеждением, что Эва умерла коммунисткой. Коммунисткой и даже неукротимой революционеркой. Что-то подобное проскальзывало и в ее выступлениях: после своего отречения 22 августа 1951 года — и особенно после мятежа Менендеса 28 сентября — Эва, казалось, забыла о том, чего требовала их "стратегия". Как рассказывал Ренци, одна из глав называлась "Время народов", еще две: "Христос, принесший огонь", "Наш божественный коммунизм". Из всей книги сохранился только один маленький фрагмент под названием "Моя высшая воля", который был издан сразу же после ее смерти. По-видимому, его она писала из последних сил. Запомнилась одна-единственная фраза: "Я буду бороться против всего, что не есть народ, что лишено народного духа. Я буду со своим народом в борьбе против продажной и лицемерной олигархии, против проклятых эксплуататоров и кровопийц".

Небрежный торопливый почерк, каким ребенок пишет, что ему грозит беда. Я сам видел несколько страниц, вырванных из тетради в коричневой обложке. А остальное? На этих страницах Эва завещала права на "Смысл моей жизни" и "Мое послание". Что стало с самим посланием, кто убил Мигеля Строгоффа – того, кому оно было доверено?

Я ОТЛИЧНО ПОМНЮ ТОТ ВЕЧЕР. Эва попрощалась с Пенельей де Сильва в библиотеке. Тот помчался в издательство "Пеусер", унося с собой гранки книги, которую Эва называла "монументом". Затем она пригласила своего парикмахера Алькараса, чтобы тот причесал ее, поскольку внизу уже больше часа дожидались четыре министра. Эва продолжала свой монолог о политике, неистовый монолог. Едва Алькарас приступил к делу, Эва обратилась ко мне:

– Хотите знать, во что превратится перонизм, когда я умру?

Мы похолодели. Парикмахер в ужасе посмотрел на меня (с некоторых пор поговаривали о ее болезни, но о смерти...).

Эва велела Ренци пригласить министров.

Они явились: подобострастные, трусливые, коварные, в безупречных костюмах... Назову лишь одного из них, кого Эва особенно ненавидела: Рауль Менде. Остальные не достойны даже упоминания.

Все шло своим чередом – министры льстили и вежливо осведомлялись о ее здоровье, пока Алькарас причесывал Эву. Вдруг она вскрикнула: брильянтовая сережка якобы упала куда-то на пол. Алькарас хотел нагнуться, чтобы ее поднять, но Эва произнесла:

– Нет, продолжайте...

Министры, мгновение поколебавшись, встали на четвереньки и, выставив зады, запóлзали по полу, точно турки, решившие совершить намаз, но позабывшие, в какой стороне Мекка.

Эва откинула волосы, озорно подмигнула мне и приоткрыла кулак, в котором блеснула сережка.

Продолжение следует

Разговор на "ужас дня"

О презентации сентябрьского номера "ИЛ" за 2004 год, посвященного памяти жертв терроризма

21 сентября 2004 года в Центральном доме предпринимателя на Покровке состоялась презентация девятого тематического номера "ИЛ", приуроченного к третьей годовщине террористического акта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и целиком посвященного теории и практике терроризма. Сделать именно такой номер нас побудили катастрофические реалии современности, и чудовищное совпадение — расправа над школьниками в Беслане 1 сентября 2004 года — к несчастью, подтвердило правомочность и уместность обращения, казалось бы, литературного, а вовсе не общественно-политического журнала к злобе дня, к "ужасу дня", говоря словами Иосифа Бродского.

Большой зал Дома предпринимателей был почти полон. Публика, одновременно подавленная случившимся и негодующая, внимательно слушала запланированные выступления и живо реагировала с мест на происходящее на сцене.

Мы пригласили высказаться на болезненную и животрепещущую тему политиков и литераторов. На наше приглашение откликнулись Ирина Хакамада, критик Лев Аннинский, поэт, депутат Московской городской Думы, заслуженный учитель России Евгений Бунимович, писатель Петр Вайль, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, писатель Александр Генис.

Вот достаточно полное изложение прозвучавшего на этой встрече.

Открывая заседание, главный редактор "ИЛ" **А. Н. Словесный** подтвердил, что обращение к чисто политической тематике — случай практически беспрецедентный в почти пятидесятилетней истории журнала. "Более того, — сказал Словесный, — впервые журнал обращается лицом к явлению, которое не только не имеет никакого отношения к культуре, но в корне ей противоречит".

Первым слово взял критик **Лев Аннинский**. "Как выяснилось, — сказал он, — мы совершенно не знаем, *что* делать, когда куда-то, сюда, например, ворвутся террористы. И здесь отечественным спецслужбам, наверное, надо посоветоваться с кем-нибудь, у кого побольше опыта, с американцами, скажем, с израильтянами: как ставить оцепление, кто за что отвечает, как быть с журналистами и т. д. Но это не наша тема. Наша задача сейчас другая — понять: *почему* врываются, *откуда* берутся люди, которым легче стрелять, чем работать, *почему* так много людей, которым нечего терять и собственная и чужая жизни для которых ничего не стоят. Происходит подмена основ нашего мироощущения, представления о том, что жизнь человека есть первое бесценное достояние, от которого и нужно отсчитывать. Это какая-то совершенно новая логика, и нужно понять, откуда она взялась. Если прибегнуть к методу Льва Николаевича Гумилева, напрашивается вывод, что какой-то космический луч упал куда-то в южные районы — и вызвал к жизни пассионарность, и оттуда этот геополитический вал на нас идет, а вовсе не с Запада, как мы привыкли думать, исходя из опыта двух мировых войн. Обдумать эти сдвиги — задача интеллигенции.

Нам надлежит уяснить причины такого глобального перепада энергий. Казалось бы, с марксистской точки зрения, речь идет о необходимости трудоустроить чеченскую молодежь — вот и все. Но они не хотят работать, делать скучную работу, когда взрывчатки в избытке. Так что марксистское среднесрочное объяснение не годится. Легко находятся идеи и знамена, под которыми множество людей готово пойти и разменять свою жизнь — и свою, и любую другую. И для того чтобы справиться с подобным умосостоянием, его необходимо понять. Сергей Арутюнов в своей, опубликованной в этом номере, статье пишет о необходимости децентрализовать реальность, чтобы мы жили маленькими общинами — будто бы это сулит человечеству облегчение. Совершенно справедливо, что параллельно усилению процессов глобализации, универсализации, атлантизации, если угодно, нарастает и протест нормальных людей, которые живут у себя в гминах, общинах, микропоселениях, опираясь на местные религиозные и исторические традиции. Я-то думаю, что, если эта мечта о сворачивании гигантских производств и мегаполисов осуществится и человечество распадется на десятки и десятки национальных государств, начнется такая драчка, что опять затоскуют по империям. Маленькие конфликтующие страны с неизбежностью станут искать какой-то внешней, сдерживающей их агрессию силы. Получив в столицах образование, далеко не все полковники вернутся на родину, чтобы возглавить сепаратистские движения, — некоторые, напротив, начнут строить имперские армии. История развивается по спирали: то крайность так называемого тоталитаризма, то крайность всеобщего хаоса. Сейчас империи рухнули, ждет нас, прав Арутюнов, общинный век, потом вероятна новая имперская эпоха — так, думаю, история и будет идти. На что мы надеемся? Что мы сократим свое потребление и избавимся от тоталитаризма? От агрессивности не избавимся все равно — человечество неисправимо. Что нам делать сейчас, чтобы убавить эту опасность? Интеллигенции надо, во-первых, не терять головы, во-вторых, не ненавидеть собственную власть за то, что нам сделали плохо, потому что эта власть — из нас же: одни процессы, одно государство; и в третьих, искать первопричины происходящего".

Место у микрофона занял член редакционного совета "ИЛ" **Александр Генис**. Он сказал: "Мне бы хотелось подхватить и развить то, что говорил Лев Аннинский, но на другом материале. Я живу в Нью-Йорке. Я живу в городе, в котором, собственно говоря, все это началось. Конечно, террор был и раньше, и не с 11 сентября открывается череда всего этого кошмара, но именно у нас произошло символическое событие, ставшее вехой XXI века. Падение башен стало началом нового тысячелетия. Если мы вспомним, каким был мир всего несколько лет назад, может показаться, что это была какая-то эйфорическая история, напрямую продолжавшая XIX век. XX век, век тоталитарный, вычел сам себя, и мы как будто бы вернулись в геополитическую реальность позапрошлого столетия с его постепенной поступью прогресса. Вы помните про конец истории Фукуямы, про приближение эпохи разума. Так вот, эпоха разума кончилась, и то, что мы видим сейчас, не имеет названия. Сразу после 11 сентября в Америке началась пора поиска ответов на два вопроса: что делать? и кто виноват? Рядовым людям, не имеющим отношения к власти, для ответа на эти вопросы не хватает информации. После 11 сентября началась война в Ираке, когда обывателям тоже не хватало информации, чтобы судить, нужна эта война или нет. (Как выяснилось, президенту Бушу тоже не

доставало этой информации.) Что же тогда делать нам, тем, кто не имеет отношения к принятию решений? Мне кажется, что задача гуманитарной мысли сегодня — найти новую концептуальную раму для происходящего в мире. Лучшие умы XX века ломали головы над тем, что происходит с миром. Элиот писал, что Первая мировая война возникла не из каких-то конкретных политических кризисов, а из распада той христианской общности, которой был Запад. Если мы сегодня не можем представить себе войну между Францией и Англией, значит, эта общность появилась снова. Террор — как мировая простуда. У каждой простуды — свой микроб-возбудитель, но болезнь тем не менее общая. Поэтому, на мой взгляд, сегодня важно в принципе понять, *что* происходит, отвлекаясь от конкретных событий и трагедий. И последний номер "ИЛ" — это попытка найти такую концептуальную раму. И мы не вправе оставлять решение этой проблемы исключительно политикам и военным. Потому что они мыслят слишком конкретно, немедленно реагируют на сиюминутные события. А речь идет о долгосрочном проекте — жизни в XXI веке, и мы должны осмыслить эту жизнь в каких-то других категориях. Поиски этих категорий представляются мне главной задачей гуманитарной мысли XXI века, который начался у нас в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года".

Слово взяла **Ирина Хакамада**. "Я, разумеется, согласна, — сказала она, — что главная задача гуманитарной интеллигенции — подняться до уровня понимания терроризма как нового антицивилизационного вызова; разобраться в причинах этого явления; подумать о природе сегодняшнего исламского фундаментализма; уяснить, какое место в нем занимают радикальные течения, такие, как ваххабизм; наладить культурный диалог с представителями исламской цивилизации, для того чтобы понять, каким образом там появляются такие жесткие фашиствующие течения. Это, наверное, — главная задача гуманитарной интеллигенции. Но я не согласна с тем, что все — и политики, и гражданское общество, и негуманитарная интеллигенция — должны уйти в этот философский космос, отдавая в чьи-то руки инициативу и волю к разрешению проблем сегодняшнего дня. Мы-де не знаем природы терроризма, а значит, не можем его победить. Мы можем ему пока только сопротивляться. Поставить эту конкретную задачу: пусть не побеждать, а сопротивляться, я думаю, это уже очень сильное решение. Но если Россия и США вместе с другими европейскими и азиатскими странами ставят себе задачу сопротивляться терроризму, надо понимать, с *чем* мы имеем дело. Вызов терроризма абсолютно неожиданный. Вспомним "Войну с саламандрами". Памфлет Чапека сбывается на наших глазах. Террористы и есть те самые саламандры: у них нет армии, нет государства, они появляются из ниоткуда, каждое государство имеет своих саламандр... Фактически мы живем в состоянии войны с "саламандрами". Но состояние войны требует мобилизации. Мы не можем только философствовать — мы должны еще и действовать. Существуют вызовы, и для России они вполне конкретны и отличны от вызовов, брошенных Америке, или Франции, или Испании. В Испании после взрыва поезда люди вышли на улицу, смели кабинет и потребовали вывести войска из Ирака. В результате пришло новое правительство, вывело войска из Ирака, и больше терактов — терактов, связанных с иракской проблематикой и исламским экстремизмом — нет, баскский терроризм — отдельная тема. Но все государства имперского мышления осудили Испанию: вы-де уступили террористам. Значит, первый вызов — понять, *что*

есть приоритет: великий дух великой нации или жизнь людей? Это, безусловно, имеет прямое отношение к нам — в России никогда не думали о людях. Второй вызов — это вызов, как это ни странно, ну *хоть какой-то консолидированной честности.* Если приоритет — человеческие жизни, это одно, а если спекуляции и формирование собственных политических интересов — совсем другое, как это произошло с Америкой в Ираке, которая уже платит за собственное политиканство головами своих солдат. Америка не хочет признавать, что война в Ираке несправедлива, мы не хотим признавать, что у нас есть проблема Чечни, — и расплачиваемся за это кровью сограждан. Поэтому честность политической элиты (а такой честности никогда не было в традиции России, особенно после 1917 года) или отсутствие таковой — тоже вызов. И, наконец, третий вызов: *удар террористов абсолютно не вписывается в логику цивилизации.* Это означает, по моему глубокому убеждению, что и *ответ им тоже находится вне привычной нам логики.* Совершить еще сто или двести облав; приставить к каждой школе по милиционеру; запретить выезд за границу под предлогом того, что там новый вид гриппа; назначать губернаторов; уничтожить парламент, вместо него сделать две лояльные партии; изменить существующую конституцию на диктаторскую и жесткую, оправдывая это тем, что в Советском Союзе терактов не было, — это уже не поможет. Ответ должен быть абсолютно асимметричным, но его сейчас не существует. Если бы власть знала, что за свои ошибки она должна отвечать — хоть как-то: проигрышем на выборах, отставкой кабинета, тогда была бы надежда. Но если власть беспредельна, огромна, коррумпирована и не несет никакой ответственности перед обществом, а интеллигенция, опасаясь следующего теракта, призывает, ни в коем случае, не ругать власть, а тем временем власть, у которой руки развязаны от безнаказанности, совершает очередные безграмотные действия — вот так и получается замкнутый круг трагедий. Профессионалы знают, *что* надо делать в каждой конкретной ситуции, но зачем, спрашивается, стараться и работать профессионально, если сколько ни будь трупов, власть все равно не ответит перед обществом? А если общество даже и потребует расследования, можно всегда "нарисовать" это расследование, если даже народ и захочет знать правду, эту правду всегда можно выдумать. Так что случившееся — вызов в первую очередь для России. Почему я подчеркиваю, что именно для России, а не для Европы, не для Америки? Потому что благодаря политической конкуренции и гражданскому обществу там есть хоть какой-то контроль.

И сейчас, после такого количества жертв, когда были заткнуты рты всем средствам массовой информации, мы опять будем говорить, что журналисты лишнее сболтнули? Надо дать себе отчет: роль террориста публичная. И если дети попали в заложники, надо играть с террористом в переговоры ровно до тех пор, пока вы не поймете, что теперь вы эту игру можете прекратить и профессионально спасать людей. Пока вы в этом не убеждены, плевать на имидж страны и президента, и пусть террорист получит свою трибуну, видит себя по телевизору, слышит, как его требования оглашаются. И хотя, на первый взгляд, это смотрится пособничеством терроризму, специалисты свидетельствуют: когда по Первому каналу во время Беслана в течение суток или даже больше передавали, что в школе "всего" 384 заложника (а на самом деле террористы захватили полторы тысячи и хотят, чтобы все об этом знали), когда по ТВ рассказывают, что там девять арабов и один негр (а это вранье), вот тогда-то там и начинается шквал ненависти и агрессии, и становится страшно, потому

что очевидным делается, что никакой возможности хоть как-то потянуть время не существует. Поэтому я считаю, что без милосердия, без христианской любви к каждой душе человеческой мы не сможем победить людей, для которых человеческая жизнь ничего не значит. Мы проигрываем им, потому что она и для нас мало что значит. Мы играем на их площадке, пока для нас главной ценностью не станет жизнь отдельного человека. Когда мы станем не только провозглашать это в наших конституциях, но станем так же и действовать — и в этом будет солидарно все общество. Когда мы не будем накидываться друг на друга, как в сталинские времена в поисках пособника. Когда каждый будет вести себя как по Библии: а что бы делал я, если бы мой ребенок находился там? И когда мы выкинем из государственной политики статистику. Пока мы следуем некоей норме — 20 или 30 % жертв допустимо, — война с нелюдями, для которых жизнь человеческая ничего не значит, будет проиграна".

Из зала И. Хакамаду спросили, не наивно ли полагать, что любовь к человеку может быть верным методом в борьбе с терроризмом? Хакамада ответила: "Я говорила об изменении психологии власти, нанятой обществом и работающей для общества".

С места слово попросила поэт и переводчик **Наталья Ванханен**. Она сказала: "Я испанист и очень устала слышать о примере Испании, тем более, что смысл этого примера все время искажается. Именно в этом пункте я не согласна с Ириной Хакамадой, в остальном мне ее выступление понравилось. Распространенная точка зрения, что Испания пошла на уступки терроризму и выполнила все требования террористов, — абсолютно неверна. Дело обстояло следующим образом. Аснар, бывший президент Испании, поддержал войну в Ираке. Испанское гражданское общество было против, и многотысячные толпы вышли на митинги (много ли митингов было у нас в связи с вводом войск в Чечню?). После чудовищного террористического акта на железной дороге Аснар морочил испанцам голову, говорил, что это злодеяние баскских террористов. И когда народ узнал, что ему один раз (один, обратим внимание!) правительство солгало, возмущенные толпы снова повалили на улицы и сказали, что они не хотят правительства, которое им лжет. Кабинет был низвергнут, и во главе нового правительства встал Сапатеро, оппозиционер с самого начала, в том числе изначально противник ввода испанских войск в Ирак. Так что дело не в испуге испанцев перед терроризмом, а в их нежелании мириться с лживым правительством. Теперь сравним, сколько врут нам и как безропотно наше общество сносит эту ложь".

Потом микрофон перешел к **Евгению Бунимовичу**. "Лет десять назад, — сказал он, — в период романтической гласности на телевидении была передача, связанная с началом войны в Чечне. Тоже шел разговор взрослых неглупых людей, которым показали кинокадры, как какой-то мальчик лет десяти, чеченец в зеленой повязке, бежит с "коктейлем Молотова" перед танком. И девочка, присутствовавшая в студии (а тогда было принято спрашивать мнения молодежи, "нашего будущего"), сказала: "Что вы делаете, они ведь будут ненавидеть нас всю жизнь!" И я запомнил слова этой девочки. И когда мы сегодня смотрим по телевизору, *что* там происходит, я не перестаю думать, что, как их не характеризуй и не называй — Масхадова, Дудаева, Закаева и прочих, это были люди, ко-

торые учились примерно в тех же школах, что и большинство присутствующих в этом зале. И меня не оставляет впечатление, что когда-то можно было эту общность, связанную с общим в обоих смыслах слова образованием, нащупать. Люди, захватившие школу в Беслане, как до этого "Норд-Ост", — это все люди, выросшие вне школы, вне какой-то общности. Мы никогда не думали об этом всерьез, а ведь в любой школе — какой она ни будь — 1 сентября, когда все в белых рубашках и гладиолусы выше первоклассников, а сзади толпятся родители, — так вот там и происходит это ежегодное событие, из разряда тех немногочисленных событий, которые и делают нашу страну страной. Потому что такое случается одновременно и повсеместно по всей территории России. Это еще Наполеон хорошо понимал, поэтому он добивался, чтобы во всех классах одновременно говорили примерно одно и то же. И удар, нанесенный именно 1 сентября, был хорошо рассчитан. Еще недавно я был сторонником открытых школ. Теперь я предупреждаю своих учеников прежних выпусков, чтобы они брали с собой документы, звонили мне снизу от охранника, и только после этого им удается войти в собственную школу. Речь идет уже о другом сознании. Это ненормально прививать ребенку недоверие: не бери у незнакомых игрушек, конфет, бойся, будь начеку и т. д. Технического обеспечения безопасности — заборов, кнопок, видеонаблюдения — можно добиться в обозримые сроки. А вот воспитать у детей постоянную подозрительность совсем непросто, но главное — *что* получится с нашим обществом, когда нам все это удастся воспитать?

Когда был выбран президент, я написал статью "Путин как зеркало русского постмодернизма". Потому что действительно все его шаги были очень постмодернистскими по духу и сочетанию несочетаемого: будь то его ответ по поводу подводной лодки "Курск": "она утонула", или трехцветный демократический флаг под советский гимн, или умение находить общий язык и с Фиделем Кастро, и с Солженицыным и т. д. Вся эта полистилистика у Путина в ходу. А совершенно ясно, что в постмодернистском сознании выстроить единственную вертикаль нельзя в принципе. Поэтому и сегодняшняя образованная часть общества должна выстроить свою вертикаль, в другой плоскости, чем это делает власть. И мне кажется, что нынешний номер "ИЛ" способствует созданию новой ценностной вертикали. Сейчас, когда всё, включая сегодняшнее мероприятие, кажется неуместным, в этом выпуске "ИЛ" как раз есть уместность. Мне далеко не все понравилось, например, мне не понравилось послесловие Леонида Радзиховского к тексту Ильича Рамиреса Санчеса, потому что оно мыслилось как ответ террору — и не получилось таковым. Радзиховский пытается Санчеса "срезать", как говорил Шукшин, и показать знаменитого террориста фигурой совершенно неинтересной, бездарной и так далее. Но нам необходимо понимать, *что* стоит за чудовищно скучным текстом Ильича Рамиреса Санчеса, а не отмахиваться свысока. Ведь очень важно, что это на самом деле написано, и написано всерьез, и написано человеком, который в пору, когда я учился в МГУ, в свою очередь учился в Университете дружбы народов. Разумеется, важно иметь высокопрофессиональные спецслужбы, но еще очень важно перекрыть человеческую подпитку терроризма. В связи с этим я начинаю думать о том, какова же все-таки роль самого простого, даже начального образования".

После выступления Е. Бунимовича поделился с присутствующими своими соображениями **Алексей Венедиктов**: "Пока я слушал предыдущих

ораторов, мне все казалось, будто мои коллеги по сцене начали жить с 1 сентября, с Беслана. Ведь терроризм — это всего лишь инструмент, способ для достижения определенных целей. И почему-то мы обсуждаем способ, а не цели? Терроризм был всегда. Когда варвары на восточных окраинах Римской империи врывались и вырезали полгорода и требовали еще одно пастбище и разрешение селиться здесь, а нет — грозили вырезать остальных. И тогда им давали требуемое или не давали — и шли легионами. Хотите ближе — пожалуйста: последняя Балканская война. За право собирать налоги держали в страхе целые города, шантажировали правителей. Это было всего-навсего семь лет назад. Мы ничего не знаем про Руанду. Я всем рекомендую прочесть мемуары госпожи Олбрайт. Там есть замечательная глава "Как мы проспали руандскую резню". Потому что это какие-то там, черные. А теперь беда пришла к нам. 4 сентября утром в Новоарбатском гастрономе в очереди передо мной одна домохозяйка говорит другой: "А что такого? Черные порвали черных, зверьки — зверьков". И это у нас, в Москве, о детях Беслана. Так что не будем преувеличивать общественного сплочения.

Есть задачи технические — и решать их надлежит спецслужбам. С инструментом и надо бороться инструментом: они нам меч, мы им щит. Есть задачи законодательные. Законодатели должны принимать законы, которые позволили бы применять инструмент против инструмента. Есть задачи политические. Они состоят в том, чтобы уменьшить эту полянку, где произрастают инструменты. Понять, почему они произрастают, какую задачу они ставят, и бороться уже с этой задачей, достижению которой служит терроризм. В Беслане у террористов *были* требования — это, кстати, еще одна ложь, что требований не было. А чего, например, требовала "Аль-Каида", влетающая в нью-йоркские небоскребы? Ничего. В этом соблазн и опасность для думающих многознающих людей: вообразить существование глобального врага, с которым и бороться надо глобально. Ничего подобного. Когда ИРА получала деньги из ирландской общины в Америке, а оружие закупала в Чехословакии, а готовили боевиков здесь в Лумумбе, кто-нибудь говорил, что это мировой терроризм? Нет, конечно. Потому что они решали свою локальную задачу. Они пытались объединиться даже с германской "Фракцией Красной армии". Не получилось, потому что задачи — разные. И когда мы говорим "мировой терроризм", это серьезное наше заблуждение — такого явления нет. Можно, конечно, бороться с терроризмом в Саудовской Аравии, но это проблемы не решит. Обратим внимание, что наибольшее количество жертв так называемой "Аль-Каиды" насчитывается в мусульманских странах — в Пакистане, например. Просто нас это всерьез не интересует, это где-то там, за тридевять земель. Так что давайте сперва справимся со здешним терроризмом. И последнее. Я согласен с Бунимовичем: это задача на десятилетия. Момент, когда можно было одолеть терроризм малой кровью, упущен. Кто-то верно заметил, что Дудаев, Масхадов, Яндарбиев в свое время читали "Комсомольскую правду" и смотрели "Бриллиантовую руку", как и все мы. Вот с ними и надо было договариваться, коль скоро существовала хоть какая-то общность. Этого сделано не было. А кто приходит сейчас им на смену? Помните Бараева из "Норд-Оста"? Ему было 27 лет. По-русски говорил плохо, комсомольцем не был, советской школы не закончил... Нет связей. А ныне молодые волки заканчивают школы в Иордании, в Саудовской Аравии, в горной Чечне — они совсем другие. Вот кто вытесняет чеченских лидеров старой, понятной нам закваски,

тех полковников советской армии, с которыми мы не сумели договориться. Мы сталкиваемся сейчас с взаимным непониманием цивилизаций. Надо бы всю чеченскую молодежь пригласить поступить в Московский, Петербургский, Владивостокский и т. д. университеты, надо цивилизационно перестраивать целое поколение. Это очень длинное дело, может быть, оно нам не удастся, но другого варианта просто нет. Там ежедневно рождаются новые террористы. Они таковы и от того, что они так воспитаны, и от того, *что* в Чечне вытворяем мы. В каком-то смысле мы все пособники террористов. Проблема возникла, причем не столько для нас, сколько для наших детей, а то и внуков".

Слово взял член редакционного совета "ИЛ" **Петр Вайль**. "Верно сказал Бунимович, что на фоне случившейся трагедии все слова неуместны. С другой стороны, и он, и Хакамада — политики, поэтому они обязаны что-то конкретное предлагать. А я могу просто поделиться впечатлениями. Я только что был в Норвегии — как известно, одной из самых благополучных, главное, спокойных стран Европы, да и всего мира. И эпидемия терроризма норвежцев, к счастью, не коснулась. Но там совсем недавно произошло нечто, что напрямую, как мне кажется, связано с темой нашего сегодняшнего собрания. Связано, я бы сказал, стилистически. Тихая Норвегия до сих пор возбуждена наглым и грубым ограблением, случившимся 22 августа 2004 года. Из Музея Мунка в Осло вынесли две самые известные картины выдающегося норвежского художника Эдварда Мунка — "Крик" и "Мадонну". Другой вариант картины "Крик" уже крали однажды из Национальной галереи. Но тогда именно украли, а сейчас именно вынесли, взяли на гоп-стоп. Вроде не так уж важно, кража или грабеж, но — характерная примета времени. Как красиво показывают в кино интеллектуально-технические ухищрения, тянущие на Нобелевку, к которым прибегают виртуозы, чтобы стащить шедевры. А тут просто, тупо, результативно. Примерно то же самое происходит с терроризмом: вместо того чтобы разрабатывать схемы, можно оглянуться на длинную нетерпеливую очередь самоубийц и из нее кого-то выдернуть.

В этом смысле особенно примечательно, *что* именно похитили. Мунковский "Крик" — не просто икона экспрессионизма, это автопортрет XX века. Можно ни разу в жизни не быть в музее, никогда не слышать имени Мунка, но "Крик" знают все. Этот разинутый в вопле рот, эти дико искривленные линии не только человеческого тела, но и всего вокруг одинокого человека. "Крик" — анти-Джоконда или, если угодно, Джоконда XX века.

У Леонардо — соразмерность, покой, гармония плюс улыбочка эта: догадывайся почему. Хотя ясно: нам оттуда привет, над нами усмешка, как это мы таращимся.

У Мунка — хаос и ужас, и намеков никаких, все впрямую, потому что времени задумываться и догадываться нет: бежать, бежать и бежать, хотя некуда.

То, что произошло в Осло 22 августа — ограбление века. Не в расхожем и затертом журналистском значении, а в самом буквальном: ограблен XX век.

Не надо каждый раз и из всего делать символ и искать глубинных значений. Но здесь уж очень наглядный случай: в очередной раз подведен итог ушедшего столетия. Не так трагично и впечатляющее, как 11 сентября, но аналогия напрашивается: "Крик" — живописный аналог того

страха, который теоретически описал сосед Мунка по Скандинавии Кьеркегор, который практически сопровождал человека XX века на протяжении почти всего столетия: с Цусимой, "Титаником", двумя мировыми, революциями без счета, Соловками, Освенцимом, Хатынью и Катынью, Колымой, Хиросимой, кхмерами и хунвейбинами, Чернобылем. Нам напомнили: другое, простое наступило время, нечего рисовать страх, некогда, надо просто бояться".

Вопрос из зала, обращенный ко Льву Анненскому: "За что вы так любите власть?"

Лев Аннинский: "С чего вы взяли, что я ее люблю? В мирное время я знать ее не желаю. Но нам объявлена война. И вовсе не одной Чечней. Посмотрите на цепочку: от Индонезии через Кашмир, через Среднюю Азию, через нашу Чечню до Албании. Разве это простая национальная угроза? Им нужен халифат. Если вся история сводится, с чего я начал, к взаимоотношениям небольших национальных общин, конфликтов не избежать. Есть только один способ мирного сосуществования — выработать наднациональную идеологию. Православие на Руси было вселенским, было попыткой подняться над национальным эгоизмом, сделаться наднациональной общностью. Советская идеология была очередной такой же попыткой. Сейчас этого нет, мы стараемся стать национальностью, этническим единством — тогда ждите междуусобия. А потребность в такой идеологии есть. Поэтому Ильич Рамирес Санчес спокойно марксизм переводит в ислам. И угрожает нам от имени всего ислама. А ислам, между прочим, межнациональная, сверхнациональная идеология. Он глобализируется очень легко, оставляет полную свободу регионам жить по своему усмотрению. Я в ислам переходить не готов".

Алексей Венедиктов: "Я все-таки вмешаюсь. Президент Путин в 1999 году тоже сказал про халифат от Малайзии до Косова. Хотелось бы знать имя халифа. Это и есть упрощение. Вот эта дуга от Малайзии до Косова — всего лишь красивая мифологема для оправдания собственной неспособности разобраться с Чечней. Потому что, если это не маленькая Чечня, а целый халифат, неудачи наши объяснимы и даже почтенны.

Из зала **Сергей Арутюнов**, один из авторов тематического номера, член-корреспондент РАН, заведующий отделом Кавказа в Институте этнологии и этнографии РАН: "Сегодня я согласен со Львом Аннинским. Он прав насчет халифата. Есть сейчас международный лжеисламский терроризм. Лжеисламский, потому что ислам — благородная прекрасная религия, ничуть не хуже христианства, у которого, кстати, тоже было свое лжехристианство — испанская инквизиция. Так же как и фашизм был лжесоциализмом. И между фашистами — между Муссолини и Гитлером — было сколько угодно разногласий и не было идеи единого фашистского государства. Но тогда фашизм был мировым явлением и халифом его мог быть Гитлер, мог кто-нибудь еще, но за Гитлером, вначале по крайней мере, стояли Крупп и "И. Г. Фарбен Индустри". Нынешний халифат более цельный, чем Великий Рейх фашизма. За ним не просто бен Ладен. Бен Ладен миллиардер, он этакий эстет и романтик, каким был и Гитлер. Он был художником, романтиком, эстетом, идеалистом. А на самом деле за всем этим стоят просто деньги. Деньги, собранные на нефтяных спекуля-

циях, на наркотрафике, на торговле белыми рабами... И эти деньги хотят работать, хотят делать деньги, хотят, чтобы им не мешали. В мире чистых, совершенно чистых денег нет. Есть деньги грязноватые, есть сильно грязные, а есть кровавые деньги. И люди куда побогаче бен Ладена хотят, чтобы их кровавые деньги пошли в дело и приумножались. Цель, действительно, — халифат. Сейчас однополюсный мир. Отнюдь не самое цивилизованное государство в мире, США, во многом средневековое государство, является лидером в нашем однополюсном мире. И эти люди, сидящие на мешках кровавых денег, хотят продолжения однополюсного мира, но чтобы полюс был у них. А мы можем и не переходить в ислам, лишь бы мы исправно платили визирю, и их деньги бы приумножались, власть и мощь приумножалась. Вот это есть наш враг. И так же как Гитлеру был нужен Мюнхен, нужны Чемберлен и Даладье, были нужны капитулянты, соглашатели: этим людям нужна тоталитарная власть в стане их противников. Самое страшное, что для них может быть, это — демократия. Настоящие демократы, либеральные демократы, вроде Черчилля, Рузвельта и Трумэна, на сговор с мерзавцами, сидящими на мешках кровавых денег, не пойдут. А тоталитарный режим — какой бы он ни был — можно склонить к сговору, как склонил Гитлер Сталина — вспомним пакт "Молотова—Риббентропа". И если наша страна станет тоталитарной — угрозу чего я явственно сейчас вижу, — то от противостояния терроризму мы легко перейдем к соглашательству с ним. Мы еще, не дай бог, возглавим блок стран-изгоев. Не зря мы все еще целуемся с северо-корейским режимом, не зря мы так демонстрировали перед американским посольством, когда США вошли в Ирак, чтобы свергнуть Саддама Хусейна, не зря мы поставляем материалы для ядерного оружия в Иран... Возможность сговора идеологов халифата с любой тоталитарной страной существует, а вот возможности для сговора со страной демократической — нет и не будет никогда. Поэтому основным нашим ответом на наступление халифата должна быть защита демократии и противостояние любым попыткам утвердить тоталитаризм".

Отпущенное на презентацию время подошло к концу и в заключение заместитель главного редактора "ИЛ" **А. Я. Ливергант** обратился к собравшимся: "Дорогие друзья! Нам, людям, делающим журнал, трудно сказать, хорошим получился этот номер или нет, но полемика, возникшая благодаря нашему журналу, оказалась, мне кажется, вполне плодотворной. Тем более что те, кого в советское время называли мастерами культуры, не сказали в связи со случившимся ничего запоминающегося, принципиально важного. Этот номер, который готовился, как вы догадываетесь, за несколько месяцев до Беслана, оказался, увы, слишком актуальным. Хорошо, что столько народу пришло в этот зал, и мы с толком и с естественными эмоциями поговорили на темы, которые сегодня, к сожалению, выхода не имеют".

В *поисках утраченной поэзии*

В № 10, 2004 года в "ИЛ" были опубликованы материалы одноименного "круглого стола", посвященного современной зарубежной поэзии. Тема показалась нам достаточно важной, чтобы к ней возвращаться. Вопросы, заданные участникам "круглого стола", мы разослали литераторам, в очном обсуждении не участвовавшим. Вот эти вопросы:

1. Какой отрезок времени имели бы в виду вы, говоря о "современной зарубежной поэзии"?

2. Существует ли, на ваш взгляд, интернациональная общность поэтического опыта и развития?

3. Как по-вашему, может ли переводная — именно переводная — поэзия плодотворно влиять на поэзию другой страны?

4. Если да, то приведите, пожалуйста, пример подобного влияния, исходя уже из личной поэтической практики.

5. Разные это, на ваш взгляд, занятия или родственные — писать стихи и переводить стихи?

6. На правах специалиста, а нередко и культурного первооткрывателя скажите, пожалуйста, кого из значительных современных зарубежных поэтов вовсе не знает или почти не знает нынешний отечественный любитель поэзии? Укажите практические пути и способы, которые, по вашему мнению, помогли бы удалить эти пробелы.

7. Как вам кажется, принимает ли современная мировая поэзия участие в формировании духовного облика и эстетических наклонностей сословия, по традиции называемого интеллигенцией?

Сегодня на вопросы анкеты отвечают Владимир Гандельсман и Дмитрий Кузьмин.

Владимир Гандельсман

Родился в 1948 г. в Ленинграде, с 1990-го живет в Нью-Йорке и Санкт-Петербурге, поэт и переводчик, автор стихотворных сборников "Шум Земли", "Вечерней почтой", "Эдип", "Долгота дня", "Цапля", "Тихое пальто", "Новые рифмы", романа в стихах "Там на Неве дом", записных книжек "Чередования", переводов из Льюиса Кэрролла, Томаса Венцловы, Уоллеса Стивенса, Энтони Хекта и др.

1. Я думаю, что говорить об "отрезке" астрономического времени неверно.

Эмили Дикинсон "живее всех живых". Ее интонация настолько оригинальна и человечна, что пробивается даже в самых худших переводах. То же — Уоллес Стивенс. И Оден. И, разумеется, Шекспир.

Современная поэзия — это то, что созвучно вам, лично вам, здесь и сейчас. То, что находит в вас немедленный отклик, тот "колокольчик" из "Графа Нулина":

© Владимир Гандельсман, 2005

Кто долго жил в глуши печальной,
Друзья, тот, верно, знает сам,
Как сильно колокольчик дальный
Порой волнует сердце нам...

Уместные строки. Нет в обиходе русской жизни этого "колокольчика", как нет в обиходе русской поэзии "глуши печальной", – тем удивительней, что человек, произносящий эти стихи, – *вот* он: его интонация, простота и лиризм высказывания так ощутимы, как будто вы находитесь с ним в одной комнате.

И наоборот. Наимоднейший липковатый сленг, закадычный матерок, пристрастие к откровенным сценам, придурковатое обаяние перформанса и прочие отважные поползновения процесса, "позиционирующего" себя как сегодняшнюю литературу, для вас ничего не значат.

2. Для начала – цитата из интервью с Имоном Греннаном[1], американо-ирландским поэтом поколения шестидесятников, данного некоему молодому человеку:

"Наши поколения различаются кардинально. У вас совсем другие экономические, политические, исторические, личные стандарты. Мне кажется, что ирландская поэзия от Йейтса до моих современников занята одним и тем же, Ваше поколение занято другим, совершенно другим. Я бы назвал это началом другой траектории. В определенном смысле вы более 'отвязаны', чем ваши предшественники. Мне кажется, что новые начинания возникают здесь и сейчас, в то время как все, что происходило между 1920-ми и 1980-ми годами, было последовательностью движений и реакций из одного общего источника".

Я думаю, это типичный взгляд на "племя младое". Типичный и неверный, потому что повторяется из поколения в поколение.

По-моему, интернациональная общность поэтического опыта и развития заключается в отсутствии каких-либо закономерностей и в непрестанном их обнаружении учеными мужами.

Самое замечательное в этих обнаружениях и теориях, указывающих на пассионарность, социальные сдвиги, конец века (начало, середину) и прочее как на основу и на возникновение школ и течений и прочее как на результат, – их мгновенная незапоминаемость.

Потому что движение поэзии, а точнее ее существование, определяют гении, чье появление непредсказуемо.

Непредсказуемость, равно как и неизбежность их появления, и есть интернациональная общность поэтического опыта и развития.

Возможно, к этой общности применимо высказывание одного энтомолога по поводу видового разнообразия бабочек: "Реальностью стала точная противоположность того, что предполагалось еще двадцать лет назад".

Если же дать статическое и положительное определение общности, то я принимаю, скажем, такое: "Поэзия – это созидательное наименование сущности и бытия всех вещей".

3–4. Библию и Гомера поэты в большинстве своем читали в переводах. И многое-многое другое, без чего нет ни европейской, ни американской поэзии.

1. Рецензия на сборник И. Греннана, изданный "ARS-INTERPRES", напечатана в "ИЛ", № 4, 2004. (*Здесь и далее – прим ред.*)

Диалог "народа" в "Борисе Годунове":

Один. Все плачут, заплачем, брат, и мы.
Другой. Я силюсь, брат, да не могу.
Первый. Я также. Нет ли луку? Потрем глаза.
Второй. Нет, я слюнёй помажу...

Пушкин в ту пору читал Шекспира по-французски.

Говорить о "влиянии" значило бы умалять значение переводной литературы.

Она существует наравне с оригинальной и, кстати, доказывает неправоту исступленно односторонней "языковой" теории о том, что мысль своим рождением обязана исключительно языку и, как пишет исследователь, "поддерживается лишь энергией его движения".

В Америке в 60-е годы — расцвет переводческой работы.

Такие поэты, как Пабло Неруда, Сезар Вальехо, Пауль Целан, Рафаэль Альберти, Фернандо Пессоа, Збигнев Херберт и так далее и тому подобное, были впитаны и усвоены. Чарльз Симик[1], один из лучших современных американских поэтов, пишет: "Наши литературоведы, у которых в лучшем случае есть поверхностное представление о зарубежной литературе, привычно упускают из вида их значительное влияние на всех нас. Извечный вопрос для поэта любого возраста — как оживить лирическое стихотворение — предоставлял возможность различных, не найденных в то время в американской поэзии решений. Прежде всего нас восхищали экстравагантные сравнения и метафоры у этих поэтов, их 'дикорастущее' воображение..."

Вышеприведенный список мог бы возглавить Рильке, чье значение в переводной поэзии XX века огромно.

Сила его мысли очевидно выходит за рамки языка. Примером может служить чуть ли не любое стихотворение. Вот "Кафедральный собор". Казалось бы, достаточно его мощь воссоздать, сказав: "...в тех старых городках мы вдруг поймем, / насколько все, что льнет со всех сторон, / переросли соборы..." (Это перерастание всего, и себя в том числе, встречается постоянно: "И дерево себя перерастало...", "...земле мала / околица, она переросла / себя и стала больше небосвода...", в "Детстве" — "...там самый малый миг очеловечен и переполнен сущностью своей" и т. д.) Но нет, следует мгновенное удвоение-отражение: "...их подъем / безмерен так же, как безмерен взгляд, / что погружен в себя самозабвенно..."[2] Едва мы измерили высоту собора и оценили его мощь и стать, как выяснилось, что ему этого мало и что он не намерен уступать глубине и безмерности нашего взгляда, в который и обрушивается всей статью и мощью.

Культурно-историческая память, впитанная стенами собора, и духовная память человека, его сосредоточенность и способность созерцания не только взаимно сопоставлены в своем величии, но и образуют некую бесконечность, когда невозможно сказать, что прежде.

Такое ощущение, что на наших глазах то и дело пытаются создать вечный духовный двигатель. И одновременно кажется, что душа не сообщается с вечностью, что она в замкнутом пространстве и, словно бы отражаясь от стен земной обители, умножается в самой себе. И хотя

1. См. "ИЛ", № 10, 1977 и № 1, 2003.
2. Перевод Б. Пастернака.

изобретательность и сложность выживания этой самодвижущейся "системы" нас удивляет, все же не покидает и чувство опасности: вечный двигатель вот-вот заглохнет...

Повторяю, примерам нет числа. Примерам не языкового родства, но родства духовного состава человека. Этот избыток поэтического исследования, идущего вровень с избытком жизни, легко увидеть у Пастернака, чье появление при упоминании Рильке неизбежно ("...стал мигать обвал сознанья: вот, казалось, озарятся даже те углы рассудка, где теперь светло, как днем!").

Если говорить о своем скромном опыте, то именно так я полюбил "Дуинские элегии", к тому же в том возрасте, когда их почти не понимал и не ведал масштаба автора. Но есть стихи, и это в большей степени относится именно к переводной поэзии, где любишь словно бы не сами стихи, но автора, его духовное усилие.

И перевод в состоянии это усилие передать.

5. Занятия весьма разные.

В первом случае вы *пишете* текст, во втором — *исполняете*. В первом случае — искусство точного воплощения несуществующего, во втором — наоборот, искусство неточного воплощения существующего.

Перевод в идеале вообще может быть сделан не вами. С собственным текстом такой поворот событий сомнителен. Другими словами, искусство может делать любой талантливый человек, но вашу жизнь прожить можете только вы.

И все-таки родство есть. Каждому переводчику знакомо чувство, когда чужой текст становится вашим, и вы не "исполняете" его, но "пишете". В эти моменты перевод способен ожить: вы свободны настолько, насколько может быть свободна необходимость. У очнувшегося нет выбора: он *уже* очнулся.

Есть и "обратное" родство. Родство *работы*. Это ваша техническая оснащенность.

Труп должен быть аккуратно прибран.

6. Вопрос поставлен лестно. Поэтому настоятельно отвечаю как обычный читатель, иногда переводчик и (громко сказано) директор издательства.

Несколько лет назад я затеял "ARS-INTERPRES" — издательство, в названии которого сошлись два латинских слова, означающих "искусство" и "переводчик".

Вышли книжки уже упомянутого Имона Греннана, Луизы Глик[1], Энтони Хекта, Уоллеса Стивенса.

Первые трое мало известны российскому читателю, между тем являются значительными поэтами.

"Стихотворная ткань высшего качества, богатство деталей, напряженная музыка, напоминающая Китса. В то же время реальность сфокусирована и прояснена, каждая вещь дана в своей интимной сути, и от встречи с ней вы словно бы чувствуете прилив сил", — пишет о Греннане недавний поэт-лауреат Америки Билли Коллинз. В качестве образчика приведу лирическую миниатюру:

1. Рецензия на эти две книжки и переводы из Л. Глик опубликованы в "ИЛ", № 4, 2004.

Встреча

Лед с озера сошел, волна под ветром
Доказывает с пеною у рта,
Что так и есть. Но ниже полуметром –
Лишь руку погрузи – твердыня льда.

А подо льдом – пятнистая форель
С хвостом своих забот. Охотник встречный.
(Ты не вальдшнеп на воле, не беспечный
бекас, но если все-таки ты цель –
пока тебя не чует спаниель,
вникая в мокрый вереск, – вроде камня
замри!) Он говорит: "Вот, взять, фазан! –
Закуриваем. – Чуден! Несказан!
Как тут пальнешь? – Разлом ружья. – Пора мне".

Патроны. Винноцветные, с торца
Блестят, как обручальных два кольца.

Нынешний поэт-лауреат Америки Луиза Глик. Несколько слов о ней местного критика: "Отдельные стихи и сборники в целом строятся ярко и решительно, утверждая бесспорность и единичность каждой вещи. Возьмите неожиданный сюжет сборника "Дикий ирис", когда читатель вдруг понимает, что в книге, в ее многоголосье, звучат голоса цветов, рассказывающих человеку о своем бытии в мире. Или голос Бога, не услышанного людьми. Поэт позволяет читателю присутствовать при этой космической беседе, в которой голоса сплетаются, как в фуге, оставаясь независимыми и поддерживая своим звучанием величие и устойчивость целого".

Чувственный мир

Через чудовищную эту реку – речь –
К тебе, чтобы тебя предостеречь.

Жизнь вкрадчиво, твою природу нежа,
Прельстит тебя, потворствуя тебе же.

Я не была готова к ней. В той кухне
Тянулась к абрикосовому соку,

И лился сок в стакан со льдом сливовый,
Лиловый лился сок немного сбоку.

И длился день и все его оттенки,
Все привкусы, и я снимала пенки

С варенья летнего, все ароматы лета –
Оно лучилось, становясь светлее света.

Прелестно, упоительно. В том доме,
Где все прислуживало мне, моей истоме,

Где ничего я не любила, кроме
Чувствительности, — ничего искомей

Того, что было: жизни, растворенья
В ней, небыванья, парусного рвенья

Души, и бодрствованья, и всесилья,
И тайного спасенья. В дальней дали

Мерцают фрукты на стеклянном блюде.
С веранды видишь, как садится солнце.

Я не была готова ни к закату,
Ни к смене дней, ни к их исчезновенью.

И здравый смысл не защитит, бесплоден.
Знай то, о чем не ведала: нет родин

Других. В жару иль в холод —
Ты не насытишь свой насущный голод.

Состаришься, но жажда будет длиться.
"Еще хочу, — ты скажешь, — дай еще".

Миг равнодушный, нет, не удостоит
Ответом и, объяв, не успокоит.

И, значит, даст всего. И все удвоит.
И разорит. И с миром упокоит.

Энтони Хект родился в Нью-Йорке в 1923 году, он старейшина американской литературы. Воевал в Европе и в Японии. После войны и учебы стал выдающимся профессором англоязычной литературы, долгие годы преподавал, в основном в Вашингтоне, где и живет по сей день. Его перу принадлежат многочисленные стихотворные сборники, критические и переводные работы, среди которых выделяются переводы стихов Иосифа Бродского. Бродский в начале восьмидесятых писал: "Энтони Хект — безусловно лучший поэт, пишущий в наше время по-английски. <...> На фоне нынешней — в поэзии и в быту — разноголосицы благородное достоинство и смиренность хектовской дикции таковы, что кажется, будто его речь обращена не к людям, а к обитателям неземных пределов. <...> И все же адресаты Хекта — не ангелы и не божества, а нечто большее. Я полагаю, что он просто беседует с английским языком, чью красоту, мудрость, чувственность, цельность, иронию и непреходящую природу этот поэт отражает как ясное чистое зеркало".

Затишье

Над озером бродяжит в полусне,
Как призрак, пар.
Тишайший теннисоновский рассвет.

Деревья ищут абрис свой на дне.
Мерцанье мглы. Серебряный удар
Среди листвы текучей. Миг — и нет.

В алмазных каплях паутины ткань
Провисла на
Кривых кустах, как цирковой батут
От тяжести гимнастов, эта рань
Роскошная, и блеск, и тишина,
Как пресс-папье, чернилами минут

Пропитанная. Нет ни птиц, форель
Вновь не взорвет
Полетом гладь воды. Все впереди.
Не шелохнется мир, недвижна ель —
Вроде китайской вазы предстает
Старинной, истончившейся в пути.

Чем так меня тревожит мир, какой
Такой намек
Он, словно бы прозрев меня, таит?
Я тоже узнаю его прибой,
Грозящий, как пружины сжатый вздрог.
Как мощно тишина кругом стоит!

Над водной гладью ловит нежный всход
Лучей мой взгляд
Той первой персиковою порой
Бог знает где, в Германии, вот-вот
Рассвет, стою, сжимая автомат
Холодный, отвратительный, сырой.

Судить об Америке по голливудскому кино и прочим глупостям массовой культуры — безумие. По многим причинам. В частности потому, что есть хорошие и *очень* хорошие поэты, и далеко не все они известны или достойно переведены в России. Как восполнить этот пробел? Есть несколько безнадежных путей для получения материальной помощи. Один из них — научить читать тех, кто умеет только считать.

7. Блейк сказал, что "обобщать — значит быть идиотом". Так вот, если *быть* им и обобщить, то — не принимает.

Вообще искусство производит впечатление только на юных. Да еще на тех, кто им занимается. Правда, на них производит впечатление, причем ошеломительное, в основном *собственное* искусство.

Научно-техническая интеллигенция слишком устает на работе, чтобы потом еще уставать над книгой. (И скорее есть обратное влияние: гуманные литераторы угождают непреднамеренным требованиям утомленных интеллектуалов, чтобы завоевать их сердца.)

"Профессиональная" интеллигенция — скажем, литературные критики, — по моим наблюдениям, поэзию не понимают, а потому не любят. Их больше занимает построение своей иерархии в литературе. Полагая, что определяют в ней погоду, они своими "метеорологическими" прогнозами мучают прессу и читателя, и, возможно, именно *они* хотели бы

принимать участие в формировании "духовного облика и эстетических наклонностей" интеллигенции.

Трудно представить себе поэта, который пишет: "Друг мой, друг мой, я очень и очень болен...", или "и с отвращением читая жизнь мою...", или "я не люблю людей..." – и хочет того же.

Так что рассеянная невосприимчивость интеллигенции как бы идет навстречу сосредоточенному нежеланию этой встречи представителя мировой поэзии. И это помогает им разминуться.

* * *

Дмитрий Кузьмин

Дмитрий Кузьмин родился в 1968 г. в семье литераторов и музыкантов (бабушка – переводчик Нора Галь). Окончил Московский педагогический госуниверситет. Публиковал стихи (напечатаны также по-английски, по-французски, по-итальянски, по-польски, по-китайски), статьи о современной литературе, переводы современной поэзии с английского и прозы с французского (А. де Сент-Экзюпери). Организатор ряда литературных фестивалей, главный редактор издательства "АРГО-РИСК", специализирующегося на современной поэзии.

1. Предполагать, будто для всего множества национальных литератур Нового времени возможна единая периодизация, кажется мне излишней смелостью. Со времен известных тезисов Тынянова и Якобсона мы представляем себе, что наличное положение дел в литературе возникает в результате взаимодействия ее собственных эволюционных процессов (сколь бы революционны они ни были) с широким культурным, социальным, идейным контекстом. Сопоставление ситуации в разных национальных литературах в определенный момент времени неизбежно вынуждает отвлекаться от одной стороны во имя другой: говорим мы либо о том, как одна и та же проблема внутрилитературного развития решается в зависимости от обстоятельств данной страны и данного языка, либо о том, как одно и то же кардинальное потрясение в смежных "исторических рядах" – будь то мировая война или появление Интернета – воздействует на разные национальные литературы с накопленными в них проблемами и приемами. Для того чтобы при делении на периоды пренебречь национальной спецификой, надо мерить очень крупными временными отрезками, веками: при таком взгляде современность придется числить, скажем, с Бодлера (и с Брюсова в России), что на свой лад справедливо, но едва ли позволяет нам узнать что-то новое о делах дня сего. А если принять, что границы понятия "современность" всякая национальная литература должна проводить по-своему, то нужно либо отказываться от определения временны́х рамок "современной зарубежной поэзии" (предоставляя специалистам рассказать нам о том, когда следует начинать отсчет современной французской поэзии, когда – греческой, а когда – китайской), либо искать точку отсчета внутри нашей собственной литературной ситуации. Этот второй вариант рассуждений ведет, как мне кажется, к необходимости ответить на вопрос о том, какой отрезок времени мы подразумеваем под "современной рус-

© Дмитрий Кузьмин, 2005

ской поэзией", и далее под "современной зарубежной поэзией" понимать все, что в этом же временно́м промежутке происходит за пределами русского стиха. И поскольку мне уже приходилось (например, в статье "Против 'бронзового века'", опубликованной в "Русском журнале"[1]) подробно аргументировать точку зрения, согласно которой современная русская поэзия начинается с рубежа 1950–1960-х годов, с возникновения неподцензурной литературы как особого, самостоятельного культурного пространства, — постольку я уж и современность зарубежной поэзии стал бы мерить той же меркой, не забывая ни на минуту о том, что какой-либо смысл этот подход имеет только в рамках разговора о нашей, здешней проблематике.

2. Существует, разумеется. Причем не только потому, что даже в худшие времена какой-никакой диалог между разными национальными культурами и литературами имеет место, но и потому, что мир един, и на определенные глобальные сдвиги приходится отзываться поэтам всех стран. Вот, к примеру, в XX веке благодаря новым технологиям в области транспорта и связи совершенно изменились привычные человеческие представления о пространстве и времени, о том, что такое далеко и близко, — и в лирике авторов из самых разных стран возникает мотив остро переживаемой близости с человеком, который находится на другом конце земного шара, причем острота этого переживания многократно усиливается от того, что разделяющее двух людей расстояние одновременно и преодолимо (через потрескивающий эфир в телефонной трубке или мерцающие буквы чата), и непреодолимо (нельзя обнять, поглядеть в глаза...).

Очень выразительный пример интернационализации поэтического пространства в XX веке — превращение японской поэтической миниатюры хайку в жанр, актуальный для большинства европейских и американских поэтических традиций. С одной стороны, с 70-х годов возникает — сперва в США, а потом и по всему миру — совершенно удивительный феномен haiku community: авторы, работающие в этом жанре, находятся в постоянном контакте, обмениваются идеями и текстами (используя в качестве интернационального языка английский: переводу хайку со всевозможных языков и размещению их в едином пространстве в значительной степени посвящена деятельность базирующегося в Лондоне, но, по большей части, вполне виртуального Всемирного клуба хайку, этому же способствует и ряд проводящихся в Японии — например, одной из крупнейших японских газет "Майнити" — международных конкурсов хайку на английском языке). С другой — сопоставляя развитие американского, русского и польского хайку за последние полвека, нельзя не заметить множества параллелей, явно вызванных не обменом информацией, а близким ходом мысли авторов из разных стран, стремлением решать сходные художественные задачи: от постепенной урбанизации представленного в хайку пейзажа до попыток отказаться от привычной Западу записи хайку в три строки, приведения хайку к форме моностиха, паузировки этого моностиха увеличенными межсловными пробелами и т. п. Невозможно себе представить, чтобы живущий в Орловской области поэт военного поколения Евгений Понтюхов, занимающийся подобными опытами, был знаком с заявившей об их правомерности статьей канад-

1. http://www.russ.ru/krug/20000901.html

ского поэта Кларенса Мацуо-Аллара в торонтском журнале "Цикада", – разумеется, здесь перед нами чистая конвергенция.

3–4. В опыте русской поэзии такие примеры есть: взять хоть те же хайку в переводе Веры Марковой, во многом повлиявшие не только и даже не столько на авторов русских хайку, сколько вообще на традицию русской верлибрической миниатюры второй половины XX века. Чаще, однако, на творчество того или иного автора влияют иноязычные поэты, прочитанные в оригинале, особенно если этот автор их переводит. Даже трудно сказать, где здесь причина, а где – следствие: желание перевести возникает от ощущения творческой близости, но и в процессе перевода, когда нужно вдуматься и вчувствоваться в каждое слово, в каждый прием оригинала, возрастает способность усвоить элементы чужой поэтики. Впрочем, если поэт высоко одарен еще и как читатель (что, вообще говоря, кажется вполне естественным), то такое глубокое проникновение возможно и без эксплицитной переводческой работы. Много говорилось об этом эффекте в связи с Бродским или Аркадием Драгомощенко. Пристальное чтение широкого круга западных авторов середины XX века – от итальянских герметиков до американских имажистов – легло (наряду, разумеется, со многими другими литературными и культурными источниками) в основу поэтики Шамшада Абдуллаева и возникшей вокруг него ферганской школы русского стиха. Известный своими переводами из польской, немецкой, латышской поэзии рижанин Сергей Морейно в своих поэмах и стихотворных циклах постоянно вступает в диалог с "героями" своих переводов, будь то Чеслав Милош, Карл Кролов или Юрис Куннос. В моем поколении следует отметить важность опыта Чарльза Буковски для переводившего его Кирилла Медведева (при том, что сам Медведев настаивает, и вполне справедливо, что для него этот опыт ценен именно в тесном взаимодействии с опытом Яна Сатуновского, Всеволода Некрасова и других ключевых фигур новейшей русской поэзии). Определенно повлияли на стихи Станислава Львовского современные американские авторы, на стихи Полины Андрукович – современные французы (в лице, допустим, Андре дю Буше), на стихи Анны Глазовой – немецкая поэзия XX века. Скажу и про себя: теми стихами, которые я пишу последние лет восемь, я во многом обязан американскому поэту Чарльзу Резникоффу, которого мне посчастливилось впервые перевести на русский язык, его сухая, нарочито безэмоциональная хроника (то, что у Бродского только продекларировано строчкой "Это – ряд наблюдений"), выстроенная так, чтобы служить одновременно стенограммой движений сердца, позволила мне нащупать, как мне кажется, свой собственный интонационный нюанс, который только и может оправдать умножение океана поэтических текстов.

5. Разные, но родственные. Мы знаем великих, блистательных мастеров стихотворного перевода, не замеченных в собственном поэтическом творчестве, – таких, как Вильгельм Левик или Анатолий Гелескул. Знаем и хороших поэтов, чьи переводческие работы вызывают большие сомнения – и наоборот. Точка зрения, в соответствии с которой художественный перевод – дело не для писателя, а для филолога, имеет право на существование. Но ведь любой художественный перевод балансирует между двумя более или менее взаимоисключающими задачами: сообщить нашему читателю, что происходит в чужой и далекой литературе, культуре, и создать произведение, которое войдет интегральной частью в нашу литературу и культуру, станет для читателя родным. Для

первой задачи лучше годится ученый, для второй — поэт (если только то, что он переводит, ему по-настоящему созвучно). Для культуры необходимо то и другое.

6. Думается, что нынешний отечественный любитель поэзии en masse не знает никого из значительных современных зарубежных поэтов — да и из значительных современных русских поэтов знает мало кого. Современная поэзия требует от читателя серьезных усилий, к которым он зачастую не готов, а то и попросту не понимает, в каком направлении эти усилия должны быть приложены. Отчасти это связано с тем, что в нашей стране нет вменяемой литературной критики, готовой помочь читателю. Если же говорить об особенностях ситуации с переводной поэзией... Ну, конечно, можно пофантазировать. Например, о серии антологий современной зарубежной поэзии (по странам). Или о ежегодном фестивале, каждый раз посвященном какой-нибудь одной стране. Или о серии совместных выступлений наиболее известных русских поэтов со своими зарубежными коллегами — в надежде привлечь русского читателя знакомым и заставить хоть чуточку полюбить и незнакомое... И ведь нет во всем этом ничего невозможного — скажем, неделя британской поэзии в Москве в мае 1998 года или дни австрийской поэзии в сентябре того же года были вполне удачны. Но только системной работы пока не получается: от таких живых встреч — прямая дорога к хорошему сборнику, а где он? Может быть, дело в деньгах, а скорее — в том, что для любого масштабного культурного проекта (например, знакомства русского читателя с современной поэзией определенной страны) нужен человек, готовый положить на это пару лет жизни.

7. Сегодняшним молодым русским интеллектуалам нужна литература, близкая их мировосприятию. Думаю, она вполне может быть создана в любой точке земного шара. Но как нам здесь об этом узнать? Боюсь, придется ответить на этот вопрос отрицательно.

Во всяком случае, моя попытка в этом направлении — книжная серия издательства "АРГО-РИСК" "Молодая поэзия мира", в которой за полтора года вышли всего три книжки, — уперлась прежде всего в невозможность достоверно выяснить, кто из 20—30-летних авторов в разных странах действительно представляет серьезный интерес, в том числе и для русского читателя.

Что же касается приложенной статьи А. Кляйнзалера[1], то высказывания поэтов о катастрофическом состоянии современной поэзии всегда вызывают настороженность: как ни крути, а остается неприятный осадок, потому что в подтексте читается простая мысль: "Вот я — действительно, а эти остальные..." Особенно неприглядно смотрятся инвективы в адрес младшего литературного поколения от автора, которому за пятьдесят, поскольку понятно, что ярость этих инвектив обратно пропорциональна интересу, который младшее литературное поколение к этому автору испытывает. История поэзии показывает, что, во-первых, больше всего отчаянных возгласов о гибели словесного искусства раздается тогда, когда оно находится на переломе, на подходе к новому расцвету, а то и в разгар этого расцвета, от приверженцев более архаичной литературной стратегии; во-вторых, преемственность в искусстве определяется не за счет одобрения старшими авторами подающих на-

1. "ИЛ", 2004, № 10.

дежды наследников ("в гроб сходя, благословил") — такое одобрение обычно достается старательным эпигонам, — а за счет свободного выбора новых литературных поколений, канонизирующих когорту своих старших товарищей в качестве классиков и предшественников, а иным в такой канонизации отказывающих. В силу этого памфлет неизвестного мне американского поэта в целом кажется мне малосимпатичным и малоинтересным сочинением, а сквозящая в нем уверенность, что именно он, конечно (а не Оден или Паунд), точно знает, что такое поэзия, — смехотворной и отталкивающей.

Что до системы Creative Writing, то аналогией этой системе в России следовало бы считать не столько Литературный институт, сколько многочисленные литературные студии и объединения, широко распространенные в советские времена: в отличие от Литературного института (готовившего "профессиональных писателей", которые по замыслу должны были сразу встраиваться в систему государственного управления литературой как подразделением пропагандистской машины), эти студии и объединения изначально были ориентированы на поддержку творческой активности более или менее широких масс, из которых "профессиональные писатели" могли рекрутироваться постольку-поскольку, в качестве желательного, но вовсе не обязательного эффекта; собственно говоря, американская система Creative Writing настроена — вопреки тому, что пишет Кляйнзалер, — точно так же. В отличие от американской, советская система давно умерла, с творческой активностью масс нынче никто толком не работает, и это вовсе не так правильно, как может показаться: люди одаренные могут возникать в самых разных местах, и не худо было бы как-то за этим послеживать — не столько в видах человеколюбия, сколько в интересах самой литературы. Отсутствие такой работы в последние пару лет восполняется хорошо поставленными Интернет-проектами вроде сайта Stihi.ru, где постепенно начинает собираться в самом деле способная молодежь, предоставленная самой себе, толком ничего не читавшая и находящаяся под властью разнообразных странных заблуждений относительно положения дел в поэзии вообще и в современной русской поэзии в частности, — все это достаточно тревожно, и, честно говоря, глядя на подобного рода вольницу, начинаешь думать, что система Creative Writing, при всех ее очевидных недостатках, имеет свои резоны.

С. Апт
Классическая филология

С отделением классической филологии МГУ моя жизнь была связана целых семь лет. Я говорю "целых", хотя сегодня, через полвека с хвостиком, этот срок не кажется мне таким уж большим. Но, мысленно переносясь в те годы, я вижу себя то студентом, то аспирантом, — теперь эта разница совершенно не важна, важно, что молодым человеком, — а в молодости не то что год, а какая-то одна зима, какое-то одно лето — уже эпоха.

Я и сейчас могу представить себе лица и голоса многих педагогов и служащих филологического факультета той поры, всего факультета, не только своей кафедры. Могу описать узкие, темноватые коридоры старого здания на Моховой, холодные, то и дело перегораживаемые фанерными стенками комнаты, мысленно увидеть и услышать покрикивающего визгливым фальцетом, но в общем-то симпатичного замдекана А. К. Петрова, двух секретарш — спокойную и доброжелательную Серафиму Ивановну и резковатую, властную Татьяну Никандровну, скромнейшего кассира Алексея Ивановича, прилепившего однажды к окошку своей конурки листок с незабываемым оповещением: "Ушел в банк. А когда вернусь?" И ходивших по этим коридорам знаменитых профессоров — величественного Виноградова, не расстающегося с тюбетейкой Благого, энергичного, подвижного Гудзия, медлительного Леонида Гроссмана.

Этих людей знали в лицо, наверное, все, кто учился на филологическом факультете в одно время со мной. Из "классиков" же популярнее остальных был, несомненно, Сергей Иванович Радциг. Неудивительно. Он читал лекции по античной литературе и для русского, и для западного, и для славянского, и для искусствоведческого отделений, читал еще в довоенном ИФЛИ, а может быть, и в эвакуации в Свёрдловске (так, с ударением на первом слоге, произносил он тогдашнее название Екатеринбурга). Но главная причина его популярности была не в беспримерном количестве слушателей, а в экстравагантности его манеры чтения. Цитируя Гомера, он пел на лекциях. Он не просто пел стихи, а приходил при этом в восторг. Его глаза не то чтобы вспыхивали, а начинали светиться матовым светом, как экран мобильного телефона, и делались похожи на невидящие глаза древних бюстов, а седая бородка начинала дрожать. На первокурсников, для которых сама античная литература была открытием Америки, это производило неизгладимое впечатление.

Я думаю, что в сталинское время вообще и в годы постановлений ЦК о литературе, музыке, театральной критике в частности такой популяризаторский пыл Сергея Ивановича, который и думать не думал фрондировать, приобретал и более важный смысл, чем удивление и

© С. Апт, 2005

обеспеченное внимание аудитории. Студенты получали на его лекциях какую-то гуманистическую прививку. В его наивных распевах таилась какая-то вакцина сопротивления поветрию лжи. И одно это было очень большой заслугой Радцига. Но он не исчерпывался популяризаторским энтузиазмом. Радциг был настоящим знатоком греческого языка, терпеливым и опытным педагогом. И, заведуя кафедрой классической филологии, исполнял эту роль с великим тактом. Он не пресмыкался перед начальством, не плел интриг, не разводил склок, что стало особенно очевидно после того, как председательское место на заседаниях кафедры занял другой.

У Сергея Ивановича была одна маленькая слабость, которая и тогда, когда я был его студентом, умиляла меня, хотя однажды могла дать мне повод для огорчения. Его любовь к поэзии не удовлетворялась таким действительно оригинальным и смелым выходом в мир, как пение на лекциях, а стремилась вылиться в переводы стихов. В своем довоенном еще учебнике он хотел дать цитаты из древнегреческих поэтов в собственных переводах, но редакторы воспротивились, и Сергей Иванович отстоял свое право печатно оговорить в примечании, что переводы автора учебника заменены по настоянию редакции уже существующими. Наверное, это примечание, напоминающее общеизвестный пассаж об унтер-офицерской вдове и прочитанное мною задолго до личного знакомства с Сергеем Ивановичем, было для меня уже достаточной подготовкой, чтобы не обидеться и даже не очень-то огорчиться, когда он как научный руководитель моей дипломной работы попросил меня не прилагать к реферату о Феогниде моего перевода 1381 строки его дошедших до нас элегий. Огорчился я разве только оттого, что рухнула моя тайная надежда избавить себя этим трудоемким переводом от писания скучного реферата на весьма скудном материале. Но обиды не было во мне ни капли, наоборот, я был умилен и польщен, когда в отзыве о моем, я уверен, темном и вялом докладе Сергей Иванович назвал меня "сериозным молодым ученым". Да, именно так, не "серьезным", а "сериозным". Правда, с современным "и", а не с "і".

Но путь к греческим текстам начался для меня, как ясно каждому, кто соприкасался с классической филологией, не с Гомера, Софокла, Платона, а с грамматики, с морфологии, которую мы, по примеру дореволюционных учеников, называли этимологией и в которой главенствовали глаголы, и синтаксиса, после чего следовал Ксенофонт с "Анабасисом" и "Воспоминаниями о Сократе". А читать по-гречески мы учились по старым гимназическим хрестоматиям, по фразам, подобранным или придуманным с педагогической хитростью, с какой-нибудь прикладной целью, чтобы там попался на первых порах какой-нибудь дифтонг, затем какие-нибудь нужные образцы склонения или спряжения, затем всяческие неправильности и т. д. и т. п. Эти первые пробы чтения поразили меня и запомнились навсегда. В немудреных, сочиненных, может быть, для детей и подростков, может быть, какими-нибудь собратьями чеховского Беликова фразах встречались обобщения, которые могли казаться вечными истинами, опытом древних мудрецов и своей бесхитростной простотой разительно отличались от тех выморенных, вымоченных в идеологическом маринаде текстов, какие каждый студент-гуманитарий должен был заглатывать изо дня в день. Вот, например (здесь в русском переводе): "Вечер приносит спокойствие", или "Старухи болтливы", или "Мы любим правду и дружбу". Хотя прекрасно знаешь, что спокой-

ствия вечер может не принести и вообще утро вечера мудренее, что старухи бывают немногословны и замкнуты, а уж насчет любви к правде... — подобные фразы могут быть обаятельны своим наивным позитивизмом, который человечнее навязших в ушах непререкаемых догм.

Но грамматикой занимался с нами не Радциг, хотя и он перемежал чтение авторов грамматическими, так сказать, разминками. Он вызывал нас поочередно, и вызванный спрягал, скажем, какой-нибудь замысловатый глагол сразу, например, в сослагательном наклонении, стараясь не осрамиться перед учителем и коллегами.

Нашей преподавательницей грамматики была Жюстина Севериновна Покровская. Читать Ксенофонта мы тоже начали с ней. В одной группе со мной учился муж ее дочери, а сама Наташа — на том же курсе, что мы, только на другом отделении — западном. Это, конечно, сближало Ж. С. с ее молодыми слушателями, но главным источником тепла, согревавшего наши отношения, были, конечно, не эти семейные обстоятельства, а живой нрав, душевная открытость, замечательно сочетавшаяся с воспитанностью, искренность Жюстины, как мы, — разумеется, за глаза, — фамильярно-любовно называли ее. Жюстина Севериновна была француженкой, она выросла и училась в Москве, а фамилию получила от мужа, академика М. М. Покровского. В те годы, о которых я рассказываю, она уже была вдовой, немолодой женщиной, но в ее манерах, особенно в манере говорить, в быстрой, но четкой речи, где слова словно бы слиты в блоки, сохранялось, при всей московской чистоте произношения, что-то неопределимо французское. Это неопределимо французское, идущее, наверное, от глубокой старины, от времен еще, может быть, кровопролитной вражды между Англией и Францией, позабавило меня и в одной ее реплике, которая потому, вероятно, и запомнилась, что в ее снисходительной насмешливости мелькнула Франция.

Урок греческого проходил в клетушке, отделенной от соседней клетушки фанерной перегородкой, за которой шел урок английского языка. Фанера не создавала акустической изоляции, а у англичанки был зычный голос, и, устав от борьбы с ним, Жюстина Севериновна, пожав плечами, развела руки, подмигнула нам и сказала:

— Давайте помолчим, подождем, пока она не проглотит все свои гласные, а потом продолжим.

На мысль о Франции на меня наводила и внешность Ж. С. Я знаю, что наши суждения о сходстве или несходстве человеческих лиц очень субъективны, как и вообще наши ассоциации. Может быть, я ошибаюсь, но ее лицо почему-то всегда напоминало мне портрет Анатоля Франса, еще не старого, не седого. По разрезу глаз, по форме носа она могла бы сойти за его близкую родственницу. Как-то перед началом урока она с волнением и юмором рассказала нам о происшествии, только что случившемся с нею в вагоне трамвая. Она ехала вместе со своей старой матерью, и говорили они между собой, как всегда, по-французски. Кто-то из пассажиров сделал им замечание: мол, в общественном транспорте следует говорить по-русски. Ж. С. возразила, что в России (она так и сказала — "в России", не в "Советском Союзе") нет такого закона, который запрещал бы говорить по-французски в трамвае. Ей ответили:

— Знаем мы, что это за французский.

Ее высказывания на темы дня (замечу: во второй половине сороковых годов) вообще отличались прямотой, но в прямоте Жюстины не было ни тени щегольства смелостью, ни того, что позже называлось дисси-

дентством, в ней чувствовались природный либерализм, непоколебимая вера в здравый смысл, мешающая видеть враждебную здравому смыслу реальность, грубо говоря – отсталость от времени, отсталость, которая в одних случаях раздражает, а в других, наоборот, вызывает сочувствие.

– Молодежь стала ужасно аполитична, – говорила Ж. С. с отчетливым, хотя и безударным "о" в последнем слове. – Никто ничего не обсуждает, все как воды в рот набрали. Вот мы в свое время без конца спорили: Каутский, Бернштейн, Эрфуртская программа...

Это я слышал от нее своими ушами поздней осенью 1946 года, в присутствии всей нашей группы, человек десяти.

О другом выразительном свидетельстве отставания Ж. С. от времени я слышал от участников заседания кафедры, на котором разбирали проступок студента, не посещавшего занятий по военному делу и подлежавшего за это чуть ли не исключению.

Студент был способный, увлеченный античностью мальчик, и дело в конце концов, слава богу, уладили. Искренне желая помочь провинившемуся, подсказать ему убедительное для зачинщиков "персонального дела" объяснение своей нерадивости, Жюстина Севериновна, торжествующе сверкнув глазами, воскликнула:

– Скажите, Гай, может быть, вы пацифист?!

И надо же было судьбе сделать ее тещей собственного студента. Додик П. был в одной со мной группе, и на уроке мы часто сидели рядом. Он хронически страдал от недосыпания. До женитьбы он ежевечерне провожал Наташу в Хамовники и, бывало, не успевал вернуться домой до наступления не отмененного еще комендантского часа. Его задерживали, и остаток ночи он часто проводил в милицейском участке. Поэтому на уроках он то и дело задремывал. Мы читали каждый по куску "Одиссеи", переводили, комментировали, а Радциг задавал нам вопросы, поправлял и дополнял наши ответы. Однажды Сергей Иванович вызвал Додика, но тот не отозвался. Прекрасно видя, что студент спит, профессор невозмутимо, но чуть громче, чем обычно, сказал:

– Ободритесь, товарищ П.!

Товарищ П. не внял, я тихо толкнул его в бок, он встрепенулся и, шепнув мне: "Никто не заметил, что я заснул?", принялся с грехом пополам читать свою порцию. Он и вообще-то не блистал в науках и был в этом отношении антиподом злосчастного "пацифиста". Помню почти дословно текст, который он показал мне, чтобы узнать, окажут ли его доводы, по моему мнению, желаемое действие. "В профком филологического факультета от инвалида войны, орденоносца и отличника П. Настоящим прошу выдать мне ордер на сапоги. В сапогах, которые ношу, я прошел от Смоленска до Берлина и обратно. Если у меня все еще приличный вид, то только благодаря заботам моей жены Покровской Н. М., дочери покойного академика Покровского М. М. К сему П.". Доводы я нашел убедительными, посоветовав только для красоты написать "кавалера" вместо "орденоносца", а слово "отличник" вообще убрать, поскольку пятерку Додик получил по единственному экзамену последней сессии – военному делу. Усомнился я и в уместности упоминания родственных связей. Додик согласился только с одним замечанием и написал "кавалера орденов".

Жюстина Севериновна явно испытывала затруднение, когда ей приходилось обращаться к Додику по служебной обязанности. Общеприня-

тая формула "товарищ + фамилия", которой воспользовался, например, в своем призыве "ободриться" Радциг, казалась ей, наверное, применительно к собственному зятю фальшивой, а назвать его в официальной обстановке просто по имени, тем более уменьшительному, видимо, не поворачивался язык. Она называла своего студента и зятя "товарищ Давид", и каждый раз, когда я слышал эти два слова, мне бывало ее мучительно жаль. Мне слышался в них отзвук всей тягостности совместной жизни двух психологически несовместимых людей.

Распорядителем панихиды по Жюстине Севериновне — в католическом храме Св. Людовика на Малой Лубянке — был Додик.

Людей собралось мало, в пустой церкви мы просторно разместились на скамейках двух первых рядов. Служба долго не начиналась, Додик вел какие-то переговоры с церковными служащими и нервно ходил у нас перед глазами взад и вперед, пересекая неф во всю его ширину. На траверзе алтаря он каждый раз замедлял шаги, почти замирал, и тогда в его позе появлялось что-то похожее на стойку "смирно". Он явно не знал, как вести себя в создавшихся обстоятельствах, ему было сейчас так же неловко, как бывало покойной, когда она обращалась к нему: "товарищ Давид".

Прощание с нашим латинистом Павлом Матвеевичем Шендяпиным состоялось на несколько лет раньше. Оно было значительно многолюднее панихиды на Малой Лубянке и происходило в клубе МГУ на улице Герцена. Из надгробной речи его коллеги и соавтора, тоже ветерана классической филологии, тоже прекрасного педагога А. Н. Попова я узнал одну подробность биографии Павла Матвеевича, который всегда был так сдержан, так безукоризненно корректен, что во время занятий не позволял себе не то что признаний личного характера, но даже коротких отступлений, даже обмолвок этого рода. Он вообще старался не тратить ни одной минуты из двух, а то даже из четырех академических часов на что-либо, что не относилось к его главной задаче — научить, объяснить, натренировать, вникнуть с учеником в каждую грамматическую тонкость, в каждую молекулу латинского текста.

— Мы все, — так выразился Попов, — шли после гимназии в университет, а у Павла Матвеевича не было средств — и вот, позвольте, в конторщики.

Удивительно ли, что я узнал это только у его гроба, если его женитьба на студентке из моей группы, студентке, которую я хорошо знал, долго оставалась для одних, в том числе и для меня, тайной, а для других, знавших об этой странности судьбы, — необсуждаемой темой. Деликатность учителя, вероятно, намагничивала деликатностью учеников.

Трудно сказать, в чем секрет преподавательского мастерства. Есть даже, не знаю, впрочем, сохранилась ли до сих пор, такая дисциплина — методика, но думаю, что никакие методики не сделают человека педагогом, если у него нет суммы качеств, которые достаются только от природы и совершенствуются только прожитым и пережитым. Но живой пример высокого преподавательского мастерства бывает заразителен, может при случае увлечь другого, научить его тому, чему никогда не научат методические пособия. Занимаясь уже в аспирантуре английским, я поражался умению нашей преподавательницы, женщины вообще-то, как теперь говорят, жесткой, не очень располагавшей к себе, добиваться от нас, при скупом рационе учебных часов, быстрого продвижения в

пересказе прочитанного и в разговорной речи. И вот, в неожиданно лирическую минуту она вдруг сказала:

— Я училась преподавать у своего учителя латинского языка Павла Матвеевича Шендяпина.

Не знаю, были ли у Павла Матвеевича дети, не знаю, с кем он дружил и дружил ли с А. Н. Поповым. Помню, что он походя упоминал как своего, судя по тону, доброго знакомого артиста Художественного театра В. О. Топоркова. И я каждый раз думал, что и у самого Павла Матвеевича есть все внешние данные, чтобы играть именно во МХАТе, не в Малом: правильные черты лица, благородная седина, общая подтянутость, приятно-четкое произношение без московской грубоватости персонажей Островского, элегантно-корректная фетровая шляпа, замечательно подходившая к его чисто выбритому лицу. Павла Матвеевича давно нет на свете, как нет и Александра Николаевича Попова. Не знаю, жива ли его кратковременная жена, моя сокурсница Нина Клячко. Говорили, что она уехала в Израиль, но ведь говорили-то уже лет тридцать назад. Но еще живые пока ученики произносят его имя с любовью. Остался учебник двух авторов — Попова и Шендяпина, самый, по-видимому, долговечный след, оставленный на земле Павлом Матвеевичем.

Гораздо громче звучало среди филологов имя другого латиниста (и "грека" к тому же), Сергея Ивановича Соболевского. Он был непререкаемым авторитетом во всем, что касалось грамматики обоих древних языков, состоял членом-корреспондентом Академии наук, по его книгам учились и шестьдесят лет назад, и учатся до сих пор. Но людей, которым довелось его близко знать и, возможно, любить, уже нет на свете. Потому что Сергей Иванович был всего на четыре года моложе Чехова. Я застал его в роли первосвященника классической филологии уже в том возрасте, когда эта роль могла быть не каждодневно играемой, а только почетной. У меня было всего несколько встреч с ним, три из них — в его доме. Четвертый раз я вошел в квартиру в одном из Кисловских переулков в день поминок по нем. Но впечатление, произведенное на меня этой фигурой, так запомнилось, что я и сейчас, через сорок лет после смерти С. И., вижу его большую, округлую, лысую голову, седую щетину на щеках, тяжелую стариковскую походку, слышу его медленную, очень московскую речь.

Мы, шесть или семь студенток и я, пришли к нему, не помню уж, с какой стати. По-видимому, нас пригласили просто для знакомства с патриархом. Во всяком случае, мы не занимались языком, а молча сидели и слушали.

Нам открыла дверь пожилая женщина, экономка. Кончалась последняя военная зима, и в квартире было лишь немного теплей, чем на лестнице. Хозяин прохаживался по тусклому паркету в черном мешковатом пальто и невысоких валенках. На его лысине и на ордене Ленина в петлице пальто поигрывали отсветы от окна. На стене, в рамке и под стеклом, наподобие диплома или свидетельства о награде, висела подписанная чуть ли не самим Ульяновым-Лениным охранная грамота на шестикомнатную квартиру.

— Наше дело, классическая филология, — поучал нас Сергей Иванович, — требует ежедневной работы. Я вот не сидел за письменным столом только раза три или четыре за последнее время, — например, когда немцы подходили к Москве и когда замерзли чернила. Работа у нас трудная, кропотливая, нужно все время глядеть в книги, рыться в словарях,

а книги и словари чем старше, тем лучше, но и тем неудобнее для рук, тем утомительнее для глаз. Нельзя отвлекаться, нельзя ходить по театрам, ухаживать за девицами.

Последнее наставление в данной аудитории могло быть, строго говоря, адресовано только мне, но никто не улыбнулся, все поняли этот совет mutatis mutandis[1].

— Но зато, — продолжал С. И., — случаются и радости, вознаграждающие за наш труд.

Я приготовился услышать что-нибудь о новонайденных фрагментах, об атрибуции анонимных текстов, о расшифровке темных мест — короче, о научных открытиях. Но оказалось, что Соболевский имел в виду совсем другое.

— Вот, например, — он подошел к отдаленной книжной полке и довольно долго простоял у нее, обшаривая глазами корешки книг. Наконец он нашел то, что искал. Это был легкий томик in quarto в твердом переплете, напоминающем мрамор с прожилками. Треугольные нашлепки по углам свидетельствовали, что книжка переплетена по особому заказу, кустарно.

Сергей Иванович не показал нам титульной страницы, не назвал ни автора, ни года издания. Мелькнули только, когда он открывал книгу, прекрасные латинские литеры. Его занимало сейчас другое — дарственная надпись на форзаце.

— Вот пожалуйста: "Сергею Ивановичу Соболевскому на память о приятных часах наших занятий. А. Орлов. 1908", — с удовольствием прочел он и пояснил, почему выбрал для иллюстрации своей мысли о вознаграждении трудов филолога именно этот пример: — Видите, он граф, а я кто, но ему было приятно со мной заниматься.

Лет через шесть-семь, когда я очень нуждался в заработке, меня порекомендовали Соболевскому как возможного составителя латинско-русского словаря к его очередному учебнику. Я вышел из знакомой квартиры с пухлой папкой разношерстных бумаг и приложенными к ней двумя тетрадочными листками "Правил для составления словаря". Правила были пронумерованы и написаны автором сплошь собственноручно, а листы в папке, в большинстве пожелтевшие, — с подклеенными дополнениями и указанием "отогнуть", частью тоже авторской рукой и чернилами, частью же на машинке с фиолетовым шрифтом, явно почтенной.

Вот в этих-то листках и таилось самое интересное. Из-за многолетнего и привычного отсутствия в продаже бумаги весь учебник был написан на оборотных сторонах всяческих листков — писем, квитанций, счетов, черновиков. Попадались даже расправленные большие конверты с почтовыми штампами. Адрес на них был по сути один и тот же, но по форме варьировался — в зависимости от обстоятельств. "Профессору Высших женских курсов", "Профессору Духовной академии", "Его превосходительству Сергею Ивановичу Соболевскому в доме Синициной на Кисловке", "Члену-корреспонденту АН СССР" и т. д. Для параграфа о латинских предлогах послужила оборотная сторона списка расходов с точным указанием предметов затрат. Цен, конечно, не помню, что толку мне было их знать, а статьи издержек могу назвать и сейчас: "Составление плана имения", "Зонтик", "Очешник", "Переписчица". Все это, ко-

1. С должными изменениями (*лат.*).

нечно, по старой орфографии, побуревшими от времени чернилами. А "переписчицей", кто знает, была, может быть, та, чья фиолетовая машинопись как раз и лежала передо мной.

Если бы даже в "Правилах" не оговаривалось, что начать работу мне надлежит с составления картотеки, я и так, наверное, сообразил бы, что без картотеки строго алфавитный порядок недостижим (компьютеров тогда не было, впрочем, пользоваться ими я и сейчас не умею), и начал я работу с нее, точнее, с вылавливания в русском тексте латинских вкраплений. Нехитрый свой труд я закончил без особых мучений, но, имея уже некоторый опыт зарабатывания денег лингвистической сметливостью и помня последние прецеденты, легкомысленно понадеялся на финансовый успех. Я ошибся, я забыл о реестре расходов на обороте параграфа о предлогах, забыл, что рассказывали старшие о скрупулезности С. И. в делах денежных; он охотно давал в долг знакомым, в том числе и студентам, самые разные суммы с разрешением возвратить их сколь угодно крошечными частями, но в строжайше определенные сроки, при малейшем нарушении которых провинившийся, как бы ничтожна его задолженность ни была, уже навсегда лишался кредита.

Сергей Иванович внимательно прочел мой словарик и спросил:

— Сколько вы спросите с меня за эту негоцию?

Я честно ответил, что понятия не имею, да и никто не знает, как тут расплачиваться. Сергей Иванович, недолго думая, отсчитал десять пятидесятирублевых купюр и сложил их передо мной аккуратной стопкой. Затем покрыл ее крест-накрест одиннадцатой и пояснил:

— А это вам от меня на расходы.

Какие расходы имел он в виду? Мою бумагу, мои чернила или пятаки на метро? Я не стал спрашивать. Я подумал, что С. И. стар, что он, естественно, отстал от времени (шел 1952 год) и не может знать, что почем. Я был рад, что еще раз побывал у него. А замечание об одиннадцатой купюре меня позабавило. Но совсем уж развеселила меня его благодушная заключительная реплика: "Пятьсот без всяких вычетов, без всяких удержек на эти дурацкие займы!"

Не было на моей памяти более жизнеутверждающих поминок, чем те, куда затащил меня после похорон Соболевского мой учитель и тогда уже сосед по аэропортовским домам Федор Александрович Петровский, о котором я еще попытаюсь подробнее рассказать ниже.

Когда одинокий бездетный человек доживает до ста без малого лет, у него под конец не остается близких людей. Экономки, женщины старые, имущественные права которых С. И. как-то закреплял то ли завещанием, то ли свидетельством о браке, умирали, не дождавшись наследства. Но одна пережила своего работодателя. Она отнеслась к поминкам как к семейному торжеству и, помимо коллег покойного, лучше или хуже знакомых друг с другом, созвала своих очень далеких от классической филологии отпрысков и родственников, "племя молодое, незнакомое". Она была в большом подъеме, перед ней открывалась независимая, безбедная жизнь, и поминки были устроены с величайшим размахом. Когда все уселись, она сказала:

— Мертвый в гробе мирно спи, жизнью пользуйся живущий. Выпьем не чокаясь, помянем Сергея Ивановича, закусим сначала блином и кутьей.

Так и сделали, а потом уж пошло питье беспорядочное: ели, разговаривали о чем угодно. Почтенный переводчик Овидия и Софокла пообе-

щал, что один усидит притиснутую к его тарелке бутылку "Столичной", — и действительно усидел. Я запомнил это так прочно, потому что никогда, ни прежде, ни после, не видел поминок без хотя бы тени трагедии.

Михаил Николаевич Петерсон и Валентин Фердинандович Асмус к нашей кафедре не принадлежали, но читали нам курсы, ни на одном отделении факультета, кроме классического, не читавшиеся. Оба профессора запомнились мне не лекциями, которые я слушал у них, а человеческой неординарностью, которой от них веяло. М. Н. Петерсон читал у нас историю сначала греческого языка, потом латинского. Ничего исторического в обычном смысле, то есть привязанного к определенному времени, к событиям, к ситуациям в его лекциях не было. С этим, по-видимому, общим свойством исторических грамматик — с их безвоздушной отвлеченностью — я уже сталкивался раньше, когда самостоятельно занимался старославянским. Но в лекциях Петерсона отвлеченность фонетических чередований, мутаций падежных и глагольных флексий достигала алгебраической последовательности. Постоянные ссылки на литовский язык и санскрит сами собой подводили слушателя к понятию некоей индоевропейской первоосновы, праязыка. Но историческая реальность этой первоосновы никоим образом не подтверждает, праязык в лекциях М. Н. был, мы бы сказали сегодня, реальностью виртуальной. Тогда я представлял себе праязык чем-то вроде идеи Платона. Сейчас я не помню двух этих предметов, в ушах прочно застряло только санскритское bharami, да и тогда формулы из лекций М. Н. держались в голове не дольше недели после экзамена, но самого Петерсона вижу как сейчас. Его манера вести себя, вернее, его неманерность, естественность, доброжелательная демократичность восхищали меня. Темными зимними утрами он входил в холодную аудиторию, здоровался и, не теряя времени, шел с мелом к доске. Он никогда не отвлекался на разговоры ad hoc[1], но никому не пришло бы на ум назвать его сухарем. Внешне он не был стар, даже не поседел (может быть, он красил волосы?), но и наши далеко не молодые преподаватели относились к нему как к старшему, как к патриарху или авгуру. Я не слышал от них ни одного иронического словечка о нем, а ведь от маленьких вольностей при учениках, от насмешливых улыбок или намеков по адресу других коллег, пожалуй, никто из них, при всей корректности, не удерживался. Вне стен университета мне видеть Петерсона не довелось.

Иначе обстояло дело с В. Ф. Асмусом, оставившим прочный след в моей памяти не столько лекциями по античной философии, не столько вообще своими появлениями в наших аудиториях, сколько увиденным и услышанным как раз не на Моховой. От Асмуса-лектора, вообще от первого знакомства с ним, у меня осталось двойственное впечатление. Свой курс он читал очень сухо, даже скучно, законченными, монотонными фразами, построенными так, как это принято в письменной речи, но не свойственно устной, а это для педагогической цели, особенно когда материя сложна и требует терпеливого разъяснения, разжевывания, вообще не годится. Подобно петерсоновскому bharami, от лекций Асмуса застревало в ушах to einai и to me einai[2]. А облик лектора совсем не вязался с этим усыпляющим звуковым фоном. Асмус поднимался по лестницам

1. К случаю (*лат.*).
2. Бытие, небытие (*древнегреч.*).

энергично, носил кожаное пальто с поясом и кепи, и само его имя-отчество связывалось у меня с возлюбленным несчастной Луизы Миллер из пьесы Шиллера, постановку которой я видел в десятилетнем возрасте в провинциальном театре. Там Фердинанд выходил на сцену в ботфортах, эполетах и треуголке.

Совсем другим я увидел Асмуса несколькими годами позднее, когда жил в соседней с ним комнате в коктебельском "доме творчества". Он приехал туда с семьей – с женой и четырьмя маленькими детьми. Старшему сыну было пять лет. На вопрос, как его зовут, мальчик отвечал: "Валентин Валентинович Асмус". А мать, когда ее спрашивали, как же это она справляется с такой оравой, отвечала:

– А я и не справляюсь.

Она была значительно моложе мужа, в прошлом, кажется, его ученица, и женился на ней Асмус после смерти своей первой жены, о странностях которой я слышал позднее много невероятных историй. Мать и дети проводили дни в парке, редко появляясь у моря, а Валентин Фердинандович целыми днями сидел за рабочим столом, писал, читал, слушал музыку. Он почти не выходил из дому до захода солнца, зато ночами любил глядеть на августовские звезды в привезенный для этого из Москвы телескоп. С окружающими он был приветливо-сдержан и как человек оставался для меня такой же загадкой, как раньше, в университетские годы, хотя я по-прежнему чувствовал его незаурядность, даже значительность.

Это субъективно-смутное чувство получило объективное подтверждение только спустя еще несколько лет, но, наверное, именно потому, что наконец подтвердилось, оно не померкло, отбросило свет на мои студенческие впечатления и неразрывно связалось у меня с его именем. Я имею в виду его речь на похоронах Пастернака на Переделкинском кладбище. Асмус говорил первым, в минуты наивысшей напряженности и сосредоточенности толпы, еще не уставшей от последовавших речей и стихов. Текст этого надгробного слова, думаю, где-нибудь давно уже напечатан, а тот, кто прочтет его только сегодня, наверное, уже не поймет, как он звучал летом 1960 года, сколько внутренней силы нужно было оратору, чтобы говорить у гроба затравленного поэта так просто, так глубоко, так правдиво, без единого фальшивого слова, не умолчать о конфликте Пастернака со временем, сказать, что тот был, как и Лев Толстой, против насилия, и, не дав ни одной зацепки, но и не сделав ни одной уступки возможным следователям или преследователям, прилюдно заявить, что он, Асмус, на стороне умершего, а не на стороне власти.

Эта-то речь, которую я, затаив дыхание, слушал в нескольких шагах от Валентина Фердинандовича, велит мне причислить его к моим университетским учителям.

Подобно отчеству Асмуса, ассоциации, совершенно не соответствующие объективной картине, вызывало у меня отчество мужа Марии Евгеньевны Грабарь-Пассек. Его звали Владимир Эммануилович, и он был родным братом известного художника Игоря Грабаря. Ученый-юрист, гораздо старше жены, в отличие от нее миниатюрный, сухонький, он, казалось, вообще не выходил из дому, сидя целыми днями в своей комнате над каким-то нескончаемым научным трудом. Я не раз слышал, как она называла его Володей, но мне всегда приходилось контролировать свой внутренний позыв назвать его Виктор Эммануилович, хотя ни на итальянского короля Виктора-Эммануила III, ни вообще на какого-либо

правителя этот тихий приветливый человек вот уж не смахивал. Марью Евгеньевну он называл "Маруся", что тоже казалось мне диссонансом: уместнее, по-моему, в данном случае было бы "Маша" или "Муся".

Я не отвлекаюсь от темы, я просто вспоминаю квартиру М. Е. на Зубовском бульваре, потому что чаще всего видел ее в этой квартире. Не будучи членом кафедры, она встречалась с молодыми "классиками" у себя дома. Некоторые из них были прежде ее учениками, а знали и любили ее почти все. И она знала почти всех и каждого покоряла своей веселой, общительной добротой. Войдя в теплый светлый подъезд, поднявшись на второй этаж по белой мраморной лестнице, вы попадали в кошачье царство, каковым была, сразу направо от входной двери, комната М. Е. Не делая из кошек культа, она просто с доброжелательным юмором наблюдала кошачью жизнь и заботилась о своих животных без сантиментов.

В те годы докторов филологических наук можно было пересчитать по пальцам, и Марью Евгеньевну, доктора и профессора, то и дело приглашали на роль оппонента, рецензента, члена редакционной коллегии в Университет, в Гослитиздат, в Институт мировой литературы и т. д. Если учесть, что при этом она заведовала кафедрой в Институте иностранных языков и была главой маленькой, но все-таки семьи на Зубовском, то легко представить себе, как она уставала. Но у нее хватало сил на то, чтобы вставить в сугубо деловой разговор какое-нибудь интересное отступление от предмета, например, воспоминание о Дерптском университете (она, впрочем, говорила не "Дерпт", не "Дорпат", не "Тарту", а "Юрьев"), или какое-нибудь наблюдение опытного педагога. Помню, однажды, без видимой связи, она сказала:

— Удивительно, что никто из первокурсников не спрашивает, почему некоторые греческие существительные мужского рода относятся к первому, женскому по сути склонению. Если бы хоть кто-нибудь спросил, я бы его сразу рекомендовала в аспирантуру.

Тогда, уже закончив аспирантуру и боясь показаться хвастуном, я не сказал ей, что именно такое недоумение, легко потом, после петерсоновских лекций, разрешившееся, возникло у меня именно на первом курсе. Я просто обрадовался сходству наших мыслей и, наверное, еще больше полюбил Марью Евгеньевну. Впрочем, и раньше я с радостью отмечал, что на какой-нибудь немецкий словесный оборот мы одновременно отзываемся улыбками.

Как-то М. Е. невзначай обронила:

— Мы тут говорили с одной приятельницей о смысле жизни и сошлись на том, что у нас-то обеих он одинаковый — чтобы наши ученики вспоминали о нас тепло.

Под конец я попытаюсь написать о "классике", которого я знал лучше, чем всех, о ком здесь рассказывал. Лет тридцать он был моим старшим другом, больше половины этого срока, вплоть до его смерти, мы жили в соседних домах. Много раньше, чем он в первый раз вошел в аудиторию как наш педагог, чтобы читать с нами римских поэтов, я видел его в коридорах и на лестнице факультета и смотрел на него с интересом, не зная еще, кто он такой, не связывая его со знакомым мне русским переводом Лукреция. Настолько он был элегантен, легок, настолько непринужденно держался, настолько не походил ни на степенных мэтров филологической премудрости, ни на скромных тружеников-латинистов. Серый, в елочку, пиджак, темно-синий или черный берет, иногда легчайшее грассирование в услышанном на ходу обрывке речи.

У меня еще до знакомства с ним застряла в памяти добродушно брошенная по какому-то поводу фраза Жюстины Севериновны:

— Ну, Федя Петровский — типичный белоподкладочник.

Фраза эта, конечно, могла бы послужить еще одним примером отставания Ж. С. от времени, — какие там белые подкладки в 1946 году! — но позднее я понял, что это была пусть неудачная, беспомощная, но попытка передать одним словом совокупность изящества, щегольства, повышенного внимания к внешним манерам. Неудачна была эта попытка не только своим анахронизмом, но еще больше тем, что она оставляла без внимания, игнорировала существенную, как теперь выражаются, составляющую перечисленных качеств. Да, все, что имела в виду Ж. С., бросалось в глаза прежде всего, но стоило поговорить с Федором Александровичем, даже только послушать его час-другой, и весь этот лоск представал юмористической игрой, пародией, вся подчеркнутая старомодность представала как бы в кавычках. Ты видел артиста, играющего лицо из другой эпохи, прекрасно понимающего, что эпоха эта безвозвратно прошла, и подтрунивающего над своей грустью о случившимся.

На одном из самых первых занятий, читая с нами Лукреция, Ф. А. походя отметил какой-то замысловатый для латинских гекзаметров enjambement. На вопрос студентки, не знавшей, что это за штука, он ответил не определением из теории литературы, а примером:

Но старость — это Рим, который
Взамен турусов и колес...

Я диву дался. Вот уж не думал, что доцент этой кафедры знает эти стихи. Впоследствии я увидел, что Ф. А. вовсе не был ни почитателем Пастернака, ни даже верным его читателем. Петровский просто принадлежал к кругу старой московской интеллигенции, к той "среде", с которой поэт "имел в виду сойти со сцены". Он был одного года рождения с поэтом, какое-то время учился в одной с ним гимназии. Этого здания на Поварской давно уже нет, теперь его можно увидеть разве что на гравюре Фаворского тридцатых годов, в иллюстрациях к сборнику поэм Пастернака. Приведенная в качестве примера enjambement'а цитата взята была из сборника "Второе рождение", и обстоятельства, родившие эту книгу стихов, и вовлеченные в них люди были, конечно, маленьким мифом "среды".

Филологов, совершенно глухих к поэзии, вообще не бывает. Вкусы только и у филологов, в том числе и классических, разные. Стихи А. К. Толстого, например, или Вергилия занимали Ф. А. больше, чем Пастернак. Очень он любил читать вслух наизусть шуточные стихи. Повод всегда находился, были бы только благодарные слушатели. Поводом могло быть само по себе расположение к присутствующим, доверие к ним. Неиссякающим источником служил в первую очередь Козьма Прутков. Я думаю, что Ф. А. было и вправду легче справляться с простудой, когда он с серьезным видом сообщал:

Насмóрк ужасный ощущаю
И лом в костях,
Не только дома я чихаю,
Но и в гостях.

Это было, может быть, какое-то целительное заклинание, кто знает.

Его любовь к Козьме Пруткову и мне однажды оказалась полезна практически. Это она надоумила его помочь мне при защите кандидатской диссертации так, как и должен помочь своему подопечному заботливый научный руководитель. Мой оппонент, выживавший и выживший-таки с кафедры Федора Александровича, всячески придирался ко мне на защите, собственно, для того, чтобы насолить ему, вольнолюбивому доценту, который за меня как бы нес ответственность, запастись лишним доводом для его увольнения. Недавно отчисленный по истечении трехлетнего аспирантского срока молодой соискатель и его диссертация профессора-оппонента нисколько не занимали. Но публичная церемония была удобна для демонстрации слабости научного руководителя. Не буду здесь перечислять всех придирок, от которых мне пришлось отбиваться. Приведу только одну, отметенную благодаря Козьме Пруткову дерзко и коротко. В своем отзыве, который мы прочли вместе с Ф. А. перед защитой, оппонент опровергал предложенную мной хронологию сатир Ювенала, где мельком упоминается о появлении в Риме какой-то кометы, ссылкой на китайские астрологические летописи, где будто бы эта же комета зарегистрирована под другой датой. Я прекрасно знал, что эта китайщина взята из гимназического учебника Адольфа, и собирался сослаться в ответ то ли на разницу во времени между Италией и Китаем, то ли на отмеченную Пушкиным беззаконность комет. Федор Александрович молча раскрыл любимую книжечку и прочел: "Не зная законов языка ирокезского, можешь ли ты высказать по сему предмету суждение, которое не было бы неосновательно и глупо?" Тональность моего ответного слова стала мне мгновенно ясна. Я сразу отринул дурацкую идею серьезной полемики по ничтожному поводу. На публичной защите я ответил оппоненту чуть измененной ("китайский" вместо "ирокезский") и оборванной (на слове "неосновательно") цитатой. Источника приведенного мной рассуждения я, разумеется, не назвал. Но в ученом совете заседали тогда в основном люди начитанные в русской литературе. Достаточно было инверсии в самом начале: "Не зная языка китайского...", чтобы вся фраза, вместе с опущенным мною последним словом, всплыла у них в памяти. Они дружно заулыбались, а те, кто не понял, в чем дело, в том числе, к моему особому удовольствию, и оппонент, тоже поспешно заулыбались из уважения к авторитетам.

Я набрал 21 голос из двадцати двух.

Мою удачу мы отпраздновали вдвоем с Федором Александровичем, каюсь до сих пор, непростительно бурно. Дело было в последних числах декабря пятидесятого года. Провожая меня на защиту, моя жена — ей оставалось до родов несколько дней, и она ждала моего успеха или провала дома, на нашем чердаке, — дала мне с собой три рубля, купить на обратном пути бутылку, по обстоятельствам, шампанского — выпить на радостях, или водки — выпить с горя. Ф. А. отправился со мной с Моховой в Зарядье. Мы зашли в гастроном в гостинице "Москва", и пока я покупал бутылку шампанского, — на большее денег у меня не было, — он позаботился о водке и закуске. После волнений защиты, после прогулки по зимнему городу, после подъема по девяноста девяти ступенькам весьма крутой лестницы мы оба быстро опьянели и наделали глупостей. Я пошел проводить Ф. А. до Красной площади, он предложил заглянуть в открытый и ночью "Коктейль-холл" на улице Горького, а когда мы оттуда вышли, зайти, всего на минутку, к нему домой, на улицу Грановского,

чтобы принять поздравления от Марьи Васильевны, его жены. Мы оба не заметили, что шел уже четвертый час ночи. Не стану описывать, как встретила нас Марья Васильевна, как встретила меня потом моя жена. Повторю только, что и сегодня, когда я вспоминаю тот вечер, мое раскаяние возобновляется.

Федор Александрович очень любил — не помню уж чье — двустишие:

Когда я пьян, тогда, sans doute[1],
Я не иду, меня ведут.

Слова эти он произносил с иронической улыбкой, намекавшей на то, что цитирует их не только ради изящно-смешного французского вкрапления, но и готов поручиться за их справедливость.

Вообще он лучше всего запоминал и чаще всего читал вслух стихи шуточные. Одно из таких стихотворений, хотя оно и длинновато, я приведу здесь целиком, чтобы оно хоть где-нибудь осталось в письменном виде. Он читал его почти на каждом домашнем сборище и каждый раз с удовольствием. Автором, посвятившим эту "оду" Ф. А., был его сосед по даче в поселке "Заветы Ильича", литератор. Не могу вспомнить, чью фамилию называли Петровские — Заяицкого, Шатерникова или Шестакова, но помню, что одну из этих трех.

I

Своих соседей бард-вельможа
Квалифицировал как зло.
Я солидарен с ним. Мне тоже
В соседях жутко не везло.

II

Я их менял, — в том мало проку, —
Свести на нет искал пути,
Я все гадал, с какого боку
К проблеме этой подойти.

III

Все было тщетно. Ведь к тому же
В соседях свойство таково:
Сосед последующий хуже
Предшественника своего.

IV

Бывало, нас пугали адом,
Но ты и аду будешь рад,
Когда с тобой бок о бок, рядом
Живет неисправимый гад.

1. Без сомнений (*франц.*).

V

Вот он с огнем окурок сунул
В постель, где твой ребенок спит,
Вот он тайком в кастрюлю плюнул,
Где твой перловый суп кипит.

VI

Но обернулось все иначе:
Настал голодный, трудный год,
Я жил на подмосковной даче,
Возделывая огород.

VII

И вот, о чудное мгновенье,
Передо мной явился ты,
Сосед, грядущего виденье,
Сосуд духовной чистоты.

VIII

Ты не ломал моих заборов,
Идя за топливом в поход.
Твоих нахально-жадных взоров
Мой не страшился корнеплод.

IX

Когда, бывало, по тропинке
Ты шел купаться к речке вниз,
Спокойно зрели на суглинке
И помидоры и редис.

X

Сосед, хвала тебе за это,
Ты, словно факел иль свеча,
Воспламенил в душе поэта
Любовь к заветам Ильича.

Я помню еще разные шуточные стихи, двустишия, четверостишия, ямбы, гекзаметры, русские, латинские, которые Ф. А. любил вспоминать вслух при подходящем случае. Сам он тоже не пренебрегал сочинительством в этом жанре. Например, переехав в новый дом, он должен был некоторое время пользоваться телефоном соседа по лестничной площадке и не уставал повторять:

Сосед мой самых честных правил,
Д7–13-35.
Он телефон себе поставил
И тем заставил уважать.

Иногда, в узком кругу засидевшихся допоздна гостей, он расшнуровывал папку, где хранились пожелтевшие и высохшие от времени листки с текстами этого рода, придуманными его знакомыми и друзьями:

стихи, прозаические и драматические миниатюры, какие-то забавные письма и документы — чего только не было в этой папке... Помню жутковато-смешной "Трактат о смехе", написанный, судя по некоторым приметам, на рубеже двадцатых и тридцатых годов. "Трактат" содержал разделы: "Смех наш и не наш", "Над чем можно смеяться и над чем нельзя" и т. п. Говорилось, например, что нельзя смеяться над борьбой за политехнизацию школы, но можно смеяться "над крепостным правом, над татарским игом, над Господом нашим Иисусом Христом". Автора и тут не могу назвать с уверенностью, но, кажется, им был Николай Эрдман.

И уж в совсем узком кругу жена Ф. А. Марья Васильевна рассказывала, какой конфуз случился с ней в магазинчике "Кулинария" за год до смерти Сталина. Магазинчик находился недалеко от их дома, очередей в нем не бывало, продавщица, обычно подремывавшая за прилавком, постоянных покупателей знала в лицо. М. В. часто покупала там полуфабрикаты. И вот однажды она вошла, поздоровалась, как всегда, и сказала:

— Три порции джугашвили, пожалуйста.

Продавщица невозмутимо упаковала три порции чахохбили, и тут покупательница опомнилась, ужаснувшись своей оговорке, схватила пакет, убежала и с тех пор никогда в эту лавку не то что не заходила, а старалась вообще не приближаться к ней.

Папка с комической крамолой, рассказы о курьезах вроде случая в лавке, любимая аббревиатура LPT (loca plena timoris, "места, полные страха") в значении ГПУ — все это только вчуже, только не зная Петровских, можно было принять за благодушное балагурство "небитых", успешно укрывшихся в своей нише от жестокостей диктаторской власти. Крошечные тисочки, привинченные к перилам такого же крошечного дачного домика, стоящее там же в углу духовое ружье для отпугивания обнаглевших грачей, остро отточенные карандаши с наконечником и резинкой, красивые инструменты — ножички, щипчики, отверточки — и они тоже могли показаться деталями жанровой картины "Вдали от мирских тревог". И словесного материала для пьесы о старике, оторвавшемся от действительности, живущем не сегодняшним днем, а вчерашним, и в этом дачном домике, и на уроке на Моховой, и в комнате коммунальной квартиры на улице Грановского случайный или поверхностный посетитель тоже мог бы набрать сколько угодно. Он говорил "жира" (вместо "жара"), звёзды (не через "ё", а как бы напоминая об упраздненном яте, через "е"), "атóмный", "баромéтр", "библиóтека", произносил отглагольное прилагательное в известном матерном обороте не в краткой, а в полной форме, со звонким двойным "н", как в словах "незабвенный" или "смиренный", и так далее.

Но на самом деле все это скорей походило на здание, принадлежность которого к XX веку архитектор совсем не пытался скрыть, а только обыгрывал, только подчеркивал фасадом под старину и веселенькой охрой.

Аббревиатура LPT — один из примеров тому. Ф. А. не любил вспоминать о своей ссылке в Архангельск и не уточнял ее дат, но, судя по сравнительной (два-то года!) непродолжительности и по тому, что по возвращении в Москву его больше не трогали, случилось это никак не позже "года великого перелома". Зато Марья Васильевна вспоминала:

— Когда Федю сослали, многие московские знакомые, увидев меня издали, переходили на другую сторону улицы. А вот Женя Гунет, наоборот, шел по противоположной стороне, но бросался ко мне с расспросами.

Евгений Анатольевич Гунет оставался всю жизнь верным другом Петровских.

Постоянной болью Ф. А. была судьба его брата, Михаила Александровича, арестованного по делу редакции словарей, сосланного в Томск, там вновь арестованного и вскоре расстрелянного. По этому же делу были арестованы известные ученые Г. Г. Шпет, тоже расстрелянный в Томске, и А. Г. Габричевский, к счастью переживший и этот, и другие аресты. Их фамилии, в числе прочих, значатся на титульном листе первого тома немецко-русского словаря, под фамилией главного редактора, Л. Б. Каменева, и одно это, может быть, определило их судьбы. Второй, уже подготовленный к печати том (L—Z) так и не вышел, а тираж первого сразу изъяли и пустили под нож. Единственный сбереженный экземпляр первого тома (А—К) Ф. А. подарил мне, а я, когда уже ни Ф. А., ни кого-либо из той редколлегии давно не было в живых, передарил эту поистине уникальную книгу племяннице Александра Георгиевича Габричевского О. Г. Северцевой. Внучек брата Ф. А., у которого детей не было, называл внучками и любил, как собственных внучек, словно бы вкладывая в эту любовь еще и всю нежность, жалость и боль, которые слышались в каждом его упоминании о расстрелянном брате.

Достаточно было хоть раз прийти к Ф. А. на его день рождения, чтобы почувствовать, как много значили для него его ученики, как согревали ему душу улыбки молодых лиц. Он любил повторять латинское двустишие, утверждающее, что жалующийся, ноющий человек никогда не находит охотников разделить с ним его горести, а смеющийся, радующийся без всяких усилий с его стороны оказывается в многолюдной компании. Число гостей этого ежегодного праздника варьировалось, иные приходили редко и неожиданно. Но было какое-то прочное ядро учеников, которых, если они только были живы-здоровы, можно было 21 апреля с уверенностью застать в доме Петровских. Степень привязанности Ф. А. к ученикам определялась безусловно не их академическими успехами. Все зависело тут от нрава, от молчаливого взаиморасположения, короче, от "слишком человеческого". Но и неожиданный приход какого-нибудь молодого эрудита, даже если тот формально не был учеником, вообще не вписывался в этот теплый, а тут еще и опьяневший круг, даже если за глаза Ф. А. мог назвать его "скукин сын", — и такой гость просто ввиду своей молодости, своей принадлежности к новому поколению был радостью для настроившегося на веселый лад старика. Ученость, начитанность он всегда откровенно ставил ниже, чем ясность мысли, открытость и доброту. В числе занимательных предметов, окружавших Ф. А., был очень красивый темно-коричневый шкаф с ящиками — нечто среднее между аптечным шкафом и секретером. На ящичках были металлические гнезда для табличек, указывающих, где что лежит. Одна из табличек гласила: "Discipuli"[1]. В этом ящике хранилось все, что касалось учеников: их рукописи, оттиски их статей, отзывы, официальные бумаги. Все это руководителю научных работ, заведующему к тому же сектором античной литературы в академическом институте, конечно, полагалось иметь под рукой. Но в отношении хозяина к шкафчику проглядывало больше любви к игре, чем любви к систематике. Никакого педантизма, никакого почтения к установленным

1. "Ученики" (*лат.*).

формам не было в отзывах Ф. А. на работы учеников и тем более в устных его выступлениях. Однажды он начал свою речь оппонента пространным пересказом старой назидательной истории, где герой получает право унести с собой любое количество некоего добра, но должен обладать точным глазомером, чтобы и захватить побольше, и не позариться на неподъемное, потому что задачу он обязан решить с первой попытки. Неторопливо покончив с этим "бродячим сюжетом", Ф. А. с таким же удовольствием, но гораздо короче похвалил соискательницу за то, что она выбрала тему как раз по своим силам, а потом, сделав несколько вполне доброжелательных замечаний, похвалив за ясность изложения, за то, что она не злоупотребляет ссылками и сносками, заключил:

— Потому что она Люба, а не Вилламовиц-Мёллендорф.

Мне, студенту, такой отзыв на студенческую дипломную работу очень понравился и запомнился, можно сказать, навсегда. Я впервые услышал из уст старшего, притом из уст педагога и как бы в виде общего закона, то, о чем еще в детстве смутно догадывался: что жизнь требует порой от человека мгновенных и бесповоротных решений, которых никто за него не примет, потому что никто, в сущности, не знает твоих возможностей и обстоятельств лучше, чем ты сам.

И еще одно, всегда актуальное, правило я услышал из этих же уст и тоже в виде забавной истории. В лекции о римском поэте Персии, поэте темном, косноязычном, которого и поныне историки литературы стараются обходить стороной, Ф. А. рассказал о некоем голландском гуманисте (не помню имени), который после упорных и тщетных попыток продраться сквозь словоплетения Персия в конце концов отшвырнул книгу подальше и негодуя воскликнул:

— Si non vis intelligi, non debes legi! (Если не хочешь, чтобы тебя понимали, то нечего тебя и читать!)

88-летие Ф. А. было тридцатым для меня празднованием его дня рождения. Гостей пришло далеко не так много, как бывало в круглые годовщины. Через три дня он почувствовал боль в сердце, и Марья Васильевна, уложив его на диван, вызвала скорую помощь.

— Что с вами? — спросил приехавший врач.

— Ничего особенного, — приветливо улыбнулся Ф. А. Его тут же увезли в больницу. М. В. сидела у его постели с утра до вечера. В палату вошла сестра, чтобы сделать укол. Когда она, наполняя шприц, отвернулась, лежавший под капельницей Ф. А. украдкой мигнул в ее сторону и шепнул жене:

— Хорошенькая.

Это было через шесть дней после 88-летия. А на седьмой он умер.

Другого окончания для рассказа о моих университетских учителях искать, простите, не хочется.

С. Зенкин
Учитель для умных

В октябре 2004 года в Париже скончался Жак Деррида

Я совсем мало общался с Жаком Деррида. Можно сказать, мы и не были знакомы. У меня, правда, хранятся два письма от него — вернее, две коротких записки: в первый раз он вежливо поблагодарил за присылку оттиска статьи, отдаленно навеянной его семинаром; во второй раз так же вежливо отказался участвовать в коллоквиуме памяти другого выдающегося мыслителя, Мориса Бланшо: он был уже тяжело болен и отменял все свои выступления, даже занятия семинара.

Бывая в Париже, я иногда приходил на эти самые семинарские занятия. Большая лекционная аудитория на бульваре Распай всегда была полна, и среди публики заметно различались две категории: французские студенты с умными лицами (редкий для любого города случай — увидеть в одном месте сразу так много интеллигентных лиц) и преимущественно американские туристы, с лицами скорее восторженными. Сам я по реальному положению вещей относился ко второй категории, но отождествлять себя хотелось с первой.

Это несложное наблюдение, пожалуй, вбирает в себя всю драму творческой судьбы Жака Деррида — французского философа, ставшего интеллектуальной поп-звездой в Соединенных Штатах, а за ними уже и в остальном мире. Чтобы понять здесь выражение "французский философ", надо помнить, что Франция — это страна, где старшеклассников в обязательном порядке учат философии, причем на материале первоисточников: читают и комментируют фрагменты из Платона, Спинозы, Декарта... У парижских студентов, слушавших Жака Деррида и выступавших с докладами в его семинаре, за плечами была эта школа прямого контакта с философской мыслью прошлого; разумеется, современный либерально воспитанный школяр склонен относиться к классикам непочтительно-фамильярно, но одновременно его учат разбираться в них глубоко и уважительно.

Если объяснять "на пальцах", без терминологических затей — каковых у Деррида немало, — то его философствование можно представить как синтез этих двух позиций: юношески агрессивного подхода к авторитетному тексту и учительской тщательности анализа. Деррида был учителем, *профессором* не только по званию (собственно, звания-то этого он как раз не имел, так как преподавал не в университете, а в Высшей школе социальных исследований, где профессора именуются "руководителями штудий"), но и по складу мышления, по стилю поведения, и недаром одним из главных его дел стало создание нового свободного

© С. Зенкин, 2005

учебного заведения – Международного коллежа философии в Париже. Он не просто философствовал, а учил это делать других – учил без всякого профессорского педантизма, учил думать, придирчиво и въедливо вдумываться в традицию прошлого. Его неспокойный, конфликтный метод назвали "деконструкцией".

Можно объяснить еще иначе: этот французский философ (вполне, впрочем, маргинального происхождения – алжирский еврей) глубже многих внедрил в интеллектуальную культуру своей страны принципы немецкого романтизма, любившего понимать мысль не в устойчивом бытии, а в динамичном становлении, в развитии, преодолении трудностей и противоречий – ценой других трудностей и противоречий, которые всплывут вновь на следующем этапе размышления. Правда, немецкие романтики склонны были толковать эту внутреннюю конфликтность мысли как диалектический и исторический процесс. А Деррида не был ни диалектиком – хотя его технике логически безупречного вывертывания идей наизнанку, выслеживания в них изнаночной стороны позавидовал бы любой Гегель, – ни историком, хотя нет ничего более стимулирующего для исторического познания культуры, чем его книги. Постоянно кого-нибудь комментируя, он не стремился найти для чужой мысли устойчивое место на полочках исторической таблицы развития духа человеческого, устремленной к заранее предопределенной цели (таков постоянный соблазн истории философии; стыдно вспоминать, к чему он приводил, скажем, в Советском Союзе), но завязывал с нею прямой диалог, испытывал ее на прочность, искал в ней проблемные точки – "развинчивал" (деконструировал) ее так, как механик развинчивает машину, которой предстоит работать, а не стоять в музее.

Его американская слава – при явной враждебности к нему французских академических институций – оказалась парадоксальной. В стране, где под философией понимают главным образом аналитическую философию, то есть рефлексию не гуманитарного, а естественнонаучного типа, нацеленную не на работу с традицией, а на актуальное решение абстрактных проблем, без оглядки на предшественников (так физики давно уже не перечитывают Ньютона), – его педагогика живой традиции могла привиться только в другой, смежной области, например на *литературном* отделении Йельского университета, где у него возникла целая когорта последователей-деконструкционистов. Американцы с самыми лучшими намерениями "переквалифицировали" Деррида: стали чтить в нем интеллектуального писателя, своего рода эссеиста, только очень трудного, заумного. И хуже того: из рационального профессора его постепенно превращали в эзотерического "гуру". Вместо умных студентов (я, конечно, упрощаю, но такова общая тенденция) вокруг него все больше толпились восторженные зеваки.

В какой-то мере он, пожалуй, сам поддавался этому давлению собственной славы – но и старался тонко ускользнуть от него. Взять хотя бы ставшую фирменным признаком его стиля игру словами – первым опытом был знаменитый составной термин "дифферанс", а в поздних книгах такие внушительные для профанов языковые фокусы пошли в тираж. Здесь он был типичным французом: у него на родине каламбур – национальная забава, там его содержит в себе каждая третья уличная вывеска, каждое второе название в телепрограмме. Однако один из французских каламбуров гласит: comparaison n'est pas raison, сравнение – не доказательство. И, конечно, Деррида понимал, какова познавательь-

ная цена его выдумок. Возможно, насыщая свои тексты хитроумными, непереводимыми вокабулами, он надеялся не столько уловить какую-то не выразимую обычными словами истину (он и вообще-то не искал абсолютной истины, скорее наоборот, неустанно показывал ее невозможность и неустойчивость, чреватость противоречиями), сколько подчеркнуть неповторимо национальный характер своего мышления. Когда-то, выступая с лекцией в актовом зале Московского университета, он доказывал, что философия составляет самую национально самобытную форму культуры — не поэзия, как часто полагают, а именно абстрактная мысль! Иноземные поклонники могли толковать его вкривь и вкось, но сам-то он, кажется, хотел быть понятым именно французскими читателями, именно им он заговорщицки подмигивал своим раздражавшим многих полухудожественным стилем.

Драма заключалась в том, что как раз во Франции-то его стиль мышления почти не прижился. Есть несколько последователей — Жан-Люк Нанси, Филипп Лаку-Лабарт; но все же в большинстве своем парижские студенты, с благодарностью вспоминая его уроки, сами им не следуют. Не только потому, что деконструкцию по-прежнему встречает в штыки официальный университет и с нею не сделаешь карьеры, — видимо, слишком уж она "штучная", неподражаемая, то есть, подражая ей, слишком легко впасть в поверхностное эпигонство.

Нам, в России, еще сложнее: слух о человеке по фамилии Деррида пришел к нам не из самой Франции, а окольным путем — из Америки, из литературно-артистической, а не собственно философской среды, то есть пришел изначально искаженным. И сколько бы ни трудились серьезные исследователи и переводчики для корректного понимания его работ "с языка оригинала", к нему уже успела прилипнуть двусмысленная репутация — то ли гений, то ли шарлатан. Печально слышать, как даже весть о его смерти вызвала кое у кого чуть ли не вздох облегчения: свершилась, мол, историческая справедливость, ушла наконец в прошлое эта окаянная "французская теория".

А на самом деле мы просто еще мало у него учились.

Марина Фрёмке

Urbi et orbi, или Ни к селу ни к городу

Берлинский фестиваль поэзии — 2004

Фестиваль — это вроде знаменитого каирского базара. Целый городской квартал роится и гудит, заманивая и озадачивая разнообразием. А начнешь заходить в лавки — найдешь что-то или вовсе неподходящее, или занятное, но, вроде, ненужное, или почти то, что надо, но без изюминки. Потом наступает момент, когда все кругом делается на одно лицо — лавки, торговцы, минареты, и вдруг понимаешь, что заблудился. Проклиная весь этот хлам и торгашей, смертельно устав, набредаешь под конец на сто́ящую вещь, хватаешь ее без долгих размышлений (и с несколько преувеличенной радостью) — и случайно оказываешься у желанного выхода в город.

Примерно такие ощущения вызывал и ежегодный фестиваль поэзии, проходивший нынешним летом в Берлине.

Начинался он, как всегда, чтением под открытым небом. Словосочетание "как всегда" следует читать с интонацией безмерной скуки. Весовое соотношение стихов и культурной символики происходящего было явно не в пользу стихов. Вот перечень выступавших: американец Лоуренс Ферлингетти, палестинец Махмуд Дарвиш, израильтянин Аги Мисхол, ирландец Пол Малдун, аргентинец Хуан Гельман, китаец Бай Дао, немцы Дурс Грюнбайн и Герта Мюллер, ангольская поэтесса Ана Паула Таварес, словенец Дане Зайц. Казалось бы, чем не "Weltklang der Poesie" (Поэзия на языках мира)? И языков много — девять. И третий мир, и второй, и первый представлены. И спектр творческих и политических амплуа участников широк. Да только великой поэзии здесь не прозвучало. Зато место выбрано со смыслом: не поляна в Тиргартене и даже не площадь перед Бранденбургскими воротами, а Потсдамерплац — разрушенная во время войны, потом прошитая Стеной и вновь вышедшая из небытия в урбанистических формах комплексов „Sony" и „Mercedes". Однако даже столь могучий genius loci оказался не способен вдохнуть в несчастное мероприятие жизнь. Оставалось только надеяться, что в дальнейшем ее будет больше.

Переводческая мастерская была посвящена поэзии на кельтских языках (бретонском, шотландском, ирландском и валлийском). Когда еще доведется пройти такой интенсивный курс фонетики! В роли переводчиков выступали сами поэты. Дюжина "кельтов" и дюжина "немцев", объединившись попарно, по подстрочнику переводили друг друга. Антология этих переводов скоро выйдет в Ирландии и Германии и, несомненно, будет объявлена "вкладом во взаимопонимание народов". Однако только сейчас, во время живого фестивального чтения можно было наблюдать, насколько неравноправны эти культуры и как мучительно подчас нащупывают они возможность разговора. Достаточно услышать такую пару, как Нора-Эжени Гомрингер и Бернез Танги, чтобы

© Марина Фрёмке, 2005

уловить недоумение немецкого минимализма перед пафосом многовековой традиции бретонца. Пафос этот естественен, потому что для "кельтов" поэзия — форма выживания их языка.

Перевод переводом, но в случае глоссолалии[1] можно обойтись и без него. Носителями заумного языка ("der sa-umnischen Sprache", как было сказано в программе) на фестивале выступили составитель антологии "Homo Sonorus" (2001) Дмитрий Булатов и организатор берлинских фестивалей "Бобэоби" Валерий Шерстяной. Классик конкретной поэзии Ойген Гомрингер представлял другой фланг этой мастерской, названной "JAJA — DADA". Ну да...

На грани литературы и музыки балансирует поэтическое слово в представлении участников мастерской "Mundstücke" (каламбур — буквально: "пьесы для рта") — американского композитора, поэта и перкуссиониста Чарльза Амирханяна и основателя венской Школы поэтического мастерства Кристиана Иде Хинце. Отдельные элементы языка они включают в композиции разнообразных акустических впечатлений и инструментальных образов. Здесь же выступала и мастерица голосового перформанса, испанская поп-дива Фатима Миранда, "чистое искусство" которой, однако, скорее ошеломляло, чем приносило наслаждение.

Откровенной графоманией обернулся опыт коллективного стихотворчества по материалам Интернета. Группа молодых берлинских поэтов выступила с поэмой "innen stadt.ein berlin-gedicht" ("центр города", стихотворение о Берлине). На сцене перед фестивальным кафе авторы — Даниэль Фальб, Александер Гумц, Штефен Поп, Карла Раймерт, Даниэла Зэль и Ульяна Вольф — произносят свой текст от лица туристов, гостей Берлина. Публика, потягивая даровой "гиннес", благодушествует на свежем воздухе. Потребляемый ею текст таков, что в какой момент ни включишься — ничего не потеряешь. Ибо полуторачасовой конгломерат случайных фактов и слов держится только на теме "Берлин" и на свободной ассоциации. Ассоциации, заметим, не слишком образованных и не слишком опытных пользователей Сети. Задерживаться тут большого смысла не имело.

Другая премьера была ориентирована на книгу и, должно быть, поэтому почти не привлекла внимания падких на "прогрессивность" журналистов и критиков. Тем не менее, сценическая версия "Элегии о Каине" Михаэля Рёса стала одной из несомненных удач фестиваля. Автор, философ по образованию, известен не только своими книгами стихов и прозы, но и работами в театре и кино. Приверженность арабской теме и рефлексия над языком являются, пожалуй, наиболее яркими приметами его творчества. Свою новую вещь Рёс пишет как бы на полях Книги Бытия, в четвертой главе которой рассказана история Каина. В фестивальном спектакле Библия лежит на авансцене, актеры читают из нее по ходу действия нужные отрывки. Актеров семь: один в белом — Авель и шесть в коричневом — Каин. По краям сцены два музыканта — ударник и басист. Те, что играют Каина, составляют хор, в котором есть протагонист. Хор то звучит согласно, то рассыпается на отдельные голоса. Один из них может принадлежать Богу. Такое расщепление фигуры героя можно, конечно, истолковать как развитие давней темы двойника. Более естественным, однако, представляется связывать рёсовского Каина с разлитой в воздухе модернизма мыслью о внутреннем многоголосии человеческого "я". Фигура Каина в "Элегии" вышла сложной, противоречивой и трагичной. Толкование Рёса написано о преступлении "по неведению", о безжалостной работе сознания над проступком и о мере наказания. В "Элегии" Каину невыносимо не столько бремя вины (как в Библии), сколько бремя наказания: бессмертие (о котором в Библии нет ни слова) для него страшнее братоубийства. "Смерть была бы мне единым утешением", — один за другим просят голоса Каина и один за другим получают от Бога печать бессмертия. Каин Рёса предпочел бы участь отца, Адама, для которого знание обернулось смертностью. Текст "Элегии" ис-

1. Глоссолалия — в фольклоре: логические заклинательные звукосочетания.

чезал со сцены постепенно — как музыканты в "Прощальной симфонии" Гайдна. Последнему из Каинов досталась финальнаяя фраза, адресованная Богу: "Ich gehöre Dir nicht mehr" ("Я больше не Твой"). Остается сказать, что фестивальный спектакль, возникший как способ презентации книги (ее можно было купить в фойе), перерос свою прикладную задачу. Это был вдохновенный театр, радующий высокой культурой сценической речи.

Была на фестивале и своя теоретическая часть. В Берлинской литературной мастерской (Literaturwerkstatt), взявшей на себя роль куратора фестиваля, проходил коллоквиум на тему "Нужен центр поэзии!" Участвовали представители институций самых разных творческих направлений: нью-йоркского Poets House и калининградского Национального центра современных искусств, Института конкретного искусства и поэзии (Рехау) и Casa Fernando Pessoa (Лиссабон). В результате дискуссии участники пришли к выводу, что ни в каком всепримиряющем центре поэзия в Германии не нуждается. Главное, в чем она действительно нуждается, — это в возможности существовать на разных языках и на разных носителях информации: и на компакт-диске, и в Интернете, и в виде книги. И еще поэзия нуждается в понимании. Но тут разговор заходит о работе над поэтическим вкусом библиотекарей, учителей и журналистов, и даже самые смелые не решаются предположить, каковы могли бы быть критерии этого вкуса, кто и каким образом будет такую работу проводить в стране, где в школе не читают и не учат стихов.

Под стать открытию был и "последыш" фестиваля — акция пропаганды поэзии в метро, проходящая под девизом "Literaturhaus несет поэзию в город". Плакаты со стихами развешены на рекламных щитах перед глазами ждущих поезда пассажиров. На станции "Берлинерштрассе" — седьмая линия текст, например, такой:

Он говорил, что я зверь рогатый,
Что вечно пребуду в первом семилетье жизни,
Выйду из него — пропаду,
А останусь — не бывать мне женщиной.
Пробую найти возраст, пригодный для жилья,
Ты его уже нашел.
Просторна холмистая даль,
заключенная в корпус видеокамеры.
Не существует хайку о душе,
В ней времен года нет.

Йоко Тавада
(из неопубликованного)

Политкорректность акции безупречна: почтить вниманием решили почему-то исключительно лауреатов премии Шамиссо, созданной для пишущих по-немецки иноязычных поэтов. То, что стихи беспомощны, — никакой роли не играет.

Малая проза большого писателя

И. Во *Слепок эпохи*: Рассказы / Перев. с англ. – М.: Б.С.Г.-ПРЕСС, 2004

На сегодняшний день "Слепок эпохи" – самый полный сборник "малой прозы" Ивлина Во на русском языке. Рассказы Во печатались у нас уже в советское время (причем переводили их такие мастера, как М. Лорие, В. Муравьев, Р. Облонская), но давались они всегда выборочно, в приложении к его романам, так что для советских и постсоветских книгочеев Ивлин Во прежде всего романист, создатель неувядающих сатирических шедевров, выдержанных в духе "черной комедии": "Упадок и разрушение", "Мерзкая плоть", "Черная напасть"[1], "Пригоршня праха " и др.

Надо признаться, в этом есть своя сермяжная правда: Ивлин Во один из тех писателей, кому дано было максимально полно раскрыться в рамках "большой формы". Рассказы он писал с семилетнего возраста (образчиком его juvenilia, опубликованным, когда автору не было и десяти лет, как раз и открывается сборник), однако, как в свое время и Антоша Чехонте, относился к ним, по большей части, не слишком серьезно. Рассказы были для Ивлина Во либо средством заработка (а печатался он, между прочим, в жирненьких буржуазных журналах типа "Вог", "Эсквайр" и "Харперс"), либо своеобразным творческим полигоном, где опробовались литературные приемы и обкатывались сюжетные модели, которым суждено было воплотиться в его романах.

Весьма показательна здесь новелла "Вылазка в действительность" (1932) – на мой взгляд, одна из лучших в сборнике. В ней варьируется базовая сюжетная схема большинства довоенных романов писателя: простодушного, неискушенного в жизни молодого человека внезапно затягивает вихрь головокружительных приключений; после целого ряда недоразумений, курьезных происшествий и трагифарсовых ситуаций он так же неожиданно возвращается в исходное положение, осознав жестокие законы абсурдного мира, в котором царят алчность и предательство. В новелле роль добродетельного простака поручена начинающему литератору Саймону Ленту. Взбалмошный и невежественный киномагнат заказывает ему сценарий по "Гамлету", которого нужно подогнать под незамысловатые вкусы широкой публики: Шекспира предлагается "перевести на нормальный язык", королеву Гертруду выбросить из сценария, так как "она тормозит события", а само действие трагедии перенести в Шотландию, подключив к делу "горцев в юбках и сцену-другую со сборищем клана".

Еще крепче связаны с романами другие "short stories" Ивлина Во. Рассказ "Из жизни благородного семейства" (1927), в котором выгнан-

1. В "ИЛ" перевод романа печатался под названием "Черная беда" (1991, № 6).

ный из Оксфорда герой-повествователь устраивается воспитателем юного отпрыска аристократического семейства, тематически близок "Упадку и разрушению" (1929). (Характерно, что повествование, едва набрав обороты, внезапно обрывается, а повествователь сетует на Природу, которая "совсем как ленивый писатель, вдруг резко закругляется, сводя к короткому рассказу все, что изначально предполагала сделать экспозицией романа".) "Происшествие в Азании" (1932) можно считать сателлитом "Черной напасти" (1932): события здесь разворачиваются в одной и той же вымышленной восточноафриканской стране; "Поклонник Диккенса" (1933) почти без изменений вошел в роман "Пригоршня праха" (1934); а в рассказе "Бэзил Сил опять на коне, или Возвращение повесы" (1963) нашему вниманию предлагается один из самых ярких и обаятельных антигероев раннего Во: постаревший, обрюзгший, утративший былую прыть пройдоха из "Черной напасти" и "Не жалейте флагов" (1942). Тут же мы встречаем еще одного персонажа, фигурировавшего в довоенных романах Во, — Марго Метроленд. Изысканная прожигательница жизни и неутомимая сердцеедка из "Упадка и разрушения" предстает перед нами съежившейся старушкой, доживающей свой век у экрана телевизора.

По своему художественному качеству рассказы "Слепка эпохи" весьма неоднородны. Некоторые, например "Любовь на излете" (1932), "Коротенький отпуск мистера Лавдэя" (1935) — истинный шедевр черного юмора, прямо-таки обжигающий жестоким остроумием неожиданной развязки, — уже упомянутая "Вылазка в действительность", выдерживают сравнение с лучшими романами прозаика. Но наряду с ними и другими первоклассными сатирическими вещами, живописующими "упадок и разрушение" старой доброй Англии и духовное оскудение представителей высшего общества ("Званый вечер у Беллы Флис" (1932),"Морское путешествие" (1933), "Дом англичанина" (1947), в книге встречаются и откровенно слабые творения, обязанные своим долгожительством только громкому имени автора.

Увы, к этой категории принадлежат не только наивные детские поделки вроде "Multa Pecunia" (1912) и юношеские пустяки, которыми в начале двадцатых не слишком прилежный студент Хетфорд-колледжа питал оксфордские журналы ("Фрагменты: ужин с прошлым" (1923), "Антоний — искатель утраченного" (1923), "Как Эдвард достиг невозможного" (1923) и др.), но и некоторые произведения зрелого мастера: в частности, вымученное "Возвращение повесы", малоудачная "старческая попытка" вернуться к былой манере и приспособить героев давних романов к "престранному новомодному миру" шестидесятых, который анахоретствующий писатель, избравший имидж эксцентричного сноба и архиконсерватора, не понимал и не желал понимать.

Как говаривал пушкинский Савельич: "Быль молодцу не укора: конь и о четырех ногах, да спотыкается" — посему не будем излишне строги ни к автору (тем более что он не переиздавал большинство своих скороспелых юношеских опусов), ни к безымянным составителям "Слепка эпохи", которые не озаботились предисловием и маломальски подробными комментариями, да к тому же немного недоскребли по библиотечным сусекам, в результате чего сборник вышел все-таки неполным. (Законная придирка, если уж составители стремились представить максимально полно "малую прозу" Во.)

Так, за пределами книги оказалось несколько ранних рассказов, в том числе "Несчастье на скачках" ("The Curse of the Horse Race", 1910), удостоенный переиздания в одном из прижизненных сборников писателя, "Решающий фактор" ("The Balance", 1926), предвосхищающий кинематографическую повествовательную технику "Мерзкой плоти", а также фантастическая история à la Герберт Уэллс "Из глубины" ("Out of Depth", 1933), в которой один из героев переносится во времена Средневековья, а другой попадает в Лондон XXV столетия. Невостребованным остался и рассказ "Сострадание" ("Compassion", 1949), повествующий о том, как доблестный британский майор Гордон пытается вывести из Югославии еврейских беженцев, бывших узников концлагеря (позже он был трансплантирован в роман "Безоговорочная капитуляция" — заключительную часть военной трилогии Во). В "воениздатовский" перевод И. Разумного и П. Павелецкого эпизод с беженцами не попал, так что составители могли бы проявить сострадание к злополучному рассказу и включить его в сборник.

Впрочем, несмотря на досадные пробелы, "Слепок эпохи" способен дать представление об Ивлине Во-новеллисте и, что гораздо важнее, подарить нам несколько часов занимательного чтения. И пусть далеко не все из собранных здесь новелл и рассказов явятся для кого-то откровением, большинству из них присущи "*ясность, элегантность* и *индивидуальность*", а ведь именно эта комбинация, как не без основания считал сам Ивлин Во, "дает состав, способный оставлять подобье вечного в неуловимом искусстве письма".

Николай Мельников

Способ нарисовать Стивенса

Уоллес Стивенс *Человек с голубой гитарой*: Стихи / Перев. Бориса Ривкина. — Нью-Йорк: ARS-INTERPRES, 2003

Петербургская переводчица Эльга Линецкая любила повторять, что профессиональному перелагателю стихов необходимо найти "близкого", наиболее созвучного своему душевному строю поэта, тогда работа по переводу любимого автора перерастет в работу над собой. В таком диалоге и кроется переводческое "познай самого себя".

Для Бориса Ривкина вопроса нахождения "своего" поэта не существует, его душу давно разбередил американец Уоллес Стивенс (1879—1955). Недавно вышедшая книга переводов Стивенса "Человек с голубой гитарой" — лучшее тому подтверждение. Если бы не несомненные достоинства переводов Ривкина, я бы осмелился утверждать, что проходить переводческую практику у Стивенса — дело крайне опрометчивое. Стивенс, пожалуй, самый эзотерический поэт новейшего времени. Замысловатость его стихов часто уводит в сторону, противоположную той, в которую должен направиться переводчик. По своей "неплотскости" эти стихи сродни улыбке Чеширского Кота, и тем не менее Стивенс великолепен именно благодаря этой улыбке, и если учит чему-либо — так это филигранности и изменчивости переживания, когда на первый взгляд счастливое лицо превращается в гримасу безумия.

В списке лирических приоритетов Стивенса размышление по поводу предмета или действия всегда стоит выше самого повода, а частное наблюдение, переживание — важнее всех земных истин

вместе взятых. Такой подход к творчеству особенно очевиден в хрестоматийном стихотворении "Тринадцать способов нарисовать дрозда", в котором перед читателем разворачивается спектр лирических ассоциаций, связанных с певчим дроздом — символом английской поэзии. Формалист, препарируя стивенсовского "дрозда", вывел бы из этого ассоциативного жонглирования "искусство как прием" или, того хуже, "искусство ради приема". Однако лирика Стивенса с трудом поддается филологическому расчленению, потому что она — *не-формальна*; в ней есть место не только "мыслям о вещах", но и "мыслям о мыслях". Последнее — непременная составляющая высокой поэзии:

А еще я знаю,
Что в том, что знаю,
Присутствует дрозд.

Тринадцать способов увидеть дрозда. VIII

Стихи Стивенса метафизичны, запредельны. В его книгах то и дело возникают видения мещанского обихода, дальних стран, даже влюбленных, которые, как миражи, распадаются на тысячи кристаллов по ходу чтения. Переводчик таких стихов буквально "загнан в угол": как перевести стихотворный мираж, чтобы те же самые воздушные замки возникали и исчезали в иной языковой культуре? Заслуга разбираемой здесь книги состоит в том, что во многих переводах стивенсовские миражи досконально воссозданы:

Багроволицые, с железной волей
Бредем навстречу утренним метелям,
Летящим с неприветливых небес.

Что наша воля, наш суровый разум
Для звона зябликов средь рощи
шумной
В объятьях лета, матери хмельной?

Раздумья небесные и земные

Одно из достоинств разбираемой книги — предельная честность Ривкина перед поэтом и читателем. Стивенс переведен с завидной дотошностью; переводчик старается подобрать ключ к наглухо запертым дверям и крайне редко пользуется "отмычками" лирической отсебятины. Такая рыцарская верность оригиналу не всегда приводит к желаемому результату, но в данном случае она оправдана результатом — блестящими переводами, такими, как "Возобновление романа":

Откуда ночи знать про песнь ночную?
Ведь песнь живет в себе, как я в себе.
Но через песнь я лучше понимаю

Обоих нас. Ведь только нам с тобой
Дарить друг другу все, чем мы богаты.
Ведь ты со мной одно, не ты и ночь,

Не ночь и я, а ты и я одно,
Одно настолько, тесно так одно,
Так далеко от жалких одиночеств,

Что ночь лишь оттенит единство
наших "я"
И верность каждого своей отдельной
части
В том слабом свете, что идет от нас.

У Стивенса есть стихотворение "Царь-мороженщик", которое, начинаясь с легкой иронии, уводит "в дальние дали": мускулистому крутильщику сигар предлагается взбить "сладостные комки" мороженого, девицам — одеться в свое тряпье, ибо "настала пора быть, а не казаться". Во второй, и последней, строфе поэт как бы между прочим советует накрыть расшитой простыней лицо умершей женщины. Вдруг становится ясно, что зарисовка мещанского быта понадобилась Стивенсу исключительно как притча о неотвратимой смерти. При этом рефрен стихотворения "единственный владыка — это царь мороженого" приобретает неожи-

данный смысл — мороженое как символ загробного холода, метафора конечного бытия.

У Стивенса метафора бьет далеко и не ограничивается словесным оборотом; можно говорить о *тотальности* стивенсовской метафоры, заставляющей возвращаться к стихотворению и заново осмысливать прочитанное. Здесь-то и подстерегает переводчика подводный камень: приверженность буквализму может свести на нет итоговые откровения стихов. В некоторых, по счастью немногих, переводах Ривкин идет по пути наименьшего сопротивления, превращая стихотворение в подстрочник, лишенный лиризма.

Уоллес Стивенс — поэт классический, с легкостью "перемахивающий" временные и пространственные барьеры. Такой художник нуждается в пристальном прочтении и в не менее пристальном переводе. В последнее время Стивенсом занялись всерьез: переводы Кружкова, Гандельсмана, Цветкова и др. успели познакомить русского читателя с мэтром американской поэзии. И все же для полного понимания этого поэта нужен не один переводчик, и переводы Ривкина очень уместны в кругу помянутых прочтений. Новая книга дополняет уже созданный, но пока не устоявшийся образ русского Стивенса. Это еще одна прививка новоанглийского поэта отечественной словесности, еще один, четырнадцатый, способ увидеть и нарисовать стивенсовского дрозда.

Григорий Стариковский

Издательские планы

"ИЛ" начинает знакомить читателей с интересными книгами, готовящимися к выходу в разных издательствах. Об этих публикациях вы узнаете из бесед с теми, кто принимал непосредственное участие в их подготовке: переводчиками, комментаторами, издателями. Беседует Светлана Силакова.

Неизвестный роман под общеизвестным заглавием

Гюстав Флобер *Первое "Воспитание чувств"* / Пер. с франц. И. Васюченко и Г. Зингера. Предисловие и комментарии С. Зенкина. – М.: Текст. (Серия "Квадрат")

О ранней книге Флобера, которая впервые выходит по-русски, мы побеседовали с одним из ее переводчиков Георгием Рубиновичем Зингером.

"ИЛ". Не все знают, что задолго до общеизвестного "Воспитания чувств" Гюстав Флобер написал другое произведение под таким же заглавием. То был его первый большой роман, законченный в 1845 году, но напечатанный лишь через тридцать лет после смерти автора.

Таким образом название "Первое 'Воспитание чувств'" является в некотором смысле условным. Оно дано издателями, поскольку публикация была посмертной. Скажите, это законченная вещь или восстановленная публикаторами по черновикам?

Георгий Зингер. Это вполне завершенное произведение. Флобер работал над ним с 1843-го по 1845 год, а затем просто положил в стол. Дело в том, что книга кончается настоящим литературным манифестом, направленным, как представлялось автору, против одряхлевшего романтизма, от влияния которого, заметим, отнюдь не был свободен и он сам. Но с подобным развенчанием юный Флобер чуть опоздал: в конце 40-х на романтизм ополчились все кому не лень, и, поняв это, писатель отказался от публикации, не желая пинать поверженного льва.

"ИЛ". Как давно вы перевели этот роман?

Г. З. Перевод выполнен по заказу издательства "Текст" совсем недавно. Идея публикации исходила от Сергея Зенкина, который подготовил комментарии к роману. От работы я получил большое удовольствие — книга очень симпатичная.

"ИЛ". Переводилось ли раньше "Первое 'Воспитание чувств'" на русский язык?

Г. З. Насколько мне известно, в двухтомник Флобера "О литературе, искусстве и писательском труде", который был издан в 1984 году, вошли лишь небольшие фрагменты. Переводила их А. Андрес.

"ИЛ". Нельзя не задать естественный вопрос: "Это более ранняя редакция широко известного романа"?

Г. З. Нет, это два самостоятельных произведения, если не считать некоторую общность идей. В "Первом 'Воспитании чувств'" два главных героя. Между ними и Фредериком Моро не так уж много сходства...

"ИЛ". Насколько похоже "Первое 'Воспитание чувств'" на традиционные "романы воспитания"?

Г. З. Здесь, как и в будущем своем одноименном произведении, Флобер усложняет задачу, обычно стоящую перед теми, кто пишет в этом жанре. Он рассматривает жизненный путь двух равно одаренных людей. На основании первоначального нравственного выбора и только него, один из них делается образцовым прагматичным чиновником, а другой — многообещающим писателем. Творческое кредо последнего как раз изложено в финальном литературном манифесте, о котором я уже упоминал.

"ИЛ". Для "Воспитания чувств" 1869 года большое значение имеет картина эпохи: типажи, быт, нравы. А в "Первом 'Воспитании чувств'" тоже так?

Г. З. Нет, это произведение скорее из разряда тех, о которых можно сказать пушкинскими словами: в них "отразился век и современный человек изображен довольно верно..." Автора интересует прежде всего душевная жизнь тех персонажей, которых он ставит в центр повествования.

"ИЛ". Какое место занимает в "Первом 'Воспитании чувств'" тема любви?

Г. З. Естественно, главное; причем уже проявляется свойственная Флоберу (что видно из его писем) сублимация любовного чувства и погружение в историю и культуру.

"ИЛ". Чувствуется ли здесь почерк Флобера, знакомый нам по его зрелым произведениям?

Г. З. Да, уже намечены многие характерные приемы: например, несобственно-прямая речь — незаметный переход в рамках одной фразы от мыслей персонажа к авторскому комментарию... Наблюдательность. Прекрасные описания. При этом роман полемический, антимещанский, очень ироничный — открыто ироничный, в отличие от более позднего, носящего то же название, где ирония уведена в подтекст.

"ИЛ". Увидели ли вы Флобера новыми глазами, работая над этим текстом?

Г. З. Пожалуй, нет. Все-таки, что бы я тут ни говорил, подлинная виртуозность придет к автору позже. Но и на "пробах пера" гения обычно лежит отпечаток его избраннической миссии. "Первое 'Воспитание чувств'" интересно тем, что это выразительная эпитафия целой эпохе,

ее особому способу соотноситься с миром идей и вещей, который был отвергнут новыми поколениями, а потом и вовсе утрачен.

Ариосто в новой аранжировке

Итало Кальвино. *Итало Кальвино пересказывает "Orlando furioso"*[1] / Пер. с итал. Е. Костюкович. – СПб.: Симпозиум.

Елена Костюкович рассказывает о том, как один замечательный итальянский писатель переосмыслил творение другого.

"ИЛ". Скажите, почему Кальвино взялся за пересказ знаменитой поэмы Лудовико Ариосто, написанной в 1532 году? Кому адресована эта книга?

Елена Костюкович. Изначально она предназначалась школьникам. Иначе говоря, тем, кому необходимо просто ознакомиться с поэмой: запомнить сюжет и имена главных героев, прочесть несколько октав и извлечь из этого чтения определенное удовольствие. Решая эту задачу, Кальвино – литератор гениальной легкости, виртуоз ритма, человек на редкость ясного ума – сумел создать изящное и глубокое чтение для людей любого возраста. Книга стала особым явлением итальянской культуры, в которой живет почти тридцать пять лет. Она переведена на многие языки.

"ИЛ". Какое место занимает Ариосто и конкретно "Orlando furioso" в культурном багаже современного образованного итальянца? Это "классика, которую читают" или "классика, над которой зевают"?

Е. К. Мнение среднего итальянца об этой поэме – двойственное. В школе, наверное, каждому пришлось позевать над "Орландом", ведь это часть обязательной программы – текст-то неподъемный, да и обязаловка всегда угнетает. Но потом, когда люди вырастают, успокаиваются, приходит интеллектуальная зрелость... Достаточно сказать, что сюжеты Ариосто лежат в основе всего сицилийского кукольного театра. По мотивам поэмы "Orlando furioso" создано немало знаменитых рисунков и картин, оперных и балетных композиций, текст на слуху у широкой публики. В общем, он занимает в сознании итальянцев примерно такое же место, как "Руслан и Людмила" у русских. Сравнение уместно, так как, во-первых, поэма Пушкина представляет собой русский аналог ариостова шедевра, а во-вторых, каждому из нас знакомо устало-ироничное (всю жизнь с детского сада под знаком Лукоморья!), и в то же время любовное, благодарное отношение к этому изучавшемуся в школе произведению.

"ИЛ". Название поэмы Ариосто переводилось на русский по-разному: у Катенина читаем "Бешеный Роланд", у Батюшкова и Раича – "Неистовый Орланд"... Какой вариант вы считаете более точным?

Е. К. Осмелюсь предложить свое название – "Обуянный Орланд". Подобно коллегам-предшественникам, я готова объяснить мой творческий выбор. Дело в том, что по своей натуре Орланд – не неистовый. Просто согласно сюжету на него находит помрачение – по-итальянски

1. Это не окончательное, а рабочее название.

"фурия", вот он и становится "фуриозо", а потом приходит в себя и опять обретает нормальный человеческий облик. Имеются у меня и добавочные соображения как фонетического, так и графического плана. Словосочетание "Orlando furioso" содержит много "о", это такой зрительный образ пустоты, безумия, временного помрачения сознания...

"ИЛ". Какую задачу ставил перед собой Кальвино: воссоздать "Орланда" или скорее переосмыслить? Сильно ли изменился итальянский язык со времен Ариосто – пришлось ли Кальвино брать на себя функции переводчика?

Е. К. О да, язык переменился очень сильно, да и вообще настоящий итальянский язык, язык объединенной Италии, возник только в середине XIX века благодаря сознательной работе писателя Алессандро Мандзони, автора главного романа всей итальянской словесности – "Обрученные". Так что Кальвино, конечно, пришлось поработать переводчиком.

Кстати, он и вообще замечательный переводчик, в основном с французского. Совершенно прелестны и очень известны его переводы экспериментальной прозы Раймона Кено, в частности книги "Голубые цветочки".

Кальвино перелицовывает велеречивые, текучие октавы Ариосто, делает пружинистыми, отрывистыми. Вот для примера:

"В таверне на Пиренеях давали ужин. Внезапно раздался шум. Гостиник и подавальщики забегали: кто бросился к окнам, кто на улицу, глядят в небо, раскрыли рты. Женщины оставили очаг и стряпню и убежали в погреб.

– Что за черт? Затмение? Комета? – Двое гостей, вроде не робкого десятка. Один из них – великолепно наряженный рыцарь, лучезарный лик, золотые длинные пряди; второй – уродливый, кургузый и короткий, косматый и чернявый. Одет в обтягивающее трико.

Гостиник торопится извиниться: не волнуйтесь, все в порядке, он уже пролетел. Он? Кто? Крылатый конь пролетает каждый вечер, верхом на нем летает кудесник. Когда кудесник видит красавицу, опускается и похищает. Поэтому женщины прячутся: и красивые, и те, кто полагают себя красивыми, то есть, выходит, все".

В свой текст Кальвино то и дело вставляет октавы Ариосто. Очевиден контраст стилей. Но если соблюсти верную пропорцию современного и старинного стилей, архаика звучит свежо и занятно, радует глаз и ухо.

"ИЛ". Нет ли в тексте Кальвино элементов мистификации?

Е. К. Кальвино не меняет сюжет поэмы, но очевидно, что текст сильно переозвучивается этим беззаботным и легким рассказчиком, который насыщает свой пересказ и элементами литературоведческой критики, и историческими фактами, и своими субъективными оценками. Поэтому произведение становится другим. Это Ариосто в новой аранжировке. Сильнее чувствуется ироикомическое начало. Наверное, ваша интуитивная догадка справедлива: продукт не тот, продукт другой, следовательно, мистификация (или мифологизация) налицо.

"ИЛ". Какое место занимает пересказ "Орланда" в творческом наследии самого Кальвино?

Е. К. Для Кальвино эта книга – важная веха. Он очень многогранный писатель, проделавший громадный путь от "Тропинок паучьих гнезд" к "Раздвоенному виконту" и "Барону на дереве". "Невидимые города", "Если однажды зимней ночью путник", изумительная нон-фикшен ("Коллекция песка", "Шесть соображений относительно будущего

тысячелетия")... – сколько сложных сюжетных схем испробовал Кальвино! Однако есть некий общий элемент: Кальвино постоянно использует идею "ризомы", то есть ветвящегося повествования, развивающего одновременно несколько альтернативных фабульных возможностей. Так вот, поэма Ариосто – дивный экзерсис в подобном духе. Безусловно, многие новаторы XX века – и Борхес, и Кортасар – часто оглядывались на неутомимого выдумщика Лудовико Ариосто.

"ИЛ". Почерпнули ли вы для себя что-то новое как переводчик, работая над этой книгой?

Е. К. Эта работа дает столько пищи для размышлений, в том числе теоретических, что переводить становится некогда: решая задачи, отвлекаешься от прямого занятия. Чтобы слегка перелицевать традиционную октаву (а я это делаю), приходится изучать историю русского стиха. Чтобы предложить нужную пропорцию смешного и серьезного в русском переводе, следует представлять себе реальный облик текста на фоне современной ему литературы. А значит, надо читать итальянский XVI век. Надо читать предшественников. Это означает все новое и новое чтение, чтение без конца. В сущности, не к этому ли душа активно стремится? Чем бы ни заниматься, лишь бы не работать.

"ИЛ". Как вы относитесь к уже существующим переводам Ариосто на русский язык?

Е. К. С любопытством, радостью и благодарностью. Михаил Леонович Гаспаров переводил верлибрами все целиком, Евгений Михайлович Солонович – в виртуозных октавах, большими кусками. Разные аранжировки, разные приоритеты, разные инструменты – а материал общий и любовь общая. Да как можно Ариосто не любить! Писал же Мандельштам: "Незнакомство русских читателей с итальянскими поэтами (я разумею Данта, Ариоста и Тасса) тем более поразительно, что никто иной как Пушкин воспринял от итальянцев взрывчатость и неожиданность гармонии..."

Хотя, узнав мнение великих об этом сочинителе, можно и оробеть. Так, в "Дон Кихоте" Сервантеса священник заявляет, что переводить Ариосто – занятие гиблое: "'Orlando furioso'... Если этот последний отыщется среди наших книг и мы увидим, что говорит он не на своем родном языке, а на чужом, я не почувствую к нему никакого уважения; но если он будет говорить на своем – я возложу его себе на голову".

Хорошо бы умудриться так перевести, чтобы читателю все же захотелось "возложить" продукт моего труда "себе на голову". Тем более что он в десять раз короче, а значит, и подъемнее прототипа-оригинала.

Рохинтон Мистри: пишет на английском, мыслит на "субконтинентальном"

Рохинтон Мистри. *Дела семейные* / Пер. с англ. М. Салганик. – М.: Росмэн (Серия "Премия Букера: Избранное")

Роман современного индийского писателя представляет его переводчица Мира Львовна Салганик.

"ИЛ". Мистри родился и вырос в Бомбее, но в двадцать три года перебрался в Канаду, где живет уже без малого 30 лет. Там же он состоялся как писатель. Повлияла ли эмиграция на его мировосприятие?

Мира Салганик. Трудно сказать – он ведь в Канаде и начал писать. Во всяком случае, постоянная тема – Индия, его родной Бомбей и судьба той религиозной общины, с которой он связан по происхождению: парсов-огнепоклонников.

"ИЛ". На каком языке пишет Мистри?

М. С. Пишет он по-английски, но построение фраз свидетельствует: Мистри, как и его земляк Салман Рушди, мыслит на весьма специфическом английском – строго говоря, этот язык надо бы называть "субконтинентальным", поскольку на нем говорит и пишет интеллигенция трех стран Индостанского субконтинента: Индии, Пакистана и Бангладеш. Это не просто английский, в который включена россыпь местных слов и выражений. Он даже морфологически несет на себе отпечаток индийского построения фразы. Этот язык энергичен и выразителен, но переводить с него – адский труд... Кстати, в индийских семьях среднего класса в быту могут говорить на нескольких языках. На английский переходят, чтобы побеседовать об отвлеченных материях...

Возвращаясь к вопросу о мировосприятии, я бы отнесла Мистри к быстро разрастающемуся племени "диаспорических" художников. Причем он из той ветви, которая упрямо питается соками своих корней, даже будучи трансплантирована на иную почву.

"ИЛ". Можно сказать, что "на иной почве" Мистри посчастливилось. Он удостоен престижных литературных премий, как канадских, так и международных. Два его романа – "Такое долгое путешествие" ("Such a Long Journey") 1991 года и переведенные вами "Дела семейные" ("Family Matters") 2002-го – попали в шорт-лист премии Букера. А как относятся к Мистри в Индии? Считается ли он представителем национальной культуры?

М. С. Мистри в Индии, безусловно, хорошо знают и считают "своим". Я, к сожалению, не видела рецензий, но слышала восторженные отзывы о его книгах от своей бомбейской приятельницы. Другое дело, что существует определенное напряжение в литературной среде. Иные из тех, кто пишет на местных языках, обижены на англоязычных писателей. Дескать: "Нас не знают за пределами Индии только потому, что мы пишем на своих национальных языках". Напомню, однако, что в Индии два государственных языка – хинди и английский.

"ИЛ". Насколько силен в произведениях Мистри этнографический элемент? Старается ли он запечатлеть для потомков "уходящую натуру" – культуру и традиции своего народа, парсов?

М. С. Сомневаюсь, что он видит здесь этнографию. Мистри пишет о досконально известной ему среде, а этнографический аспект здесь могут видеть только иностранцы, скажем, мы с вами. "Уходящая натура" для него – исчезающая община парсов: их осталось около 60 тысяч человек на 14-миллионный Бомбей. Но на глазах исчезает также и неповторимый колорит Бомбея. Это самый космополитический из индийских городов, но сейчас его захлестывает стихия индусского фундаментализма. По настоянию шовинистов из организации "Шив Сена" Бомбей переименован в Мумбаи.

Мистри любит родной город и с болью следит за его нынешними метаморфозами. В "Делах семейных" – а действие романа происходит в

90-е годы XX века с некоторыми экскурсами в историю — Бомбей является полноправным персонажем.

Теперь о парсах. Так называют в Индии людей, исповедующих одну из древнейших религий мира, — зороастрийцев-огнепоклонников. Учение Заратуштры некогда повлияло на иудаизм, христианство, ислам, а также на северный вариант буддизма. В X веке зороастрийцы бежали из Персии от преследований мусульман. Община парсов сыграла в Индии огромную роль, не сопоставимую с ее численностью, однако в наше время их количество стремительно убывает. Да, кстати, нужно ли говорить, что учение Заратуштры ничего общего с книгой Ницше не имеет? Ницше попросту использовал фигуру древнего пророка для изложения своих идей.

"ИЛ". Как бы вы охарактеризовали национальный характер парсов?

М. С. Этот характер складывался тысячелетиями под воздействием их веры. Учение зороастризма зиждется на том, что существует определенный план Господень, и всякий зороастриец своим поведением либо приближает осуществление этого плана, либо препятствует ему. Таким образом, личная ответственность человека приобретает характер поистине космический. В Индии парсы славятся честностью, трудолюбием, стремлением к образованию — и замкнутостью своей общины, которая заметна даже на фоне индийской кастовости. Зороастрийская община считается богатой, из нее вышло немало людей, пользующихся общенациональной или даже мировой известностью. Достаточно назвать имя прославленного дирижера Зубина Мехты — бомбейского парса.

"ИЛ". Запрет на браки с иноверцами, существующий в общине парсов, приводит к самым трагическим последствиям для героев "Дел семейных"...

М. С. Да, но этим проблематика романа не исчерпывается. На самом деле, Мистри затронул вопрос о генезисе фундаментализма... По причинам, которые здесь не место обсуждать, Россия с удивительным упорством держится за свое стереотипное представление об Индии — у нас десятилетиями существовал стереотип "бхаи-бхаи", построенный на нашей же пропаганде, на бомбейской кинопродукции и тупейших анекдотах, где имя "Неру" рифмовалось с "в меру". Потом его сменил стереотип "Индии духа" — смесь выспренней слащавости с чернокнижничеством. На этом фоне роман Мистри может вызвать шок у неосведомленного читателя: Мистри описывает судьбу одной семьи, типичной семьи среднего класса, живущей в обстановке религиозно-общинной розни и наступления индусского фундаментализма, сращивания криминала с властью, роста коррупции. Все это так узнаваемо — только приметы быта другие.

"ИЛ". Интересно, а у индийской коррупции есть свои национальные особенности?

М. С. Во-первых, она отличается индийской масштабностью — вспомните, что население Индии перевалило за миллиард, и представьте себе масштаб всего, что там происходит. Во-вторых, речь идет о традиционном обществе. Мы только начинаем привыкать к этнической преступности или коррупции, а там это не новость. С другой стороны, ни кастовость, ни клановость Индии не является помехой для участия в международной коррупции. Правда, надо сказать, что парсы и тут стоят особняком, но сколько их осталось, этих парсов?

"ИЛ". А как Мистри относится к индусскому фундаментализму?

БиблиофИЛ

М. С. Он разделяет позицию, которой придерживается бóльшая часть индийской интеллигенции: всякий фундаментализм чудовищен, это очевидно; всякое превращение религии в политический фактор чревато распадом многоконфессионального, многоплеменного, многоязыкого государства. И относится это не к одной только Индии.

"ИЛ". Интеллигенции удается как-то повлиять на ситуацию?

М. С. А как это проверить? Раз уж мы говорим о Рохинтоне Мистри, то надо полагать, что его романы вызывают отклик в умах и сердцах; это же можно сказать о замечательном романе Арундати Рой "Бог мелочей" (кстати, он был опубликован у вас в "ИЛ", номера 7 и 8 за 1999 год), о прекрасных работах индийских кинематографистов, к сожалению, практически не известных у нас, — например, "Свадьбе в сезон дождей" Миры Наир. На последних выборах в мае 2004-го националистическая партия "Бхаратия джаната" (БДП) проиграла, к власти пришла коалиция во главе с Индийским национальным конгрессом — к слову сказать, одним из основателей Конгресса еще в конце XIX века был парс Наороджи Дадабхаи. Можно предположить, что определенную роль в таком исходе выборов сыграла и демократическая интеллигенция, и здравые политические силы, и факторы экономического и политического порядка. Мне кажется, что важна не оценка КПД творческой интеллигенции, а доказательства ее полноценного существования. Творчество Мистри, на мой взгляд, тому свидетельство.

У книжной витрины

с Константином Мильчиным

Гари Р. Европейское воспитание: Роман / Пер. с франц. В. Нугатова. — М.: Эксмо, 2004. — 384 с. 3000 экз. (п)

Это первый роман молодого летчика-истребителя Ромена Гари, написанный сразу после войны. В лесах под Вильно весьма условно изображенные польские партизаны воюют с немцами. Голод, холод, смерть... Разочарование в идеалах и долгие споры об истине... Европейское воспитание рождается в огне Второй мировой. Очень наивная и сентиментальная книга, из которой видно, что творилось в головах французских интеллектуалов в 1945 году.

Нотомб А. Словарь имен собственных: Роман / Пер. с франц. И. Волевич. — М.: Иностранка, 2004. — 160 с. — (В ИЛлюминаторе: Бельгия) 5000 экз. (п)

"Как вы яхту назовете, так она и поплывет", — говаривал капитан Врунгель. С людьми то же самое — утверждает бельгийская писательница Амели Нотомб. Имя влияет на судьбу, и если сумасшедшая мама называет дочку странным именем Плектруда, то и судьба у нее будет такая же нелепая и дикая. А если написать про такую девочку роман, то он получится одновременно веселым, грустным и абсурдным.

Нечаев С. Жозефина Бонапарт. Тайна любви и смерти. — М.: АСТ-ПРЕСС, КНИГА, 2004. — 256 с. 7000 экз. (п)

В 1796 году Жозефина Богарне вышла замуж за молодого многообещающего генерала Наполеона Бонапарта. Мудрые советы жены помогли ему стать сперва первым консулом, а затем французским императором. Потом Наполеон променял Жозефину на австрийскую принцессу, и его звезда закатилась. Отставная императрица несколько лет прожила под Парижем в Мальмезоне, в 1814-м, уже после захвата Франции войсками союзников, она внезапно умерла... Может быть, ее убили? Кто? Следствие ведет историк. Если бы существовала премия за лучшую научно-популярную книгу года, то ее стоило бы вручить Сергею Нечаеву.

Эстерхази П. Малая венгерская порнография / Пер. с венгерск. О. Якименко. — СПб.: Симпозиум, 2005. — 336 с. 1000 экз. (п)

Путеводитель по Венгрии эпохи развитого социализма, который создал один из самых знаменитых сегодня венгерских писателей — Петер Эстерхази. Несмотря на название, в книге на самом деле нет ни порнографии, ни эротики. Дело в том, что в оригинале название романа можно прочесть и как вариант расшифровки аббревиатуры венгерской компартии. То есть для Эстерхази вся венгерская социалистическая история — порнография.

Медлар Л., Грей Д. Поваренная книга декаданса / Под ред. А. Мартина и Дж. Флетчера. Пер. с англ. Ю. Идлис. — М.: Новое Литературное Обозрение, 2004. — 240 с. — (Культура повседневности). Тираж не указ. (п)

От этой книги "одновременно текут слюнки и встают волосы дыбом". Под одной обложкой собра-

ны самые необычайные рецепты и истории о еде всех времен и народов, хотя в первую очередь здесь конечно же речь идет об эпохе декаданса, когда кулинарные извращения достигли апогея. Фамилии авторов, естественно, выдуманы, но и биографии редакторов тоже очень похожи на сказку. В общем, клубок мистификаций, и где здесь реальные блюда, а где плод фантазии авторов понять невозможно.

Гранже Ж.-К. Империя волков: Роман / Пер. с франц. Е. Клоковой. — М.: Иностранка, 2004. — 573 с. — (Лекарство от скуки) 7000 экз. (п)

Новый триллер Жан-Кристофа Гранже (в этой серии уже изданы его романы "Пурпурные реки" и "Полет аистов"). Кто-то зверски пытает и убивает турецких нелегалок, а тем временем жена крупного полицейского чиновника начинает терять память. К середине романа эти две на первый взгляд никак не связанные между собой истории соединяются. Роман более чем увлекательный, но... Море крови, заговоры, интриги, бесчеловечные опыты — и все ради чего? Тем не менее французы уже снимают по мотивам книги очередной суперблокбастер с Жаном Рено в главной роли.

Грак Ж. Замок Арголь: Роман / Пер. с франц. Е. Дмитриевой. — М.: ОГИ, 2004

Скромный школьный преподаватель географии Луи Пуарье стал известным французским писателем Жюльеном Граком. "Замок Арголь" — первый роман Грака, а по мнению Андре Бретона — это первый настоящий сюрреалистический роман. Другой француз, Мишель Турнье, считает Грака лучшим в мире писателем-пейзажистом. Прочтя "Замок Арголь", понимаешь почему. В книге сплошные описания, но какие! В романе нет четко обозначенной интриги — интригует сама ситуация: двое мужчин и женщина в заброшенном замке вдали от цивилизации.

Дэвидсон Ф. Война во Вьетнаме (1946–1975) / Пер. с англ. А. Колина. — М.: Изографус, Эксмо, 2004. — 816 с. 3000 экз. (п)

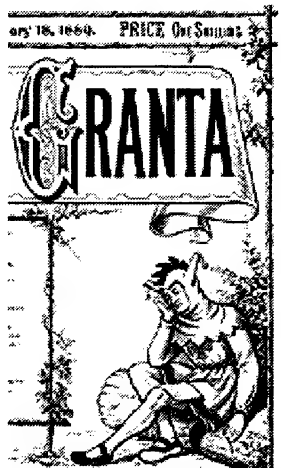
Американский генерал-лейтенант Филипп Б. Дэвидсон рассказывает про то, как сперва французы, а потом и американцы (сам он был непосредственным участником событий) проиграли войну в Индокитае. С французами вроде бы все понятно, они потерпели катастрофическое поражение при Дьенбьенфу... А американцы? Потери вьетнамцев и американцев, разумеется, несопоставимы. И тем не менее проклятые капиталисты с позором бежали из Вьетнама... Чтение увлекательное, несмотря на обилие непроизносимых топонимов.

Великобритания

Юбилей "Гранты"

Один из самых известных литературных журналов "Гранта" в конце минувшего года отметил свое двадцатипятилетие. Впрочем, этот юбилей относится лишь к последнему периоду в истории издания, которое по праву считается одним из старейших в Англии. "Гранта" (названная так в честь местной речки) была основана в Кембридже в 1889 году. В те времена это был студенческий еженедельник, отнюдь не единственный, который печатал прозу, поэзию и литературную критику. Правда, в отличие от своих менее удачливых конкурентов "Гранта" не канула в лету — главным образом благодаря тесным связям с университетом. На страницах журнала публиковались ранние работы А. Милна (одно время автор "Винни Пуха" был даже его редактором), Т. Хьюза, С. Плат. Надо сказать, в ту эпоху издательская деятельность считалась весьма престижной. Так, на званом обеде по случаю выпуска 100-го номера присутствовали А. Конан Дойл, главные редакторы газет "Санди таймс" и "Дейли ньюс", журналов "Спикер" и "Панч", а также избранный круг авторов.

"Гранта" более или менее благополучно просуществовала до середины 70-х, а затем наступил кризис. Причин было несколько: финансовые трудности, общая апатия сотрудников и, главное, недостаток свежих идей. Идеи забили ключом с приходом в журнал группы молодых энтузиастов. Именно их стараниями в 1979 году "Гранта" обрела новое лицо: значительное место отдала публицистике, отказалась от поэзии и критики, а также наладила выпуск тематических номеров. Но, самое важное, ей удалось заручиться финансовой поддержкой издательства "Пингвин", привлечь к себе маститых авторов, а также открыть целую плеяду новых имен. Кроме того, журнал пообещал раз в десятилетие составлять список двадцати лучших молодых прозаиков. Триумфальным стал 1983 год, когда "Гранте" удалось угадать имена будущих звезд английской словесности: И. Макьюэна, С. Рушди, Дж. Барнса, М. Эмиса и К. Исигуро. К безусловным удачам относится и юбилейный номер, собравший под одной обложкой П. Остера, Г. Свифта, М. Эмиса и других популярных писателей.



Обложка "Гранты" 1889 года

Испания

Роботы-библиотекари

Сотрудники одной из научных лабораторий при испанском университете имени Хайме I в настоящее время работают над проектом, который на первый взгляд может показаться фантастическим. Ученые намерены сконструировать робота, который будет обслуживать читателей библиотек. Библиотеки как среда для эксперимента выбраны неслучайно — по словам руководителя группы, в их работе значительно реже возникают непредвиденные ситуации, для разрешения которых необходима человеческая смекалка.

Уже готова модель, "обученная" основным операциям. Механический библиотекарь, однорукий и двупалый, будет перемещаться на трех колесах, ориентируясь в пространстве с помощью инфракрасных лучей и микрокамер.

Робот начинен сложной электроникой и компьютерами — "услышав" требование читателя, специальные программы преобразуют звук в код, исследуют базу данных и выдадут план дальнейших дей-

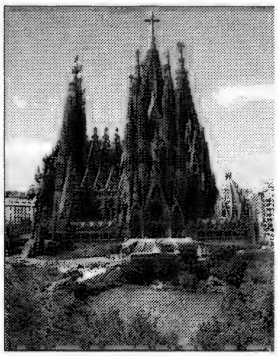
ствий. После того как робот отыщет нужную полку и книгу, считывая названия с корешков, предстоит самое сложное — взять книгу так, чтобы не повредить обложку, и отнести читателю.

Руководитель группы предполагает, что первые опытные образцы появятся в испанских библиотеках примерно лет через пять. Роботы могут оказаться весьма полезными для проведения инвентаризаций или розыска заставленных книг.

Сейчас аналогичные разработки также ведет группа японских инженеров, правда есть и одно существенное отличие: к японскому роботу-библиотекарю придется обращаться через Интернет. Возможно, когда-либо в будущем удастся на базе двух этих проектов создать сверхсовременную систему. Предположим, кому-либо в Великобритании вдруг среди ночи понадобилась книга из американской библиотеки. Читатель соединяется с ней через Интернет и делает заказ местному роботу, тот находит запрошенную книгу, считывает те сведения, которые интересуют читателя, и отправляет их ему, например, электронным письмом.

Виртуальное творение Гауди

После кончины в 1926 году всемирно известного каталонского зодчего Антонио Гауди между политиками и архитекторами разгорелись жаркие споры по поводу дальнейшей судьбы недостроенного собора Саграда Фамилиа (Святого Семейства). Сооружению величественного храма неподалеку от центра Барселоны Гауди



Виртуальная модель собора Саграда Фамилиа

отдал 43 года, однако к моменту его смерти работы были выполнены лишь на пятнадцать процентов.

Несмотря на протесты "ретроградов", считавших, что ни один современный архитектор не способен проникнуть в замысел гениального мастера, власти все-таки решили продолжить строительство, тем более что после смерти Гауди остались многочисленные планы, чертежи и наброски. Но над собором словно тяготел злой рок. В 1936 году дом, где хранился архив, попал под артиллерийский обстрел, все бумаги погибли. В 1952 году работы опять возобновились,

Внутреннее убранство собора

однако сейчас, по прошествии более чем полувека, храм не завершен даже наполовину, и, по самым оптимистичным прогнозам, окончания строительства следует ожидать не менее 30 лет.

Оригинальный выход из положения нашел барселонец Тони Мека, задумавший достроить собор виртуально. Несколько лет Мека изучал технику Гауди и делал фотоснимки отдельных элементов здания, особое внимание уделяя декоративной отделке и орнаментам. Затем изготовил макеты архитектурных деталей, на основании которых художники создали графическую модель. Недостающую часть Мека домыслил самостоятельно, стараясь, насколько это возможно, имитировать стиль великого зодчего.

США

Заговор против Америки

Новая книга Филипа Рота "Заговор против Америки", опубликованная издательством "Джонатан Кейп", вызвала резонанс в американской и британской прессе. Дело не только в имени автора, за которым укрепилась репутация одного из самых ярких современных прозаиков (его роман "Людское клеймо" был опубликован в "ИЛ", № 4, 5, 2004), но и в необычной сюжетной коллизии. "Заговор против Америки" — это смесь автобиографии с романом в жанре альтернативной истории. А что, если бы в 1940 году на выборах в США победил не Рузвельт, а знаменитый авиатор Чарльз Линдберг, прославившийся беспосадочным переле-

том через Атлантику? Как приход к власти общественного деятеля, награжденного в 1938 году нацистским орденом, отразился бы на судьбе семилетнего Рота и его близких?

Автор рисует пугающий сценарий. В Белом доме воцаряются фашисты, которые заключают мировую с Германией и Японией. Америка погружается в атмосферу ненависти, и беззаботной жизни еврейских обывателей одного из городков штата Нью-Джерси наступает конец. Отец Рота Герман, "хороший человек, которому выпало жить в плохое время", оказывается перед нелегким выбором. Тем не менее он решает вести честную игру, в отличие от "плохих евреев" — дельцов и коллаборационистов.

По мнению обозревателя газеты "Нью-Йорк таймс", роман Рота следует воспринимать прежде всего как политический. Писатель словно хочет сказать: "Не тешьте себя мыслью, что здесь такого не может случиться".

Подобные книги-предупреждения в американской литературе достаточно традиционны. В 1908 году — задолго до самого появления слова "фашизм" — Джек Лондон в романе "Железная пята" описал олигархическую диктатуру, установившуюся в США после разгрома революции. Опорой этой диктатуры было не столько насилие, сколько непоколебимая уверенность власть предержащих в том, что, они являются единственными носителями цивилизации в этом дикарском мире и что, если они ослабят узду, с ними вместе "погибнет вся красота, и радость, и благо жизни".

В 1934 году свою версию установления в Америке тоталитарного режима описал в романе "Круглый миллион" Натаниел Уэст. Однако классикой жанра признан вышедший годом позднее роман Синклера Льюиса "У нас это невозможно", который, по некоторым свидетельствам, повлияв на итоги голосования, помог избранию Рузвельта на третий срок.

В очерке, написанном по просьбе "Нью-Йоркс таймс", Филип Рот рассказал о том, как к нему пришел замысел нового романа. Несколько лет назад он читал автобиографию историка Артура Шлезингера, и его особенно заинтересовали воспоминания о конце 30-х — начале 40-х годов. Среди прочего он натолкнулся на упоминание о том, что кто-то из противников вступления Америки в войну из республиканского крыла собирался выставить свою кандидатуру на президентских выборах 1940 года. По сути, эта фраза и натолкнула Рота на мысль рассмотреть гипотетическую ситуацию сквозь призму своей семьи. Но главное, признается писатель, работа над книгой, которая длилась три года, подарила ему возможность снова окунуться в атмосферу детства.

Чили—Уругвай

Сказки братьев Гримм по-латиноамерикански

"Худшие сказки братьев Гримм" — такое название дали совместной книге двое известных латиноамериканских писателей: чилиец Луис Сепульведа и уругваец Марио Дельгадо Апарацин. Взяв за основу некоторые факты из жизни знаменитых немецких собирателей фольклора, авторы сочинили веселый роман-пародию, действие которого разворачивается в начале прошлого века в Аргентине и Уругвае. Речь в нем идет об исследователях, пытающихся отыскать следы братьев Каина и Авеля Гримм, пайадоров — так именуют в Латинской Америке исполнителей-импровизаторов, аккомпанирующих себе на гитаре.

Недавно книга вышла в Испании и в Мексике, и уже готовятся ее переводы на французский, португальский и итальянский языки.

Франция—Германия

Любимые книги французов и немцев

Какие книги произвели на вас наиболее сильное впечатление? Какие книги помогли сформироваться вашей личности?

Такие вопросы были заданы в ходе социологического исследования более чем двум тысячам французов, представляющих различные социальные и возрастные группы, — от пятнадцатилетних школьников до пенсионеров. Итоговый список из ста произведений опубликовал октябрьский номер журнала "Лир".

Судя по редакционному комментарию, результаты опроса во многом оказались неожиданными. В частности, организаторов удивило огромное разнообразие мнений и вкусов. Но одно можно сказать наверняка: французы по-прежнему любят своих классиков, потеснить ко-

торых сумела лишь Библия, стоящая в перечне под номером один. Вслед за Священным писанием следуют "Отверженные" В. Гюго (2-е место), "Маленький принц" Сент-Экзюпери (3-е), "Жерминаль" Э. Золя (4-е), "Властелин колец" Дж. Толкиена (5-е), "Красное и черное" Стендаля (6-е), "Большой Мольн" Алена-Фурнье (7-е), "Двадцать тысяч лье под водой" Ж. Верна (8-е) и, естественно, "Три мушкетера" А. Дюма (10-е).

Не были забыты и мастера XX века: в первую тридцатку вошли "Чума" и "Посторонний" А. Камю, во вторую — "Условия человеческого существования" А. Мальро (единственный в списке Гонкуровский лауреат), в третью "Путешествие на край ночи" Л.-Ф. Селина.

Не попал в перечень целый ряд крупнейших авторов: М. Пруст, А. Жид, Ф. Мориак, М. Юрсенар, П. Модиано. Тем более странным для организаторов стал успех довольно слабой публицистической книги Бетти Махмуди "Никогда без дочери" — записок американки, которая, выйдя замуж за иранца, столкнулась с непривычным для нее укладом традиционной мусульманской семьи.

Впрочем, опрос лишний раз подтвердил: французы не жалуют публицистику и эссеистику — исключения были сделаны лишь для "Военных воспоминаний" Шарля де Голля (60-е) и "Второго пола" Симоны де Бовуар (88-е). Несколько лучше они относятся к поэзии: Ж. Превер и Ш. Бодлер заняли более почетные 32-е и 36-е места.

Любовь к поэзии высказали в основном сорокалетние ("Цветы зла" поделили лавры с "Парфюмером" Зюскинда), тогда как люди постарше отдали свои голоса малоизвестному у нас сочинению "Первый в связке" Роже Фризон-Роша. Четкая разделительная полоса пролегла между теми, кому за тридцать пять и поколением их детей. Если первые отдали свои голоса "Кандиду" Вольтера, "При закрытых дверях" Сартра и "Человек ли это?" Примо Леви, то молодежь сочла более значимыми романы Стивена Кинга.

А каковы литературные вкусы немцев? В Германии с предложением назвать любимые книги обратился к зрителям один из телеканалов. Начинание оказалось весьма успешным: в опросе приняло участие около 250 тысяч человек. По мнению психологов и литературоведов, подобное исследование — идеальный барометр настроений в обществе. И, судя по итогам, настроения эти далеки от оптимизма. Наибольшей популярностью в Германии пользуется так называемая "эскапистская" литература: фантастика и мистика. Следует добавить, что, в отличие от французов, немцы предпочитают зарубежных авторов отечественным. Возглавила перечень трилогия Дж. Толкиена "Властелин колец", на втором месте оказалась Библия, третье — к величайшему удивлению организаторов, — занял историко-приключенческий роман англичанина Кена Фоллетта "Столпы земли" и лишь шестое — "Будденброки" Томаса Манна. В число книг-победительниц также вошли "Маленький принц" Сент-Экзюпери, "Парфюмер" П. Зюскинда и "Алхимик" П. Коэльо.

По материалам информационного агентства "Ассошиэйтед пресс", газет "Гардиан", "Лондон телеграф" [Великобритания], "Нью-Йорк таймс" [США], журнала "Лир" [Франция]

Том Роббинс
Tom Robbins
[р. 1936]. Американский писатель.

Автор романов *Даже девушки-ковбои иногда грустят* [*Even the Cowgirls Get the Blues*, 1976], *Пейзаж с дятлом* [*Still Life with the Woodpecker*, 1980], *Худенькие ножки и все такое* [*Skinny Legs and All*, 1990] и др.
Роман печатается по изданию *Villa Incognito* [New York: Bantam Books, 2003].

Георгис Павлопулос
Giorgis Paulopoulos
[р. 1924]. Греческий поэт, художник.

Автор поэтических книг *Подвал* [*Το Κατώγι*, 1971], *Мешок* [*Το Σακί*, 1980], *Отмычки* [*Τα Αντικλείδια*, 1988], *Тридцать три хайку* [*Τριαντατρία Χαϊκού*, 1990], *Цыганке* [*Τῆς Γύφτισσας*, 1996], *Немного песка* [*Λίγος Άμμος*, 1997], *Куда улетели птицы?* [*Που είναι τα Πουλιά*; 2004] и тома избранного *Стихи 1943–1997* [*Ποιήματα 1943–1997*, 2001].
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Джон Апдайк
John Updike
[р. 1932]. Американский писатель, член американской Академии искусства и науки.

Автор романов *Кентавр* [*The Centaur*, 1963; Национальная книжная премия; рус. перев. *ИЛ*, 1965, № 1, 2], *Кролик, беги* [*Rabbit, Run*, 1960; рус. перев. 1979], *Кролик исцелившийся* [*Rabbit Redux*, 1971], *Кролик разбогател* [*Rabbit Is Rich*, 1981; рус. перев. 1986], *Кролик на отдыхе* [*Rabbit at Rest*, 1990] и др. В *ИЛ* напечатаны также его романы *Ферма* [*Of the Farm*, 1967, № 4], *Давай поженимся* [*Marry me*, 1979, № 7, 8], рассказы и эссе из книг разных лет [1984, № 5; 1992, № 10; 1995, № 7; 1996, № 10; 1999, № 9; 2003, № 7, № 8].
Публикуемые рассказы взяты из разных сборников.

Джо Грин
Joe Green
[р. 1948]. Американский поэт.

Ему принадлежит книга-мистификация *Лай в темноте: стихи и песни Рин-Тин-Тина* [*Dark Bark: Poems and Songs by Rin-Tin-Tin*], автором которой якобы является овчарка – персонаж многочисленных фильмов 20–40 гг. Публиковался в журналах *Fulcrum*, *Rattapallax* и др.
Публикуемые стихи печатаются по рукописи.

Абель Поссе
Abel Posse
[р. 1936]. Аргентинский писатель.

Автор многих романов, переведенных на 17 языков, в том числе *Даймон* [*Daimon*, 1978], *Путешествие в Агарту* [*El viajero de Agartha*, 1989; рус. перев. 2004], *Тайные демоны* [*Los demonios ocultos*, 1987], *Долгие сумерки путника* [*El largo atardecer del caminante*, 1992; рус. перев. 2003] и др. В *ИЛ* были напечатаны его романы *Райские псы* [*Los perros del paraíso*, 1992, № 8–9] и *Пражские тетради* [*Los cuadernos de Praga*, 2003, № 4].
Публикуемый роман печатается по изданию *La pasión según Eva* [Buenos Aires: Emecé Editores, 1994].

Соломон Константинович Апт
[р. 1921]. Литературовед, переводчик.

Автор книг *Томас Манн* [1972, в серии *ЖЗЛ*], *Над страницами Томаса Манна* [1980]. В его переводах издавались трагедии Эсхила, романы *Иосиф и его братья* Томаса Манна, *Степной волк* [*ИЛ*, 1977, № 4, 5] и *Игра в бисер* Г. Гессе, *Человек без свойств* и *Душевные смуты воспитанника Терлеса* М. Музиля [*ИЛ*, 1992, № 4], пьесы Б. Брехта и др.

Сергей Николаевич Зенкин
[р. 1954]. Литературовед,

Автор книги *Работы по французской литературе* [1999]. В его переводах издавались книги Р. Барта, Ж. Бодрийара, Ф. Глотери и др. Его статьи и переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

критик, переводчик. Лауреат премии им. А. Леруа-Больё [1996].

Марина Фрёмке
Филолог, переводчик. Живет в Берлине.

Автор многочисленных работ [часть из них печаталась под фамилией Бобрик] по языкознанию и истории русской литературы и культуры, опубликованных в российских и зарубежных периодических изданиях и сборниках. В *ИЛ* печаталась в рубрике *Письма из-за рубежа* [2004, № 9].

Светлана Владимировна Силакова
Переводчик с английского и испанского языков. Лауреат премии *Странник*, присуждаемой издательством Terra Fantastica [Санкт-Петербург].

В ее переводах опубликованы романы Д. Адамса, Дж. Барнса, Б. Бетке, Э. Энрайт и др. В *ИЛ* печатались ее переводы эссе Т. Пинчона [1996, № 3], Д. Рэмптона [1996, № 10], Э. Саида [2003, № 1], рассказов Дж. Сондерса [2001, № 7], Р. Фернандеса, Х. Альварес, Т. Риверы [2003, № 1], а также романов П. Теру *Коулун Тонг* [2002, № 4] и Д. Деллило *Мао II* [2003, № 11, 12].

Константин Аркадьевич Мильчин
[р. 1980]. Литературный критик, журналист.

Автор рецензий, обзоров, статей, публикуемых в различных периодических изданиях; ведущий ежедневной передачи *Книга на завтра* [Радио России].

Переводчики

Вера Вячеславовна Пророкова
Филолог, переводчик с английского.

В ее переводе публиковались произведения Т. Адзопарди, И. Б. Зингера, Б. Маламуда, а также роман *На прибрежье Гитчи-Гюми* Т. Яновиц и др. В *ИЛ* напечатаны рассказы из сборника Т. Яновиц *Рабы Нью-Йорка* [*The Slaves of New York*, 1998, № 3], роман Ф. Прауз *Голубой ангел* [*Blue Angel*, 2002, № 11,12].

Ирина Игоревна Ковалева
Поэт, переводчик с греческого и английского языков, критик. Кандидат филологических наук.

Автор стихотворных сборников *В прошедшем времени* [2002], *Кукольный ящик* [2002] и *Юбилейный гимн* [2003]. Переводила стихи и прозу Г. Сефериса, прозу К. Кавафиса, стихи О. Элитиса, М. Сахтуриса, Т. С. Элиота и др. В *ИЛ* в ее переводе публиковались стихи Ага Шахида Али [2003, № 1], К. Кавафиса [2004, № 8].

Юлия Ивановна Жукова
Переводчик с английского.

В ее переводах опубликованы произведения П. Г. Вудхауса, Р. Киплинга, Дж. М. Кутзее, С. Моэма, Д. Г. Лоуренса, У. Фолкнера, Ф. С. Фицджеральда и др.

Антон Викторович Нестеров
[р. 1966]. Литературовед, переводчик с английского и норвежского языков. Лауреат премии *Иноliттл* [2002].

В его переводе публиковались произведения У. Рэли, Л. Ферлингетти, С. Мерена, Э. Паунда, Дж. Донна, А. Макена, А. А. Милна, Т. Пратчетта, а также роман Т. Фишера *Философы с большой дороги* [2002]. В *ИЛ* неоднократно печатались его статьи и переводы стихов и эссе.

Надежда Мариовна Беленькая
Переводчик с испанского и каталанского языков.

В ее переводе опубликованы романы Ж. Марсе *Двуликий любовник*, А. Переса-Реверте *Учитель фехтования*, эссе и рассказы Х. Кортасара [*ИЛ*, 2001, № 6] и М. Родореда [*ИЛ*, 2002, № 3].

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО.
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент картины турецкого художника Бурхана Доганчая [р. 1929] *Символы свободы* [1991].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

119017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции.

По вопросам оптовых закупок обращаться в отдел распространения и рекламы:
тел. 8-926-528-51-48,
факс (095) 953-50-61,
e-mail: journalinostranka.ru

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

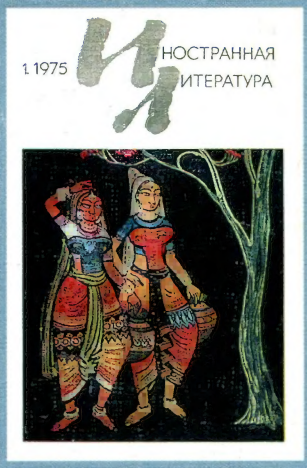
Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 22.09.2004
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 3270.
Тираж 8000 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

[2] 2005

ПЕРВЫЙ РОМАН МОЛОДОЙ ПОЛЬСКОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ ДОРОТЫ МАСЛОВСКОЙ "ПОЛЬСКО-РУССКАЯ ВОЙНА ПОД БЕЛО-КРАСНЫМ ФЛАГОМ" В РУБРИКЕ "ДЕБЮТ" / СТИХИ ФЛЁР ЭДКОК / ПОВЕСТЬ НАТАЛИИ ГИНЗБУРГ "ДОРОГА В ГОРОД" / ЭССЕ ВОЛЬФГАНГА ЛАНГЕ "'ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ' УЭЛЬБЕКА И МЕНИППОВА САТИРА" / В РУБРИКЕ "ТРИБУНА ПЕРЕВОДЧИКА": ПАМЯТИ ЮЛИАНЫ ЯХНИНОЙ

Нам 50 лет!



Журнал «Иностранная литература»

1955–2005

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2005, №1, 1-288